



А. ШАРДИН

НА РУБЕЖЕ
СТОЛЕТИЙ

Петр Петрович Сухонин

На рубеже столетий

Настоящее издание является первым с 1886 года. Автор таких широко известных в прошлом веке романов, как "Род князей Зацепиных", "Княжна Владимирская", на фактическом материале показывает жизнь двора императрицы Екатерины Великой с Потемкиным, графами Орловыми, Голицыным, Зубовым и др.

Но основная фабула романа развивается на оси интриги: Екатерина — граф Орлов-Чесменский — Александр Чесменский. Был ли Александр Чесменский сыном графа Алексея Орлова и княжны Таракановой? А быть может он был сыном самой Императрицы?

Книга рассчитана на самый широкий круг читателей, интересующихся как историей, так и приключенческим и детективным жанрами.

Текст печатается по изданию: "На рубеже столетий" Исторический роман в трех частях А. Шардина / П.П. Сухонина.

С.-Петербург. 1886 г.

Содержание

Часть первая	0006
Глава 1. Усы	0006
Глава 2. Противоречия	0063
Глава 3. Доклад	0083
Глава 4. Кто кого перебежит?	0135
Глава 5. Польский проходимец из русских	0169
Глава 6. Замыслы и предложения	0220
Глава 7. Князья Голицыны	0263
Глава 8. Свет и тьма	0286
Глава 9. Злодейство	0317
Глава 10. Иллюминатка	0341
Часть вторая	0373
Глава 1. У чужих	0373
Глава 2. У себя	0401
Глава 3. Еще далее к чужим	0448
Глава 4. В тюрьме	0485
Глава 5. Необъяснимое объясняется	0520
Глава 6. Траур	0536
Глава 7. Свой человек	0553
Глава 8. Великий Анахарсис	0588
Глава 9. Опять дома	0611
Глава 10. Она не та, что была	0634
Часть третья	0650
Глава 1. Граф Алексей Григорьевич Орлов-	

Чесменский	0650
Глава 2. Она та же, хотя и стала другая . . .	0680
Глава 3. И он разнежился	0707
Глава 4. Слово делает дело	0735
Глава 5. Подозрительность всего боится . .	0761
Глава 6. Заключение	0774

На рубеже столетий

Часть первая

Глава 1. Усы

Зимнее утро чуть брезжит. От небольшого, но постоянного и сухого мороза скрипит снег. На улицах кое-где догорают тусклые масляные фонари. Никого еще не видно. Не выезжают еще водовозы со своими оледенелыми кадками на дровнях; не сметают еще даже дворники снега ни со старых деревянных мостков, ни с новых каменных панелей. В Зимнем дворце не зажигалось еще свечей на рабочем письменном столе в кабинете государыни; стало быть, нет еще семи часов.

Царица тогда императрица Екатерина II, и уже не первый, не десятый год царица. Состарилась она на престоле, а все еще на нее любовались да заглядывались: такая она была красивая да величественная. Впрочем, и то, кого не украсит ореол сияния русской императорской короны?

Хорошо было при матушке царице вельможам жить; хорошо было и барству хорохо-

риться да случая искать. Авось, нет-нет да и выгорит! Довольны были и купцы; мещанам тяжеловато было, а все же жить было можно. Вот крестьянам... Да те были крепостные, подлый народ, стоило ли о них говорить?

Царствование Екатерины было славное. Оно и громом победы страшило, и татарскую дикость ограничивало. При ней все росло и вперед двигалось. Вон Петербург при ней как вырос и украсился. Настоящим стал городом, да таким, что чужестранцы дивуются...

Давно ли вот по лугу, от самого нового Зимнего дворца и старого Брюсова дома, до царевнина терема, по всей Луговой улице стояли домишки, все маленькие, почитай все деревянные, и взглянуть было не на что. А грязь-то какая между ними была. В вешнюю или осеннюю пору колымаге, бывало, ни за что не проехать, все на Зацепин двор объезжать приходилось.

А теперь, гляди, какие дома, все каменные, трехэтажные. Какая мостовая настлана, а по бокам, для пешеходов, вместо деревянных мостков, что, бывало, и с фонарем идешь так того и гляди ногу сломишь, — понаделаны ка-

менные тротуары. Что за улица стала! Недаром Миллионной прозвали, и точно что миллионная.

А Неву всю гранитом одели: перила гранитные сделали, уже не упадешь; пристани для лодок и для яликов и со всходами, тоже из гранита. На берегу конную статую царю Петру поставили, просто загляденье. И какая же красавица стала наша река Нева, широкая, чистая, светлая как зеркало, а в нее с обеих сторон каменные палаты смотрятся.

Но и при Екатерине II не всем была масленица, не все в красных сапожках ходили да шапочку-невидимочку носили; и при ней к иным горе нежданное-непрошеное забиралось, нужда в двери стучалась и под бока толкала; особенно тех, кого судьба выбила из колеи; кто, как говорили, от ворон отстал, а к павам не пристал, ни рыбой ни мясом стал.

Вон хотя бы на той же луговой Миллионной улице, в первом этаже одного из богатых каменных домов Царицына камердинера, потемкинский прежде был, Секретаревым зовется. Выдумали же имечко, сейчас видно, что от крапивного семени пошел. Так вот, у

него в доме, в квартире хоть небольшой, но порядочной, офицерский денщик изо всех сил бьется и хлопочет около самовара, стараясь заставить его кипеть с помощью лучинок, так как угольев нет.

"Докладывал вчера его благородию, говорил, два раза говорил, — рассуждал про себя денщик, — дескать, угольев совсем нет, дескать, и ваксы нет! Так хоть бы денежку выкинул, хоть бы на смех что сказал; и самому в казармы на пропитанье велел идти! Верно, нет! Профершпилился, что ли?.. А тут беда, никак не сладишь, — ворчал про себя денщик, подбрасывая лучинки. — Знал бы — на свои купил, хоть на полушку".

Денщик ворчал и суетился, а через комнату от прихожей, где он раздувал самовар, не то в спальне, не то в кабинете, можно сказать, в спальне-кабинете, несмотря на раннее утро, светился уже огонек.

Там, перед продолговатым, овальным столиком красного дерева с бронзовым ободком, опираясь на него обоими локтями и опустив на руки свою голову, в одной рубашке и рейтузах, задумчиво сидел молодой человек.

Ему не было еще двадцати лет, но он уже сформировался, был бы не дурен собою, если бы не был очень бледен. Белое открытое лицо его было обрамлено густыми темно-каштановыми волосами; облик его представлял весьма приятный овал, не потерявший еще юношеского выражения; цвет кожи сохранял от роческую нежность, покрытую, впрочем, будто болезненною желтизною. Несмотря на то, было видно, что темно-карие глаза его из-под черных бровей могут уже сверкнуть искрой, а тонкие, черные, едва пробивающиеся, но видимо холеные усики начали уже придавать то выражение мужественности его улыбке и тот красивый оттенок его ровным, матовым как жемчуг зубам, который обозначал уже переход из юноши в мужчину.

Молодой человек был видимо расстроен. Глаза его как-то смутно смотрели в стену, руки судорожно сжимали волосы; выражение лица будто замерло от апатии, которую он не в силах был преодолеть.

Комната, в которой молодой человек сидел, его кабинет-спальня, как мы ее назвали, представляла весьма странный вид. Не гово-

ря о беспорядке, столь обыкновенном в комнате юного холостяка, когда он живет сам по себе, смесь предметов не только богатства, но самой изысканной роскоши, и других, обозначающих бедность крайнюю, давящую, роковую, невольно бросалась в глаза. На столе, перед которым молодой человек сидел, стоял великолепный для пяти свечей шандал Севрской фабрики, времен регентства; а в этот шандал была вставлена и горела одна, сильно нагоревшая и оплывшая, семириковая, и не литая, а маканная сальная свечка. Таких свечей теперь, пожалуй, и за большие деньги не сыщешь, а тогда они были долею крайней бедности и продавались разве немногим чем дороже лучины. На мраморном камине, в который было вделано дорогое венецианское зеркало в золоченой оправе, стояли две дорогие китайские вазы и каминные часы, изображавшие льва, держащего в лапах земной шар; а подле шандала на столике лежали две половинки разломанных щипцов и заменявшие их, по случаю слома, большие ножницы. Против окна стоял дорогой письменный стол, а подле стола, на простом, некрашеном стуле

был приготовлен для умыванья дрянной глиняный рукомойник с отбитой ручкой и носком. На окнах висела шелковая драпировка из лионского дама, на стульях там и сям были разбросаны шитая золотом гусарская шапка, пятнистый мех леопарда, носимый тогдашними гусарами вместо доломана, и тщательно вычищенный, раззолоченный ментик, — все богатое и дорогое; в то же время шелковая обивка дивана висела ключьями; на самом хозяине рубашка тонкого голландского полотна была изорвана, а на гусарских полусапожках можно было заметить маленькую латку. Подле великолепного стакана богемского хрусталя стояла вода в простой бутылке из-под квасу; а подле кровати вместо ковра был брошен кусок серого солдатского сукна.

Молодой человек сидел неподвижно. Нагоревшая свеча слабо освещала комнату и оплывала; снятый перед тем ножницами и брошенный нагар еще дымился на полу. Денщик, которому удалось наконец раздуть самовар, принес на старом подносе и поставил на стол стакан крепкого чая и, особо на блюдечке, кусок сахара для прикуски; но молодой че-

человек ничего не видел и не замечал. Он сидел, понутив голову, и даже едва ли о чем-нибудь думал.

Вдруг раздался звонок. Молодой человек вздрогнул.

Через комнату слышался разговор денщика с вошедшим.

— Чесменский дома?

— Точно так, ваше благородие!

— Спит?

— Никак нет, ваше благородие!

— Что же, встал?

— Встали, ваше благородие!

— Я не о себе, а о барине твоём спрашиваю, дурак!

— Слушаю, ваше благородие!

— Слушать нечего, а вот посвети! Ишь, надымил как...

Затем в соседней комнате слышалось бряцанье шпор и сабли, и в спальню вошел, сопровождаемый денщиком с сальным огарком в руках, офицер, одетый как на парад в ментик и с леопардом на плечах.

Офицер был тоже молод, много что годами двумя-тремя постарше Чесменского, но видно

было, что он уже обжился, осмотрелся и доверчиво смотрел вперед на свое будущее.

Чтобы объяснить, почему офицер явился в таком параде ранним утром, нужно сказать, что в то время ни венгерок, ни сюртуков, ни вицмундиров в войсках не было. Военные должны были всегда или ходить в полной форме, или надевать гражданское платье, которое носить вне службы им не воспрещалось, за исключением, однако же, лейб-гусар, долженствовавших всегда быть в своем великолепном мундире. Впрочем, и им, особенно нижним чинам из дворян, для присутствования во дворце или на праздниках в частных домах предоставлялось надевать общий дворянский мундир; но как гусары мундир свой любили, и на службу или к начальству в дворянском мундире являться было нельзя, то им и приходилось быть всегда раздетыми именно как на парад.

— Ты не спишь, Чесменский? — переспросил вошедший. — Что у тебя, братец, темь какая, черт и тот себе лоб разобьет, разве рога помешают!

— Нет, видишь, не сплю! — отвечал моло-

дой человек, машинально поднимая голову. — А, Бурцов, это ты? — проговорил он как-то вяло и нельзя сказать, чтобы особо приветственно.

Видно было, что он ждал не его и что посещение Бурцова было для него совершенною неожиданностью.

— Я, братец, я, по своей вечной страсти всюду нос свой совать; и видишь, собрался ни свет ни заря, чтобы тебя увидеть. Что у вас там такое с князем Гагариным вышло?

— Ничего!

— Как ничего?

— Ничего особого! Гагарин меня на дуэль вызвал!

— Гагарин тебя? Ну, нет, брат, извини! Тут именно что-то особое. Гагарин не мальчик, чтобы дуэлями забавляться. Камергер, секунд-майор гвардии, с руки ли ему драться с только что испеченным корнетом? Из-за чего у вас вышло-то?

— Так, пустяки, из-за усов!

— Что? Как из-за усов?

— Да! Он подумал, что я хотел показать неуважение его жене и свояченице, приехав

к ним с визитом в усах.

— Какая же нелегкая тебя к ним понесла?

— Уж именно нелегкая! Видишь, до моего производства я бывал у них каждую неделю. По средам их день, а я и в другие дни бывал; легонько за свояченицей ухаживал; всегда были ласковы. Вот я и подумал: неважное дело, покажусь.

— Ну нет, брат, дело важное! Наши к барыням не ездят! И знаешь, скажу прямо, по-гусарски: в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Уж если поступил к нам, так и живи по-нашему! Барыни выдумали, что им очень блазно на наши усы смотреть. Это их дело; мы от того не в потере. Перестали к ним ездить вовсе и не плачем. Мы рассуждаем так: пусть эти ферты-шематоны, гвардионцы там разные, на балах фигурируют, нам что? Которая захочет, нам и без менуэта поклонится. К нам просим пожаловать! А ты, видишь, пошел прямо в разрез... Все же, кажется, драться тут не из-за чего!

— Оно, казалось бы, и так, но что станешь делать? Пришлось... слова за слово. Ведь не отказываться же мне было?

— Разумеется! И когда решили?

— А вот я жду Кандалинцева. Он должен был поехать к Дурново и Ильину и уговориться. Князь предоставил мне назначить оружие и время. Оружие я назначил — шпаги, а время все равно: сегодня или завтра, чем скорее, тем лучше!

— Что? Шпаги?

— Да! Я выбрал шпаги!

— Ты с ума сошел или белены объелся? Разве ты не знаешь, что Гагарин на шпагах дерется как черт. В Лондоне он этому мулату, что с герцогом Орлеанским приезжал, Сен—Жоржем зовут, шагу не уступал. Еще мальчишкой почти, при покойном императоре, он у прусского фехтмейстера рапиру из рук выбивал.

— Я и сам порядочно дерусь на шпагах.

— Ты смешишь, милейший. Ты дерешься так, как и все мы деремся! А Гагарин дело иное. На фехтовании он всегда становится один против троих и всех мелом искрестит, прежде чем его кто-нибудь рапирой коснется. С ним, братец, драться на шпагах все равно что вперед себе могилу рыть!

— Ну что ж, и выроем, коли придется, плакать не станем, — апатично проговорил Чесменский.

— Э, любезный, кто станет плакать? Впрочем, и то, плачь не плачь, а от могилы не отвертишься! Но дело не в слезах, а в том, что такой дуэли допустить нельзя. Это будет не дуэль, а убийство! Дуэль по-нашему, по-русскому, по-старинному, это поле — это Божий суд! И точно, недаром говорят: пуля найдет виноватого! А какой тут Божий суд, когда одному приходится непременно быть убитым? Этого нельзя, этого мы не допустим! Слух распространился, да, признаться, не верилось. Вчера и у Платова, и у Денисова, все говорили. И знаешь, друг, я советую...

— Советую, советую! — перебил его нервно Чесменский. — Эх вы, господа-советники! Все вы, как вас послушаешь, умно рассуждаете. Попробовали бы прежде в чужую кожу влезть, тогда бы и советы давали. А что, если у меня и пистолетов-то нет, с чем я стреляться поеду? Вот на прошлой неделе один разбил; что же, с одним, что ли, ехать?

— Какой вздор! Я, пожалуй, тебе свои бы

дал, да и любого возьми! Наконец, если привык к своим, то поправить не Бог знает что стоит.

— Поправить! Хорошо вам, богачам, говорить...

— Ну, богатство тут небольшое нужно. А если ты продулся или прокутился так, что карманы выворотил, то опять мы, слава Богу, не жида, не звери какие, чтобы дали среди нас товарищу с голоду умирать или из-за пистолетов на смерть идти. Всякий охотно чем может поделится. Ты привык там у себя между этими раздушенными, расфуфыренными бархатниками (мундиры у кавалергардов и конной гвардии были бархатные), у этих юбочных шематонов, что всякий за себя, а Бог за всех! Товарищ хоть пропадай, хоть с голоду умирай, никто не подумает. Все, дескать, это вздор, никто, дескать, никогда с голоду не умирает. Это, дескать, слишком вульгарно, слишком не *comme il faut*! Нам, дескать, о таком вздоре думать некогда! У графини бал сегодня, у князя завтра маскарад, а в четверг на куртаг во дворец ехать нужно. Там, дескать, весь *beau monde* будет, до товарища ли тут?

Нет, братец, наши гусары не так рассуждают. Коли уж дали надеть свой мундир, приняли в свой кружок, то что есть — вместе, чего нет — пополам!

— Эх, Бурцов, ты все не то говоришь! — глухо и как бы с укором отвечал Чесменский. — Кто тебе говорит о гусарах? Кто не знает, что они друг за друга на смерть готовы; делят друг с другом последнее. Да что у них залежи какие есть, что ли? Они, поди, экономию наблюдают да денежки складывают? Положим, что большая часть у нас люди богатые, а все, ты знаешь хорошо, у каждого нет-нет да и нехватки. Каждый нет-нет да и начинает жаться. А если знаешь, то не можешь не понимать, что коли берешь, так думай, чем и как отдать, и отдать вовремя, в нужду. А чем тут я отдам, когда вон щипцы сломал, починить не на что; сапоги разорвал, новые заказать не из чего. Государыня, Бог ей судья, в армию выпустить меня не согласилась, говорит: "Молод, хочу, чтобы он у меня на глазах послужил!" Произвела в гусары. А как тут служить, чем жить? Я тебе вот что скажу, я решил: пусть лучше Гагарин меня насквозь

проколет, по крайней мере не придется самому себе пулю в лоб пускать.

— Ну уж это, брат, пустяки, чтобы от недостатков да от нужды стреляться. Это стыд человеческому имени, бессовестная трусость жизни! Если бедняки будут стреляться от бедности, то придется, пожалуй, перестреляться и всем богачам от богатства! Да отчего вдруг обеднел-то ты? Служил в конной гвардии солдатом, капралом, сержантом и жил, а тут в корнеты произвели и вдруг жить стало нечем. Что же твои неизвестные благодетели?

— И думать обо мне позабыли! По крайней мере, видимо, не хотят войти в мое положение. Не хотят они сообразить, что не могу же я питаться воздухом! Впрочем, это пустяки! Можно и хлебом с водою быть сытым. Но не хотят они понять, что я в жизни своей связан службою, положением. Не без их же воли я попал в первый гвардейский полк. Когда меня произвели к вам, хоть я просился в армию, я получил полную форму — богатую, сказать нечего, получил лошадей. Потом, пока я ждал выхода государыни во дворец, чтобы при-

несть мое благодарение за производство, подошел ко мне ее старый камердинер Захар Константинович Зотов и спрашивает: "А квартирку наняли, ваше новое благородие?" Я отвечаю: "Нет". — "Так вот, дескать, у его ка-мрада, тоже камердинера государыни, Секретарева, домик недавно выстроил, есть квартира, как тут для вас! Он уступит дешево и деньгами вас не стеснит. Посмотрите-ка! Я ведь тут не из чего, а только так. И вам польза, и ему помощь!" Поблагодарил и прямо из дворца зашел. Точно, вижу, квартира подходящая. Хочу торговаться, а Секретарев и цены не говорит. "Да что, говорит — живите, коли понравилась. Мне деньги уж за год вперед уплачены, не ваше дело кем!" На другой день и мебель, и все будто из-под земли выросло! Потом конверт и денег тысяча рублей. Ну, думаю, коли будет все так идти, отчего и в лейб-гусарах не служить? Разумеется, не стал очень экономничать, да вот и сел на бобы. И ведь что досадно! Кажется, меня они и теперь не забывают. Да присылают-то все такое не подходящее, что разве только от большого богатства стал бы я покупать. Вот в прошлом

месяце я получил этого льва. — И Чесменский указал на каминные часы. — Вещь хорошая и дорогая, бедно рублей триста стоит. А что мне в ней? Я получил их в то время, как мне овса для лошадей купить было не на что, не чем было прачке заплатить! А потом вот кресло шитое прислали. Что же мне с этими подарками на рынок, что ли, идти или лавочку открыть? И так, брегета прислали — продал; цепь прислали — тоже продал. Нельзя же мне кресло или вон письменный стол на плечах на продажу тащить. Между тем ведь жить нужно и есть; положим, с голоду как-нибудь все не умрешь, а вот денщика и конюха нужно кормить; лошадям сено и овес покупать; сапоги шить, перчатки заказывать. Нельзя же, служа в гвардии, не иметь хоть дрожек, тем более без сапог и перчаток ходить.

— Н-да! — задумчиво проговорил Бурцов. — А денег так больше и не шлют?

— Шлют иногда, но уж очень редко и мало, а главное, когда им вздумается, а не тогда, когда мне нужно. Вот я уже десятый месяц корнет, а мне, кроме той тысячи при производстве, прислали раз сто рублей да раз пятьсот.

В конной гвардии мне, как солдату, можно было улаживаться и с этим. Там мне не было нужды ни лошадей содержать, ни каких дорогих принадлежностей покупать. А теперь расходы-то идут постоянно; тут вынь да положь, а получки ни гроша, и не знаю, будет ли когда. Вот теперь пятый месяц я хоть бы переломленный пятак видел; дошел до того, что денщику в артель записаться велел; верхового коня в эскадрон отослал; выездных продал и конюха отпустил, дальше не знаю, что и будет. Спасибо еще, что у нас никто не придирается, а в конной гвардии мне просто бы житья не было. И солдатом-то мне приходилось выслушивать такие замечания, что хоть каждый день на дуэли дерись; а теперь вдруг бы заметили: бархат на мундире вытерся или латы переменить нужно; а мне лаку для башмаков купить не на что, а не то что серебряные латы или шишак менять. Оно понятно, все при дворе, все на вытяжке, все в кругу.

— Что и говорить! Всякий монастырь свой устав наблюдает, всякий полк своим обычаем живет! — заметил Бурцов. — У нас в полку обычай, чтобы в строю гусар был настоящий

гусар; а там какой он халат дома носит, у какой Акулины Ивановны греется, нам до того никакого нет дела. Ну, а там точно, полк придворный, тонный, хотят, чтобы все по струнке шло.

— Да! Вот ты и не посмотрел, что я с салью свечкою сажу, что денщик мой тебя без куртки встретил; а нашел бы меня в таком разгроме конногвардеец или кирасир, да потом и не показывайся. Проходу от насмешек бы не было. Коли офицер не в карете ко дворцу подъедет, так и о том разговор. К тому же, вы знать не хотите, кто был мой отец, да откуда я; вам был бы я исправный офицер да хороший товарищ; а там, это мое неизвестное происхождение, просто от него хоть в воду! Ну дворник так дворник, или конюх там, что ли? Дело ясное. А тут изволь объяснять, какое такое, дескать, дворянство неизвестного происхождения! Тепер, вот ты говоришь: зачем к Гагарину поехал, дескать, наши гусары не ездят, и я этого не знать не мог. А не знаешь ты, да никто и не хочет того знать, что не я поехал, а меня нужда повезла.

— Какая нужда?

— Так! Я говорил тебе, что еще до производства своего я бывал у них каждую неделю, а иную неделю и два раза. Ну, шутил, любезничал; свояченица князя, молоденькая Ильина подчас подсмеивалась, тоже шутила. Такая она милая. Князь хотя и смотрел подчас бую, но мне что за дело было. Княгиня всегда была приветлива. Только вот как-то раз деньги у меня были, я сел с ними в берлан играть, а потом в три-три и выиграл у княгини четыре имперяла. Княгиня их не отдала; сказала — до следующего раза. Ну что ж, ничего! Она по картам всегда расплачивается аккуратно. Только тут подоспело мое производство. Вот с обмундировкою, с тем-другим возился, у них не был. К тому же ведь не знал, что гусары не ездят, да скоро они в деревню уехали. А вот теперь, как денег-то мне давно не присылали, и я дошел до такой нужды, что именно хоть в воду, я и подумал: "Зайду, будто показаться в новом мундире, авось вспомнят об имперялах". Пошел я в такое время, когда знал, что князя, наверно, дома нет. Он, как Преображенский майор и камергер, во дворец, в парад был назначен. Пришел, по-

слал о себе доложить, что вот, мол, гусарский корнет Чесменский. Просят. Я вошел. Сидит княгиня, подле нее — младшая сестра. Как взглянули на меня, так между собою и переглянулись, будто пересмеиваются. Я делаю вид, что не замечаю, и говорю: дескать, засвидетельствовать свое почтение, надеюсь, не забыли. Они ничего, только все нет-нет да и посмотрят одна на другую. Молоденькая Ильина будто немного покраснела, а княгиня смотрит таково сурово, будто сердита. Вижу, тут не до имперялов, хочу уходить. А в это время, будто нарочно, князь Николай Никитич из дворца. Государыня к кому-то обедать поехала и их распустила. Барыни исчезли разом. Началось объяснение, слово за словом и вызов... Ну что же? Если князь считает себя обиженным, я не могу ему отказать в удовлетворении. Что же касается шпаг, то он предоставил мне назначить оружие. Он сказал: на чем угодно, как угодно и когда угодно. Я выбрал шпаги и буду очень рад, если он меня насквозь проколет! По крайности, ни своей нуждою, ни неизвестным дворянством никому глаз мозолить не буду!

— Нет, брат, постой! — сказал Бурцов, при-
двигая стул к столику и мешая в стакане чай,
который денщик догадался ему подать и ко-
торым Чесменский не угощал, потому что не
был уверен, есть ли сахар. — Если все дело
только в усах и ничего более между вами не
было, то этой дуэли не будет.

— Как не будет?

— Так не будет! Наши не допустят! Такая
дуэль была бы всему полку обида, и полк не
может ее допустить. Наша форма выдумана
не нами. Усы мы не по своей охоте носим. Не
сбривать же было их тебе ради чопорности их
сиятельств? Ты пришел к его жене по делу,
послал вперед о себе доложить. Она же перед
тобою виновата, состоит в долгу. Разумеется,
она не могла не знать, что если к ней пришел
гусарский корнет, то и явится, как корнет гу-
сарский, в своей форме, стало быть и в усах.
Если же князю наша униформа уже так не по
душе, что он готов резаться, чтобы ее не ви-
деть, то пусть дерется со всеми. Мы шпаг не
выберем, а встанем за себя все до одного. Наш
полк всегда отличался тем, что мы друг за
друга, как братья, стояли; а тут дело справед-

ливое. Разумеется, мы не имеем права дуэль остановить. Ты должен будешь явиться на место. Но если он своего вызова назад не возьмет и отправит тебя к праотцам по всем правилам искусства, то должен будет отвечать перед всеми нами. Смерти товарища мы не простим и не можем простить, особенно когда эта смерть соединена с обидою всего полка. И вот, по общему решению вчера, я сейчас еду и, на первое предупреждение, везу ему десять вызовов и первый от себя.

— Ну, ты известный забияка! — улыбнувшись, сказал Чесменский. — Только, право, не понимаю, с какой стати тут тебе путаться...

— Как с какой стати? Дело полковое, общее! Вчера у Денисова и у Платова был о том большой разговор, и все говорили одно: "Такой дуэли допустить нельзя. Если, дескать, князь считает для себя обидою наш мундир, пусть и дерется со всеми, которые не только его носят, но считают себе за честь его носить!" И в Европе такой пример был... Ты знаешь, что шотландская гвардия по форме ходит с голыми ногами, не носит, с позволения сказать, ни штанов, ни панталон, никаких

другого наименования одежд, закрывающих ноги, никакого нижнего платья. Спереди она прикрывается только короткою римскою туникою. Чопорная английская аристократия, разумеется, не могла помириться с тем, чтобы в ее гостиных являлись люди без штанов. И шотландцы в своем национальном костюме были изгнаны из лондонских сливок света. Они не принимались нигде. Только вот, уж не знаю зачем, молодому Дугласу понадобилось видеть герцогиню Дерби. Он приехал, велел о себе доложить, дескать, капитан шотландской гвардии граф Дуглас. Приказали просить. Он вошел. Герцог и вломился в амбицию. "Как, дескать, к моей жене в таком виде!" Назначили дуэль. Шотландцы все разом поднялись и приняли эту дуэль за личное оскорбление их всех, и один за одним все послали герцогу вызовы. Герцог поневоле должен был извиниться и взять свой вызов назад. Вот и мы вчера все в один голос решили, что прежде всего должно узнать, в чем дело, нет ли другой, скрытой причины дуэли? Если же нет, то, в конце концов, все поручили мне, как младшему, ехать к князю с вызовом от

всего полка.

— Но это будет...

— Ничего не будет, будет суд нести! Если бы ты был виноват перед ним, если бы во-рвался незванный, непрошенный, вошел без до-клада — так! Он мог бы еще претендовать. А то ты сделал все, что от тебя зависело, и вдруг за то, что ты в форме, которой снимать не доз-волено... Положим, что против их завитых, припомаженных, раздушенных и распудрен-ных голов наши усаые рожи в глаза кидаются; но это не резон, чтобы обижаться, особен-но от тебя, когда и усы-то твои меньше мы-шиных хвостов. Но дело не в том. Угодно его сиятельству тебя на тот свет отправить — его дело, пусть забавляется, за то пусть и сам на разделку пожалует.

Чтобы читателям была понятна сцена, ко-торую мы сейчас изобразили, нужно слегка коснуться истории образования и устройства наших гвардейских полков.

Гвардия наша началась, как известно, по-тешными Петра Великого. Из них образова-лись два полка: Преображенский и Семенов-ский — корень, ядро, основание нашей слав-

ной русской армии, прототип ее развития и ее дальнейших подвигов. Оба полка были пехотные. Легкую кавалерию дали нам казаки, а регулярную — формирование нескольких армейских драгунских полков, устроенных таким образом, как мог устраивать и обучать свои войска только Петр: пехотные роты были посажены на коней и обучены конному строю, сохраняя в то же время и свое линейное, так сказать, пехотное значение. Гвардейской кавалерии не было вовсе; зато преображенцы были все: нужна кавалерия — сядись на коней; нужна артиллерия — была бомбардирская рота, в которой капитаном был сам государь; нужно шведские шляпы брать — те же преображенцы сядись на галеры...

С такой-то импровизированной кавалерией Голицын и Меншиков преследовали шведскую армию после Полтавского боя и заставили ее положить оружие.

Потом, когда Петру захотелось короновать свою вторую супругу и он захотел выполнить эту церемонию с полной торжественностью, тем более что таким действием он узаконил и

двух своих дочерей, Анну и Елизавету, бывших, по тогдашнему обычаю, привенчанными, то решил, для полноты парада, учредить кавалергардов.

Для выполнения этого желания он сделал то же, что делал и во время военных действий. Он приказал посадить взвод преображенцев на выписанных из Голландии и Германии рослых коней, вооружил их палашами и мушкетонами вместо тесаков и ружей, надел серебряные латы или кирасы. Сперва все это делалось в виде временного учреждения, на время коронации. Но Екатерине учреждение понравилось, и она сделала его постоянным.

Таким образом, образовался первый двухдивизионный кирасирский полк, получивший, по страсти государя к чужеземным названиям, наименование кавалергардов.

Императрице Анне полюбилось это учреждение, и она захотела его усилить. Ее любимец Бирон был страстный конский охотник — первый, озаботившийся устройством в России конских заводов. По этому желанию государыни из волонтеров-дворян был сфор-

мирован второй кавалерийский гвардейский полк, под именем лейб-регимента, который потом и получил наименование конной гвардии.

Полки эти были двухдивизионные. Первые дивизионы были в латах, шишаках, ботфортах; вторые — без лат и ботфорт, как бы легкая кавалерия.

Оба эти полка состояли. при особе царствующего государя, признавались ближайшими и надежнейшими охранителями его особы.

Такая исключительность службы, красивый мундир и разные присвоенные им преимущества вызвали, разумеется, общее желание в них состоять. Поэтому оба эти кавалерийские полка усиливались ежечасно поступлением в ряды их, можно сказать, цвета русского дворянства. Многочисленность поступающих скоро заставила их разделить. Два из них остались кирасирскими, другие же два составили основание русской регулярной легкой кавалерии, гусар и улан, в подражание сформированной кавалерии в прусских войсках, принесшей королю Фридриху II столько пользы в его первую силезскую вой-

ну.

Но если условия службы давали кавалерийским эскадронам некоторые преимущества против пехотных, то они не имели их в легальных узаконениях служебной иерархии. Первым полком все оставался Преображенский и избранная из него Елизаветой рота под наименованием лейб-компания. Гвардейские кавалерийские полки все, в полном составе своем, составляли как бы часть Преображенского полка, который вместе с Семеновским, а потом и Измайловским полком, производством из капралов и сержантов снабжали офицерами всю русскую армию.

С восшествием на престол Екатерины II это устройство получило иной вид.

В 1762 году Алексей Орлов, будучи поручиком, командовал эскадроном гусар, числящихся еще кавалергардами, и занял ими Петергоф во время похода Екатерины на Ораниенбаум.

Это ли обстоятельство, или критическое обсуждение действий супруга, уничтожившего лейб-компанию и не имевшего потому опоры для своей личной защиты, заставили Ека-

терину из гвардейской кавалерии сделать как бы гвардию в гвардии. Утвердив разделение их на разные полки, соответственно роду оружия каждого, и приняв роту кавалергардов в свое личное заведование, равно как Преображенский полк, она, можно сказать, учредила иерархию в старшинстве самих полков. Корнет кавалергардов был уравнен с генерал-майором армии и капитаном гвардии, в таком расчете, что государыня сама значится их капитаном и полковником. Подполковник гвардии равнялся генерал-аншефу армии и поручику кавалергардов; майоры гвардии были генералы. Вновь устроенные полки, Лейб-гусарский и Лейб-уланский, шли позади кирасирских, кавалергардского и конной гвардии, причем гусарам была дана та форма, которая, говорят, очень понравилась императрице на одном из адъютантов германского императора, из венгерских гонимых, выехавшем к ней навстречу, — с предоставлением им права носить усы, подобно тому, как носили их венгерцы.

Из произведенных преобразований произошли, естественно, и взаимные отношения

полков между собою, так же как и отношения их к обществу.

Само собою разумеется, что первый дивизион кавалергардов, сформированный Петром Великим, состоял из лучших фамилий в государстве. Рядовые его были молодые князья и графы; шефом — Голштейн—Бек, владетельный принц гамбургский; командиром или поручиком — князь Никита Юрьевич Трубецкой. В него поступила большая часть молодых людей, возвратившихся из-за границы, особенно из тех, которые не усвоили каких-либо специальных знаний, но довольствовались общим образованием. Но вместе с общим образованием эти молодые люди усвоили лоск, обычаи, этикет и изящную внешность Западной Европы. Они старались ввести эти новые обычаи, взгляды и этикет в своем полку. Удивительно ли, что они весьма легко могли и несколько утрировать; а от такой утрировки полк, естественно, впадает в некоторую щепетильность, чопорность, изысканность, натянутость, которые прежде всего обозначались общим взглядом на все свысока и с пренебрежением, особенно к простым,

обыкновенным формам жизни, которые привыкли теперь называть мещанскими и которые всегда и везде золотая и аристократическая молодежь поставляет себе в заслугу отрицать.

Усиление числа поступавших в гвардейскую кавалерию, давшую возможность сперва сформировать второй и третий дивизионы, а потом образовать из них отдельные полки, разумеется, ослабляло силу их исключительности. Они становились не столь отборными, по крайней мере по внешности, поэтому поневоле должны были уступать первому дивизиону. Таким образом и образовалось, что первый дивизион или кавалергарды держали камертон, а другие ему только вторили.

Это положение было еще усилено постановлением Екатерины, сделавшим из кавалергардов как бы границу доступа к себе. Кавалергардам было предоставлено занимать одну из внутренних залов дворца перед тронной. Всякий дворянин имел право входа во дворец до этой залы, занимаемой кавалергардами и в которую назначались от кавалергар-

дов часовые. Только высшие государственные и придворные чины и тесный кружок лично приятных императрице людей по особым, даваемым ею разрешениям имели право входа за кавалергардов в тронную залу и ее внутренние покои. Это давало кавалергардам вид исключительной стражи спокойствия и безопасности государыни и, разумеется, их возвышало.

Но вот при формировании отдельных полков образовался гусарский полк, самая форма которого представляла уже дорогую исключительность. Нужно вспомнить, что тогда ни мишуры, ни позолоты не было; нужно было блеснуть чистым золотом и серебром. Ясно, что в такой полк должны были поступать только самые богатые люди, именно: золотая молодежь. Но как родовые фамилии в России, вследствие раздела имений между сыновьями и выделов приданого дочерям, были далеко не богаты, то полку поневоле нужно было быть снисходительным к происхождению лиц, в него поступающих. Этим, разумеется, в лейб-гусарах разбивалась словная замкнутость и исключительность,

которые в других полках сохраняли еще преобладание. Другая особенность вновь учрежденного полка была обязательное ношение формы и усвоенные, вместе с этой формой, усы. Первое, впрочем, обуславливалось последним. Нельзя же было явиться во французском кафтане, напудренным и в усах, точно так же, как нельзя было сбривать усы, когда надеваешь кафтан, и отращивать их к тому случаю, как придется надевать мундир. Между тем в обществе того времени руководящая обычаями мода узаконила употребление костюма именно французского покроя. Бархатный или шелковый, весьма редко суконный или кашемировый кафтан, кружевные брыжки и манжеты, камзол непременно шелковый, светлых цветов и шитый золотом или шелками, по камзолу золотые брелоки и цепочки, французское нижнее платье с шелковыми чулками и башмаками с блестящими пряжками — это был общий костюм тогдашнего франта, как статского, так и военного. Все были чисто выбриты, все напудрены, а некоторые и в париках, носимых в подражание модам Людовика XIV, признаваемым об-

разцом изящного вкуса образованного общества. В таком костюме являлись военные, как офицеры, так и солдаты, что, само собою разумеется, если и спланивало между собою общество, то ни в каком случае не могло содействовать укреплению дисциплины в полках. Вдруг, среди этих-то расфранченных и раздушенных петиметров, среди этих напудренных господчиков, балансирующих с ноги на ногу по всем правилам хореографии, с приготовленным мадригалом на языке и золотою табакеркою в руках, должны были явиться гусары в своей богатой, но оригинальной и мужественной форме, и — о ужас, в усах! Подражательная чопорность и искусственность тогдашних взглядов были настолько велики, что общество признавало самое слово усы неприличным. До нашего времени дошел анекдот о приказе, отданном одним из начальников, разделявшим, впрочем, власть по вверенному ему управлению со своею супругою, — приказе, последовавшем несравненно позднее, когда гонение на усы потеряло уже свою первоначальную ожесточенность, и усы начали усваиваться и нравиться даже в тех

частях войск, где ношение их еще не было разрешено. Начальник не признал возможным в приказе своем употребить столь непристойное слово, каково "усы", и выразился таким образом: "Замечено мною и моею женою, что некоторые из офицеров моего ведомства между носом и верхнею губою носят волоса..." Разумеется, заключение было: брить, брить и брить, под опасностью чуть ли не египетских казней. По этому приказу уже позднейшего времени, можно судить, какое гонение должны были выдержать усы при первоначальном их появлении у одних только гусар.

Притом гусарская форма представляла еще другие отличия против общепринятого французского костюма. Они вместо башмаков должны были быть в гусарских полусапожках, вместо длинного французского кафтана с пристегнутыми полами быть в гусарской куртке. Все это в совокупности производило столь сильное впечатление, что несмотря на то что полк состоял из самых богатых людей и в нем служило много лиц самого избранного общества, гусары увидели себя как бы изо-

лированными. От знакомства с ними уклонялись, их старались не приглашать. Гусары, разумеется, обиделись и перестали вовсе показываться в свете. Это сблизило их в дружеский, товарищеский, частью кутящий, с тем вместе боевой, военный кружок, воспоминание о котором осталось как бы заветным преданием их удали и братства. Это воспоминание о боевых друзьях-удальцах, "испивающих ковшами" и стоящих друг за друга и за честь полка как один человек, и до сих пор можно слышать в преемственных преданиях последующих поколений нашей армии.

В то же время явилось и укоренилось в них желание быть совершенною противоположностью тогдашнего придворного типа, который не только усвоили, но которым желали руководствоваться кавалергарды и конная гвардия, в тоне общего направления французского петиметрства. Стремление противоречить этому направлению заставило гусар принять вместо изысканности и фатовства естественность и простоту; вместо стремлений к этикету, чопорности и подражательности принять тон искренности, прямоты, под-

час несколько даже грубоватой, и своеобразное стремление к народности, к руссизму.

Вот это-то направление пылкого товарищества, взаимной помощи и наблюдения друг за другом, в видах охраны традиций и чести полка, и вызвали миссию Бурцова с заявлением от имени всех, что вызов Гагариным Чесменского лейб-гусарский полк признает для себя оскорблением и требует удовлетворения в лице всех его членов от полкового командира до последнего юнкера или вахмистра из дворян.

— Чесменский мальчишка хороший, — говорил Денисов, известный рубака, с тем вместе и известный питух, — из него со временем, может, толк выйдет! Будет настоящий гусар! Особенно коли перестанет за этими топ шер'ами гоняться.

— Да, его надобно поддержать, а то эти шелкоперы его совсем заклюют с его дворянством неизвестного происхождения, — сказал другой, ротмистр Платов, суровый, весьма уважаемый офицер, дававший тон гусарским беседам.

— Какое нам дело до происхождения, —

кричал третий, Мосолов, уже порядочно выливший, как говорили тогда, за галстух. — Он гусар — и этого довольно, все должны его уважать!

— Проучить этих шелкоперов надо, вот что! — кричал Денисов. — Чесменский никого не мог обидеть, заехав засвидетельствовать свое почтение.

И вот старые усатые ротмистры, обсудив дело, нашли, что Чесменский ни в чем не виноват, и поручили Бурцову, как младшему в их совете, подняться до свету, заехать сперва к Чесменскому и хорошенько расспросить, нет ли другой причины дуэли; если же нет, если точно все дело вышло только из-за усов, то везти их вызовы Гагарину.

Мы видели, что действительно Бурцов приехал ни свет ни заря.

В Зимнем дворце, в рабочем кабинете государыни, в двух шандалах на большом письменном столе горело восемнадцать восковых свечей.

Государыня императрица Екатерина Алексеевна сидела за этим ярко освещенным сто-

лом в белом шелковом гарнитуровом шлафроке, с легкой флеровой накидкой на голове и пришпиленным на груди рододендром. Она писала и, видимо, была увлечена своей работой, потому что не замечала, что она чернилами пачкает подчас гро-гро своего шлафрока и решительно приводит в негодность обшитые кругом его рукавов кружева. В углу комнаты горел камин, затопленный собственно-ручно ее царственной особой.

Перо ее быстро скользило по бумаге, не успевая следить за быстротой течения ее мыслей. Минутами она останавливалась, прочитывала написанное, хмурилась или улыбалась, вымарывала несколько слов и начинала писать снова.

Государыня любила писать. Она говорила: разве можно прожить целый день, не написав ни строчки. Результатом такой любви ее к письму, кроме целых томов ее переписки, осталось несколько беллетристических и критических ее сочинений в различных родах, преимущественно в драматической форме, но частью и дидактических, на русском, французском и немецком языках. К сожалению

нию, доселе ее сочинения еще не собраны вполне и не изданы; между тем они любопытны уже по одному имени их автора.

Любовь к перу осталась у нее с детства; тем не менее нельзя не сказать, что она далеко не та была, что великой княгиней русские пословицы учила. Теперь не предложила бы она печатать энциклопедистов в России и с русским переводом; не объявила бы свободы мысли и слова, не уничтожила бы самой памяти об ужасах бироновского времени. Что делать? Время берет свое; а сила власти и общее угодничество разбивают даже великие характеры. Но и теперь она сохраняла свой неизменный принцип любви и милости. Не сердцем она пришла к нему, хотя и сердце ее было полно доброжелательности и милосердия, но пришла к нему разумом. Она осознала, что только твердость и милость дают силу и что только соединение этих противоположностей действительно дает власть.

И она хотела соединить в себе и твердость и милость, и о том думала, много думала и писала.

В настоящую минуту она писала о предме-

те, который, в ее изложении, мог бы иметь не только исторический интерес, но и практическое значение даже для нынешнего времени. Ее сочинение было озаглавлено: "Тайна одного нелепого общества, раскрытая перед целым миром".

Екатерина много затруднялась над этим вопросом, много о нем думала. Ее занимала мысль, каким образом это общество, которое она называет нелепым, могло образоваться, исходя из тех же самых начал мысли, можно сказать, из того же корня разумности, из которого исходило и ее собственное мировоззрение. Между тем какая противоположность... Отчего? Каким образом? Разве у нас не одна логика? Разве строение мысли совершается не по одним и тем же законам разума и истины? А если начало одно, если развитие мысли совершается по одним и тем же законам логики, то и выводы, бесспорно, должны быть одинаковы. Между тем какое противоречие? Одна сторона, думала Екатерина, стоит за порядок, разум, истину, а другая проповедует хаос, разгром, анархию, и все опираясь на те же начала и руководствуясь теми же до-

водами.

Предлагая к своему разрешению этот вопрос, она невольно вдалась в анализ своего собственного развития. Она вспоминала и свое детство, и мадам, учившую ее французскому языку, и своего отца, прусского коменданта, солдатскую косточку прусского образца, хотя он и был владетельный принц. Вспоминала свою мать, молодую женщину, вышедшую за ее отца замуж, несмотря на разность лет и, разумеется, отсутствие всякой симпатии, потому что немецким принцессам мелких владений было выйти замуж тогда труднее, чем богачу-кулаку попасть в царствие небесное. Помнит она зато при ней молодого, красивого русского варвара, незаконного сына старого, последнего русского боярина, заики, фельдмаршала и андреевского кавалера, князя Ивана Петровича Трубецкого. Этот варвар, однако ж, блистал лоском французской образованности. Он был другом первого *maitre de salon* своего времени герцога Ришелье. Своею ловкостью, остроумием, блеском он заставил забыть побочность своего происхождения и затмевал собою самые бле-

стящие имена французского петиметрства. Д'Эгриньон и Лозен завидовали его успехам; Кребильон прославлял их в своих посланиях. Живой, веселый, блестящий, он устроился при дворе ее отца, был своим и провожал ее мать, вместе с нею в Россию, по вызову императрицы Елизаветы, чтобы быть объявленной невестой ее племянника, великого князя.

Она помнит свой приезд, встречу ее в России, привет императрицы, праздники, подарки, свою болезнь, наконец, свою уверенность в том, что здесь она должна царствовать.

Затем мысль ее останавливается на ее свадьбе, несчастной жизни ее с мужем, скуке одиночества среди многолюдства двора. Она помнит, как, именно благодаря этому одиночеству, этому уединению в толпе, она полюбила чтение; как отдалась она чтению со всем увлечением своей страстной натуры, со всею силою своих стремлений к деятельности.

И вот она живет, мыслит, анализирует с великими умами века. Перед нею, как тени, мелькают энциклопедисты с Вольтером во главе и обращенными от него к ней льстивы-

ми тирадами. Перед нею Дидерот, этот фантазер философии, оставивший после себя, как фейерверк, только дым фраз. Наконец, д'Аламбер, в одно и то же время точный и мечтательный, философ и утопист. Потом Гельвеций, Бекария, Монтескье. Что осталось в ней от них теперь? А она ими зачитывалась.

Естественно, практическая жизнь взяла свое. Не оставаться же ей было в тех сопляках, которые не сумеют стать на почву действительных требований жизни? Не вдаваться же было в сентиментальность, ради каких-то отвлеченных начал безупречности? Она любит жизнь, а не мечту; любит действительность, а не идеалы. К тому же лишение всегда лишение, а ее супруг не хотел понять высоту величия своего положения — быть наследником русского престола. Он все, даже в мечте своей, оставался тем же голштинским принцем, каким он был десяти лет.

Жизнь при дворе всегда и для всех хороший урок, тем более для молоденькой принцессы, не любимой своим мужем. Особенно чувствителен должен был быть этот урок при

дворе императрицы Елизаветы. Екатерина помнит лица этого двора, с их особенностями и их фавором. Она помнит Разумовских, из коих один, осыпанный всеми дарами счастья, по очереди то вдается в ханжество, в мистицизм, то бушует во хмелю, даже до того, что готов принять в батожье генерал-фельдцейхмейстера Шувалова; и другого — свое влияние на которого она успела заметить; помнит Бутурлина, который думал, что довольно быть фельдмаршалом, чтобы уметь побеждать неприятелей и брать их крепости; помнит и Шуваловых: Петра Ивановича, считавшего совершенно излишним что-нибудь знать, чему-нибудь учиться, чтобы сочинять всевозможные проекты преобразований и проводить их; Александра Ивановича, повторявшего каждое слово Никиты Юрьевича Трубецкого, как заданный урок; потом пресловутого Ивана Ивановича, гонявшегося за французскою образованностью и желавшего разыгрывать роль русского мецената; наконец, помнит Сиверса, которого никак нельзя было уверить, что главное достоинство человека заключается не в том, чтобы уметь лов-

ко поднести кофе.

Помнит она и тех, которые тогда ее, великую княгиню, окружали, которые пользовались ее расположением. Салтыков, Понятовский, братья Орловы, особенно Григорий, этот гений-самоучка, блестящий красавец, отважный борец, готовый за нее на все. Они некогда занимали ее воображение и были ей действительно и истинно преданы. Но такие лица должны были окружать ее, будущую русскую государыню?

В противоречие этой жизни с госпожою Чоглоковою, графинею Брюс, Разумовскою, Дашковою, Нарышкиными, полной бесцельных сплетней, придворных интриг, самодовольного чванства, — воображение рисовало перед нею картину парижских салонов, этих бюро разума, как они сами себя прозвали, с их пресловутою *madame Жоффрен*, с которою Екатерина переписывалась. Перспектива дали представляла эти салоны в самом увлекательном свете. Екатерине казалось, что они, эти бюро разума, действительный источник развития мысли, действительно истинный свет, отрицающий все нелепое и освещаю-

щий все, достойное человека. Но что же стало с таким источником света? Где он, и отчего не осветит он пропасть, к которой человечество видимо стремится, особенно тогдашнее французское общество? Вопрос, вопрос и вопрос...

"Чтобы отвечать на этот вопрос, нужно взглянуть на жизнь во всех ее проявлениях, во всех практических метаморфозах мысли", — думает Екатерина.

И вот несутся перед нею Таннучй и мадам Сталь, митрополит Сеченов и карбонары; иезуиты и прусский король Фридрих; колеблющаяся императрица Мария—Терезия, иллюминаты и самоотрицание раскольников-прыгунов. Ко всему она присматривалась когда-то, все изучала; недаром говорила она князю Никите Юрьевичу Трубецкому, что она не боится труда. Но где же правда жизни, в чем же истина?

И новые картины представляются ей, как бы в ответ на ее вопрос. Она видит вступление свое на престол, начала ее политики, восторг народа, блеск коронации, а затем заговоры, смуты, новые интриги и Пугачев. Неуже-

ли все это разумно, неужели все это должно было быть?

"Нет, не могло и не должно было быть! Могли не признать меня; а если признали, то ради самих себя должны были повиноваться. Нельзя говорить и да, и нет, нельзя отрицать то, что сами же установили!"

Опираясь на этот вывод, Екатерина хотела разбить противников своей мысли разумом своего слова, силою своего логического анализа. Но она забыла, что логический анализ редко поддается страстности, а от страстности-то она, будучи представительницею одной из сторон дела, и не могла отрешиться.

Ей вспоминаются: Радищев, с его указаниями несправедливостей, притеснений, обид, всей ненормальности русской жизни, падающей прежде всего на нее саму, как на государыню; Лопухин, со своими финансовыми теориями на мистической подкладке любви и терпения; масоны, с их социальными воззрениями на человечество.

"Не правы ли они?" — спрашивает себя Екатерина. "Ни в каком случае! — отвечает она. — Во всем этом только французская зара-

за, только яд ума, который горючит, но не укрепляет, отравляет, но не излечивает. Может быть, Державин прав, — продолжает Екатерина, стараясь разрешить вопрос, который сперва казался ей столь ясным, — может быть этот упрямый, но восторженный, разумный, но необразованный царедворец, говорящий резкую правду и потом старающийся задобрить выслушание этой правды стихотворною лестью, имел все основания утверждать, что решения мои далеки от справедливости? Нет и опять нет! — отвечала себе Екатерина, задумываясь над тем, что она слышала от Державина и что заставило ее оттолкнуть его от себя. — Истина не бывает лестью; а где лесть, там нет истины".

Екатерина готова была верить, что она Фелица, но не могла поверить никогда, чтобы кто-нибудь или что-нибудь могло иметь влияние на ее решения.

"Так кто же, наконец, прав? — продолжала она спрашивать себя, вдумываясь в свои слова и анализируя свою собственную мысль. — Новиков, мартинисты со своею подземною деятельностью? Неужели они? Никогда, нико-

гда! — Эта деятельность может философствовать, может интриговать, может красоваться самопожертвованием, самоотрицанием, но никогда не даст разумного вывода, ведущего к общему благу. Их деятельность — интрига, без интриги они немедленно исчезнут со всею своею деятельностью, полною видимого самоотрицания в то время как в сущности они — скрытая гордость и полнейший эгоизм. Однако ж, — вдруг спросила Екатерина себя, — не эта ли деятельность выдумала, создала сперва Пугачева, а потом самозванку? Нет, не она! — подумав, отвечала она опять себе. — Та не касалась идеи, не входила в глубину отношений взаимности. Та опиралась только на внешность и распространялась благодаря только внешности. Она шла только против меня, против моей личности и была создана только лицом. А в деятельности мартинистов нет лица; оно принимает только идею, борется только против принципа. Потому та могла быть уничтожена силою оружия, а чтобы уничтожить эту — недовольно материальной силы, нужна еще сила мысли".

И вот, приходя невольно к этому выводу,

она пишет, пишет со всею страстностью, со всем нетерпением увлекающегося критика.

Ее опровержения, ее доводы, если и не представляют логически несомненных положений отвлеченной мысли, то не менее того очень любопытны. Они заключают в себе столь интересные указания практического взгляда одной из сторон, рассматривающего вопрос в его действительном, реальном значении, в том значении, которое создает ему действительная жизнь, что не могут не оставаться на себе внимания. Екатерина с особой ясностью успела очертить относительность всякого учения в применении его к практике. Она разобрала и рассмотрела ничтожество общих мест, ничтожество фразерства, думающего красивым словом заменить практичность истины. Ей припоминается опять Дидерот, думавший научить ее царствовать в таком виде, чтобы своим царствованием осчастливить полмира. "Если бы, — вспоминает Екатерина, — она вздумала принять и осуществить хоть одно из предлагаемых им указаний всеобщего счастья, она, несомненно, залила бы свою империю кро-

вью. Она не поддавалась на эту удочку отвлеченных доктрин и была права, объявив, что одно дело — писать теории абсолютного благоденствия, другое — управлять государством". — "Люди не бумага, и не так скоро расстаются со своими убеждениями, даже ошибочными, как та со своей безукоризненной белизной", — отвечала Екатерина на предложенный Дидеротом вопрос и подумала: "Бедный мечтатель, неужели ты думаешь, что не умела бы и я броситься в отвлеченность, если бы не была обязана стоять на почве действительности, на почве практической жизни? Правда, — прибавила она затем со вздохом, — практика-то жизни и убивает иногда строгость логики! Каким же образом их сблизить, чем соединить?" Вот в чем был ее настоящий вопрос...

Остановившись на этом вопросе, государыня взглянула на часы, стоявшие на тумбе против среднего окна ее кабинета, выходящего на Дворцовую площадь, прямо против дома, только что подаренного графу Маркову. Дом этот в настоящее время вошел в состав Генерального штаба и составляет часть, занимае-

мую министерством иностранных дел; но тогда это был небольшой, но красивый дом, прямо против кабинета Екатерины, так что, пользуясь этим обстоятельством, граф Марков устроил в своем доме прямую и настоящую обсерваторию для наблюдения за всем, что делалось на русском небосклоне того времени в Зимнем дворце.

Часы только начали перезванивать последнюю четверть часа и потом ударили девять; после чего раздалась ария Чимарозы из "Армиды". Государыня в ту же минуту положила перо и подумала: "Приходится отложить! Нужно держать в порядке свое маленькое хозяйство, а чай уж многие собрались и ждут", и она позвонила.

Из-за драпри, прикрывающего дверь из кабинета в уборную, показался бывший камердинер великолепного князя Тавриды Кошечкин, взятый за свою службу при князе, после его смерти, вместе с другим камердинером Секретаревым, в камердинеры государыни, с предоставлением им классного чина и тех прав, которыми обуславливается служба при особе царствующего императора.

Камердинер нес на золотом подносе маленькую чашку знаменитого до сих пор vieux sax, присланную Екатерине в подарок от прусского короля Фридриха из вещей, купленных им после известной графини Кенигсмарк, матери не менее известного графа Морица Саксонского. Чашечка была налита крепким черным отваром мокко. Подле, на золотом же блюдечке, лежал один бисквит.

Государыня взяла чашку с лежащею под нею салфеткою, хлебнула, отпив почти треть принесенного кофе, поставила чашку перед собою, откусила маленький кусочек бисквитки и откинулась на штофную спинку своего стула.

— Много собралось? — спросила государыня у камердинера.

— Как же, Ваше величество. Кроме всегдашних, ожидают Ваше величество их превосходительства: Дмитрий Петрович Троцкий и Андриан Моисеевич Грибовский, его превосходительство Василий Степанович Попов, его сиятельство граф Аркадий Иванович Марков и вице-канцлер его сиятельство граф Иван Андреевич Остерман. Еще прибыли ка-

кие-то двое грузин, один предводитель дворянства и смоленский губернатор, по особому Вашего величества высочайшему повелению; а как изволили позвонить, входил, кажется, и его сиятельство господин фельдмаршал граф Александр Васильевич; но ни Льва Александровича, ни графа Александра Сергеевича еще нет!

— Хорошо. А его светлость князь Платон Александрович еще не изволил пожаловать?

Екатерина любила величать даже заочно полными титулами, особенно тех, которым титулы эти были пожалованы ею самою.

— Никак нет, Ваше величество, его светлость еще не выходили от себя.

— К докладу готово?

— Все готово, Ваше величество!

— Хорошо. Просить ко мне обер-полицмейстера.

Екатерина в это время допила свою маленькую чашку кофе и докушала бисквит.

Глава 2. Противоречия

В это время Чесменский горячо спорил с Бурцевым, доказывая, что ни его приятель, ни полк, в котором они оба имеют честь служить, и никто другой в мире не имеют права входить в его дела и принимать на себя разбирательство их личных с князем Гагариным отношений,

— Он меня вызвал, прекрасно! — горячо говорил Чесменский. — Он имел полное право меня вызвать, хотя бы потому, что вот мое лицо ему не нравится. Вызвав, он предоставил мне выбирать оружие; я выбрал шпаги, хорошо! Почему не пистолет, не эспад он, не кинжал, не нож, наконец, как дерутся между собою американские дикари, это тоже мое личное дело; какие же могут быть вопросы, какая может быть опека? Я не мальчик, чтобы был должен, прежде чем плюну, спросить позволения у маменьки. Правда, я моложе всех, но я офицер — и ни под чьим надзором не состою! Если я хочу быть убитым, какое кому дело?

— Не горячись, любезный, горячка не го-

дится ни к черту! Как нет дела? Дело есть и еще какое дело! Честь и мундир полка! Ты думаешь, весело нам будет слушать, как будут говорить, что князь Гагарин лейб-гусара Чесменского как муху проколол. Нет, брат, это лейб-гусарам не рука. Вот ты проколи Гагарина, другое дело, мы все рады будем; но как этого не случится наверное, то... Вот выйдешь в отставку и будешь вольный казак. Делай тогда что хочешь, полк не вмешается. А пока ты носишь наш мундир, принадлежишь нашему обществу, до тех пор... извини! Пой что хочешь, а делать должен то, что следует... Ты бы еще вздумал в виду всего полка, да хотя бы при одном только мне, застрелиться, утопиться или повеситься и захотел бы, чтобы мы все зевали на потолок, пока ты надеваешь на себя петлю. Шалишь, любезный! Невмешательство имеет свои пределы, за которыми оно уже преступление.

Молодые люди горячились.

— В таком случае мне только один выход: повеситься, как Миша Сушков. Его положение было сходно с моим; дядя его, статс-секретарь, записал его в дипломаты. Отправили

его в Берлин и не дали ни гроша. Что ему было делать? Да он еще был в чужом городе, где его никто не знал. А я? Помилосердуйте, господа! Из гвардии не выпускают и еще хотят, чтобы я служил в самом дорогом полку, а средств нет никаких. Жди, пока с неба манна упадет! Да еще полк хочет ограничивать: того не делай, туда не ходи, являйся в приличном виде. Иван Петрович Лопухин, проповедуя свою христианскую идею правды и добра, говорит: "Жизнь, горе и труд понимаю, и не прочь ни от того, ни от другого. Только трус боится горя и страданий, только лентяй боится труда". Ну, я не лентяй и не трус! Я не боюсь ни горя, ни труда; готов сейчас хоть камни ворочать, хоть мостовую мостить; но поможет ли мне этот труд? Да и полк что тогда скажет?

— Выходи из полка и тогда делай что знаешь! — отвечал Бурцов, покручивая усы, — любимый прием гусар того времени.

— Не выпускают, не выпускают, даже просьбы о выходе не принимают, — горячо отвечал Чесменский. — В этом-то и состоит ненормальность, неестественность моего по-

ложения. Как ни молод я, а все могу понять, что дело неладно! Ко мне приступают, от меня требуют, мне указывают, а я... Что я могу сделать, когда у меня ни за мной, ни предо мной ничего нет? Бросаюсь из стороны в сторону, как угорелый, а толку нет! Вот, думаю, стреляться или вешаться, дело нехристианское... Припомни, что мы клятву перед великим мастером нашей ложи произнесли: никогда не думать о самоумерщвлении, беречь свое тело, как сосуд души... Хорошо! Но если другой застрелит меня или заколет, я не виноват. Грех на его душе! Я клятвы не нарушал, а он не обязан меня беречь и щадить. Вот, думаю, выход! Кажется никому ничем не мешаю. Так и тут нет, полку нужно вмешаться, любезному моему другу и товарищу Бурцеву мое дело покоя не дает. Говорят: во имя товарищества и единства. Да Бог с вами и с вашим единством, когда единство не помогает, а только требует! За тем и в самом деле останется один исход — Миши Сушкова.

— Не горячись, почтенный, многоуважаемый. Об этом можно поговорить! Если полк хочет заставить тебя жить, то может найти и

средства к жизни...

— Что же, дадут милостыню! Не хочу я милостыни, не хочу подачек! Мне и те подачки, которые я с детства получал, опротивели до омерзения. Я хочу быть свободным, только свободным, больше ничего! Иметь право хоть с голоду умереть. Жить трудом, но без опеки, без стеснений, без требований. Пожалуй, ничего не иметь, но знать, что зато в мою жизнь не может никто вмешаться.

Спор был прерван приходом еще гусара. Это был Кандалинцев. Он объяснил, что Гагарин принял все условия и что дуэль должна быть завтра со светом, то есть около десяти часов утра, на Каменном острове, за бестужевской дачей, и именно, как Чесменский желал, на шпагах.

— Ничего не сказал Гагарин об оружии, когда ему сказали, что Чесменский выбирает шпаги? — спросил Бурцов.

— Напротив, заметил, что дуэль будет неровна. "Чесменский не может драться на шпагах, как я, — сказал он, но прибавил: — Не кланяться же мне ему, дескать, выберите что-нибудь для себя повыгоднее! Выбрал шпаги,

прекрасно! Я принимаю! А там его дело думать".

— Видишь и князь находит, что дуэль неровна будет! Впрочем, посмотрим; что он скажет после моего визита.

— Не ездь, Бурцов, прошу! Он еще подумает, что я нарочно придумал и уговорил...

— Вот хорошо! Это до тебя не касается вовсе! Я уполномочен от полка, а не от тебя! Ты с ним драться не отказываешься. Он может тебя убить, если хочет! А там дело наше... Будь здоров, да не думай глупостей. Бог даст, все перемелется и мука будет!

— Не мука, а разве мука.

Но Бурцов уже скрылся, оставив Чесменского глаз на глаз с его секундантом, тоже корнетом лейб-гвардии гусарского гюльена Кандалинцевым.

— Ну говори, ты доволен условиями? Кажется, все по твоему желанию? — спросил Кандалинцев.

— Благодарю, друг, сердечно благодарю!.. — задумчиво отвечал Чесменский. — А кто у него секундант?

— Его свояк, полковник Ильин и другой

Дурново. Он просил, чтобы и ты выбрал другого секунданта, чтобы потом о правильности дуэли и речи не могло быть!

— Кого же я выберу?

— А Бурцов, я говорил с ним, он не прочь. А теперь я к нему опять заеду и скажу от тебя!

— Заезжай, душа моя! Только вот какая неприятность! Ты знаешь, зачем Бурцов приехал?

— Нет, а что?

— Он приехал объявить, что полк этой дуэли не допускает и что если Гагарин своего вызова назад не возьмет, то ему придет вызов весь полк.

— Полк! Да ему какое дело?

— Говорят, что им обидно, что дуэль из-за усов, когда они все носят усы!

— Да кто же вам велит говорить, что дуэль из-за усов; разве нельзя найти другую причину? А то, понятно, они могут на Гагарина обидеться...

— Какую же причину я мог им сказать?

— Мало ли? Мог бы сказать, что ты вздумал ухаживать за его молоденькой свояченицей, m-me Ильиной, что она к тебе благо-

склонна, и князь потребовал, чтобы ты на ней женился, а ты не хочешь, или что ты в Эрмитаже вздумал сделать ручку его супруге княгине, когда она играла пастушку Альцесту; наконец, поспорил с князем за картами, сказав, что он любит заглядывать в чужие. Мало ли что придумать можно? Тогда никто слова бы не сказал. А то из-за усов! Оно, конечно, полку обидно, а главное — смешно! Будто усы могут быть причиной дуэли! Всего лучше сказать, что начал ухаживать за свояченицей, и князь, заметив с ее стороны к тебе некоторую склонность, надутый своей родословной и княжеством, не захотел допустить даже возможности своего свойства с тобой, дворянином неизвестного происхождения.

Чесменский промолчал.

Он думал: "Чтобы я позволил себе вмешать ее имя, чтобы я позволил себе лгать, клеветать, и на кого же — на нее? Грязнить своей клеветой ее чистое имя? Никогда, никогда! Пусть лучше меня разорвут на части, слова не скажу, но такой подлости я не сделаю никогда и ни за что!"

В кабинете Екатерины из-за драпри дверей показалась тучная и довольно неуклюжая фигура санкт-петербургского обер-полицмейстера бригадира Никиты Ивановича Рылеева, в мундире Измайловского полка прежнего покроя, с высоким, шитым золотом, срезным воротником, напоминающим боярский козырь, в белом галстухе, ботфортах, черном шелковом с серебряными полосами шарфе, коротенькой шпаге, торчавшей с левого бока как вертел, и в кресте св. Анны на шее, украшенном бриллиантами.

Показавшись из-за драпри, обер-полицмейстер остановился у дверей и низко поклонился, касаясь рукою пола. Потом он стал тихо приподниматься, выправляя свою тучную фигуру и склоняя в то же время голову, будто боясь вдруг показать государыне свое круглое и красное лицо.

Он знал, что его не похвалят, поэтому всеми мерами старался протянуть время до той минуты, когда придется выслушать выговор, и этой самой протяжкой думал смягчить, если можно, предстоящий гнев.

— Что это, господин бригадир, — сурово и

строго начала Екатерина. — Вы с ума сошли, что ли, или сходить было не с чего? Что такое вы там выдумали? Что вы хотели сделать с моим Сутерландом?

— Виноват, Ваше величество, Вы изволили приказать... — хриплым голосом начал говорить Рылеев.

— Что? Я приказать? Вы сумасшедший, совсем сумасшедший! Или вы думаете, что у вас государыня помешанная, или такая кровопийца, что на людей кидается? Который раз я вам говорю: "Не поняли, спросите, а не бросайтесь, будто вас с цепи спустили". Ну скажите, чем теперь вознаградить смятение, испуг, наконец, отчаяние... Ведь это до того глупо, до того глупо, что не верится, чтобы человек с разумом мог такую глупость выдумать! Хорошо же вы думаете о вашей государыне, когда полагали, что она может приказать такую глупость!..

Бригадир и кавалер Никита Иванович Рылеев молчал. Он сам сознавал, что глупости, которую он сделал, не было ни пределов, ни извинения, но... но... ведь он хотел... он думал... он думал, что первое дело исполнить

приказание, а потом уже рассуждать. И он пыхтел и краснел от гнева Екатерины, чувствуя себя под грозою, и еще какою грозою!

Холодный пот выступал на его лбу, лицо покрылось пурпуром. Но он молчал, сознавая, что каждое слово его только более рассердит государыню.

Дело в том, что накануне, когда он утром явился во дворец с донесением о происшествиях дня, государыня сказала:

— Ведь у тебя, Рылеев, при полиции служит, кажется, препаровщик, который умеет чучела из зверей и птиц набивать? Вели, пожалуйста, набить чучелу из Сутерланда и отошли ее от моего имени в кунсткамеру; пусть поберегут как редкость. Особенно тщательно желала бы я сохранить уши и ноги; действительно, такие редко можно встретить. Позаботься!

Рылеев посмотрел на государыню с изумлением, но видя, что она говорит серьезно, не смел возражать.

Его молчание было тем естественнее, что Сутерланд был банкир и на всякий праздник не забывал ни обер-полицмейстера, ни дру-

гих великих людей мира, так что у обер-полицмейстера, вместе с прочими особами, было, как говорят, "рыльце в пушку". Беда, если сделанным вопросом себя выдашь! Поневоле молчать приходится.

Получив такое приказание, наш бригадир и кавалер, не говоря дурного слова, хотя и с крайним сожалением, но как верный исполнитель сейчас же отправился к своему доброму банкиру. Что делать, служба прежде всего!

Сутерланд принял его почтительно и ласково.

"Зачем бы и так рано? — подумал он, когда ему доложили о санкт-петербургском обер-полицмейстере. — Верно, перехватить хочет, просить перед праздниками. Ну что ж? Он человек хороший; если сумма небольшая, можно и дать!"

С этою мыслью он велел просить Рылеева в кабинет и встретил его у дверей. Тут его поразило, что обер-полицмейстер вошел к нему в полной форме и с двумя урядниками, заменявшими тогда нынешних жандармов.

— Простите, мейн гер, — начал неопределенно Рылеев, бледнея и потряхивая своею

рукою, когда-то раненною под Очаковом, — простите, что я к вам с тяжким и крайне неприятным поручением. Видит Бог, я не виноват! Я сам чуть не плачу, приступая к столь тяжелому поручению. Знаю, что вы немец добрый, и все мы вам весьма благодарны и очень обязаны, но... но... Не понимаю, что государыне вздумалось... но, вы сами знаете, наше дело не рассуждать, а исполнять. Я готов, со своей стороны, сделать все, что могу, но... но воля государыни должна быть исполнена.

От такого вступления Сутерланд побледнел; он тоже чувствовал за собою грешки. Последние два миллиона, внесенные в его контору из государственного казначейства для перевода в Лондон, переведены еще не были, хотя от времени их взноса прошел целый год. И ему пришло на мысль: "Вдруг узнали?"

— Что такое, господин бригадир? Что вы хотите сказать? Что такое приказала ваша государыня? Неужели вы, без всякого даже предварительного вопроса, пришли меня арестовать?

— Эх, мейн гер, об этом не стоило бы и го-

ворить! Ну арестовал бы и опять бы выпустил, а под арестом мы бы похлопотали, чтобы вам не было скучно.

— Так что же, господин бригадир, неужели так-таки без слова хотите выслать меня из Петербурга, из России?

— Мейн гер, я не думаю, чтобы такая высылка огорчила вас. С денежками везде хорошо, везде Петербург. А ваша честь, кажется, в денежках не особенно нуждаться изволите! Нет, не о высылке речь, а... а... Я вам сказал, что так как вы человек добрый, нашего брата забывать не изволили, и я вам очень, очень и премного обязан, то я и готов, как я вам докладывал, все, что могу...

— Так что же? Государыня приказала меня послать в Сибирь, на каторгу?

— Э, господин банкир, и из Сибири возвращаются, и с каторги прощают! К сожалению, должен вам сказать хуже.

— Хуже? Так что ж? Неужели она без суда определила мне смертную казнь? Это было бы уже совсем по-турецки. И не думаю, чтобы столь великая и милостивая государыня... Что же, скажите, она приказала: повесить, от-

рубить голову? Не томите меня, господин бригадир, скажите прямо! Я не боюсь смерти! Но так, без суда...

— Хуже, мейн гер, еще хуже! Она приказала сделать из вас чучелу.

— Что? Чучелу?

— Да, мейн гер, — слезливо проговорил Рылеев, — приказала сделать чучелу и препроводить в кунсткамеру, причем особо изволила указать, чтобы в возможной степени сохранить ваши уши и ноги, как редкость. Я, разумеется, верный исполнитель приказаний государыни, но со своей стороны принял все меры, чтобы такой переход ваш из жизни в число редкостей кунсткамеры совершился не только возможно менее для вас мучительно, но даже с некоторою приятностью. Для того я пригласил с собою двух докторов, которые обещают наркотизировать вас опиум так, что вы и не заметите, как препаровщик из-под вашей кожи вынет мясо и положит туда вату с опилками и отрубями. Одним словом, поверьте, мейн гер, что от меня зависит — будет сделано все.

— Господин бригадир, скажите, вы не со-

шли с ума?

— О, мейн гер, я был бы счастлив, если бы на эту минуту был сумасшедшим! Я готов сойти с ума, чтобы только не иметь несчастья видеть потерю столь хорошего и доброго человека, каким считаю я вас, господин банкир. К сожалению, я должен вам сказать, что приказание государыни было столь определено, что не может быть сомнения, что это именно ее воля; так что если бы в настоящую минуту я действительно с ума сошел, то от этого несколько не изменилась бы сущность дела и...

— Когда же вы думаете меня препарировать?

— Да сию минуту, с вашего дозволения, господин банкир, если вы изволите пожелать. Вы знаете, что высочайшее повеление откладывать нельзя.

— Как, вы не позволите мне даже проститься с семейством, написать письма?

— Об этом государыня ничего не изволила приказывать, поэтому думаю, что если вы не захотите моим дозволением злоупотреблять, то я могу дозволить. Но предупреждаю, что выйти от вас или вас выпустить, не исполнив

высочайшего повеления, я не могу. Не забудьте, что завтра утром о доставлении вас в правление академии наук, для помещения в кунсткамере, я должен буду государыне рапортовать, а ведь препарация тоже требует времени.

— Нет, нет, господин бригадир, я не буду злоупотреблять вашим дозволением; я напишу только два коротеньких письма. Надеюсь, что в ту же минуту получу ответ.

Сутерланд написал действительно два коротеньких письма: одно к князю Платону Александровичу Зубову, а другое — к французскому посланнику Сегюру, которых именем всего святого умолял разъяснить, действительно ли могло последовать такое приказание государыни, чтобы из него сделали новый препарат для изучения человеческого организма, или обер-полицмейстер просто помешался и таковое приказание слышал в своем расстроенном воображении.

Не прошло четверти часа, в квартиру Сутерланда прибыл церемониймейстер государыни граф Александр Сергеевич Строганов и освободил бедного банкира из его горького

положения. Недоумение разъяснилось тем, что несколько месяцев назад банкир преподнес государыне прелестную собачку, с необыкновенно красивыми ножками и необыкновенно длинными ушами. Государыня прозвала эту собачку по имени дарителя — Сутерланд. Этот маленький Сутерланд вскоре окошел. Государыня хотела сохранить хотя внешний его вид и вздумала сделать из него чучелу. Приказание, отданное о приготовлении чучелы, чуть не стоило жизни бедному банкиру. О существовании собачки Сутерланда Рылеев никогда не слыхал.

Государыня очень огорчилась этою историею и постаралась загладить перед банкиром неприятное впечатление приглашением его к вечернему собранию в Эрмитаже. Вместе с тем она сочла своею обязанностью намылить хорошенько обер-полицмейстеру голову, думая в то же время про себя:

"Правда, глуп до нелепости, зато исполнительен до самоотрицания. Поневоле приходится пощадить!"

Несмотря на эту внутреннюю мысль, бригадиру Рылееву пришлось выслушать жесто-

кую нотацию, так что он уже думал:

"Погиб! Кончено! Погиб! Выгонит непременно, а выгонит, так и под суд отдаст! Купцы-шельмецы сейчас с жалобами явятся. Одно слово: "Погиб!"

Однако государыня его не выгнала и после нотации обратилась уже снисходительно с вопросом:

— Что нового в городе?

У обер-полицмейстера во время нотации вылетело было из головы все, что он полагал докладывать; однако ж он скоро оправился и начал говорить о найденных замерзшими, об опившихся, повесившихся и прочих, хотя и видел, что для государыни его рассказ вовсе не занимателен. Вдруг он вспомнил, что ему говорили о том, что сегодня или завтра должна быть интересная дуэль между корнетом Чесменским и Преображенским секунд-майором князем Гагариным; насмерть, говорят, драться будут! Государыню это заинтересует. И он стал докладывать о дуэли.

— Что, какая дуэль?

— Между князем Гагариным и корнетом Чесменским.

— Из-за чего?

— Разно говорят, Ваше императорское величество. Одни говорят, что Чесменский приехал к Гагарину одетым не так, как следовало, и князь обиделся; другие рассказывают, что у Гагарина есть свояченица, молодая Ильина, с хорошим приданым девица; Чесменский будто за нею приударил и хотел увезти, а Гагарину досадно стало.

— На Чесменского, этого мальчика?

— Он уж офицер, Ваше величество, гусарский корнет!

— Знаю. Но он мальчик... Помешать! Не допустить! Я не хочу никакой дуэли! Слышишь, я не хочу, чтобы эта дуэль состоялась!

— Слушаю, Ваше величество.

— Ну, с Богом, да чтобы дуэли этой не было! Ты понял?

— Как не понять, Ваше величество! Дуэли не будет.

— Всего лучше, пришли Гагарина ко мне. С Богом!

Обер-полицмейстер исчез, опять после низкого поклона, касаясь рукою земли, а государыня вошла в спальню.

Глава 3. Доклад

В спальне государыни было уже приготовлено все к приему ее первого, утреннего доклада.

Подле самой стены, неподалеку от двери, ведущей из спальни в кабинет, был поставлен стул с высокой спинкой, обитой штофом; к стулу были придвинуты два полуовальные, выгибные столика, поставленные таким образом, что выгибы их приходились один против другого наружу, причем один приходился против стула, приготовленного для государыни, а другой — против стула докладчика. На каждом из столиков стояли по два шандала с зажженными десятью свечами. Стул для докладчика был с низенькой резной спинкой, и подле него стояла низенькая этажерка. На столике, приходящемся к стулу, приготовленному для государыни, стояла великолепная бронзовая чернильница, лежали перья, карандаши и другие письменные принадлежности; впереди, у самого выгиба, на краю стола, лежала чистая бумага.

Двери из китайской комнаты и уборной в

спальню приходились справа против стула, на котором государыня принимала доклад. Прямо против обеих этих дверей, между окнами, была расположена великолепная красного дерева с бронзою киота, с драгоценным образом Казанской Божией Матери, старинного письма, в золотой ризе, осыпанной бриллиантами и яхонтами. Перед образом горела неугасимая лампада и несколько восковых свечей. Стена, противоположная той, подле которой ставился стул государыни, прикрывалась голубой штофной драпировкой, за которой, в алькове, на возвышении стояла широкая кровать с высокими тьюфьями в штофных чехлах. По сторонам кровати были поставлены широкие трюмо, за которыми из алькова был виден тоже драпированный шелком проход, ведущий в ванную, гардеробную и другие внутренние комнаты. Против алькова и кровати был расположен небольшой фонтан, состоящий из маленького золотого амура, льющего воду в серебряный бассейн.

Государыня, войдя в спальню, в ту же минуту села на приготовленный для нее стул и

позвонила.

Явился по звонку опять тот же камердинер Кошечкин.

Екатерина взглянула на него хмуро. Она полагала, что довольно ее звонка, чтобы угадать, чего она желает.

Но Кошечкину и в голову не приходила такая требовательность, и он стоял перед государыней, уставя глаза и не зная, что сказать.

— Позови фельдмаршала! — сказала Екатерина сурово и подумала: "Ну что за радость выбирать себе неспособных и еще как: чем неспособнее, тем лучше, чем скорее, тем ответственнее". Это сказала себе Екатерина, между тем, как служебный выбор возвращается именно на этом силлогизме людского тщеславия, желающего всегда видеть кругом себя только тех, которые ниже его во всех отношениях.

Камердинер исчез, вошел Суворов.

Не обращая ни малейшего внимания на императрицу, сидящую на своем стуле у столиков, он прошел мимо, прямо к образу Казанской Божией Матери, и не торопясь, медленно, с чувством и расстановкой положил

перед образом три полных земных поклона. После он обратился к императрице и сделал ей также один полный земной поклон.

— Что ты, Александр Васильевич, не стыдно ли? Ты меня конфузишь! — сказала государыня.

— Не тебе, матушка царица, не тебе. Я кланяюсь своей надежде, а надежд у меня одна — ты!

— Полно, садись! Дело есть?

Суворов сел напротив.

— Самое важное, — отвечал он. — Пришел взглянуть на тебя, как на наше красное солнышко. Не сердись на старика, которую неделю не вижу, так и скучно, а увидел и запел...

И он сейчас же пропел свое "кукареку". Государыня улыбнулась и протянула ему руку. Суворов почтительно поцеловал и стал говорить о приучении каре выдерживать кавалерийскую атаку.

— Я этого не понимаю, мой дорогой фельд-маршал. В этом уже я полагаюсь на вас.

— А ты разрешаешь, матушка? Скажи, ты разрешаешь?

— Разумеется, я разрешаю все, что на поль-

зу и добро.

— И слава Богу! Ура, кукареку! — Он встал и стал прощаться.

— С Богом, с Богом, — повторила государыня, — не забывай навещать!

Суворов ушел; государыня велела позвать Дмитрия Петровича Трощинского.

— Что у тебя, Трощинский? — спросила она, подавая ему руку после его низкого поклона. — Садись!

— Мемория о баварском наследстве и прусском короле, — отвечал Трощинский, садясь.

— Отложи ее, я прочитаю уже с князем Платоном Александровичем и графом Марковым и потом пришло за тобой. А вот я хотела тебя просить, распорядись как-нибудь по моему дому. Я чуть у себя аутодафе не произвела. Встала я сегодня очень рано. Не более шести часов было, хотелось написать побольше. Только мне показалось холодно; чтобы никого не тревожить, я подошла к камину и сама зажгла подложенную под дрова бумагу и бересту; камин вспыхнул. Вдруг раздался страшный крик. Я ужасно испугалась. В трубе оказался мальчик-трубочист. Я, можно ска-

зять, сама себя не вспомнила, однако ж позволила. Спасибо, на мой звонок старик Зотов прибежал. Выкинули дрова, вытащили мальчика, а все очень неприятно. Он хоть и не обжегся, но от испуга едва не помешался. Да и я то, признаться, не меньше его перетрусил. Нельзя ли как распорядиться, чтобы мою каминную трубу с вечера чистили, что ли, или чтобы, когда чистят, закрывали чем-нибудь камин? Передай ты об этом Строганову. Он может что и придумает.

Слова "с Богом!" отпустили и Трощинского.

За Трощинским следовали другие, и так шло до 12 часов, когда государыня встала и пошла в уборную, где ожидали ее все перечисленные камердинером лица.

Она вошла, поклонившись по-мужски направо, налево и прямо подошла к зеркалу в то время, как присутствующие отвечивали ей низкие поклоны, касаясь рукою земли. Подле зеркала стояла уже одна из ее любимых камер-фрау Алексеева, со льдом и полотенцем, подле нее две сестры девицы Зверевы с булавами и гречанка Палокучи с чепчиками.

В то же время у зеркала очутился и ее

шталмейстер Лев Александрович Нарышкин и церемониймейстер граф Александр Сергеевич Строганов, исправлявший в то время должность обер-гофмаршала, — ее всегдашние собеседники во время ее туалета. Они начали ей рассказывать городские новости и слухи, между прочим упомянули и о предстоящей дуэли.

— Этой дуэли не будет, — сказала государыня, — я не хочу!

Прибранная государыня обошла всех, кого еще она не видела, между прочим сказала любезность и смоленскому губернатору.

Но только что он, веселый и довольный, собрался ехать из дворца, его попросили вновь к государыне. Он вошел за камердинером в бриллиантовую комнату. Там, кроме государыни и Строганова, не было никого.

— Что это у тебя, — спросила государыня сурово, — иезуиты католичество распространять вздумали, а? На что ж ты губернатор? Чтобы этого не было! Слышишь? Ты отвечаешь мне головой. Я не пожалею, не пощажу!.. — Она сказала это так, что бедный губернатор невольно коснулся своей головы, как

бы желая удостовериться, на месте ли она еще у него или уже он думает без головы.

— Больше ничего, с Богом! Но помни, что я тебе сказала: отвечаешь головой!

— Бедняга! — проговорил Строганов, когда тот ушел. — А он был так счастлив от вашего всемилостивейшего слова!

— Что ж, я хвалю при всех, а браню с глазу на глаз. Это мое правило!

— А знаете ли, государыня, какая действительная причина дуэли, о которой говорили и которая не сегодня-завтра будет составлять одну из самых свеженьких новостей для болтовни в гостиных.

— Какая?

— Усы!

— Усы! Это что еще за история?

— Да, усы, Ваше величество. — И Строганов рассказал, что слышал от лейб-гусаров.

— Тем более я должна принять меры, чтобы такой дуэли не допустить.

В это время ей доложили, что прибыл князь Гагарин.

— Хотя мне уже время одеваться к обеду, — сказала государыня, — но делать нечего, зови!

Уходи, Строганов, чтобы мне намылить ему шею с глазу на глаз. С мальчиком вздумал связаться, и еще из-за усов.

Нужно познакомить читателей с Ильиными, из коих одна была за князем Гагариным, другая жила у Гагарина в доме в качестве девицы-невесты, а брат их, полковник Ильин, был один из любимых адъютантов графа Захара Григорьевича Чернышева, поэтому пользовался не совсем обыкновенным вниманием общества того времени, обращавшего свое внимание только на тех, кто имеет какое-либо отношение к фавору.

Отец их, генерал Павел Антонович Ильин считался одним из исполнительнейших генералов екатерининского времени. Он был не только хороший исполнитель, но, можно сказать, артист исполнения, ибо доводил точность своей исполнительности до пределов возможного. Он стремился обыкновенно исполнять поручаемые ему дела так, чтобы в каждый момент каждая черта этого дела, не только в общем, но и в частности, постоянно соответствовала желанию делавшего ему по-

ручения.

Разумеется, такая исполнительность вызывала к нему чрезвычайное сочувствие тогдашнего фавора, тем более что он был не Рылеев, не делал ничего не думая, и никакого нет сомнения, не бросился бы набивать чучелу из банкира Сутерланда. Его исполнительность была тем и хороша, что всегда была осмыслена, хотя и доводилась иногда до такой точности, что иногда, право, не уступала событию с Сутерландом.

Один раз, например, под Очаковым, Светлейший, в минуту хандры, неудовольствий и злобной апатии, какие иногда на него находили, вздумал ему указать на два татарских села и сказал: "Распорядись, Ильин, чтобы духу их не было!" Провинились ли чем жители этих сел или просто мешали планам Светлейшего, этого Ильин не знал, да и знать не хотел. Он должен был распорядиться и распорядился.

Ранним утром он окружил эти села двойною цепью, на возвышенностях поставил артиллерию. Устроив резервы и открыв дело артиллерийским огнем, он умышленно разгоря-

чил войска, вызвав в них ожесточение. Потом повел их штурмовать эти села с внушением: не делай пощады ни старому, ни малому. "Чтобы собака не могла ускользнуть!" — говорил он. И точно, не ускользнули даже собаки; перебили всех зауряд, не жалея ни пола, ни возраста, хотя атакованные таким образом села почти не сопротивлялись. "Беда кого-нибудь оставить, — рассуждал исполнительный Ильин, хотя был вовсе не злой человек, — оставишь там мальчишку или девчонку, или старика — плакать станут, пищи просить, а Светлейший сказал, чтобы и духа не было".

Ну перебили всех, даже до собаки, стало быть и дело с концом. Не тут-то было. Исполнительный генерал сообразил, что ведь трупы разлагаться станут, станут гнить, стало быть, как бы глубоко их не зарыли, будет дух, а Светлейший именно говорил... Вот он и решил связать всех убитых вместе и привязать к ним три-четыре бочки смолы, жердей, хворосту, негодных досок и всякой другой горючей дряни, все это зажечь и пустить вниз по Днестру в море, за осаждаемую крепость. Тогда уж именно духу не будет, да если бы и

принесся из-за крепости какой-либо дух, то это уж будет дух турецкий, а не татарский, так как крепость-то турки защищают.

Как было не любить такого исполнителя екатерининским самодурам, особенно если принять во внимание то, что попасть в случай он не искал, интриговать никогда ни против кого не интриговал и во всем всегда всецело уступал. И точно его любили все, начиная от подозрительного, но высокоразумного фельдмаршала графа Румянцева—Задунайского до великолепного лентяя и именно великого человека на грандиозные предположения и малые дела Потемкина, даже до хитрого, гениального, напускающего на себя великую придурь Суворова и до блестящего Зубова, а также искреннего весельчака и мота Нарышкина и остряка Строганова, даже до не менее точных исполнительниц, чем он сам, разумеется в другом роде, Протасовой, Брюс, Нарышкиной и Перекусихиной. И такая общая любовь к нему была понятна. Во-первых, он был не честолюбив; лучше сказать, его честолюбие ограничивалось только получением хлебного местечка, выгодной командиро-

вочкой, наделом небольшого, дворов в 500, имения; во-вторых, он был угодлив: всем угождал и угождал мастерски, не роняя своего достоинства и не давая даже заметить, что он желает угодить.

Эти свойства, при всеобщем расположении, давали ему возможность непрерывно получать то одно, то другое выгодное порученье. То пошлют его баранов покупать, то контрибуцию собирать, а то и богатой областью управлять. Потом, в представлении, будто ошибкой, глядишь и его имя упомянуто, хоть он и в деле не был. А там глядишь и землю отмежуют, и деревеньку дадут; да все это помаленечку да потихонечку, так что никто и не замечал. Ну да война войной, а есть и мирные занятия. Матушка царица любит, кто и в войне и в мире делом занят; хвалит Румянцева хозяйство, хвалит и поддерживает фабрикантов и купцов. Разумеется, он не станет проситься в третьей гильдии купечество, как граф Апраксин, так что государыня послала узнать, не помешался ли он; но и без записки в гильдию мало ли есть дела; вот, например, в откупа войти, Москву взять на от-

куп. Такого точного исполнителя и любимого генерала никакая купеческая шельма не захочет обсчитывать, он во многом и многом полезен будет, а тут ведь можно деньги нажить и еще какие деньги.

Таким-то путем бескорыстия и самоотрицания у исполнительного генерала Павла Антоновича Ильина, когда ему еще и пятидесяти лет не было, из пяти родовых отцовских душ стало десять тысяч душ отличного имения, то есть ровно столько, сколько успел себе в то время вытянуть от Екатерины граф Алексей Григорьевич Орлов—Чесменский, хотя о роскоши последнего и о щедрых наградах, им полученных, чуть не кричал целый мир, тогда как о генерале Ильине не говорил никто. Правда, Орлов и сам себя кое-чем наградил, хозяйничая безотчетно в Италии; ну да и генерал Ильин, говорят, не положил себе охулки на руки, спаивая крещеный народ в Москве.

Разумеется, такой точный и аккуратный исполнитель своих обязанностей не мог не быть счастлив в своей семейной жизни. Он женился рано, когда его способности практи-

ческой жизни еще не обозначились с такою рельефностью, с какою обозначились впоследствии. Тем не менее жена его, Авдотья Ивановна Кудрина, мелкая дворяночка Тульской губернии, из выведенных в дворянство прокурорских и секретарских детей, души не чаяла в своем супруге. Она, кажется, думала, что один только ее муж и есть совершенный мужчина на свете. Воспитываясь чуть ли не под строгими правилами Домостроя, усиленного еще секретарским крючкотворством, и можно сказать, сама не зная как, по родительскому благословению, она сделалась супругою молодого соседа, про которого говорили: "В нем будет путь", и она всю душу свою положила в него. Ее постоянною заботою, постоянною мыслью было: "А что скажет, что подумает он, ее Павел Антонович?" Разумеется, ему никогда в голову не приходило прибегнуть к родительским увещаниям, да и не за что было, ввиду того, что жена только и делала, что смотрела ему в глаза, стараясь всеми силами ему угодить. Тем не менее дедовская плетка у нее всегда была в памяти, и она ни минуты не задумалась бы ее подать, если

бы Павел Антонович, рассердившись на какой-нибудь непорядок в доме, ей это приказал и велел бы поклониться, чтобы ее милый друг мог с удобством поучить ее несколькими ударами по ее нежным плечам. Потом она не задумалась бы поцеловать эту бившую ее руку, признавая свое послушание мужу первым долгом, первую христианскою добродетелью женщины и счастливой жены.

Плодом этого счастливого брака были две дочери и сын. Разность лет между старшей и младшей дочерью была более десяти лет; сын был средний между ними, так что, когда старшая сестра, Юлия Павловна выходила замуж за князя Гагарина, младшая, Наденька, была еще совершенный ребенок, говоривший, что она хочет выйти замуж за папу или за Анну Матвеевну, старушку, бывшую еще нянюшкой Авдотьи Ивановны и потом поступившую ей в приданое, чтобы нянчиться с ее детьми. Выполнив вполне добросовестно, то есть выхлыв и выкормив сперва Юлию Павловну, потом Павла Павловича, она теперь выхаживала и баловала со всею силою своей старческой нежности маленькую Надечку,

сердцясь страшно, что эта ее милая барышня не отдана под ее исключительный надзор, а подчинена наблюдению еще двух нянек, немки и француженки, нанятых исполнительным генералом, потому что, соответственно своему настоящему, увеличившемуся состоянию, он считал себя обязанным дать дочери воспитание, требуемое веком и жизнью, тем более что жена, добрая, милая, послушная, его милая Дунюшка, с которой столько лет он считал себя счастливейшим человеком, прохворав с неделю, неожиданно скончалась, прижимая в последний раз его руку к своим оледеневающим губам.

Оставшись одиноким вдовцом с детьми на руках, Павел Антонович не вдался ни в разврат, ни в пьянство и не потерялся в своей деятельности. Напротив, он стал еще строже, еще исполнительнее, отчего становился, разумеется, богаче и богаче; но богател он все время так, что о его богатстве никто ничего не говорил, до того даже, что когда, потеряв жену, он устроил ей пышные похороны, то Москва говорила: "Бедняк, помешался с горя, не знает куда и деньги бросать; и что тут удивительно-

го, больше двадцати лет жили душа в душу. А попы тому и рады, ишь сколько их понаехало!"

Когда Павел Антонович схоронил свою жену, старшей дочери его Юлии было уже семнадцать лет, и он скоро выдал ее замуж за князя Гагарина, секунд-майора Преображенского полка (что равнялось тогда генерал-майору армии), камергера и кавалера, хотя он был человек еще молодой и красивый. Он был человек не бедный и в ходу, стало быть, партия была вполне приличная. Да как и не найти было ему приличной партии для своей дочери, когда он, при замужестве, наградил ее вотчиной тысячи в три душ; да и деньгами, говорят, отсыпал столь приличный куш, что Гагарин и не ожидал. Она же у него была красавица. Сын почти в то же время, мальчишкой лет пятнадцати поступил на службу, вместе с преображенцами был взят Орловым в Италию и отличился в Чесменской битве вместе со своим двоюродным дядей, лейтенантом Ильиным, командовавшим брандерами. У него в доме осталась одна Надежка. На ней исполнительный генерал и со-

единил всю свою нежность. Он любил ее за всех: и за покойную ее мать, скромное послушание и любовь которой столько лет окружали его полным счастьем, незабываемым ими на одну минуту до сих пор; и за ее сестру, теперь гордую и строгую княгиню, делающую своею жизнью честь своему отцу; и за сына, долженствующего быть единственным представителем его имени. Более — в своей Наденьке он любил свою служебную исполнительность, свой успех жизни, спокойствие и утешение своей старости. Она была для него все, была радость, развлечение, мечта. О чем мог мечтать он, уже старик, почти взявший от жизни все, что жизнь могла ему дать.

Разумеется, о дочери и только о дочери, об этом шаловливом, веселом ребенке, бегающем перед его глазами, скачущем по стульям и столам и целующем его начинающую лысеть голову. Сын хорошо служит, утешает его, уже в офицеры произведен; но он далеко. Замужняя дочь тоже не с ним, она в Петербурге; да и замужняя дочь — отрезанный ломоть. Но этот ребенок, ребенок милый, живой, вечно поющий, вечно веселый, будто птичка Божия,

этот ребенок дает все, что только есть светлого и чистого в жизни, что только может радовать старость.

А такая беспредельная любовь отца, исполнительного и любимого генерала, обладающего значительным состоянием, разумеется, вызывала общее баловство его милой Нади. И выростала хорошенькая Надя под влиянием этого всеобщего баловства и исполнения малейших прихотей знакомыми и незнакомыми, выполняемыми всеми тем с большим рвением, что она была действительно милый, прелестный, шаловливый ребенок, на которого невольно засмотришься, а иногда невольно задумаешься. "Что-то будет, — думалось, — с этим ребенком в будущем, когда она окунется в эту жизнь, способную разрушить всякую иллюзию юности".

Таким образом росла Надя в Москве; девица-шалунья, как прозвала ее Москва, балуемая и любимая бесконечно отцом, у которого была только одна забота — любить ее и утешать, и пожалуй, другая — наживать. Он наживал много, очень много, и не по жадности — нет; он уже давно сказал себе: доволь-

но; но во-первых, потому, что получаемых доходов прожить ему было некуда, да и что без пути проживать; во-вторых, потому, что к деньгам деньги всегда сами просятся, а московский откуп, который чуть ли не полностью начал принадлежать ему, хотя формально и не за ним числился, давал большой доход; наконец, и потому, что он уже привык наживать и ему показалось бы странно, если бы прошел месяц и его состояние хоть чем-нибудь не увеличилось.

Из всего рассказанного здесь видно, что девицы Ильины были невесты не бедные и князь Гагарин знал, что делал, когда женился на одной из них. Но Москва ничего этого не хотела знать и кричала, что будто он влюбился без памяти и женился по страсти, вопреки желанию своей матери, старой княгини Гагариной, которая будто никак не хотела помириться с мыслью, что сын ее женится на какой-то Ильиной, дед которой в их Тульской губернии, бывало, вместе со своими тремя крепостными работниками сам за косулей шел и был уж именно, что называется, мелкопоместным, так как за ним числилось всего

только пять ревизских душ; да отец-то ее сам, как мальчишкой был, без сапог бегал.

Но вот настали времена очаковские. Турки объявили России войну. Светлейший, завистливо смотревший на военную славу Румянцева и Суворова, захотел и себя украсить лаврами победы. Он принял на себя командование армией и поехал осаждать Очаков. Проезжая через Москву, он вспомнил об исполнительном генерале и потребовал, чтобы он ехал с ним. Ильину очень не хотелось ехать, но отказать Светлейшему было опасно. Делать было нечего, нужно было оставить все, расстаться со своей шалуньей Надинькой и ехать куда-то, куда его теперь уже не тянули ни возможность наживы, ни честолюбивые замыслы. Но слово Потемкина не могло быть не принято, и он уехал, отправив свою милую шалунью на житье до своего возвращения к старшей сестре, княгине Гагариной. Там она и встретила молодого Чесменского.

Чесменский был уже капрал или вахмистр кавалергардов, стало быть армейский майор, ему было не более восемнадцати лет. Про него говорили, что он находится под особым

покровительством государыни. Генерал-прокурор князь Александр Алексеевич Вяземский был его крестный отец, графиня Татьяна Семеновна Чернышева — крестная мать. В нем принимали участие Орловы, Чернышевы, Панины, стало быть к фавору вообще он был близок, имел к нему отношение. При таких условиях легко служить, хотя никто наверное не знал, откуда ему все сие. Понятно, что его принимали и ласкали всюду. "Он должен далеко пойти", — говорили про него и относились к нему сочувственно. У княгини Гагариной он был частым гостем. Тогда он был вполне юноша, добродушный, веселый, не думающий о завтрашнем дне; да ему нечего было и думать, когда ему все само будто с неба валилось.

Молоденький вахмистр кавалергардов не мог не остановить на себе внимание тринадцатилетней девочки-шалуньи, как звала Москва Надиньку Ильину.

И в самом деле, избалованная всеми, кого только она знала и видела и более всего исполнителем генералом, ее отцом, она была шалунья страшная. Ни минуты не могла она

пробыть, чтобы не прыгать, не смеяться, не выдумывать какую-нибудь шалость, невинную конечно, иногда даже милую, но все же шалость, переходящую иногда пределы приличия. То она вместе с персиками подаст искусно сделанный персик из мороженого или в виноград вмешает восковую кисть; то уговорит старика соседа проплясать с ней русскую; то нарядится старухой и явится в гостиную: раз гримировалась так искусно, что сам отец ее не узнал; а не то начнет передразнивать архимандрита Донского монастыря и в течение получаса почти к каждому слову своему прибавляет "того". "Вы того пожаловали бы того к нам, мы бы того угостили вас того рыбой, прямо того с Астрахани" и т. д.; но смешнее всего было, когда она начнет разговаривать в таком роде с самим архимандритом, который ничего не замечал.

К этим шалостям примешивались иногда и пришивание к французскому кафтану хвоста или положение в кошелек напудренной косы живого мышонка, причем приносился и кот Васька, желавший, разумеется, по своему кошачьему характеру вытащить мышонка из

кошелька, куда его шалунья-девица посадила, и, разумеется, не для того, чтобы его выпустить.

В Москве ей все сходило с рук. Одно слово "шалунья-девица", и дело с концом, — "хорошая, добрая, но шалунья страшная".

— Хоть бы раз ее отец посек хорошенько, — говорили москвичи. — Право, посек бы, а то хорошо ли? Скоро надо замуж выдавать, а она минуты без какой-нибудь шалости не посидит.

— Вот хоть на месяц ее к Михаилу Федотычу в дочки, — заметил на это какой-то любитель дисциплины и исправительных мероприятий, — тот разом бы вышколил, всякую придурь разом бы, как рукою, снял.

— Да, у того сразу бы шелковая стала. На что, говорят, были разбойники Белогородский полк. Отдали в дивизию Михаилу Федотовичу и, глядишь, месяца не прошло, тише воды, ниже травы стали!

Михаил Федотович, этот московский идеал исправления нравов, введения послушания, благонравия и других семейных добродетелей, был не кто иной, как известный гене-

рал-аншеф граф Каменский. Он был из тех отцов и генералов, которые твердо помнили заветное для них слово: "любя наказует" и до того абсолютно применяли это правило к жизни, что когда как-то раз во время, маневров в виду неприятеля его старшему сыну графу Сергею Михайловичу, мужчине лет тридцати с хвостиком и уже полковнику, случилось в чем-то промедлить против его приказа, то он, в виду всех, велел ему скинуть полковничий мундир и собственноручно отпустил по спине двадцать пять ударов арапником; а когда, от имени императрицы, у него потребовали объяснения, по какому праву он позволяет себе оскорблять ее полковников, то он, не обинуясь, отвечал, что полковников ее величества он никогда не оскорблял, но высек сына за неисправность и непослушание.

— Хорошо, что он не дожил до того, как его младшего сына, графа Николая Михайловича произвели в фельдмаршалы, а то он, пожалуй, и фельдмаршала бы вздумал высесть, как отец, хотя сам был только генерал-аншеф, тем более что граф Николай Михайлович фельдмаршалом был сделан очень молодым, лет

двадцати четырех, не более.

— И, пожалуй, вышла бы старинная русская расправа, — заметил князь Адам Чарторыйский, рассказывая этот анекдот императору Александру Павловичу, когда последний был уже на престоле: — Генерал-аншеф велел бы высечь фельдмаршала, как отец сына, а потом фельдмаршал высек бы генерал-аншефа, как фельдмаршал своего генерала.

Государь улыбнулся только на замечание Чарторыйского и проговорил, будто нехотя:

— Другие времена, другие нравы, другие и понятия!

Так вот к какому папеньке отправляла Москва свою любимицу, свою девицу-шалунью, о шалостях которой постоянно рассказывались анекдоты, развлекавшие вместе с рассказами об исполнении диких затей графа Орлова—Чесменского праздное внимание москвичей. Москвичи сознавали, что исполнительный генерал хотя и был себе на уме человек, хотя и отличался во всем точностью и исполнительностью, но дочке дал такую волю, распустил так, что ей и удержу нет, и что не худо бы ее отдать на выправку тому, кому

отдают на исправление распущенные и избалованные полки. Но скоро и без Михаила Федотовича пришлось ей попасть в школу такую, что лучше всякого арапника вышколит. Ей пришлось попасть в петербургский большой свет и еще какой большой свет — екатерининского времени, а тогда не то что ныне! Она переехала на временное жительство в строгий дом князя Николая Никитича Гагарина и своей родной сестры княгини Юлии Павловны Гагариной, успевшей усвоить уже под руководством своей матушки-тещи, княгини Анны Васильевны Гагариной, урожденной Салтыковой, все великосветские петербургские строгости, всю недоступность французского аристократизма.

Дом Гагариных в то время отличался самым безукоризненным соблюдением великосветского этикета. Он стоял на Дворцовой набережной, почти прямо против Алексеевского равелина Петропавловской крепости. Дом был большой, трехэтажный, с садом и флигелями, выходившими на Луговую Миллионную. Сперва, в то время, когда центром города предполагалась Петербургская сторона, он от-

страивался, чтобы быть загородным убежищем родового князя-вельможи, полагавшего, что нет предела его княжеской мощи. Но когда гнев Петра Великого и наказание, которому князь Гагарин подвергся перед окнами сената, посбили его вельможную спесь, то летние палаты были переделаны и обращены в постоянное местопребывание опального вельможи, которого почему-то не пожелали отпустить на покой в Москву. После его смерти, сын его держал тот же тон недоступности, хотя и являлся не только при дворе, но и в передних тогдашних временщиков. Впрочем, не являться тогда было опасно, как раз к Андрею Ивановичу Ушакову в переделку попадешь. Внук его женился на Салтыковой, причитавшейся сродни императрице Анне Иоанновне и отец которой, Василий Федорович, успел оказать ей важную услугу при ее восшествии на престол. Ясно, что это подняло начинавший упадать старинный княжеский дом, связав его родственными узами со всею тогдашнею знатью, со всеми влиятельными людьми того времени. Он умер, не дожив преклонных лет и оставив на попечении супруги своей

Анны Васильевны, урожденной Салтыковой, двух сыновей: Петра Никитича и Николая Никитича.

Несмотря на то что ни служебное положение покойного, ни его состояние, хотя и довольно значительное, но далеко не то, которое имел дед, не давали никаких условий исключительности, но княгиня поддерживала тон, сохранившийся в их семействе еще со времен опалы их деда, — тон строгой неприступности и самой изысканной чопорности.

Мы сказали, что дом их стоял на Дворцовой набережной и был трехэтажный. Бельэтаж занимала сама старая княгиня Анна Васильевна, первый этаж ее женатые сыновья: Петр Никитич, женившийся на княжне Голицыной, и Николай Никитич, женившийся на Ильиной, что действительно весьма коробило старую княгиню, находившую, что Ильины, хотя и старинная дворянская фамилия, хотя отец супруги ее сына заслуженный генерал и наградил свою дочь не менее, чем мог бы наградить ее какой бы то там ни было князь, но все же эта женитьба, по ее мнению, далеко не соответствовала родовой важности

князей Гагариных, ведущих свою родословную прямо от Рюрика.

Но объясняя несоответственность выбора невесты своим вторым сыном, княгиня Анна Васильевна не думала восставать против самого факта. Напротив, она очень полюбила молодую княгиню Юлию Павловну Гагарину, только требовала от нее, чтобы она была настоящая княгиня Гагарина и, если можно, то позабыла бы совсем, что она была когда-то чем-нибудь другим. Она от нее требовала, чтобы каждый взгляд ее говорил, что она не простая смертная, а княгиня, и еще какая княгиня, которая имеет источник своего происхождения и важности в самой княгине Анне Васильевне.

Каждый из сыновей, равно как и сама Анна Васильевна, хотя и жили в одном доме, но имели каждый свое отдельное хозяйство, свой стол, свой прием, свой выезд. Но они оба, со своими супругами и детьми, два раза в неделю, в воскресенье и в четверг, обязательно должны были непременно обедать у матери. И ни один, ни при каком случае, не смел бы явиться к ней не в полной форме, как бы

явился он во дворец, то есть в шитом кафтане, в чулках, башмаках и напудренным; точно так же, как и их жены непременно должны были являться к обеду у матушки-тещи с открытым лифом, в фижмах и в прическе а la Помпадур или а la Севинье. Даже дети не могли явиться к своей бабушке иначе, как быв завитыми и раздушенными а la jeunesse de Louis XV и непременно с золотою бонбоньеркою, подражанием табакерке в руках. Третий этаж был занят приживалками и пенсионерками старой княгини. Прислуга помещалась во флигелях.

Все живущие в доме должны были подчиняться всем правилам самого строгого этикета, принятого княгиней. Они могли являться к старой княгине не иначе как только по особым приглашениям или испросив предварительно ее разрешения. Беда, если кто-нибудь из живущих вздумал сделать малейшее отступление от установленного порядка. Такие немедленно были наказаны остракизмом и лишены навсегда счастья видеть княжеские очи неприступной княгини.

Раз в месяц княгиня Анна Васильевна удо-

стаивала, по очереди, посещением своих сыновей и обедала у них. И Боже мой, какой это был торжественный день, к которому Петр Никитич и Николай Никитич должны были готовиться, если не за день, то непременно накануне. Они должны были озаботиться составлением меню, которое было бы приятно их матери и не напоминало бы ей ни одного меню из бывших за обедом в последние дни у нее самой. Потом они должны были пригласить ей собеседников, чем-нибудь замечательных, непременно принадлежащих к высшему обществу и вообще приятных, чтобы матушка не сказала потом, что она обедала с какими-то мастодонтами времен патриарха Никона. Затем они должны были иметь в виду составление после обеда для матушки партии в вист, рокамболь или ломбер, игры, которые старая княгиня признавала аристократическими, не допуская у себя ни берлана, ни игры в три-три, хотя эти игры были приняты в то время при дворе и были любимыми играми обеих ее сыновей и обеих невесток. Она не запрещала им играть в них, только не при ней. "А то, пожалуй, скоро подкаретную вве-

дут в гостиной", — говорила она. Во время игры требовалось выполнение всех условий этикета, установленного в Версале для игры у лучезарнейшего короля, каким признавал себя Людовик XIV; поэтому всякий должен был помнить, с кем он играет и где играет.

Когда князь Петр Никитич воротился из Семилетней войны, раненный в ногу, так что ему не было возможности надеть чулка, то много было разговоров о том, как он увидится со своею матерью. После разных предположений было решено, что он увидится с ней у себя, для чего мать удостоит его спуститься к нему, а он ее примет, сидя в вольтеровских креслах, одетый в полный парад, но в одном чулке, имея другую ногу, забинтованную и уложенную в синий бархатный мешок.

Самый вход в этот дом напускной важности и изысканного этикета останавливал уже каждого от всякого нарушения порядка. Напротив самых входных дверей, на площадке, ступеней на пять выше входа, сидел швейцар, приличной толстоты и роста, в голубой livree и перевязи, обшитой серебряным галуном с гербами князей Гагариных, и с серебря-

ною булавою, голова которой из-за серебряных кистей представляла художественно сделанную эмалью голову черного медведя. Внизу у дверей стояли два его помощника, они отворяли двери и принимали верхнее платье. Швейцар же, встав со стула, не трогался с места, отдавая честь своей булавой только заведомо важным посетителям. По его звонку, будто из-под земли являлись на лестнице четыре человека официантов, в комнатной лирее, в напудренных париках, чистых перчатках, чулках и башмаках. Перед дверьми молодых князей направо и налево показывались два арапа. Наверху стоял старик дворецкий, княжеский барин, обыкновенно толстый, пузатый, с золотою цепью на камзоле и привесками и печатками на животе. Его дело было принять имя посетителя, передать камердинеру для доклада и указать, смотря по званию и положению посетителя, комнату, в которой тот должен ожидать приглашения по сделанном докладе. В третий этаж по парадной лестнице хода не было. Если брат хотел навестить брата или невестки повидаться между собою, то это делалось не иначе как с предваритель-

ным извещением; вечера же проводились вместе не иначе как по предварительному приглашению.

Можно себе представить, какую скуку должна была чувствовать девица-шалунья Надинька Ильина, когда судьба заставила ее, хотя временно, поместиться у сестры. Она почувствовала себя разом будто связанною, будто в тюрьме, под гнетом самых строгих условий, когда она должна была рассчитывать каждый свой шаг, каждое свое слово — она, привыкшая не стесняться никакими условиями в мире, не останавливаться ни перед чем, как полная хозяйка в доме не чаявшего души в ней отца. Она проснетя. Еще рано, ей хочется понежиться в постеле, а ей говорят: ждет парикмахер убирать волосы. Ну пусть ждет! Ей намекают, что парикмахера нанимает старая княгиня, платит по часам, так не совсем ловко будет заставить за себя платить, без всякой нужды, ожидающему и считающему часы парикмахеру. По неволе приходилось вставать и отдавать свою голову в распоряжение парикмахера. Вот она встала, убрала голову, выпила свой шоколад, хотелось бы

прогуляться. В Петербурге редко погода бывает так хороша. Нельзя. Сестрица княгиня Юлия Павловна изволят ехать с визитом и берут с собой обоих выездных, а нельзя же ей идти без человека!.. Вот и сестрица приехала. Но уже пора одеваться к обеду. Сегодня у них обедают супруга сенатора Державина, Иван Петрович Лопухин и князь Борис Александрович Куракин. Неловко, если сестрице придется заставить их ожидать!

И так все и во всем: того нельзя, это не принято, другое неприлично! Это напоминает московское мещанство! Это старые обычаи, от которых мы должны отвыкать, от которых должны освободиться. Это не употребляется в хорошем обществе; это противоречит изящному вкусу, царствующей моде, принятым правилам вежливости и приличия. И то не так, и это не эдак, не перевернись и не довернись. Скука, тоска и только!

Среди такой тоски и скуки можно себе вообразить, как наша девица-шалунья обрадовалась, встретив у сестры — у которой собирались большею частью люди солидные, в чинах, лентах, с важным положением — мо-

Молоденького кавалергардского капрала Чесменского, с которым и поболтать и посмеяться можно, который не обижается, если над ним чем-нибудь и подшутить, и всегда с удовольствием спешит оказать всякую услугу.. Девице-шалунье он показался находкой, кладом, посланным ей в утешение от страшной скуки великолепной петербургской жизни.

И вот в первый же раз, как он был, она, разболтавшись с ним, его обманула, уверив, что загадала, о чем думала, и уговорила взять за кончик одну из поданных ему ленточек. Он взял, а ленточка-то и прилипла к пальцам. Он старался оторвать и только больше путался. Как она смеялась! А он нисколько не рассердился, сказал только, что в порядке вещей мужчине прилепиться к той, даже цветочные цепи которой неразрываемы. Она не помнит, как это он сказал, но помнит, что сказал что-то очень любезное, приятное.

И ждала его наша шалунья всегда с нетерпением: она всегда придумывала, какую бы шалость, какую бы новую шутку с ним устроить. Молоденький капрал всегда принимал эту шутку с удовольствием и первым же сме-

ялся, если ей удавалось в чем-нибудь его обмануть.

Но, говорят, девицы тем и опасны, что, проводя с ними время и входя в их интересы, непременно поддашься их очарованию. Так случилось и с Чесменским. Сперва он смеялся, шутил, отшучивался просто, без всякой мысли, ради взаимного естественного удовольствия. Болтать с хорошенькой, веселой девушкой, почти ребенком, но, можно сказать, ребенком уже осмысленным, отдыхать душой, слушая ее лепет, опасно и не девятнадцатилетнему юнкеру. А тут именно отдых и от всей утомительности скучного этикета и натянутого положения. И день за днем его стало тянуть к Гагариным, в этот скучный дом, где он с удовольствием стал проводить целые вечера, тогда как прежде с трудом просиживал четверть часа визита, обусловленного приличием. Эта девочка, с ее веселым смехом, гармоническим голосом, вьющимися волосами, легкой, неслышной походкой и грациозными движениями, становилась более и более дорога ему. Ему с ней становилось легко, отрадно, становилось светлее, радостнее.

Ее фантазия, всегда игривая, улыбка, иногда насмешливая, но всегда добрая, симпатичная, шутки, подчас, особенно когда сестры нет в гостиной и она услышать не может, не совсем сдержанные; юмористический рассказ или юмористически пропетый романс, оживляли его, успокаивали, привлекали. И он сам, не замечая того, начал о ней думать, начал мечтать. Наконец, ему стало скучно без нее. С нетерпением стал он ждать дня, когда мог идти к Гагариным. Он, казалось, если бы мог, не отходил бы от нее. Без нее он начинал тосковать.

Тут он опомнился.

"Что я? К чему я? Чего я добиваюсь? — думал он. — Неужели ее и своего несчастья? За меня ее не отдадут, чего же я хочу?"

Но эти вопросы, эти сомнения, если и ведут к чему-нибудь, то никак не тогда, когда юноше только 19 лет и когда 14-летняя девушка полною и совершенною наивностью своею старается разбить в своем собеседнике всякие сомнения. Несколько раз он хотел пересилить себя, забыть, но его опять будто волшебною силою тянуло, так что он начинал сам не

осознавать себя. В это время подошло его производство, и гусарский обычай не ездить в свет невольно должен был прекратить его посещения, которые, впрочем, не могли не прекратиться уже и потому, что Гагарины уехали в деревню.

Прошло месяцев девять или десять, как Чесменский был лейб-гусарским корнетом. Гагарины возвратились из деревни, и точно ли нужда в должных ему по картам четырех империалах или другое неудержимое чувство заставило его вновь явиться в их гостиной, только его посещение кончилось весьма неудачно. Николай Никитич, хотя уже человек довольно солидный, в летах, почтил его своим вызовом.

"Что же делать! Ну пусть убьет, если хочет. Мне и так тяжело жить! А тут Кандалинцев говорит: причину дуэли объясни ее именем, ври, хвастай, говори о благосклонности, когда он видел только доброту".

— Ни за что, ни за что! Пусть полк делает что хочет, но ее имя для меня слишком дорого, чтобы я позволил себе. Ни за что! — отвечал он Кандалинцеву. — Это было бы бесчест-

но, я презирал бы после того самого себя...

С невольною дрожью в сердце князь Николай Никитич Гагарин входил в китайскую комнату собственных покоев государыни в Зимнем дворце, куда его пригласил Рылеев. "Что бы такое? Зачем бы?" — невольно спрашивал он себя, идя вслед за старым, любимым камердинером государыни Захаром Константиновичем Зотовым, доверенность к которому государыни была столь велика, что она иногда поручала ему наблюдать за случайными людьми, находящимися в приближении и фаворе, ее любимцами.

Недавно еще только он уловил паренька — так называл Зотов молодого любимца государыни графа Дмитриева—Мамонова — что мысли у него, как флюгер, и от солнца звездами лобуетя. Недавно и за новым любимцем ездил смотреть. Да нет! Этот или почестолюбивее, или поискуснее — не ловится. А хорошо бы тоже поймать было! Не любил Зубова Зотов, а за что, сам не знает, не любил, да и все тут! То ли бы дело вот хоть бы этот: ну, князь родовой, да и посолиднее, а то что? Да нет, не на ту сторону клонит, не на то ведет!

И Гагарин понимал, что не на то идет. Не обер-полицмейстер привез бы приглашение, если бы он мог ожидать чего-нибудь для себя приятного "Непременно достанется, — говорил он себе, — только за что?"

"Не проболтался ли я где? — думал Гагарин. — Не Зубов ли пожаловался? Впрочем, кажется, не за что?" И он невольно робел.

Относительно дуэли ему и в голову не приходило полагать, чтобы она могла быть причиной приглашения его к государыне. Правда, говорили, что Екатерина сочиняет строгий закон о дуэлях; но пока этот закон не выдан, на дуэли вообще смотрели сквозь пальцы, полагая, что они поддерживают воинственность настроения в армии. Поэтому о дуэли Гагарин решительно ничего не думал. В чем же дело?

Гагарин знал хорошо, что его не подвергнут ни истязаниям пытки, ни смертной казни, что могло бы случиться при Бироне; знал, что государыня не станет ни допрашивать, ни на имение его налегать. Но он знал также, что Екатерина как награждать, так и наказывать умеет и, пожалуй, распорядится так, что

и без пытки пожалеешь о пытке.

Поэтому невольно екнуло сердце Гагарина, когда Зотов, отворив двери в китайскую комнату, дальше не пошел и остановился у дверей. Ясно, государыня там. Войти нужно. Гагарин вошел с невольным чувством сомнения и страха.

Все писатели, хроникеры, частные лица в записках, письмах, преданиях говорят о необыкновенной выразительности глаз Екатерины и необыкновенной подвижности ее улыбки. Когда она хотела кого обласкать, то светло-голубые глаза ее обдавали того каким-то светом особой мягкости, особой доброты и производили чарующее впечатление; обаяние улыбки ее в это время было изумительно. Она как бы сияла от нежности, от сочувствия, от любви ко всему окружающему. Екатерина никогда не была хороша, даже смолоду, но она была лучше, ее лицо было выразительно, а глаза и улыбка ее очаровательны. Зато, когда она хотела выразить чувства противоположные, когда ее охватывали досада, гнев, ненависть, то глаза ее как-то темнели, начинали отсвечивать сталью, по-

лучали какую-то непонятную неподвижность и из-под нахмуренных бровей императрицы смотрели так, что никто не выдерживал ее взгляда, и долго не забывал его тот, кому случилось его вызвать. Недаром Петр III говорил, что боится глядеть в глаза своей жены, и он был справедлив. Взгляда ненависти Екатерины можно было бояться, и его нельзя было забыть. Равным образом и ее улыбку. При чувстве неудовольствия ее нижняя челюсть подавалась несколько вперед и придавала выражению ее лица такую жесткость, такое тяжелое упорство, вызывающее даже легкое дрожание ее верхней губы, которые не забывались никогда. Вот таким-то взглядом, такой-то улыбкой Екатерина встретила входящего Гагарина. Перед такой грозой он совершенно потерялся.

— Что это, князь, вы нонче в бретеры записались, дуэлями промышлять начинаете? — заговорила Екатерина, когда он вошел. — И при этом ваши вызовы направляете прямо на меня, да еще как, вызывая мальчиков на дуэль за то, что они с точностью исполняют мои повеления? Гагарина эти слова будто обдали

варом. Его даже прошиб пот. Бессознательно, машинально, совершенно под влиянием внешней давящей силы он опустился на колени.

— Вы вызвали лейб-гусара на дуэль за то, что он, исполняя мое повеление, носит установленную мной форму?

— Виноват, всемилостивейшая государыня, не подумал я, не знал... и он... он... — мог только проговорить Гагарин.

— Так это правда? — сказала она. — Чего же вы хотели? Вы хотели, чтобы целый полк оказал мне непослушание? Вы вызвали на дуэль из-за усов, стало быть, желали, чтобы, вопреки моей воле, гусары перестали носить усы?

Екатерина сама несколько замялась, высказывая это неприличное по тогдашним понятиям слово, хотя она любила называть вещи их настоящими именами и, подражая старинным русским барыням, не задумывалась употреблять иногда не только на словах, но и на письме такого рода выражения, которые не всегда удобно напечатать. И тут она замялась только на мгновение, но потом сказала

ясно и твердо:

— Из-за усов, которые носить я установила? И вызвали мальчика, которому нет еще двадцати лет?

— Ваше величество, — вдруг вздумал сказать Гагарин, — никогда я не смел и не думал идти противу ваших всемилостивейших повелений. Но здесь усы были только один вид, служили только предлогом.

— Предлог? А действительная причина?

— Причина, Ваше величество, та, что случайно познакомившись с Чесменским и пригласив его к себе, я не имел в виду, что откроется война и мне придется приютить у себя мою свояченицу, дочь генерала Ильина. Взяв же на свое попечение молодую девушку, я должен за нее ответственность. Чесменский видимо за ней ухаживает, несмотря на то что и я, и моя жена княгиня не один раз давали ему явно почувствовать, что его ухаживанье совершенно неуместно. Наконец, мы были вынуждены дать ему понять, что его частые посещения нам неприятны и что мы будем рады, если он исключит наш дом из числа своих знакомых. Жена моя заметила, что его уха-

живанье начинает уже смущать молодую девушку. Он перестал ездить, но продолжал свое, встречая свояченицу у многих общих знакомых. Тут подоспело его производство и он перестал выезжать. Мы думали, что этим все и кончится, тем более что жена с сестрой своей уехали в деревню. Но вот они воротились, и он, к нашему огорчению, незванный-непрошенный вдруг явился опять. Я счел себя обязанным потребовать объяснения, и вот... Позволю себе доложить Вашему величеству, что никто из всепреданнейших вам подданных никогда не осмелится и подумать идти противу священнейших повелений ваших; но тут был только предлог, придирка...

— Отчего же вам так не нравится ухаживанье Чесменского за вашей свояченицей? — спросила Екатерина.

— Помилуйте, Ваше величество, она дочь генерала, девушка с состоянием, столбовая дворянка. На одной сестре женат я, Ваше величество.

— А Чесменский? — самолюбиво спросила Екатерина.

— Незвестного происхождения, Ваше ве-

личество.

— Он дворянин, он записан дворянином! Иначе он не мог бы служить в моей конной гвардии, — горячо и нервно проговорила Екатерина.

— Неизвестного происхождения, Ваше величество! — повторил Гагарин механически, повторил так, как, может быть, предки его, бояре, когда-то тоже механически, по преемственному обычаю, сползали за царским обедом со скамьи, на которую их насильно посадили, под стол и твердили свое: "Твоя воля, батюшка государь, вели хоть голову снять, хотя батогами на подклети до смерти избить, а сидеть мне ниже собачьего сына Васютки Анучина не можно. Его дед в служивых подьячих был, прадед псарем, и только с его отца Анучины боярскими детьми считаться начали; а мы заведомо родовые князья и твоей царской чести всегда в ближних боярах служили и воеводствами заправляли! Да и мать его, да и отца его... да и сам он, молокосос эдакий, кнутом был бит". И дальше, дальше начинали перебирать, правду ли, не правду ли, все равно, было бы обидно.

А в это время седой как лунь боярин Василий Евтихеевич Анучин, обозванный молоко-сосом, вставал со своего места и бил челом в оскорблении, хотя в сущности нисколько не оскорблялся, а был очень доволен, потому что знал, что Гагарин врет от досады, по обычаю. И все знали, что он врет.

Точь-в-точь, так же механически, преемственно, по обычаю, нисколько не думая ни о последствиях своих слов, ни о том, что государыня его словами может действительно оскорбиться, повторил он вновь свои слова:

— Неизвестного происхождения, Ваше величество, поэтому в родство с князьями Гагариными ему вступать не приходится!

Екатерина рассердилась окончательно. Из стального, упорного взгляда ее сверкнула искра. Губы судорожно заходили. Машинально она засучила рукава своего капота и большими шагами прошла несколько раз по кабинету.

— Неизвестного происхождения, смеете вы сказать! — прикрикнула она. — Неизвестного происхождения, когда он записан дворянином по высочайшему повелению! Или вы

осмеливаетесь судить и даже осуждать поступки вашей государыни? Вы, должно быть, забыли пример, который на вашем же роде показал император Петр Великий, и смаете рассуждать!.. Неизвестного происхождения, скажите! Местничество, по-вашему, что ли, ввести нужно?..

Гагарин опешил. Ему пришло в голову: "Ну, а как он ее сын?"

— Он известного происхождения, милостивый государь, — продолжала Екатерина нервно. — И хотя не мой сын, но я его покровительница! Он сын графа Алексея Григорьевича Орлова—Чесменского. Того Орлова, на которого опиралась ваша государыня, вступая на престол! Заслуги которого отечеству не может не признать каждый, и их признает ваша государыня. Того Орлова, который столько раз вел русский флот к победе, кто чесменским делом дал России морское значение. Того Орлова, который в то время, когда вы забавлялись каруселями и развратничали, гонясь за крепостными девками и приезжими актрисами, посвящал себя службе своей государыне... Происхождение определяется заслу-

гами, милостивый государь! А где и в чем ваши заслуги? В праздности, в пустоте, в самолюбивом чванстве! И вы сравниваете себя с ним? Извольте идти вон! Я не хочу вас видеть. Но чтобы этой дуэли не было, я не хочу! Слышите! Иначе я над вами повторю пример, который показал Петр Великий. Слышите? Извольте идти!

Гагарин вышел совершенно отуманенный. Государыня рассердилась так, как он никогда и не слышал, чтобы она сердилась.

Выйдя в кавалергардский зал, он увидел обер-полицмейстера, стоявшего на вытяжке, двух кавалергардов и двух гусар. Их пригласил догадливый Николай Константинович Зотов, на случай, если Ее Величеству угодно будет сделать какое-либо распоряжение. Однако ж распоряжения никакого не последовало. Государыня позвала к себе только одного Рылеева и повторила ему свою волю, чтобы дуэли не было ни в каком случае и ни под каким предлогом и видом.

Она с Рылеевым говорила уже спокойно и, отпустив его, велела звать вице-канцлера Остермана, чтобы принять второй доклад.

Глава 4. Кто кого перебежит?

За много лет до того, как юноше Чесменскому пришлось отстаивать свои едва пробившиеся усы, за столько лет, что тогда еще он и не родился, Екатерина была глубоко поражена и даже оскорблена другою дуэлью, о которой до сих пор не могла вспомнить без содрогания.

Она собиралась ехать в Москву, праздновать заключение Кучук—Кайнарджицкого мира с Турцией. Ей хотелось, чтобы торжество было полное. После стольких побед на суше и на море, после уничтожения всех крамол, интриг, кляуз, затруднений она желала самым торжеством выразить чувство своего удовольствия. Празднование она решила устроить в Москве — сердце России. Екатерина знала, что этим она вызовет в народе себе сочувствие, а она очень дорожила всем, что дорого народу. Теперь с нетерпением она ожидала известия о ратификации трактата. Она желала мира. Жертвы войны становились для России уже слишком тяжкими. Но она желала мира славного, каков и был Ку-

чук—Кайнарджикский в предположенном проекте. Она невольно сомневалась. Она помнила, что три года назад козни и интриги врагов разрушили конгресс в Фокшанах, а конгресс этот давал России то же, что и теперь. "И я должна была без всякой пользы для себя вести войну еще три года, — думала Екатерина. — Что если этот выгодный, этот славный для моего царствования трактат и теперь не будет подписан? И опять война? Но Россия уже истощена, у нее уже нет средств. И так принесены были жертвы чрезвычайные. Но нет, нет! Они подпишут! Трактат состоится. Турция истощена несравненно более, чем Россия. У Турции средств еще менее. Для нее мир еще необходимее!.. Но отчего же дело идет так медленно, чисто по-турецки? Чего тянуть?"

Екатерине наскучило ждать, и она выехала из Петербурга, написав Румянцеву и Репнину, чтобы ратификованный трактат прислали к ней прямо в Москву, с тем, чтобы по его получении немедленно начать предполагаемое торжество. "Все же в Москве я на неделю времени буду ближе ко всем вестям", —

думала она.

Екатерина была очень весела. Да как было и не быть веселою и довольною Екатерине, когда все события, будто нарочно, располагались так, чтобы ее возвышать, успокаивать, тешить ее самолюбие; когда самые, казалось, враждебные обстоятельства обращались ей в пользу, унижали ее врагов и завистников? Пугачев был пойман и сложил уже свою буйную голову; самозванку везут, Голицын в Петербурге ее допросит. "Во всяком случае я ее не выпущу из рук", — думала Екатерина. Все эти внутренние враги, эти мелкие заговорщики пойманы, посрамлены, уничтожены; а тут слава Кагула, Чесмы, ее законодательства — величие и красота ее сооружений. "Теперь Крым будет отделен от Турции, — думает государыня, — и, естественно, подчинится влиянию России... должен подчиниться — прибавила она. — А вот прусский король делает мне лестное предложение, да! Лестное и выгодное предложение. Одного боюсь: "плут большой" этот прусский король, этот Фридрих или Фриц, как его прозвали немцы! Но предложение точно выгодное. Он предлагает,

в возврат всех жертв войны и за отдачу назад Турции завоеванной мною Молдавии, взять у Польши старинные, коренные русские области, почти сплошь занятые православным населением. Это предложение тем уже хорошо, что избавляет от опасности новой войны — войны более трудной, чем турецкая — с австро-венгерской королевою Марией—Терезией, которую, разумеется, будет поддерживать и Германия, так как германский император Иосиф — ее родной сын, наследник и соправитель, а Мария—Терезия признает присоединение Молдавии к России в такой степени вредным для своих и германских интересов, что решилась во что бы то ни стало тому препятствовать. Прусский король предлагает выход. Разумеется, он главное хлопочет о себе. Тут ему придется хорошенький кусочек даром.

Да кто же не хлопочет о себе? К тому же и войны ему не хочется. После Семилетней войны, когда, говорят, он уже и пистолет сам для себя зарядил, он против войны всеми мерами... Но и мне, обсуждала Екатерина, присоединение польских областей, предлагаемых

Фридрихом, выгодно. Оно, во-первых, прекращает одно из неприятнейших дел с Польшею о диссидентах — дело, в котором замешана моя честь, страдает мое самолюбие и которое поляки, по упорству и под влиянием фанатических учений, Бог знает куда тянут: так что легко может выйти, что придется воевать с ними и без прусского короля. Этим, обдумывала Екатерина, границы Империи округляются, средства наши усиливаются присоединением областей с развитою культурою и трудолюбивым населением; наконец, я становлюсь собирательницею русской земли, как Иван III и Петр I, и мое имя не забудет история. Одним словом, все идет хорошо, все как по маслу, только скорей бы трактат! Скорей бы ратификованный султаном трактат".

Но в то же время как она это обсуждала, стремясь к принятию мер, охраняющих, обезопасивающих и усиливающих государство, кругом нее, между лицами, самыми к ней близкими, кипела зависть, велась интрига, глухая, внутренняя, подземная, тем не менее упорная и деятельная. Дело в том, что придворные заметили, что самый близкий госу-

дарыне человек, ее любимец, генерал-адъютант Александр Семенович Васильчиков ей страшно наскучил. Она не только избегала оставаться с ним с глазу на глаз, но положительно раздражалась, когда ей докладывали, что он к ней явился. "Не сегодня-завтра она непременно его от себя отпустит", — говорили придворные. "Кто же будет на его месте?" Этот вопрос занимал собою всех.

Граф Никита Иванович Панин всего более боялся, чтобы не возвратился опять граф Григорий Григорьевич Орлов. Ему так трудно было его удалить. Почти десять лет бился, сам десять раз был на волоске. Да и не удалось бы, несмотря на все его дикие выходки и бешеный характер, если бы самому не пришла в голову глупость ехать на конгресс в Фокшаны. Ну, удалось, и вдруг опять. "Беда! — думал Панин. — Теперь он знает, что я шел против него, и, разумеется, не простит. Орловы не такие мальчишки, чтобы обиды забывали. Нужно не допустить, во что бы то ни стало не допустить! Пусть возьмет кого хочет, только бы не его".

Чернышевым было недовольно того, что-

бы не возвратился Орлов, хотя они также с возвратом его теряли всякое влияние — им еще нужно было, чтобы место Орлова не занял кто-нибудь из старой аристократии. Они знали, что старая аристократия очень их не жалует, как продукт нового быта. А потеря влияния людям честолюбивым, пронырливым и умеющим извлекать себе из этого влияния пользу, была чуть ли не хуже смерти.

Князь Александр Алексеевич Вяземский, напротив, стоял за своих. Ему очень хотелось, чтобы государыня приблизила к себе кого-нибудь из Трубецких, Барятинских, Голицыных, Куракиных. Со всеми у него было знакомство, со всеми связи, родство. Он не прочь был и от Нарышкиных, Лопухиных и Стрешневых, но не желал Салтыковых, хотя тоже и с ними был в свойстве. Он боялся салтыковского честолюбия.

Николай Иванович Салтыков тоже, пожалуй, не прочь бы и от старой аристократии; он не боялся и новых выскочек, помощью фавора его положение было прочно. Но он очень боялся усиления влияния Вяземского и Панина. Таким образом, все сторожили, вы-

скакивали, держали, как говорят, ухо востро, все хотели вперед уловить, на ком остановится взгляд Екатерины.

Но взгляд Екатерины пока не останавливался ни на ком. Удовлетворенная в своем самолюбии, занятая предстоящим торжеством и видимым выражением к ней народного сочувствия, развлеченная необходимостью приема множества новых лиц, — она только и думала о том, чтобы скорее получить ратификованный трактат и войти в соглашение с прусским королем о Польше. К тому же жизнь, полная мысли, литературный труд и многообразные сношения отвлекали ее от идей, которые могли бы давать пищу ее воображению. Она скучала только с Васильчиковым, по совершенной его неспособности войти хоть сколько-нибудь в общественные интересы, но нисколько не интересовалась никем другим.

— Мне некогда скучать, некогда и фантазировать, — говорила Екатерина близким к ней дамам, которые, желая выведать ее мысли, нарочно заговаривали о своих мечтах, о скуке обыденной жизни и неудовлетворенных желаниях. — У меня теперь одно жела-

ние, — говорила Екатерина, — получить подписанный трактат!

С этим трактатом из армии, от Румянцева летел на курьерских, не переводя дух и не жалея ни арапника для спин ямщиков, ни рублей им на водку, молодой генерал Григорий Александрович Потемкин.

Он добился своего. Фельдмаршал поручил ему отвезти и представить государыне подлинный, подписанный султаном мирный трактат. Кроме того, фельдмаршал дал ему несколько поручений к государыне и еще особое письмо, в котором, выражаясь весьма лестно о его личных военных заслугах, писал о многом таком, что давало ему повод к неоднократному и интимному докладу государыне.

"Этим можно и должно воспользоваться, — думал Потемкин. — Оно и дано мне с тем, чтобы я этим воспользовался".

"Да, — думал он, подпрыгивая в своей курьерской повозке, которую приходилось ему то ставить на полозья, то опять поднимать на колесный ход, — добился! Будет ли только в этом толк?.. А стоило же это мне, черт возь-

ми! — вспоминал Потемкин. — Почти два года возился; все равно что воз на себе вез; какое — хуже! И сравнения не выдумаешь!.. Тяжело, очень тяжело было! Оно не то тяжело, что приходилось всюду на рожон лезть, как сумасшедшему... это бы еще куда ни шло! Ну, снял бы там какой-нибудь бешеный турок голову или уложила бы турецкая пуля — и делу был бы конец. Жизнь — копейка, о ней ни думать, ни жалеть нечего! Но было досадно, было обидно, что капризник наш будто ничего не видит; что я ни делаю — решительно не замечает. Ясно — умышленно! Не хотел видеть, потому и не видел. И случаи-то еще какие попадались, будто нарочно, прямо перед его глазами, а он все ничего, будто не заметил, или будто иначе и не бывает, будто ничего особого и не было. И ни полслова, ни за что!.. Ну, думаю, черт с тобою, ты не хочешь ничего видеть — другие видят. Я свое дело буду делать. Может быть, через кого-нибудь и дойдет. По крайней мере, никто не скажет, что Потемкин на войне свою голову берег, о жизни своей думал. Да пропадай она совсем, жизнь-то эта! Не нужна она мне..."

— Пошел, пошел! — закричал Потемкин на ямщика, заметив, что тот хотел дать перевести дух лошадям.

За этим возгласом повозка опять понеслась во весь дух.

"Дело не в том, чтобы жить, а в том как жить? — продолжал рассуждать про себя Потемкин. — Это вопрос, это дело! Пожить бы хоть немного, да хорошо. А то... Вот, например, если бы мне пришлось снова ухаживать за нашим полугениальным, полусумасшедшим фельдмаршалом, за этим отставным ловеласом, мотом, игроком; за этим скабресником, с которым не знал, как и управиться Фридрих Великий, когда он был в Берлине, в то время, как он управлялся со всею Европою, а теперь обратившимся в подозрительную ханжу; за капризником и лицемером, который, кажется, чуть ли не на своем носу видит дьявола; притом, таким хитрецом, что он и дьявола-то, кажется, хочет надуть; хитрецом, который в Молдавии, за три тысячи верст, видит, что делается в Петербурге, и зорко следит за всем, что может коснуться его самолюбия или выгод. Впрочем, всегда и везде он был

хитрецом. Еще в детстве, говорят, он, мальчишкою, сумел семь нянек проводить, да так, что раз, убежав от них, попал в прорубь. А потом, быв уже офицером, в Берлине, когда Фридрих с ума сходил от его скандалов и, по просьбе его отца, Александра Ивановича, велел отыскать и арестовать его во что бы то ни стало для отправки в Россию, он сумел явиться к тамошнему обер-полицмейстеру под чужим именем и предложил свои услуги поймать самого себя. И за такую обещанную им услугу успел две награды схватить — это от немцев-то! — хотя, разумеется, самого себя не отыскал и не поймал. Зато потом, генералом уже, у того же короля прусского лучшую его крепость Кольберг после того, как три генерала под нею зубы сломали и не знали, как ноги унести, сразу из-под носа выхватил, будто из рук унес. Так если бы с эдаким хитрецом, баловнем судьбы с детства, капризником в квадрате, да таким капризником, который сердится, кажется, на то, что крепости не падают от одного его взгляда, а потом и на то, зачем они падают прежде, чем он все свои соображения атаки употребит, — если бы с та-

ким капризником пришлось мне снова возиться, снова рассеивать его предубеждения против меня, заискивать его расположение, то, право, кажется, я бы с ума сошел. Он, право, жестче всякой турецкой пули, опаснее всякого делибаша... А я повозился-таки, покорившись необходимости. Притворился таким поклонником, что и сам себе поверил, что выше, умнее и славнее Петра Александровича Румянцева в мире человека нет — и вот добился. Он прямо за меня. Теперь еще ступень, последняя решительная ступень — добыюсь ли?.."

Потемкин задумался. Он знал, что его примут милостиво. Он жданный и нетерпеливо жданный гость. Ему будут рады, засыплют наградами. Но что все это значит? Как это все ничтожно, как далеко от его желаний, от его мечты! Ну, генерал-поручик, александровский кавалер, да хоть бы и генерал-аншеф, не все ли равно? Удовлетворит ли это его честолюбие, его замыслы? Нисколько. Ну, дадут деревню в пятьсот, ну тысячу, ну полторы тысячи душ — ужасно нужно!

"Я все-таки буду так же беден, как и те-

перь. Дали же мне деревню. Вот после "Петербуржского действия", в 300 душ, но от того ни-сколь-ко не менее я стал нуждаться. Ну денег дадут, я их проживу — и только! Вот быть первым человеком, иметь власть, по своему произволу карать и миловать; иметь силу, хоть бы такую, что если бы я захотел, то мог бы нашего капризника, ханжу и фокусника, генерал-фельдмаршала, со всею его хитростью и пронырством в дугу согнуть, в тартарары упрятать — другое дело! Это было бы уже что-нибудь! Это было бы уже не генерал-поручик, не генерал-аншеф, а было бы нечто, было бы кое-что! А то спрячусь в монастырь, убегу в скит, на Афонскую гору, и буду там просфоры печь да каноны распевать. Не то в воду брошусь. А ничтожеством не хочу быть. Не хочу — и только!.. Да и почему мне не быть человеком? — вдруг спросил себя Потемкин. — Почему не быть в случае, в милости, в фаворе? Чем я хуже других, хоть бы этого пресловутого Гришки Орлова? Я и сам Григорий, и уж, разумеется, от того не хуже, что Александрович, а не Григорьевич. Учился я лучше его, больше его и, во всяком случае,

знаю больше, чем он, потому что он, сколько мне известно, ровно ничего не знает, хотя и попал в бомбардирскую роту и по артиллерии сдавал экзамен. Ну да что экзамен, когда есть деньги и протекция. А у него и деньги, и протекция были. Она, кто что бы не говорил, а была в это время великая княгиня и могла поддержать. В позапрошлом году он отличился, показал свои знания. На экзамене юнкеров, говорят, осрамился так, что, кажется, я после того на свет бы Божий не захотел глядеть: а ему ничего, вот на-поди! Преосвященный Платон спросил у юнкера: "Кто написал Евангелие?" Юнкер замялся. А велемудрый Гришка, сиятельный граф, теперь уже римский князь, фельдцейх-мейстер, конференц-коллегии вице-председатель, и то потому только, что председателем сама государыня, сеанс-комитета артиллерии президент, захотел свое знание показать, ученостью и красноречием блеснуть, обратился к юнкеру с укором да и говорит: "Не стыдно ли этого не знать? Вы христианин, святое Евангелие должно быть вашею настольною книгою. Разумеется, Иисус Христос!.." Это "разумеется",

говорят, было так хорошо, так эффектно, что преосвященнейший так и осел, не знал, что и сказать... Ну, да Бог с ним! Теперь его нет. Место не занято. В сердце вакансия, и эту вакансию не Васильчикову занять, не Васильчикову наполнять. Это заметил даже наш хитрец-фельдмаршал, высказав прямо: "Не его ума это дело, нужно человека повыдержаннее, поразумнее". И нужно сказать правду, хитрец наш фельдмаршал; капризник, но хитрец такой, что и не выдумаешь. Сперва меня не замечал, слова не хотел сказать. Чего? С рекогносцировки турецкие пушки привезешь, чего бы кажется, и тут молчит, будто так и следовало, будто всегда привозят. Не похвалит ни за что. Перед его глазами чуть не один на янычар лезешь, он и тут не видит. Потом вдруг стал я его нещечко любимое, его ученик достойный, рука правая и все такое, даже Петра Михайловича Голицына забыл. А в чем дело? В том, что хитрец за три тысячи верст увидел, что Васильчикову не устоять, что его песенка уже спета, что нужен другой, а этим другим, он понимает, никого способнее меня быть не может; способнее меня для

такого случая он никого не найдет. И, разумеется, не найдет; пусть кто что хочет говорит, а Гришке Орлову я ни в чем не уступлю, это верно!"

Течение мыслей Потемкина опять прервалось его воспоминаниями. Он помнит, как она поразила его в первую минуту, когда он только что ее увидел. Он был тогда еще совершенный мальчик и только что поступил в лейб-регімент, из которого сформировалась потом конная гвардия. Она была еще великою княгинею и проходила вдоль фронта одного из эскадронов их полка, выстроенного по-пешему в одной из зал дворца по случаю какого-то торжества. Она милостиво кланялась солдатам и отмахивалась ручкою на честь, отдаваемую офицерами. Ему сказали: "Вот будущая государыня". Он взглянул — и замлел на месте. Его поразила не красота ее, да она и не была красавицею; не величественность, да она и не была величественна в том смысле, как это говорили об Анне и о красавице Елизавете; у нее не было ни их высокого роста, ни их стройности и производящего впечатления взгляда; но его поразила ее

какая-то особая, спокойная ровность выражения, какая-то чрезвычайно приятная мягкость, сквозь которую, однако ж, светилась энергия и сила, какими, нет сомнения, никогда не обладали ни Анна, ни Елизавета. Вот идет ей навстречу человек, ей неприятный, адъютант ее, супруга, великого князя, Гудович. Она отвернулась и на щечках ее выступил румянец, нижняя губка дрогнула, а из глаз решительно сверкнула молния. Но все это было одно мгновение. Гудович прошел и опять необыкновенная мягкость, сердечная доброта и задушевность засияли в ее глазах, засветились в ее нежной улыбке, обозначились в ее движении.

"Вот это женщина! — подумал он. — Она сумеет заставить целый мир забыть для себя".

И точно, Потемкин помнит, что он тогда засмотрелся на нее, забыл и фронт, и дисциплину, и самого себя, и, вероятно, сделал бы что-нибудь несоответственное, если бы не толчок капрала, стоящего в замке, приказывавшего держать равнение. Он слишком высунулся вперед. Между тем она прошла, разумеется, восторженного юнкера, не видала.

С этой минуты Потемкин часто думал об Екатерине и старался видеть ее, где мог. Но это нисколько не вызвало к нему ее внимания. Да и чем мог обратить на себя внимание великой княгини, супруги наследника престола мальчик-юнкер, невзрачный и еще не развившийся физически? Она не только не имела случая его заметить, но даже и не слышала о нем.

Но вот из наследницы престола она стала императрицею; от того, однако ж, ее положение не улучшилось. Все знали, что император относится к ней весьма дурно. Все ее сожалели, принимали её сторону — она так умела себя держать. Говорили, что она в опасности, что не сегодня-завтра ее запрут в монастырь. Эти слухи вызывали к ней общее сочувствие, которое, разумеется, охватило собою и восторженного юношу, и он, сам не понимая, что делает, стал одним из самых ревностнейших ее партизанов; сблизился с Орловым, Пассеком, Хитрово, Рослав-левыми, одним словом, стал в число наиболее деятельных участников в затеях и действиях братьев Орловых, хотя все же не имел даже случая быть ей пред-

ставленным. Что делать! Он довольствовался тем, что ей известно его имя, как одного из преданнейших ее защитников.

Вспоминает он эту замечательную и страшную ночь. Его перед тем только что произвели в портупей-юнкера.

Она решилась идти против своего мужа-императора, испуганная известием, что распоряжение об ее арестовании уже сделано и немедленно, после именинных торжеств, будет приведено в исполнение. Вся почти гвардия собралась на площади против нового Зимнего дворца. Конная гвардия на конях стояла у Брюсова дома, фронтом ко дворцу. Вот, видит он, к подъезду дворца подводят верховую лошадь, оседланную по-дамски. Двери отворились: с лестницы сходит государыня, за нею три брата Орловы: Григорий идет почти рядом с нею. А за ними — Неплюев, Панин, графы Скавронский и Шереметев, сенаторы, обер-полицмейстер Корф, фельдцейхмейстер Вильбоа, хотя Вильбоа был один из преданнейших императору лиц, и себе бы не поверил, если бы ему сказали, что он делает то, что в ту минуту делал, просто расте-

рвавшись перед ее властным словом. На государыне, сверх ее платья, был надет мундир Преображенского полка, к которому конная гвардия тогда причислялась, и мундир старый, любимый полком, петровской формы, а не прусского образца. Она садится на лошадь, опираясь на руку Григория Орлова, и выезжает к войску. Орлов идет подле ее стремени, а другой брат его, Алексей — с другой стороны. Все другие остались на подъезде. Войско, увидев государыню, гаркнуло "ура!". Государыня кланяется. Позади ее, неизвестно откуда, явилась другая амазонка, но на ту Потемкин не смотрел. Он впился взглядом в государыню. Она выехала вперед, подъехала к конной гвардии, здоровается. Орловы подле. Конная гвардия отвечает, и опять "ура!". Государыня пожелала обнажить привешенную у нее сбрую шпагу, но смотрит — нет темляка.

— Темляк! — сказала Екатерина тихо Григорию Орлову.

Орлов повторил это слово громче, а затем по рядам пронеслось: "Государыне — темляк, государыне — темляк!"

Фронт был полон офицерами всех родов

войска. На каждом, разумеется, был темляк, но никто не догадался снять его с себя и подарить государыне. Только его, молодого портупей-юнкера — может быть потому, что он только недавно, при своем производстве, получил право носить темляк — будто кто толкнул под бок. Он живо сорвал со своей сабли темляк и выехал перед фронтом.

Под ним был лихой конь высокой голландской породы. Его отец, небогатый помещик Смоленской губернии, потянувший в русскую сторону и едва ли не из первых женившийся на русской, тогда как большинство смоленского дворянства тянуло тогда в сторону Польши и женилось большею частью на польских шляхтинках, — долго откладывал свои доходы, чтобы купить своему Гришеньке хорошего коня, и нарочно выписал его через Ригу, чтобы потешить сына ко дню производства в портупей-юнкера; это было уже шагом к производству в офицеры. Потемкин с темляком в руках, вылетел из фронта молодцом перед самой государыней. Но конь заржал и поднялся на дыбы.

Потемкин был хороший ездок. Он мунд-

штуком повернул коня в сторону на задних ногах и, подав государыне темляк, дал коню сильные шенкеля с обеих боков, освободив повод. Конь всей силой рванулся вперед и понесся вихрем к Адмиралтейству; но Потемкин успел повернуть его к фронту и, проезжая назад мимо государыни, отдал ей честь. Все это было делом одной минуты. Возвращаясь к полку, он слышал, как государыня спросила у Алексея Орлова, наклоняясь к нему:

— Кто этот кривой юнкер?

Орлов назвал его фамилию.

— Молодец! — заметила Екатерина.

Последнее замечание его утешило, но слово "кривой" отдалось уколом ему в сердце; оно будто ожгло его...

И вот теперь прошло более десяти лет после этой ночи; она царствовала и не один раз выказывала ему свое благоволение, но он чувствовал, что его воспоминание об этом ее первом отзыве о нем как-то жжет его, как-то колет и он не может отделаться от этого томящего, давящего ощущения. Он даже вздрогнул при воспоминании об этом ее первом замечании.

"Но ведь теперь я не кривой, — сказал он, как бы стараясь себя подбодрить. — Теперь она не увидит закрытого глаза, который всегда пугает и вызывает антипатию женщин!.. А желал бы я угадать, узнает ли она меня, заметит ли, что у меня фальшивый глаз? Надобно сказать правду, этот француз мусье Жозеф взял, подлец, дорого, зато сделал хорошо. Когда я смотрю на себя в зеркало, сам не вижу, что глаз вставной. Артистически сделал. Увидит ли она?"

После знаменитой ночи Потемкин много раз удостоивался ее внимания, но все как-то в массе, в толпе. На другой же день по возвращений из Петергофа, он был произведен в корнеты, а потом и в поручики. Вместе с другими участниками "действия" он получил деревню, потом ему были даны и деньги. Но все это было как-то заочно; все это в массе, между другими, в толпе. Придет благодарить, но в то же время благодарят, кто за что, чуть не целые сотни; явится во дворец по службе — опять или во фронте, или в массе придворных и должностных. Даже когда раз или два его пригласили на представление в Эрмитаж,

то и тут, слушая вместе с другими музыку, он не мог дать себе верного отчета в том, точно ли она его видела и вообще заметила ли, тем более что — это он видел хорошо — она почти исключительно была занята Григорием Орловым, и ему показалось, что, разговаривая даже с посланниками, она не спускает с Орлова глаз.

"Счастливец, — думал Потемкин. — И отчего, за что ему такое счастье?" Правда, был красив, говорят, но теперь и красоты особой нет! Обрюзг и осунулся как-то... Да и нет той ловкости, того форса, чтобы можно было сказать: вот, дескать, всем взял! Не порти меня этот глаз, я бы..."

Но можно было критиковать, завидовать про себя, вслух же можно было только молчать. Потемкин и молчал, как ему не было это горько и обидно. Он видел, что никаким образом, ничем обратить на себя внимание не может. Орлов застилал в ее глазах не только его, но всех. Она не видела или не примечала никого, а его тем более. "Заставлю ее не видеть, так слышать", — сказал он себе и стал проситься в действующую армию. Его без за-

труднений отпустили, переведя соответствующим, по-тогдашнему, чином генерал-майора!

"Пан или пропал! — думал тогда о себе Потемкин. — А уж внимание-то на себе остановлю; это верно, должен остановить!"

Но вот беда, фельдмаршал граф Петр Александрович Румянцев—Задунайский принял его очень хмуро. Потемкин приехал к нему в команду против его воли, и фельдмаршалу думалось: "Зачем бы, к чему? От двора, в его годы и с положением, которое в армии выслужить он никогда бы не мог, и вдруг сюда, голодать и маяться — очень и очень подозрительно!" Ему невольно приходило в голову, не шпионить ли за ним прислали этого гвардейского выскочку, этого двадцатитрехлетнего генерала, не нюхавшего еще пороха. "Да, подозрительно!" К тому же фельдмаршал знал, что Потемкин был партизаном Екатерины, когда император был еще жив; а фельдмаршал был один из тех, которые были преданы покойному императору до последней минуты. Он даже после его смерти сейчас же подал прошение об отставке и остался только

по усиленному настоянию Екатерины. Теперь он знал, что она ценит его, но никак не особенно благоволит, и вот присылает одного из своих клиентов, бывшего ее партизаном. "Ну что ж, много ходу ему не дадим!"

Потемкин все это дело понял. Он сразу угадал и подозрительность фельдмаршала, и его предубеждение против себя и дал себе слово их рассеять во что бы то ни стало. Но рассеять подозрительность мнительного и крайне осторожного главнокомандующего было нелегко! Считая Потемкина как бы своим соглядатаем, он не верил даже его личной храбрости. Он думал: гвардейский шематон и больше ничего!

Потемкин не пришел, однако ж, от того в отчаяние. Он удвоил свои старания, угождая ему, льстя и принимая самые отважные предложения, по исполнению которых всю славу своего исполнения приписывал ему, главнокомандующему. Наконец, он действительно разогрел Румянцева, заставил его себе верить... "Не пропал, — говорил теперь себе Потемкин, — стало быть, нужно быть паном!"

"Теперь Орлова нет, — рассуждал он. — Ва-

сильчиков, этот расписной красавчик, восковой херувим, известно, не пользуется уже прежнею милостью. С ним скучают. Ну со мной не соскучилась бы, я надеюсь... Вот теперь мне придется с нею говорить с глазу на глаз, и не один, а много раз. К тому же придется говорить когда, при каких условиях и обстоятельствах? Когда я приезжаю нетерпеливо жданным, радостным вестником мира, осуществлению которого сам, хотя в некоторой степени, содействовал, когда меня прославляют героем, по крайней мере сам фельдмаршал пишет, да, пожалуй, и вся армия засвидетельствует, что своей кожи не жалел. Эти обстоятельства не могут мне не содействовать, и надо ими воспользоваться. Да, или теперь или никогда!"

— Либо буду настоящий пан, — сказал Потемкин вслух, — или в самом деле уеду на Афон просфоры печь!

— Пошел, пошел! Заснул! — крикнул Потемкин на ямщика, которого в ту же минуту казак сзади огрел нагайкой. Ямщик поневоле подобрал вожжи и провел над своей тройкой кнутовищем. "Эй вы, родимые!" — крикнул

он, и тройка опять полетела стрелой.

Таким образом, повозка все неслась да неслась. Ямщики, погоняемые в две нагайки, одной от казака, а другой собственноручно от едущего генерала и поощряемые рублями на водку, лезли из кожи, стараясь один перед другим. И вот утром, на заре, перед Потемкинским вдруг будто выросло в воздухе очертание Симонова монастыря. Показалась Москва белокаменная, со своим Кремлем священным, со своими теремами узорочными, стародавними, с золотыми маковками своих Божьих церквей...

Потемкин приподнялся в повозке и перекрестился.

Интрига при дворе разрасталась и кипела. Хлопотали и думали все; день и ночь думали: как бы на свою сторону перетянуть, как бы к себе поближе придвинуть? И письма летели по этой думе во все стороны; гонцы рассылались всюду. И, Боже, какие молодцы на основании этих писем приезжали в Москву и являлись к обер-камергеру, бывшему вице-канцлеру, князю Александру Михайловичу Голицыну, двоюродному брату другого Го-

лицына, тоже Александра Михайловича, фельдмаршала, бывшего теперь главнокомандующим Петербурга и тамошним генерал-губернатором и допрашивавшего теперь привезенную Грейгом несчастную Али—Эмете.

"Такие все молодцы, — писал обер-камергер своему кузену фельдмаршалу в Петербург, — такие красавцы, что таких, надо думать, древняя Греция и во сне не видала, и все в разных родах, на все вкусы. Тут и юноша лет семнадцати, свеженький, пухленький, чистенький, со светлыми кудрями, падающими на плечи, точно у молоденькой девушки; за ним тридцатидвухлетний атлет, Геркулес в полном смысле этого слова: быка свалит, медведя кулаком убьет; смуглый, волосатый; а за ним, черномазым атлетом, блондин, совершенный рыцарь средних веков, Малек—Адель г-жи Котень, с томным настроением и сверкающими голубыми глазами; а то совершенный Ван—Дик, как его молодым пишут и в картинных лавках мечтательным барышням продают.

Истинно можно сказать, будто на подбор

собраны, и все с одной, будто заученной фразой: "Желал бы, говорит, иметь счастье представиться великой государыне, знаменитой Семирамиде Севера, законодательнице и просветительнице своего народа; желал бы принести лично мое усерднейшее поздравление с торжеством ее оружия и славой ее имени!"

"Услышишь такую фразу, — писал Голицын другому Голицыну, — невольно взглянешь и видишь: хорош, очень хорош, и строен, и высок, и глаза с выражением, и брови будто отведены. Начинаешь спрашивать: кто, от кого, есть ли письмо? Без этой предосторожности, пожалуй, пришлось бы чуть не с улицы представлять, потому что решительно все, кто только считает себя не настолько уродом, чтобы как взглянуть, так плюнуть, кто думает, что у него и глаза и нос на месте, все, под тем или другим предлогом, представляться лезут — все хотят хоть на минуту, да фавор получить; все думают: чем черт не шутит, отчего же не я?"

Ну и начинаешь спрашивать. Этого г-жа Жофрень из Парижа нарочно прислала и письмо дала, зовет графом; ну — в список!

Этого польский король по старой памяти рекомендует. Спросить нужно, захотят ли еще уважить рекомендацию польского короля. Этих рекомендуют наши: Лопухина, Протасова и твоя невестушка Брюсса. О них, пожалуй, и говорить нечего, верно, было уже говорено. Вот от г-жи Бельне приехал датчанин. Красив, нечего сказать: в нем есть что-то необыкновенное, что-то напоминающее Гарольда и древнюю русскую историю. Прусский король и тот своего адъютанта прислал: плотный немец, сказать нечего. Но знаешь, смотрю я, смотрю, записываю, переписываю, докладываю, назначаю часы аудиенции и смеюсь от всей души. Что будет дальше — не знаю, а пока все они уходят, понуриив голову и повесив носы. Наша-то матушка выйдет: царица царицей, красавица красавицей. Кажется, она и двадцати лет так хороша не была. Выйдет это, обдаст всех приветом и во взгляде, и в улыбке, каждый так и растает. Но... но... Все дело в этом, но... Только заикнется кто, что желал бы служить при особе ее величества, она благодарит очень любезно и отвечает, что ее маленькое хозяйство так ограни-

чено, что решительно не может дать никакого простора великим способностям просящего. А что, если он хочет служить России — России талантливые люди нужны — то вот у графа Задунайского в армии. Одному так на Сибирь указала. Шутница государыня, ей-Богу! И все это так спокойно, так просто... Как хорошо она выдумала кланяться при выходе. Поклонится направо, налево и прямо, просто по-мужски, и потом идет на того, кто в глаза бросится. Скажу откровенно, я всякий день люблюсь и, смотря на всех этих искателей, на всех этих амуров писанных, слетевшихся, как вороны по чутью, невольно думаю: "Не такие люди могут ее внимание на себя обратить, не такие люди от нее милость заслужат. Есть у нас с тобою человек. Вот красавец так красавец. И умом, и душой, и образованием, всем взял. Из армии пишут, что в деле спокойствие и распорядительность невероятные, веселость оживляющая, а доброта — все преклоняется перед этой добротой. Я пишу с голоса других, хоть ты и сам знаешь своего кузена, а моего младшего братишку, князя Петра. "Вот его бы сюда, — думается подчас. — Всех бы разом за-

тмил". Но Бог с ним! Не Голицыным милость фавором выслуживать. Придет само — хорошо, не придет — и того лучше. Знаешь сам, близ царя, что близ солнца, и не увидишь, как крылья опалишь. Мы это лучше других по нашим дядям да и по великому Голицыну, князю Василью Васильевичу, знаем. А что за радость быть новым Икаром... Одно жаль, что до сих пор, вот прошло около четырех лет, он своей Кати забыть не может. Ему бы точно было нужно порассеяться, поразвлечься. Положим служба, но служба не рассеивание. Ну была война, хорошо, все действовать приходилось. Теперь мир заключили, чего бы там ему в Молдавии киснуть? Вот бы сюда приехал на людей посмотреть и себя показать. Я этого ему не пишу, потому что при нынешних искательствах считаю неприличным, но, признаюсь, желал бы..."

Окончить своего письма Голицыну не удалось. Его прервали докладом, что отставной лейб-компания вахмистр, армии секунд-майор Семен Никодимыч Шепелев просит позволения видеть его сиятельство по весьма нужному делу.

С невольной досадой князь положил перо и вышел.

Перед ним стоял чуть не саженный господин в венгерке с шелковыми шнурами и с большими черными усами, доходящими чуть не до плеч.

Глава 5. Польский проходимец из русских

Вошедший господин представлял из себя совершенный тип отставного польского шляхтича рассыпавшейся польской конфедерации, хотя и по фамилии, и по выговору легко можно было увериться, что он кровный русский.

В то время — время борьбы партий, общего колебания и неурядицы в Польше, занятой большею частью русскими войсками и совершенно подавленной русским влиянием, образовалась и особенно усилилась и размножилась та, низшего разбора, безземельная польская шляхта, которую можно назвать родовым пролетариатом, в отличие от пролетариата, образуемого гнетом капитала. В число этих, можно сказать, подонков польского на-

селения, образовавшихся историческими условиями польской жизни, втиралось множество искателей приключений, разного рода проходимцев, стекавшихся сюда со всех концов света.

Полная пустого чванства, недеятельная, ленивая, необразованная, шляхта эта служила опорой всей смуте, всей неурядице Польши, и, можно сказать, при всеобщей почти продажности магнатов, была чуть ли не главной причиною гибели самостоятельности своей родины, которой и доселе не дает покоя возбуждением традиционных волнений. Привыкнув еще со времен Гонсевского, Лисовского и Сапеги жить на счет военных приключений и грабежа, она не хотела ничего более, как воевать и грабить. Во время Тридцатилетней войны она много поддерживала собою германские войска и той, и другой стороны, хотя и была исключительно католическою. Правда, в армию Валленштейна она поступала массами, тогда как северные князья далеко не могли рассчитывать в такой же степени пользоваться ее услугами. Но это ничего не значило. Шляхта не задумывалась даже пере-

ходить из армии в армию, когда считала это для себя полезным и выгодным.

Во время этой войны она много усилилась прибылым элементом немецких придорожных рыцарей, разбойничьи логовища которых были разрушены развивающеюся цивилизацией и которые, так же как и эта шляхта, не хотели примириться с новым строем европейской жизни, но у себя дома не находили уже себе занятия. Дело в том, что во время всеобщего мира, да и во время войн посредством регулярных войск, разного рода проходимцы и искатели приключений и наживы в Западной Европе не могли иметь места. Они могли приютить себя только в Польше, вместе с тамошнею безземельною шляхтою. Там чванство магнатов, громадность принадлежащих им богатств, наконец, необходимость иметь опору своим требованиям на сеймиках, сеймах и конфедерациях, заставляли их кормить всю эту тунеядную сволочь в виде телохранителей, чтобы в свое время ею воспользоваться. Имперские князья и бароны не имели к тому ни средств, ни желания, ни надобности. Оставаясь маленькими тиранами в

своих феодах, они прежде всего были слишком бедны, чтобы окружить себя многочисленной свитой, и не желали обременять свою кассу напрасными расходами. В общем у них был хоть какой-нибудь, хоть внешний порядок, тогда как Польша в то время не представляла даже и тени порядка.

Таким образом, польская шляхта в ожидании случая переходила от магната к магнату, питаясь крохами, падающими на нее от их вельможной щедрости и родового польского чванства, и жила завтрашним днем, надеясь, лучше сказать мечтая, что вот нет-нет да и выпадет случай, когда она захватит в свои руки царские богатства и получит важное, преобладающее значение.

Но такого рода неподвижность, такая отсталость и средневековая притязательность, такая инерция мысли и предоставили польской шляхте невыразимо могучую и ассимилирующую силу, которая привлекала к ней искателей приключений со всех концов мира. Все бездомники, все проходимцы, все потерявшие почву и желающие жить без труда и по возможности весело, стекались в Поль-

шу, вступали, тем или другим способом, в сонм ее безземельной шляхты, усваивали ее характер, язык, обычаи и становились детьми Польши, но не укрепляющими и питающими их мать, а своим тунеядством и производством смут явно губящими ее и разоряющими. Тунеядство, проходимость, недейтельность переходили от отца к сыну, от сына к внуку через целые поколения, особенно в родовых обломках некогда славных и деятельных имен, которые почему-либо лишились своей точки опоры. Презирая труд, как нечто унижающее, и отрециваясь от всех видов производства, как элементов того же труда, они с одинаковым презрением смотрели на промышленность и торговлю. Их идеал был жизнь пана-магната, окруженная такими, как они, прихвостнями, обманывающими его жидами, с охотою на лосей, кабанов, лисиц, зайцев, мелким развратом и полным разгулом самого разнузданного самодурства.

Потому-то князь Радзивилл, пане-коханко, и был так любим польскою шляхтою. Его жизнь и положение совершенно совпадали с их идеалом. Они все хотели бы жить так, без

думы о завтрашнем дне, без малейшего труда, даже без мысли, а только с выполнением требований своего самодурства и звонким "не позволяю!" на сеймах. Все они хотели хоть на время, хоть на минуту испытать подобие такой жизни и, разумеется, не задумывались воспользоваться всяким случаем, чтобы ее достигнуть.

Такого рода понятия, желания, мечты вели шляхту к взаимному сближению, именно желание полного отсутствия труда. Они создавали в ней как бы стадное свойство, которое заставляло их отказываться от всего, чего не делают другие. А другие, кроме грабежа и войны, ничего знать не хотели и лучше готовы были вынести всякое унижение от державшего их магната, чем взять какой бы то ни было положительный труд. Ясно, что они и могли жить только войною и грабежом. Но как развивающаяся цивилизация все более и более ограничивала таковой род занятий, то из шляхты и всякого накопившегося в ней сброда поневоле составилась контингент всякого рода шулеров, мазуриков, червонных валетов и разного рода проходимцев, своим стадным

своим свойством поддерживавших друг друга и взаимно друг другу сочувствовавших.

Время кануна девятнадцатого века было временем перехода понятий. От рыцарского феодального грабежа на большой дороге, понятия, в течение всего восемнадцатого века, переходили к деликатному грабежу на карточном столе, к усвоению всякого вида подлогов и к шарлатанству во всем развитии научного прогресса. Тот и другой вид понятий имел еще своих представителей, тот и другой вид притягивал к себе проходимцев со всех стран. Люди никак не хотели понять, что не довольно желать труда, что нужно еще его искать, думать о нем; а думать-то они, втянувшиеся в крепостную рутину, и не хотели.

Таким образом, среди польской шляхты последних годов польской самостоятельности можно было найти и разорившегося француза, и разгулявшегося немца, и прожектера-итальянца, и искателя фортуны — испанца, и даже, потерявшего свою почву, русского. В Польше того времени они находили полный простор для своего ничегонеделанья, а более им ничего было не нужно. Этот простор

исходил из условий социального быта Польши и взаимной поддержки, которую проходимость, естественно, само для себя создавало.

Смоленская область, бывшая некогда княжеством, будучи оторвана более чем на столет от России и слитая с Польшей, все время всеми сторонами своей жизни тянула постоянно к своей прежней родине. Она хотела быть русскою. Был, однако ж, один из ее элементов, который начинал усваивать, по крайней мере в рассуждении себя, выгоды польских порядков и начал принимать тенденцию ополячивания.

Если серьезные дворянские фамилии и не столь скоро такому ополячиванию поддавались, как, может быть, желали того поляки, — язык и вера были тому существенными препятствиями, — но все же поддавались, особенно вследствие перекрестных браков.

Зато дворянскому проходимству Смоленской губернии был полный простор обращаться в польскую шляхту, без малейшего затруднения. Взял у поветового маршалка свидетельство о своем шляхетском происхожде-

нии, надел чамарку, прицепил к поясу саблю, заткнул пистолеты — и был таков! Поступай себе в свиту Сендомирского или Торыйского или живи вольным промыслом, — твое дело. Разбогатеешь — заводи свою маетность, свою свиту, никто не препятствует; станешь из шляхтича ясновельможным паном — твое дело, умеешь только разбогатеть.

Можно себе представить, много ли, при таких условиях, оставалось в безземельной и шатающейся шляхте убеждений; много ли оставалось честности воззрений, создания обязанностей, как человека и как гражданина?

А когда нет честности, ни сознания обязанностей, ни убеждений, то, естественно, остается только одно проходимость, проходимость во всем, на все и на вся, проходимость от корня ногтей до кончика волос.

Один из героев такого прохождения Семен Никодимыч Шепелев стоял в настоящую минуту перед Голицыным.

Но каким образом он, Шепелев, принадлежащий к одной из известных и состоятельных фамилий Смоленской губернии, потерял

под собою почву в такой степени, что попал в низший сорт польской шляхты, в подонки польского общества, так что был вынужден держать стремя у князя Радзивилла, пане-коханко, служить потом Браницкому и под его знаменами участвовать в конфедерационных смутах, даже сражаться с русскими войсками и, наконец, начать упражняться в разного рода мазурничестве на Волыни, в Варшаве и Киеве?

Очень просто. Отец его был небогат, хотя и приходился в близком родстве с Шепелевыми-богачами. У отца его было двенадцать сыновей и две дочери. А разделенное на четырнадцать частей имение, хотя бы значительное, не может уже в частях своих представлять достаточного обеспечения тем, которые привыкли жить целым. Несмотря, однако ж, на незначительность доставшегося наследства, он все бы мог у себя дома, при аккуратности и экономии, жить своим трудовым хозяйством, впоследствии, может быть, он при старании, достиг бы и лучшего положения, во всяком случае более покойного и почетного, чем то, в каком находился теперь. Но стрем-

ление к проходимству бывает у иных людей как бы свойством прирожденным. А тут вышел еще особый случай.

Будучи высокого роста, стройным мужчиною, смолоду он был очень красив, ловок и нравился женщинам. Одним словом, был молодец во всех статьях. Его двоюродная или троюродная тетушка Мавра Егоровна Шувалова, урожденная Шепелева, обратила на него внимание, как на человека, могущего и очень могущего нравиться. Вот в один из дней, когда она была особенно рассержена на племянника своего мужа, графа Ивана Ивановича, которого признавала неблагодарным ни себе, ни своему мужу, так как они, можно сказать, его в случай вытянули, а он не только не поддерживают финансовых проектов своего дяди, "но даже Шаховского против него выводит" — ей пришло в голову, что нехудо бы иметь под рукою человека, который мог бы служить постоянною угрозою неблагодарному племяннику. Она говорила:

— Случай, на который мы племянника вывели, обязывал его от нас не отдаляться, нам помогать; а он, видите, самостоятельность

выдумал! Шаховского слушает! С Петром Ивановичем даже не советуется, не то чтобы ему помочь в чем! А без Петруши что бы он был?.. Позабыл, видно, Бекетова!..[1]

Вот, в расчете сломить такую самостоятельность, она решилась написать к своему троюродному племяннику Семену Никодимычу, чтобы тот как можно скорее приехал в Петербург, что она определит его в лейб-компанию, и дальнейшая судьба его будет зависеть от его счастья и ловкости.

Получив такого рода послание от своей вельможной тетушки-графини, известной любимицы и наперсницы царствовавшей тогда императрицы Елизаветы, Семен Никодимович обрадовался несказанно. Он прямо возмечтал уже видеть себя генерал-адъютантом, обер-камергером и еще Бог знает чем; проходимость, видимо, было в крови. Сейчас же по этому письму он продал свою часть наследства, живо собрался и приехал в Петербург. Там его тетушка встретила приветливо, действительно определила в лейб-компанию, что без большой протекции было почти немислимо, и скоро, пользуясь его красивою наруж-

ностью, высоким ростом и молодечеством, выхлопотала ему производство в вахмистры, что равнялось уже майору армии и давало ему право стоять на часах у внутренних комнат самой государыни. Но, говорят, бодливой корове Бог рог не дает. Мавра Егоровна в тот же год умерла. Граф Петр Иванович Шувалов не очень грустил о потере своей супруги; не прошло полугода, он женился на молоденькой княжне Одоевской и помирился с племянником, графом Иваном Ивановичем, бывшим, как говорили тогда, в случае. Ясно, ему было не до Шепелевых. На Семена же Никодимовича он рассердился очень за то, что тот высказал откровенно свое мнение, что жениться шестидесятилетнему старику на молоденькой шестнадцатилетней девушке дело неподходящее.

Таким образом, за смертью Мавры Егоровны Семен Никодимович и остался как бы на бобах. Но он не унывал. Он думал:

"Ведь достанется же мне стоять на часах; государыня увидит, и... и... чего не бывает на свете!"

И точно, ему скоро досталось стоять на ча-

сах и государыня обратила на него внимание. И могла ли она, проходя мимо, не заметить высокого, стройного, молодцеватого Семена Никодимовича, отдававшего ей честь, после приземистого, растолстевшего и евнухообразного Ивана Ивановича. Она невольно спросила фамилию и откуда.

— Шепелев, Ваше императорское величество, из дворян Смоленской губернии.

— Шепелев? А покойная Мавра Егоровна была не родня тебе?

— Двоюродная тетка, Ваше величество.

— Молодец, спасибо за службу! — сказала государыня и вошла к себе в спальню, так что Шепелев едва успел проговорить свое "рад стараться, Ваше величество".

Но в спальне Елизавета несколько раз проговорила: "Какой молодец, какой молодец!"

Известно, что в спальне императрицы Елизаветы всегда ночевали несколько дур и сказочниц, а в ногах самой постели, на полу, спал ее старый камердинер Василий Чулков, впоследствии носивший звание камергера и бывший тайным советником.

Все слышали замечание государыни о мо-

лодом часовом, и на другой день Чулков, которого Иван Иванович считал нужным постоянно ласкать и дарить, счел себя обязанным сделанное государыней замечание о молодом и красивом часовом передать Ивану Ивановичу Шувалову.

Этого было довольно, чтобы возбудить его опасения, и Семена Никодимовича постарались из лейб-компании убрать. Государыне сказали, что он сделал какой-то проступок неблаговидного свойства. Против этого ей возражать было нечего; она более его не видала и, разумеется, забыла. Но государыне сказали неправду. Семен Никодимович тогда еще никакого неблаговидного поступка не делал. Его исключили, придравшись к тому, что будто он не сделал Ивану Ивановичу, шедшему в обер-камергерском мундире, установленной чести. Но где же было государыне все помнить и все знать. Иван Иванович удержался в фаворе до самой ее смерти. Семену же Никодимовичу, уволенному из лейб-компании, между тем приходилось плохо. переведенный сперва в какой-то рижский или митавский батальон, а потом уволенный по про-

шению в отставку, без средств к жизни, без способностей к какому-либо труду, ему едва не приходилось умирать с голоду. Знакомства у него не было. Граф Петр Иванович Шувалов о нем и слышать не хотел; скоро, впрочем, по смерти императрицы, он и сам умер.

Шепелевы все до одного от него отказались еще прежде, находя совершенно несоответственным стать против такого вельможи, каковым был тогда граф Иван Иванович.

Что было делать? Наследство свое он уже давно прожил. Жить своим молодечеством? Но для того нужно, чтобы молодечество это хоть видели, а его никто и не видит.

По счастью, в это время фехтмейстеру в голштинском отряде великого князя, весьма скоро потом ставшего государем, потребовался помощник. Семен Никодимович с русским авось и отправился к нему просить, не возьмут ли его, благо он, служа в лейб-компании, уроков с десяток в фехтовании взял, чуть ли не у него же самого, и все говорили, что он на это понятлив и ловок, да и рост-то его ему содействовал.

— Да ты фехтовать-то не умеешь!

— Выучусь.

— А пока выучишься?

— Буду вам помогать.

— Да в чем помогать-то будешь?

— В чем прикажете.

Несмотря, однако, на такую неопределенность ответов, фехтмейстер по уважению, что он шел к нему чуть только не из хлеба и что он весьма порядочно знает немецкий язык, решил его взять. Он думал: этот молодой и красивый, русский ферфлюхтер может выучиться скоро и станет мне переводить, что русские болтают...

И точно, не прошло и полугода, как Шепелев выучился фехтовать лучше своего фехтмейстера.

Тут случилась с ним история, которая перевернула всю его жизнь в другую сторону. В Петербург приехал немец Шлоссман и выдумал штуку, казалось простую, но, как вышло, весьма выгодную. Эта штука была танцкласс. Дескать, одному танцевать общественные танцы не выучишься, собирать же для всякого урока у себя гостей — скучно и дорого; а вот тут приезжайте всякий — и мужчины, и

дамы, и девицы, и танцуйте, сколько желаний имеете. А в назначенные часы я сам показывать стану!

Штука, казалось, не хитрая, а умная, потому что намолола первому, кто ее привез в Петербург, много денег. Разумеется, большие господа к Шлоссману не поехали, но дело не в больших господах. К Шлоссману начали собираться немочки всех сортов, модистки, булочницы, разные мастерицы, а за ними явились офицеры, ухаживатели, поклонники немецкой красоты и уступчивости. Сперва дело шло очень прилично. Многие действительно выучивались танцевать, а многие в танцклассе и судьбу свою сыскали, женившись или выйдя замуж. Но все это было до поры, до времени. Начался разгром с самих же немцев. Приводя дочерей своих в танцкласс и оставляя их учиться и веселиться, они сами садились играть в шахматы, домино или трик-трак, а за игрой захотели тянуть свое пиво и курить свой кнастер. Шлоссман должен был им в том уступить, а за пивом стали требовать и чай, и вино, и водочки. И вот молодые люди получили возможность разогреваться и утешаться.

Однажды, эдак после порядочного уже утешения, из-за какой-то немецкой дочери Евы, Шепелев поссорился и побранился крепко с богачом-гвардейцем Колобовым. Тот, будучи сильно выпивши и не думая о последствиях, вызвал его на дуэль. Шепелев принял вызов, тут же нашлись секунданты, и дело было в шляпе. На другой день, проспавшись, Колобов увидел, какую он сделал глупость. "Дело дрянь", — подумал он. Первое, что он вызвал на дуэль помощника фехтмейстера и известного стрелка; второе, что из-за неизвестной немки, самое большее, булочницы или сапожницы, а может, даже и просто немки aus Riga, он должен будет рисковать всем своим будущим. А он был счастливый жених прелестнейшей девушки, дочери нижегородского воеводы Ивашова, в которую был искренне влюблен. Эта история, чем бы она не кончилась, разнесется по городу, и он от невесты непременно получит отказ. В-третьих, полк, разумеется, не апробует, что их офицер посещает такие места, где можно напиваться пивом и наталкиваться на неприятности, вроде его ссоры с помощником фехтмейстера. А

танцкласс Шлоссмана начал уже терять свою репутацию заведения, где бы можно было приятно проводить время; там начинались уже скандалы такого рода, к которым гвардейские офицеры равнодушно относиться не могли, потому и не желали слышать, что в них бывают их товарищи.

Но что же делать? Куда ни кинь, везде клин! Отказаться от дуэли нельзя, дело было слишком гласно. Шепелев — дворянин, офицер и был вызван самим Колобовым. Он не только имеет полное право требовать себе удовлетворения, но имеет возможность настоять на этом удовлетворении. Гвардия часто посещает фехтовальный зал его хозяина и, разумеется, узнает, что Колобов отказался. Припишут его трусости, Бог знает чему, и ему житья тогда не будет. Что же делать?

— А вот что, — сказал ему один из кутил-товарищей, кутил-бедняков, поэтому кутящих обыкновенно на счет Колобова. — Деньги есть?

— Как не быть, сколько угодно, только не в деньгах дело.

— Как же не в деньгах? В деньгах, братец,

всегда дело! Шепелев же, говорят старые его товарищи, так нуждается в деньгах, что будто зачастую без хлеба сидит и рад всякому гривеннику. Заплати ему приличный куш, чтобы он струсил, и дело будет в шляпе.

— Как струсил?

— Да так! Струсил бы, да и только! Убежал бы куда-нибудь, или что бы там ни было. Он не в полку, близких знакомых у него нет. Невесты тоже нету. Ему какое дело, что будут о нем говорить. Ну струсил так струсил, и дело с концом. На время уедет, чтобы не слишком в глаза кидаться; а с деньгами везде хорошо жить. Он рассчитает, что чем ему тебя убить, лучше самому денежки получить! И голову дам на отсечение, если он не согласится.

— Э! Да я бы не то пятнадцати, двадцати тысяч не пожалел бы, чтобы потушить эту историю...

— Постой же, я съезжу...

На другой день Колобов с пистолетами, шпагами и секундантами отправляются на назначенное место дуэли и ждут. Дуэль было положено начать на шпагах и после первой

раны окончить на пистолетах. Условия были поставлены самые строгие.

Является первый секундант Шепелева, говорит, что заезжал к нему.

Через четверть часа приезжает и второй секундант и привозит от Шепелева письмо, говоря, что, собираясь к нему, чтобы ехать с ним сюда, получил от него письмо. Прочитав письмо, он поехал к нему, думая показать все неприличие его поступка, уговорить... Но не тут-то было. Шепелева и след простыл. Вот это письмо! И он подал его присутствовавшим.

Шепелев писал: "Не желая ни быть убийцею, ни быть убитым из-за совершенно ничтожного случая, бывшего у меня с господином Колобовым, я извиняю вполне сказанные мне господином Колобовым дерзкие слова, прошу в свою очередь извинить и мои ответы, тем более что мы оба были в разгоряченном состоянии и едва ли хорошо помнили, что делали и говорили. Затем, уезжая сейчас из Петербурга, отказываюсь от всякого удовлетворения и прошу не поминать лихом готового к услугам Семена Шепелева".

Это письмо поразило, разумеется, только секундантов. Колобов о нем знал еще вчера, но не показал и виду, что все это было вперед подготовлено. Он ругнул Шепелева из приличия и пригласил всех секундантов к себе завтракать и распить бутылочку-другую, чтобы забыть это неприятное происшествие. Секунданты, разумеется, были весьма рады, тем более что знали, что Колобов непременно угостит на славу и что тут же пригласит их к себе на свою свадьбу, долженствовавшую быть в том же мясоде.

Шепелев в это время, веселый и довольный, с пятнадцатью тысячами в кармане летел на тройке по белорусскому тракту. "Пусть что хотят говорят, — думал он. — С деньгами я везде буду пан!" Ему, как молодому человеку, не выдавшему еще сколько-нибудь значительных денег, потому что от продажи своей части наследства, за уплатою кое-каких долгов, у него очистилось всего рублей семьсот или восемьсот — ему казалось значительная, везомая им теперь в векселях на варшавских банкиров сумма 15000 р. — богатством непроживаемым. Он сперва думал ехать к себе в

свою Смоленскую губернию, но после переменял намерение. "Чего я там буду киснуть? — сказал он себе. — Смотреть, как братья и сестры между собою ругаются. Ужасно нужно! Катну прямо в Варшаву, там денежки получу, на людей посмотрю и себя покажу!"

И он поехал в Варшаву, и кутнул там так, что именно потрянул карманом, и через восемь месяцев у него не было уже ни гроша.

С этой минуты началось его проходимство. Он переходил от занятия к занятию, от дела к делу, но все к такому, в котором бы делать было нечего. Был он и лон-лакеем в отеле, и крупье в игорном доме, сбывал фальшивые векселя, приготовлял меченые карты, учился и шулерству. Наконец, ему удалось поступить в стремянные князя Радзивилла. Тут ему было поспокойнее. Но и в проходимстве нужно счастье, а Семену Никодимовичу, видимо, не везло. Князю Радзивиллу пришлось скоро бежать из Польши, так как он стал во главе восстания противу избрания в польские короли Понятовского. Его состояние было конфисковано, громадная свита распущена, телохранители и оберегатели разогнаны. Семен Нико-

димович опять остался без места. После многих перипетий, он попал было под уголовное преследование, от которого освободился только благодаря Браницкому, к которому поступил в качестве заведовавшего его псарней, так как оказался отличным знатоком свойств разного рода борзых и гончих. Но и тут ему не повезло. Старик Браницкий скоро умер, а молодой наследник терпеть не мог ни охоты, ни собак, и сейчас же весь этот штат уничтожил. Семену Никодимовичу опять пришлось шляться по Божьему свету без пристанища, поступать на службу то к тому, то к другому пану, участвовать опять в конфедерации, сражаться против русских войск. Ну тут ему опять выгорели тысячи. Эти денежки, наученный уже опытом, Семен Никодимович не промотал, как первые, а берег их пуще глаза. Этот вторичный случай надоумил его, что его призвание — жизнь бретера. А в Варшаве, в то время, для такой жизни было материала вволю. Интриги партий, слабость нелюбимого короля, своеволие во всех слоях общества, наконец, самый задор в характере поляков и их храбрость делали дуэль в Варшаве весьма

обыкновенным и до некоторой степени почетным явлением. Семен Никодимович искусно вошел в игру и составил себе свою, особую программу дуэлей. Он приискал себе нечто в виде адъютанта, тоже проходимца, малоросса, бурсака и первой степени плута Квириленко. Этот адъютант должен был быть секундантом на всех его дуэлях и в разных видах устраивать или самую дуэль, или примирение за приличное вознаграждение. Дело полагалось вести в двух видах: или Семен Никодимович дрался действительно и отправлял если можно к праотцам, по правилам искусства, кого нужно было убрать с дороги за условное вознаграждение; или, заставив каким-нибудь образом себя вызвать, а иногда и вызвав сам, он обязывался за известное вознаграждение струсить, отказаться, — одним словом, устроить, чтобы дуэль не состоялась и вся вина падала на него. Этим промыслом он и Квириленко жили, и иногда хорошо жили, поддерживая свои ресурсы и картишками и биллиардом, и всем, что придется, не теряя притом своей шляхетской гордости и не прилагая ни своих мышц к непривычному для

них труду, ни головы к непривычным для нее думам; напротив, они укреплялись в своей профессии более и более духом тогдашнего польского общества, которое и доселе в такой степени умеет поддерживать сословность, что, кажется, явись завтра Польша, явятся с нею немедленно же и польские шляхтичи, и польские жидаы, и польские батраки, и польские магнаты; явится все родовое, кровное, будто исходящее из предания об индийских кастах, с их браминами, воинами и париями, будто бы установленных высшею волею самого Браммы. Никто не хотел понять, что большего бесчестия, большего унижения, как в образовании подобного типа труда, родовое начало не могло уже и придумать. Жизнь такого типа, как Семен Никодимович, была тоже жизнь труда и труда тяжелого и опасного, но труда непроизводительного, бесчестного, неразумного и в своих последствиях весьма вредного. Признавать, что такой труд не бесчестит, ремесло же или торговля бесчестит шляхетское достоинство, было такой аномалией века, которая едва ли могла совместиться с анализом какой бы то ни было разумно-

сти. Но последняя четверть восемнадцатого века именно представляла такую аномалию в родовом начале, вызывая собой не менее резкие аномалии и в других элементах жизни.

Как, однако ж, ни была слепа и беззаботна польская полиция короля Станислава Августа, как ни неподвижна была она в рассуждении всего, что касалось частной жизни, причем слепота ее доходила даже до того, что она допустила покушение на похищение из среды многолюдной столицы своего короля, — она все же подметила ремесло, смущавшее безопасность обывателей. Тогда Семен Никодимович решил, что не должно долго оставаться на одном месте, а после всякой громкой истории переезжал в другое, и таким образом, избегая разговоров и преследований, он из Варшавы переезжал в Вильну или на Волынь, из Вильны в Киев (тогда уже русский), из Киева в Вену, потом опять в Варшаву, и жил, как мы сказали, то кутя как богатый пан, играя и развратничая, то пригнув хвост и забирая провизию в долг у знакомого жида на таком условии, что после первой удачи за все платит втрое. Вдруг до него как-то

дошло, что многие красавцы и молодцы нарочно едут в Москву поклониться русской императрице. Говорили будто, что общее поклонение входит в сущность ее некоторых планов. Какого вздора за границей не рассказывают про матушку-Русь. Шепелев поверил этому вздору и, вспоминая свою троюродную тетюшку Мавру Егоровну, подумал: "А что, если тут моя судьба?" Он позабыл, что после того, как он поступил двадцатичетырехлетним молодым человеком в лейб-компанию, прошло без малого 15 лет, что эти 15 лет он жег свою жизнь, именно, что называется, вовсю и что если он еще не состарился, то осунулся, осовел; стан его согнулся, глаза впали, кутежи, бессонные ночи, разврат, а подчас бедность и нужда оказывали свое влияние, и он также похож был на молодца лейб-компанца, как старая водовозная кляча бывает похожа на боевого коня. Но оставаясь на том же прежнем русском авось, на том же "может быть", с которыми когда-то он шел к фехтмейстеру голштинцу, он думал: "Почему же не выбрать меня, почему же не я?"

В это время он со своим адъютантом, быв-

шим бурсаком, потом архиерейским певчим и, наконец, проворовавшимся где-то писцом, выдававшимся, однако ж, при помощи фальшивых паспортов, за родовитого пана литовской Руси, находились в совершеннейшей крайности, были в положении нищего. К услугам Семена Никодимовича, как бретера, давно уже никто не обращался; чтобы обыграть кого-нибудь в карты ли, в кегли или на биллиарде, нужны деньги, а деньги обыкновенно скоро уходят от того, к кому легко приходят. У них они давно все вышли. Долго жили они, продавая свои вещи, потом на кредит, наконец, все истоцилось. Бедность началась крайняя, безысходная; бедность, особенно тяжкая тем, что следовала за минувшею роскошью и кутежами, следовательно такая бедность, которая отталкивает от себя руку помощи. Может быть, именно вследствие этой бедности, из которой они не видели исхода, они и начали рваться к тому, что могло тешить их воображение хоть миражом; может быть, именно потому, что они не видели ничего ни перед собой, ни за собой, они и начали составлять планы один другого фантастичнее, один

другого несбыточнее, обманывая таким образом богатством фантазии свою жалкую действительность.

— Да-с, уж это мое почтение, чтобы там какой ни на есть бестия, русский князь или граф стал угощать меня там бараниной или котлеткой с картофелем, — говорил Семен Никодимович, с чрезвычайно жадностью поглядывая сквозь окно на продаваемую на улице на лотке печенку и с трудом пережевывая черствую, заплесневелую корку хлеба. — Захотят угостить, так пусть угощают соусом из соловьиных языков!

— Э, пан, зачем так гордо? Пожалуй, еще не узнаешь, соловьиный то язык аль воробьиный. Котлетка телячья отбивная, помните какой нас раз в Вене в трактире угощали, право вещь гарная и зело гарная. А не то киевская индейка с соленой вишней... уж пусть только пригласят, не заставлю другой раз себя просить, а не то вареники в сметане, право забудешь фрикасе всякое, — отвечал на то Квириленко, тоже ломая свои зубы о сухой черный хлеб и запивая его квасом, которым как-то приятели раздобылись.

— Ну, индейке-то с трюфелями, пожалуй, и я бы сделал честь, но только чтобы все это было приготовлено в наитончайшем виде, — заметил Семен Никодимович.

— Хорошо, больно бы хорошо, пан, только как мы доберемся-то? — спросил Квириленко, любивший всякий вопрос ставить скорее на практическую почву.

— Хоть с чумаками, в виде батраков, варенье киевское в Москву повезем или пшеницу — туда говорят нонче много ее требуют, а добраться доберемся во что бы то ни стало! Не то с обратными богомольцами, питаюсь Божьею помощью! — отвечал Семен Никодимович, любивший решать сразу такого рода практические вопросы, чтобы потом отдаваться полностью игре своей фантазии.

— А там чем жить будем?

— Фу какой ты дурак, Квириленко! Чем будем жить? Ведь там Москва, богатая страна! Денег там куры не клюют; в какой дом не приди, знакомый ли, незнакомый ли, хоть три обеда подадут. Ты там не был, так и не говори! Особенно когда узнают, кто я! Все вельможи и богачи разом прикатят и прямо: "Се-

мен Никодимович, что прикажете, что нужно!" Всякий понимает, что если поправлюсь, так отслужу, еще как отслужу-то! Ты не видал, как все кланялось Разумовскому или Шувалову. А что такое Разумовский? Простой хохол был, как вот и ты же, больше ничего! Ну а разве я могу не понравиться? Ну смотри меня, оглядывай! Не скажешь ли, ростом мал?

И Шепелев вытянулся во всю свою величину.

— Ну, гляди!

Квириленко оглянул Семена Никодимовича, но разумеется, видя его каждый день и почти не разлучаясь, он не мог заметить тех борозд и морщин, той одутловатости в лице, которых привело и поставило на них обоих время, бессонные ночи, кутежи, волнения страстей и переходы от роскоши и несообразного мотовства к беспомощной нужде и нищенской бедности — поэтому сказал:

— Нет, ничего... но измят маленько!

— Поотваляюсь, как жизнь-то иная пойдет! На сухоедении поневоле измят!

— Но как же? Ведь надо, стало быть, поотваляться, да и поприодеться!

— Разумеется! Это и дело тех вельмож и богачей, которые нами пользоваться захотят. Как только приедем, я явлюсь к кому-нибудь из тамошних богачей князей или графов и скажу: "Ну вот, смотрите, каков я человек есть; если полагаете, что как следует, то поддержите, а я уж ртблагодарю!" Ты только слушай, Квириленко, а уж я дело поведу! Не бойсь, не задумаюсь!..

Вот на этих-то основаниях и расчетах и начали собираться ехать в Россию наши паны; в таких-то мечтах, продавая что можно и занимая у кого можно, они то пешком, а то и на подводе добрались до Москвы, с новою венгеркою Семена Никодимовича в котомке, которую они сохранили, несмотря на перетерпевание иногда холода и голода и перенесение во всех видах чрезвычайной нужды.

Несмотря на эту нужду, несмотря на совершенное отсутствие всяких средств, Семен Никодимович без гроша в кармане явился к обер-камергеру князю Александру Михайловичу Голицыну со всею наглостью челяди польских магнатов, усваиваемою ею в бесцеремонности передней.

— Прямо из Киева, ваше сиятельство, — сказал басом саженный и усатый господин, наступая на князя так близко, что тот принужден был отступить на полшага. — Имею честь представиться! Служил в лейб-компаниии вахмистром, теперь в отставке армии секунд-майором; имею счастье помнить, как ваше сиятельство изволили первый раз надеть офицерский шарф в Преображенском полку, так что до некоторой степени позволяю себя считать вашим сослуживцем, сиречь, по оружию сотоварищем. Приехал просить вашего покровительства и помощи; надеюсь не откажете, потому что заслужу, право слово, рука честного человека, заслужу!

Князь — истинный петиметр французского общества, петиметр с головы до пяток, прошедший большую часть молодости за границей в качестве резидента, а потом и посланника при разных дворах, едва не смешался перед такою личностью, какой он не только никогда не видал, но и вообразить себе не мог. Тем не менее на заявление, что он прямо из Киева, будто для него могло иметь значение то, что он из Киева, а не из Архангельска,

не мог не отвечать, саркастически:

— Весьма сожалею, милостивый государь, о Киеве, который вы изволили оставить. Чем же я могу быть полезным вам здесь, в Москве?

— Прежде всего, ваше сиятельство, у меня нет ни грошика денег, а здесь, в Москве, у-у как дорого! Не признаете ли, ваше сиятельство, возможным, по нашему старому со товариществу по службе, ссудить меня заимообразно рублями хоть пятьюстами. Знаете, с дороги пооправиться, приодеться нужно. Видит Бог, отблагодарю, пусть будет удача. Вот как отблагодарю, век слугой буду!

У Голицына расширились зрачки от изумления. Как! Человек, которого он видит первый раз в жизни и который, будучи моложе его, по меньшей мере, пятнадцатью годами и будучи не более, как вахмистр лейб-компаний или хоть армии майор, уверяет его, действительного тайного советника и обер-камергера, что он ему сослуживец и со товарищ, и уже с совершенною бесцеремонностью просит денег займы — такое нахальство ему бросилось в глаза. "О, о! — думал князь. — Это

уже из рук вон!"

— На ваше "прежде всего", милостивый государь, считаю нужным сказать, — отвечал князь, стараясь говорить сдержанно, — что, к сожалению, исполнить вашей просьбы не могу, так как имею привычку все свои деньги тратить сам, а затем позволю себе спросить, что же вам будет угодно после?

— Гм! Нельзя так нельзя? Вот чего не ожидал. Я, признаюсь, надеялся, что ваше сиятельство, входя в положение бывшего преображенца... Ну, нельзя так нельзя. Бог даст, как-нибудь и сами справимся! А после... после... моя просьба, услышав которую, может быть, вы пожелаете исполнить и мою первую просьбу. Моя вторая просьба — испросить дозволения представиться великой государыне, Семирамиде Севера, и лично выразить мое усерднейшее поздравление со славным миром и мое всенижайшее ей рабское почитание!

— Что? — более и более изумляясь, спросил Голицын. — Вы хотите представиться государыне?

— Точно так, ваше сиятельство; надеюсь,

что она, по своей великой мудрости, не откажет в том одному из ее вернейших и преданнейших подданных!

— Но какие же права, какие основания? Чего хотите вы от государыни? По какому делу?

— У меня, ваше сиятельство, нет дел! Да я, собственно, и не желаю никаких дел иметь. Я желаю, чтобы государыня приняла меня на службу при своей особе!

— На службу? — с тем же выражением изумления спрашивал Голицын. — Чем же вы при государыне хотите быть? — И Голицын невольно улыбнулся, оглядывая великана с головы до ног.

— Чем ей будет угодно. Она не найдет человека более верного и преданного, поэтому можно назначить там меня хоть своим шталмейстером, что ли, или мундшенком, это все равно! Чем ей будет угодно.

— Не лучше ли уж прямо обер-камергером? — не без иронии спросил князь.

— Там уж куда она захочет! — с наглым нахальством отвечал Семен Никодимович. — По достоинству и по заслуге.

— Какие же ваши заслуги?

— Будут, непременно будут, пусть только узнает меня! Для того-то я и прошу вас испросить дозволение ей представиться.

— В этом виде?

— А что же, разве мой вид не хорош? — И он приосанился, как бы желая показать, что он за себя постоит и хорошо помнит, что его многие находили статным молодцом, а когда-то даже красавцем.

— Извините, милостивый государь, это невозможно!

— Отчего же невозможно?

— От того, что у нас установлена особая форма и известный церемониал для представления государыне. Отступить от этого церемониала я не вправе без особого высочайшего повеления.

— Я о том только и прошу, чтобы вы высочайшее повеление испросили. Вот скажите, отставной лейб-компанец помнит ее величество еще великой княгиней, просит дозволения представиться в том виде как есть, по важному делу.

— Но вы говорили, что у вас дел нет?

— Найдутся: не мое, а ее дело. Не умирать же мне здесь с голоду по делу ее величества?

— У вас есть от кого-нибудь письмо?

— Ни от кого. Да и зачем мне письмо, когда я сам от себя?

— В таком положении я не могу ничего даже и докладывать, по крайней мере прежде, чем вы скажете мне, по какому делу вы хотите беспокоить государыню. Скажите.

— Ну уж это, ваше сиятельство, извините, атанде-с! Вам не скажу! Уж это пусть сама спросит!

— В таком случае, милостивый государь, прошу извинить, ничего сделать для вас не могу!

— И не доложите?

— Не доложу, потому что не имею права, не могу!

— Не можете, и дело с концом! Может, оно и к лучшему! Я сам о себе доложу!

— Как это?

— Просто пойду и скажу: матушка царица, дозвожь твоему верному и преданному рабу тебя видеть!

— Ну этого я вам не советую!

— Отчего?

— Оттого, что можете натолкнуться на чрезвычайную неприятность. Мы спокойствие нашей государыни умеем оберегать!

— Ну там увидим!

И усатый, высокий господин, повернувшись на каблуках, живо исчез.

"Вот еще какая личность, пожалуй, тоже искатель милости и фавора! — подумал Голицын, с презрением смотря вслед уходящему. — Не даром же он говорил о своих будущих заслугах, о своей благодарности... Бедная государыня! Как все эти господа должны мучить ее. какое презрение к человечеству должны они вызывать... Однако нужно написать Волконскому, чтобы от таких господ поберег не только государыню, но и самый дворец. От них все станется!"

Александр Семенович Васильчиков сам понимал, что он попал не на свое место, что он в положении вороны, залетевшей в высокие хоромы. Но что ему делать? Бесконечно добрый, мягкий и уж вовсе не честолюбивый, он был во все время своего случая, "своего

счастья", как говорили все, в положении кролика, который неожиданно попал под стаю собак. Его травят, преследуют, давят, ловят со всех сторон. Он кувыркается, вертится, мечется во все стороны, припадает, прячет свою беленькую головку — ничего не помогает, спасенья нет. Враги окружили, грозят со всех сторон и через мгновение разорвут на части.

Неразвитый, молчаливый, полуобразованный Васильчиков был в положении именно этого кролика. Те, которые, пользуясь отъездом графа Григория Григорьевича Орлова в Фокшаны, помогли ему взобраться на недоступную для него высоту, требовали от него, чтобы он, во что бы то ни стало, на этой высоте держался, и упрекали беспрестанно, что он то то, то другое упустил для своего положения. А какое тут укрепление положения, когда он чувствовал, что и без того у него кружится голова, что от падения его один шаг, да он рад бы и упасть, только не знает как, чтобы не разбиться вдребезги.

Другие, напротив, с самого первого дня как он стал приближенным, старались его сбить, спутать, столкнуть — чем-нибудь компроме-

тировать. Иногда расскажут ему анекдот, событие, обстоятельство, чрезвычайно ему, кажется, любопытное. Он передаст этот анекдот или событие государыне, думая ей угодить, рассеять, развлечь, а та сердится, говорит: как можно такой вздор говорить или такому вздору верить! А почему он мог знать, что это вздор? Раз, например, сказали ему, что завтра, после солнечного заката петербургский меридиан простыми глазами можно будет видеть. Он сказал ей это, думая, что и ей будет приятно взглянуть, вместо того государыня разгневалась. Но особенно помнит он, как она рассердилась за то, когда он рассказал, что слышал, будто в Москву привезли попа с козлиными рогами. Государыня даже из себя вышла. Иногда вздумают уверять его, что в него влюбилась такая-то дама или такая-то девица, влюбилась без памяти и готова утопиться, если не окажется он ей какого-либо знака внимания. Эта дама или девица в самом деле кокетничает с ним без милосердия. Он поверит, подойдет к ней, думая сказать только несколько слов, а та делает вид и потом уверяет его в глаза, что он сделал ей деклара-

цию, хотел соблазнить, и Бог знает что. Изволь тут отговариваться, отделяваться, уверять. Просто травят, именно как кролика травят.

Все же эти не так опасны; но свои, свои, от них не отвертишься, не отговоришься, не отделаешься. Например, граф Никита Иванович. У него, кажется, от одной мысли, что граф Григорий Григорьевич опять будет, душа в пятки уходит, одно воспоминание об Орлове наводит на него лихорадку. "От его бешеного и мстительного характера можно всего ожидать, — говорит он. — Он Бирона напомнит и, пожалуй, распорядится так, что позавидуешь Волынскому".

А Чернышев объясняет:

— Елизавета была добрее, мягче, сердечнее Екатерины. Она все свое царствование ни одного смертного приговора не утвердила и не допустила. А эта, положим, злодеев — Пугачева с сообщниками да Мировича — не задумалась палачу отдать. А и при Елизавете, Трубецкой с Шуваловыми захотели, так с Бестужевой, Лопухиной и Головкиными, Лилиенфельдшей сумели так распорядиться, что, по-

жалуй, и о смертной казни можно было пожалеть. А Орлов, ведь это зверь! Она поневоле его послушает. Ведь шутка, лет двенадцать привыкла ему в глаза смотреть. Еще при покойной императрице никто и не догадывался, а вот как скончалась императрица, они покойного императора так обошли, что не дай Бог слышать. А все Орловы! Пять братьев. Ну, пускай, пятый молод, старший в деревне, но три брата один за другого стеною стоят. Они окружат императрицу, к ней и не подойдешь. А сами и давай всех душить! Тебя, Васильчиков, первым на кол; нас, Панина, Брюсшу, Голицыных — кому голову долой, кого в Сибирь навечно или в крепость. Нет, нет! Держись, Васильчиков, во что бы то ни стало держись! А то, знаешь: избави Бог от глада, труса, потопа, нашествия иноплеменников и трех плутов братьев Орловых, коим место давно уготовил еси в геенне огненной...

Это пели на все лады и с разных тонов и Ададуров, и Елагин, и Теплов, когда-то ближайший Алексея Орлова помощник, и статс-секретари Екатерины, и близкие к ней особы Протасова, Лопухина, Нарышкин, Строганов

и даже Матрена Даниловна, единственная дурочка и шутиха императрицы Екатерины, наконец, и княгиня Дашкова, приписывавшая все свои невзгоды зависти Орловых, хотя, сказать по правде, ни один из них о ней не думал.

— Ты, Александр Семенович, уж постарайся, братец, — говорил граф Иван Григорьевич Чернышев, угощая своего приятеля всем, чем мог, — как-нибудь этак поласковее да повнимательнее. Только удержишься, непременно удержишься, а то беда!

А Васильчикову чего уж было держаться, когда, как мы сказали, он и скатиться-то не знал как. Говорят — поласковее; а когда и ласка-то не к сердцу, когда и от ласки-то зевают.

— Вы, Александр Семенович, выдумайте что-нибудь позанимательнее и начинайте рассказывать, да так, чтобы вашему рассказу и конца не было. Государыня привыкнет вас слушать и будет слушать с удовольствием, — говорил Иван Перфильевич Елагин, вспоминая, что он точно таким образом забавлял графа Алексея Григорьевича Разумовского. Этими рассказами он держался и в люди вы-

шел, и теперь такого же рода рассказами милость императрицы заслужил. — Вспомните сказки из "Тысячи и одной ночи" и султаншу Шехеразаду, — продолжал Елагин. — На что положение ее было хуже. Султан рассердился и, не говоря ни слова, велел в куль да в воду. Она выпросила дозволения только одну сказку рассказать. Султан согласился. Вот она и начала, да и рассказывала тысячу и одну ночь, до тех пор, пока, право, не помню, султан ли помер, или Шехеразада померла, или оба живы остались и оба друг друга полюбили. Вот и вы выдумайте.

"Да, да! — думал Васильчиков. — Хорошо вам говорить "выдумайте", а что я выдумаю, когда она, кажется, все знает! На что, кажется, занимательнее я рассказ придумал о том, как, стоявши в Риге, мы вкруговую в свайку играли, с тем, что кто выигрывает, того Амальхен, хорошенькая трактирщица, должна поцеловать, и как я всех обыграл и от Амальхен поцелуй получил, а в Амальхен был влюблен толстый-претолстый гарнизонный майор. От зависти он хотел на стул вскочить и вдруг... Так ведь даже договорить мне не дала, сказа-

ла: "Перестань болтать, Александр, садись лучше за вышивку. Право, когда ты молчишь, так и хотелось бы, чтобы ты что-нибудь заговорил, а как говоришь, готова Бог знает что дать, чтобы молчал!"

Панин уговорил его раз попросить государыню, чтобы она что-нибудь ему прочитала. Государыня согласилась с удовольствием. Она любила читать и по-французски читала прекрасно. Васильчиков тоже хорошо знал французский язык, хотя ни по-русски, ни по-французски не читал никогда и ничего, кроме приказов по полку, когда состоял в числе полковых офицеров. Государыне пришло в голову, что его просьба о чтении вызвана в нем невольною потребностью души, и она подумала, что чтение ей поможет развить любимого человека. "Может быть, — подумала она, — чтением я вызову в нем те силы души, тот полет ума, ту нежность чувства, которые теперь находятся в нем как бы в летаргии вследствие неразвитости, меркантилизма и мелочности интересов, в которые он погружен с детства недостаточным воспитанием".

Обманутая замечательно красивою наруж-

ностью Васильчикова, Екатерина не хотела верить, чтобы вся эта истинно мужская энергическая красота была ничего более, как физиологическая игра природы. Она не хотела верить, что выразительность лица не доказывает ничего более, кроме подвижности связывающих различные части его мускулов, что огонь глаз происходит просто от сильного отделения фосфористых частиц сквозь сетчатую оболочку зрачка, а осмысленность приятной улыбки ничего более, как случайное очертание подбородка. Она думала: "Лицо — зеркало души, если душа спит, нужно ее разбудить!" Мысль стать Прометеем для этой уснувшей в красивом теле души заняла Екатерину, увлекла ее, и она с серьезным вниманием начала думать о том, в каком порядке должно происходить ее чтение, чтобы оно могло быть именно прометеевым огнем для человека, пользующегося расположением. После нескольких колебаний она положила начать чтение с некоторых драматических произведений Вольтера. Ей очень нравились его "Заира" и его "Магомет II".

Она думала: "В Вольтере, правда, нет ха-

рактерных отличий: в нем нет ни местного колорита, ни бытовых очерков времени, ни народности. Его Магомет в своем серале скорей Людовик XIV среди своего развратного двора. Но зато нигде не разлито столько чувства общечеловечности, столько гуманизма. В нем везде ум, везде чувство, идеальное, правда, но возвышающее, возбуждающее, и везде человек в его высоких стремлениях и ощущениях. Для Александра, я думаю, такое воспроизведение идеалов человечества должно быть особенно полезно. Оно-то особенно должно вызвать в нем силу мысли. К тому же стихи Вольтера — чудные стихи".

И она начала читать эти звучные, могучие, будто выкованные из стали стихи, не потерявшие своего достоинства даже теперь, после гармонических строф Ламартина и Виктора Гюго. Но что же? Не успела она прочитать несколько страниц, как увидела, что оживляемая ею душа спит в креслах сном праведника.

Екатерина положила книгу, опустила абжур на лампу до полутемноты, вздохнула и вышла из кабинета.

Васильчиков проснулся уже после полуночи и долго не мог прийти в себя, будучи не в силах дать себе отчет, каким образом он сюда попал.

Зато на другой день, когда он опять заикнулся было о чтении, Екатерина, смеясь, отказала, сказав:

— Ну полно, Александр, какое тебе чтение? Я не хочу служить для тебя усыпительной машиной. Садись лучше вышивать!

Но в тот же день ему и вышивать не пришлось. Только что он успел усесться за пядьцы и разобрать вновь присланные шелка, как в кабинет государыни торопливо вошел ее старый камердинер Захар Константинович Зотов.

— Матушка государыня, ваше величество, — сказал он, — от генерал-фельдмаршала из армии курьером генерал-майор Потемкин!

Государыня обрадовалась.

— Зови, зови! — сказала она. — Дай Бог с добрыми бы вестями. Уходи, Александр! Может быть, ему при тебе и неловко будет говорить.

Васильчиков поневоле должен был исчезнуть.

"Ну, — подумал про себя Потемкин, входя в кабинет и заметив исчезновение Васильчикова, — меня бы уж, наверное, не прогнали".

Глава 6. Замыслы и предложения

— Як же, пан, быть? Что станем делать? — спросил, дергая себя за губы и оправляя свою старую, заплатанную свитку, пан Квириленко у Семена Никодимовича, когда тот, сердитый и ругающийся, ввалился в их общую конуру с заявлением, что суетились, тратились и мучились они без толку, что приехали они ни во что и не привезут ничего, так как князь Голицын не только деньгами помочь не хочет, но даже объявил, что и докладывать государыне о его просьбе об аудиенции не станет и самого пробраться не допустит.

— Что же теперь делать, пан? — повторил Квириленко, обдергивая опять свитку, которая была когда-то щегольской, но теперь решительно валилась с плеч, так что уже года с три пан Квириленко таскал в ней и воду и во-

еводу.

— Что делать? По-моему, прежде всего нужно жрать, а потом думать, — отвечал сердито Семен Никодимович, разглаживая свои черные, как смоль, длинные усы.

— Великое слово, пан, сказать изволили, — отвечал Квириленко не без юмора. — Оно точно, что натошак как-то плохо думается. Глупое дело, а без яствы как-то зубы портятся. Вот, например, теперь у меня они целые сутки стоят без помола, думаю от того друг о друга колотить начинают. Это верно! Но что же делать, когда помолу-то никто не везет. Я было и так, по старой бурсацкой памяти, забрался на огород, думал, не вырою ли где картошку-другую, чтобы работу зубам задать. Да эти проклятые москали таким снегом огороды свои заваливают, что и до земли, не то что до картофелю, никак не доберешься.

— Вот дурак, зимой по малину пошел! Ты бы лучше в чуланах где порылся, может и на картофель попал бы.

— Пробовал, пан, пробовал! Да здесь не то что у нас: чуланы мочалкой не завязывают. Все на замке да на запоре, за всем глаза. И так

соседняя кабатчица на меня помелом пригрозила и булочника позвать хотела за то, что я полотенце с веревки думал стащить. Нет, тут где не клал, не бери; сторонка уж такая. То ли дело у нас...

— Черт знает какое положение благородного дворянина, и еще какого дворянина-то, у которого дяди дворцы и в Москве и в Питере имеют, тысячами душ владеют! Надо говорить правду, у меня просто живот подвело. Право, Квириленко, я тебя съем, если ты не выдумаешь чего-нибудь поумнее.

Разговор этот происходил в грязнейшей конуре постоянного двора, в каком-то страшнейшем захолустье Москвы, где-то в Зарядье или что-то в этом роде, в такой трущобе, о которой не только многие не знали, но даже и не подозревали.

— Нужно, пан, что-нибудь поумнее выдумать, а то если я вас, а вы меня станете кушать, то, надо полагать, от обоих ничего не останется. Любопытно было бы тогда побачить, кто из нас сытнее будет? Надо полагать, я, потому что видите, пан, какой вы рослый.

— Не мели вздора, а вот что, Квириленко,

слушай! Оба сыты и оба пьяны будем. Ты только молчи! Я уж обдумал. Я тебя завтра продам!

— Як продадите, пан?

— А так, продам, да и только! Вот завтра напечатаю: дворянин, приехавший из провинции по крайней нужде в деньгах, продаст своего ученого садовника весьма дешево. Ведь ты садовую часть знаешь?

— Знаю, знаю садовую часть. Еще бурсаком грушевицу и яблонцы воровать хаживал, а также и в огородах брюквицу, морковицу, да и горохом забавлялись. А картошка-то, бывало, наш хлеб, его, бывало, идем рыть скопом. Соберутся, бывало, философы и риторы с собою захватят. Квестор всем делом руководил. Нароем в ночь-то мешка два, не то и три, глядишь, и сыты. А здесь, у-у! Соломинки не сыщешь! Недаром говорят: Москва бьет с носка!

— Именно с носка! Хоть бы этот князь Голицын. Что денег не дает, это так, это понятно. Значит, моя фигура не в его вкусе, и он думает, как еще понравится. Не понравится, дескать, и деньги пропадут. Но чтобы отказать

в докладе, это обидно! И какое он право имеет? Я дворянин...

— Так что ж ты думаешь, пан? Ты его на дуэль вызови! Тогда, пожалуй, и деньги будут.

— Кого? Голицына-то, обер-камергера? Нет, брат Квириленко, ты уж очень глуп! Ведь здесь не Польша и такие штуки куда не любят. Там тоже, коли ты вызовешь какого-нибудь Сангушку или Замойского, так прикажут познакомить тебя хорошенько с арапниками, чтобы ты, как сверчок, знал свой шесток. Ну а здесь на арапниках не останутся, как раз туда отправят, куда Макар телят не загонял, эдак в Нерчинск или в Камчатку упрячут не то в каземате сгноят! Нет, это не дело! А вот тебя продать — дело безопасное. Тут Москва, хоть и бьет, как ты говоришь, с носка, но мы и Москву обойдем!

— А продадите, пан, ведь так я крепостным буду?

— Разумеется, я и крепость выдам. Да ты разве не убежишь? Ведь ноги-то, чай, у тебя не в закладе у жида оставлены?

— А коли поймают?

— Ну, спину вздуют. Беги, чтоб не пойма-

ли!

— Коли только вздуют — это еще ничего, вот на цепь бы не посадили!

— Не посадят! Какой дурак за тебя деньги заплатит да захочет даром хлебом на цепи кормить? Купил садовника, так велит ходить за садом. Ты только смотри, как показывать тебя стану, всякую какую ни на есть траву латынью обзывай. Ведь латынь-то, чай, у тебя не совсем еще из головы вылетела?

— Ну, как не вылетела, она и в бурсе-то у меня не крепко держалась, больше на обе ноги хромала. Из-за нее-то, проклятой, я и не попал в философы!

— Так вот, на первое время исход найдем. За тебя бедно дадут триста, а может, и все пятьсот! Пообзаведемся и месяц-другой проживем. А в два месяца мало ли что придумать можно. Может, удастся в картишки, или на биллиарде, или за дуэль с кого сорвать. Заживем опять панами! А там, Бог даст, и аудиенцию выпросим.

— Постойте, пан, вы, я вижу, о себе подумали, пятьсот рублей точно деньги! А я ♦ то тут при чем?

— Да ведь ты ко мне же убежишь, прожить их будем вместе. Что я обижаю тебя, что ли, когда у меня деньги есть?

— Нет, я этого не говорю. А паспорт?

— Куда же он девается? Какой у тебя есть теперь, тот и будет! И панский, и бурсацкий, оба целы будут! Ведь не могу же я продавать тебя с твоим паспортом отставного ритора и архиерейского певчего, а теперь магистратского писца, стало быть, чуть не чиновника? Тем паче не могу продавать ясновельможного литовского пана герба зеленой смоковницы. Я продам тебя как своего крепостного дворового человека, ученого садовника, Яшку Товстогуба, числящегося за мной по ревизии под № 5. У меня, кстати, и ревизские сказки проданной мною деревни с собой. Для того мне никакого паспорта не нужно. Я от себя покупщику купчую выдам. Он пусть с купчей и сидит. Только не забывай откликаться. Как я кликну: "Яшка!", ту же минуту отвечай: "Сейчас, сударь!", а то подозрение наведешь. Еще травы как ни на есть, а все по-латыни ка-тай. Коли ученый, так ученым надо и быть. Ну идет, что ли?

— Признаться, боюсь!

— Чего?

— А как утечь-то я утеку, да вас не найду.

— Куда ж я денусь?

— А кто же ведает? С деньгами вам дорога всюду скатертью.

— Дурак, дурак и трижды дурак! А кто у меня потом в секундантах-то будет? Кто карты кропить, фальшивые паспорта заготавливать, дуэли на мировую склонять будет? Да в нужде можем и опять теперешнюю штуку повторить, можно будет снова тебя продать если не за садовника, то за повара или за слесаря. У тебя же руки-то будто отроду только и дела делали, что замки да ключи ковали. Нет, брат Квириленко, мы с тобой друзья неразрывные, нас если и повесят, так на одной веревке. Зато коли я когда в случай попаду, тебе лучшую фрейлину предоставлю.

— Смейся, пан! Коли и докладывать не хотят, стало быть, плохо дело!

— Без денег, разумеется, плохо, ну а с деньгами и без доклада найдем случай показать-ся, стало быть, смеяться нечего, а нужно дело делать. Хоть жаль, а делать нечего: неси ты

мою новую венгерскую пару к этому, знаешь, выкрещенцу, послезавтра выкуплю, а пока похожу и в старой; возьми ты у него рублей хоть тридцать, купи печенки да рубца, что ли, голод заморить. Ну и чтобы по шкальчику обоим. Здесь рассчитаемся, а квартиру я возьму хоть на Арбате. Ты делай вид, будто рад, что я тебя продаю, дескать, часто голодать приходилось. А как купчую я подпишу, денежки получу, то дам тебе синенькую на водку, дескать за твою прежнюю службу, и сдам тебя с рук на руки. Ты с новым господином ступай, сделай ему честь, у него позавтракай или пообедай, а как смеркнется — и задавай лататы сюда. Здесь тебя знают, поэтому пустят. Здесь ты будешь опять Яков Федорович Квириленко, а не Яшка Товстогуб, и паспорта твои будут с тобой. А если ко мне придут, то я отвечать знаю как, скажу, дескать, я сдал с рук на руки, а там не мое дело: может, на родину ушел, на Волынь, или в вашу Хохландию, там пусть и ищут. Я же буду знать, где тебя найти.

— Пусть ищут!

— Так валяй! Неси венгерку, завтра же и

объявление пустим.

Как было сказано, так и сделано. На другой день в "Московских ведомостях" было напечатано, что по крайности в деньгах приезжим помещиком продается дворовый человек, ученый садовник.

Не прошло несколько часов после появления объявления, как в бедную, но все же приличную комнату в гостинице явился приезжий из Вологды помещик Лихарев и спросил помещика Семена Никодимовича Шепелева.

— Он сам, к вашим услугам! — отвечал Семен Никодимович, который, для пущей важности, в ожидании посетителей, сидел на диване и курил из длиннейшего чубука кнастер.

— Позвольте представить себя: вологодский помещик Андрей Прокофьевич Лихарев!

— Рад познакомиться! Просим занять место. Что просить прикажете: водочки, или закусить, или, по-модному, чаек изволите кушать?

— Нет, благодарю! Я ничего не хочу. Я уж, грешный человек, пообедал. Ведь у нас по-деревенскому, как полдень, так и обед, — ответил Лихарев, садясь на стул подле дивана.

— Может, трубочку прикажете, настоящий голландский?

— Благодарю, я не курю.

Нужно сказать, что в то время курильщи-ки были редки; больше нюхали; курили только записные забулдыги.

— А я, грешный человек, покуриваю, — отвечал Шепелев, — знаете, от скуки!

Оба замолчали, наконец, Лихарев начал:

— Вы продаете садовника?

— Да-с, ученого, хорошего садовника. У графини Браницкой семь лет в учениках выжил, а потом три года сам всеми графскими садами и оранжереями заправлял.

— Зачем же вы продаете?

— Крайность-с! Заехал сюда, у меня здесь дело в сенате с братом-с! После дяди большое наследство осталось. Брат все себе забрать хочет. Этого нельзя, согласитесь, нельзя. Мы родные, так пополам следует. Вот и приехал. Ну а здесь расходы, на все расходы, и на жизнь расходы, и по делу расходы, да так прожил-ся-с, что не знаю, как и быть, а делу все конца не вижу; так, знаете, тут уже не до садовников. Купите, уступлю дешево.

— Не старик?

— Нет, молодой еще человек, то есть в настоящих годах, лет двадцати восьми, не угодно ли взглянуть?

— Сделайте одолжение!

— Яшка!

— Сейчас, сударь! — отвечал Квириленко из-за перегородки, куда он был нарочно засажён в ожидании покупателей.

И он вышел из-за перегородки, держа в руках барский сапог, который будто бы чистил.

— Это он? Да еще молодой и с виду здоровый человек.

— Здоровый, совсем здоровый и болен никогда не бывал, а сильный какой, что ваша лошадь! — выхваливал Семен Никодимович.

— Ты садовник? — спросил Квириленко Лихарев.

— Точно так-с, только вот-с здесь, в Москве, все больше по лакейской должности, при барине.

— Ну, видишь, у меня есть чайное дерево, нарочно отсюда, из Москвы, выписал, и цвело так хорошо. Только вот нонче весной ни с того ни с сего вдруг завяло и листья падать на-

чали. Что бы такое?

— Фебрие пехтиналис, — проговорил Квириленко, не моргнув глазом и глядя Лихареву прямо в лицо, с хохлацки лукавым выражением, будто в самом деле он мог знать, что сделалось с деревом чуть ли не за тысячу верст, и определял это что-то с математической точностью.

— Как? — переспросил Лихарев.

— Фебрие пехтиналис, — повторил Квириленко, не улыбнувшись, — болезнь такая садовая бывает.

— И можно вылечить?

— Отчего не вылечить, коли не очень иссушила. Нужно взять акву аконитум, смешать с сальвой и посыпать мерзли монукус; поливать этим два раза в день, и надо полагать, недели не пройдет, цвести опять станет.

— А за розами ходить умеешь?

— Как же-с, на то обучался. Розы ведь разные бывают: сентифолиум, аморантос, делис и месячные. Всякая из них своей сноровки требует. Вот к господам Кочубеям меня на совет звали: у них розы были крутус профондус и вдруг захирели. Так нужно было аквой ди-

стилатис полить. Как полили — и хорошо пошли.

Разговор в этом роде продолжался довольно долго. Квириленко врал без милосердия, выдумывая слова, чтобы пустить Лихареву пыли в глаза. И точно его затуманил. Лихарев был в восторге от его учености и вдруг спросил:

— А водку пьешь?

— Употребляем без излишества. Як же можно человеку без горилки быть?

— То-то, без излишества, а то у меня, брат, смотри! Роца березовая в самом саду растет.

— Ступай к себе, — сказал Семен Никодимович, боясь, чтобы не вышло какого разочарования. — Ну, как вы находите? — спросил он у Лихарева, когда Квириленко исчез.

— Ничего, человек, кажется, знающий, только одного боюсь, не разбалован ли очень? — спросил Лихарев.

— О нет, я баловать не люблю! Оно, разумеется, здесь в Москве нельзя распорядиться по-настоящему, не то что дома, а все как в зубы дернешь раз, другой, так будет помнить.

— А как цена?

— За такого садовника, право, и двух тысяч заплатить не жаль. Батюшке покойному одно обучение рублей тысячу стоило. Но крайность, что же делать? Даром сдаю: семьсот рублей.

— Семьсот, однако ж, семьсот! Нет, за эту цену не пойдет, дорого просите.

— Помилуйте, когда одно обучение...

— Так-то оно так, а все же семьсот...

— Какая же ваша цена?

— Да, по-моему, рубликов бы триста...

— Что вы, помилуйте!..

Поторговались и сошлись на пятистах. Пятьдесят рублей Лахарев дал задатку.

— Что же, сказать ему или уж до завтра? — спросил он.

— Отчего же, шельма рад будет что от меня уходит... Яшка!

— Сейчас, сударь! — и Квириленко явился,

— Слушай, любезный, — начал Лихарев, — я тебя у барина покупаю, так у меня гляди, ухо остро держать!

Квириленко сделал суровую физиономию.

— Рады стараться, сударь! Нам все едино, кому ни служить. Будем стараться угодить ва-

шей милости, что же касается своей части, то в этом не извольте беспокоиться, за себя постоим!

— То-то, смотри! А то ведь у меня чуть что — такую баню задам, что до новых веников не забудешь!

Лихарев держался методов застращивания, хотя был человек вовсе не злой.

— Ведь нашему брату и нигде спуску не дают. Коли кормят, так и работать велят. Вот впроголодь, так работа поневоле из рук валится.

— Ну, у меня сыт будешь!

— Будем Богу молиться за вашу милость.

— Еще ведь холост?

— Холост, сударь!

— Захочешь жениться, дам девку хорошую, но барыниных горничных — ни-ни! И подумать не смей.

— А на что мне они, сударь, по мне их хотя бы и вовсе не было.

— Ну ладно, ладно! Вот тебе на первый раз выпить за здоровье твоей будущей барыни, Татьяны Марковны.

И Лихарев дал Квириленко полтинник.

Квириленко вошел в свою роль и весьма находчиво отвечал:

— Благодарим за милость, постараемся заслужить вашей чести, позвольте вашу ручку поцеловать!

Лихарев подал ему руку. И Квириленко ловко, по-школьнически чмокнул ноготь своего собственного большого пальца, поднося руку Лихарева к своим губам.

На другой день была совершена купчая. Шепелев получил деньги, причем дал синенькую на водку своему старому слуге, который, прощаясь, поклонился ему в ноги. Потом он поклонился в ноги и своему новому барину, старый барин тут же, при всех его передал.

— Не оставьте вашу милостью, сударь, — сказал Квириленко. — Будем служить по силам!

— Ну, ну! — отвечал тот. — Старайся, братец, и все будет хорошо.

Лихарев взял его с собой и по дороге спрашивал разную разность. Квириленко жаловался на бывшего барина, хвастался садовыми подвигами и, разумеется, врал без ми-

лосердия, но не проврался ни разу. Приехав домой, Лихарев повел свою новую покупку к жене, Татьяне Марковне. Новый садовник ей тоже понравился, и она, допустив его к своей ручке, велела накормить с барского стола.

Квириленко не задумался сделать честь стряпне вологодской стряпухи и, вспоминая сухоядение последних дней, наелся так, что завидно смотреть было, а ввечеру его и след простыл, будто и не бывало.

Екатерина действительно не узнала Потемкина, когда тот к ней вошел, хотя и помнила случай, бывший с нею при вступлении на престол, и помнила его фамилию как одного из ретивейших ее партизан. Но вместо сухопарого, тощего, бледного и кривого юнкера, еще не окрепшего и не сформировавшегося, к ней вошел молодой, свежий, с румянцем во всю щеку и небольшим загаром в лице, но уже плотный и осанистый генерал, смотрящий на нее твердо и спокойно обоими глазами. Он подошел к ней почтительно, скромно, но с достоинством, не сделав даже общепринятого поклона. Это сделал Потемкин умыш-

ленно, представляя из себя вид как бы фронтového ординарца, которому, разумеется, поклоны не полагаются. Спокойно, ровно, как рапорт во фронте, высказал он, что привез ратификованный султаном мирный трактат и выражение чувств глубокой признательности побежденных ею народов за дарованный им мир.

Проговорив эти слова, Потемкин на мгновение остановился, устремив на Екатерину свой пристальный, глубокий взгляд. Через несколько мгновений он продолжал, но как-то мягче, нежнее, выразительнее. Потемкин обладал необыкновенною способностью до чрезвычайности разнообразить модуляцию своего голоса и давать этим своей речи особую гибкость и выразительность.

Он стал говорить от себя, фельдмаршала и всей армии об общей радости, что могут принести своей государыне поздравление с победами и миром, и выражении общей готовности всего войска не жалеть себя — пролить последнюю каплю крови для пользы службы ее величеству. Он говорил об общем восторге армии при получении слов ее милостивого

одобрения; об общем счастье, что через него они могут ратификованный славный трактат мира вместе с другими трофеями войны повергнуть к священным стопам своей милостивой и обожаемой ими государыни.

При последних словах он раскрыл явившийся вдруг у него в руках ковчежец, которого до того Екатерина не заметила, вынул из него подлинный трактат с привешенными к нему золотыми печатями султана и, припав на одно колено, коснулся трактатом ног государыни, потом подал его Екатерине.

Государыня была чрезвычайно обрадована, растрогана и поражена. Ее будто несколько смущал пристальный, глубокий, почти неподвижный взгляд Потемкина, но, увлекаемая мелодичностью его речи и радостными известиями, которые он привез, она не обратила на то внимания. Она сама не знала почему, но чувствовала, что ее охватил прилив радости, будто она о привезенном трактате ничего не слыхала. И удивительно ли? Трактат этот представлял полное удовлетворение ее желаний, полное торжество ее самолюбия; благодаря этому трактату, она становилась на

пьедестал европейского величия. Ей даже казалось, что будто эта радость ее есть отклик на мелодическую речь Потемкина, отклик, вызванный его полунеподвижным взглядом, глубину которого она в ту минуту чувствовала.

— Приветствую вас, генерал, — весело сказала Екатерина, обдавая его мягкостью своего взора и ясностью своей светлой улыбки. — Очень рада вас видеть! Вы добрый вестник, а доброму вестнику всегда сердечный привет!

И она подала ему руку. Потемкин поцеловал ее почтительно, но не так, как целовали руку императрицы ежедневно все, кому только она ее подавала. В его поцелуе будто чувствовалась особая преданность, какая-то нежность, какая-то не то мольба, не то желание, которое как бы исходило из самого поцелуя; казалось даже, будто он удержал ее царскую ручку в своих руках несколько больше, чем это требуется придворным этикетом.

— Садитесь, генерал! Вы наш дорогой гость! Надеюсь, вы оставили фельдмаршала здоровым? — спросила Екатерина.

Потемкин встал с колен, опустил ее руку,

еще раз пристально вглядываясь в ее лицо, и только потом отдал ей общепринятый поклон, касаясь рукой пола, и сел по ее вторичному приглашению.

Он стал докладывать ей о состоянии армии, о чувствах, одушевляющих войска — чувствах беспредельной к ней преданности.

После разговоров перешел к Турции, к лицам, окружающим султана, и к царствующим кругом него интригам.

Екатерина слушала его с удовольствием.

Ей чрезвычайно нравились его спокойный, самоуверенный тон, ясность изложения и сдержанность. Он излагал свой взгляд на положение дел, и Екатерина не могла не отдать справедливости меткости его замечаний. Подчас ей хотелось даже спросить, не был ли он или даже не жил ли когда в Константинополе и не знает ли лично этих людей, которых так характерно описывает. "И как занимательно говорит он, — думала Екатерина, — а взгляд, что за взгляд!"

И точно, взгляд Потемкина был особенный, почти необыкновенный. Нужно сказать, что, желая сделать возможно менее замет-

ным свой вставной глаз, Потемкин приучил себя чрезвычайно редко мигать, почему во взгляде его являлась неподвижность, почти автоматическая, и эта неподвижность, как бы желавшая проникнуть насквозь говорящего с ним, представлялась совершенно необыкновенным явлением.

Екатерину невольно смущал этот неподвижный взгляд глубоко, пристально устремленных на нее глаз. На нее никто никогда не смел смотреть так. Внимание ее останавливало также это редкое, весьма редкое миганье, как бы подмигивание одного глаза. "Решительно не знаю никого, кто бы мог смотреть, как он! — думала государыня, всматриваясь в его свежее, молодое лицо. — В нем есть что-то особое, — продолжала она мысленно, — есть что-то властное, барское, что-то такое, чего не было ни в Орлове, ни в Васильчикове, несмотря на их выдающуюся красоту. Это что-то меня трогает, задевает... А как он умен!"

Вслед за этим замечанием, пробежавшим в ее мысли, ей пришлось смеяться от всей души.

Потемкин от общего очерка социальной

жизни турок перешел к анекдотической стороне их внутреннего быта, рассказывал одну историю смешнее другой и заключил описанием свадьбы старого сераскира Халиль-паши, который, разбогатеv страшно во время войны, захотел побаловать себя под старость молоденькой и хорошенькой женкой. Узнал он, что у одного его товарища по дивану, недавно сделанного skutарийским пашой, бедняка Мустафы-паши, есть редкой красоты внучка Фатима, он с ним и сговорился, заплатив за невесту порядочные деньги. Мустафа, будучи только что назначен на высокий пост и не имея никаких средств, хотел по турецкому обычаю прежде всего нажиться как можно скорее, поэтому деньги взял, но пользуясь тем, что невесту везут в мечеть и к жениху в дом крепко укутанною покрывалами, а также и тем, что присланное французским послом на свадьбу в подарок сераскиру шампанское, выпитое им вопреки закону Магомета, непременно должно было отуманить голову сераскира, и рассчитывая, что внучка-красавица может ему пригодиться хотя бы даже для самого султана, которого, пожалуй, потребуется

умилостивить новому скутарийскому паше, тогда как сераскир, что ему теперь сераскир? Он — и сам теперь член дивана высокой Порты — отправил Халиль-паше невесту, и тоже Фатиму, только не внучку, а свою некогда бывшую супругу, ее бабушку.

— Он справедливо рассудил, — говорил Потемкин, — что деньги с Халиль-паши уже получены, а он сам получил высокое положение, так что ему теперь Халиль-паша? Сам от стыда молчать будет!

Рассказывая эту историю, Потемкин с чрезвычайным комизмом очертил Халиль-пашу, затем бедного, недавно назначенного скутарийским пашой Мустафу, желание последнего скорее нажиться, приехавшую вместо своей внучки невесту, Фатиму-бабушку, всех лиц, содействовавших обману, и весь этот турецкий быт даже с присланным шампанским, которое Халиль-паша пил и которым поил своих гостей украдкой, по секрету, — и очертил все это в таком виде, что Екатерина смеялась от всей души, хотя Потемкин, рассказывая, едва улыбнулся.

Такого рода рассказы, перемешанные с се-

рьезными объяснениями и деловыми докладами, передаваемыми ловко, сжато, умно, так заняли Екатерину, что она и не заметила, как прошло время. Она продержала его у себя более трех часов, пока, наконец, не вспомнила, что Потемкин явился к ней прямо с дороги, что ему нужен отдых. Тут она засуетилась, приказала приготовить ему комнаты во дворце, выразила сожаление, что так долго задержала его, и была весьма польщена его ответом, что ее милостивые слова были для него лучшим отдыхом. И действительно, потому ли, что милостивый прием в самом деле придал Потемкину новые силы, или потому, что молодая энергия Потемкина была в нем в то время необъятна, но в Потемкине решительно не было заметно ни малейшей усталости, будто он и не ехал двух тысяч верст на курьерских или будто в самом деле ласковое слово Екатерины могло разом его оживить. Он так свежо и светло смотрел ей в лицо, улыбка его была столь радостна, а молодой румянец так ярко горел на его щеках, что Екатерина сама улыбнулась от удовольствия и с невольным выражением особой благосклон-

ности проговорила свое отпускное: "С Богом!", прибавив: "До свидания, надеюсь, часто будем видеться!"

И она подала ему свою руку. Потемкин горячо, страстно поцеловал ее. Она заметила, что в его поцелуе было более страстности, чем почитательности, тем не менее, а может быть, именно потому, в виде выражения своего благоволения, она сама слегка пожала ему руку.

Потемкин ушел от нее очарованный, и сладкие снились ему сны...

Вечером Екатерина сидела с одною из своих приближенных, Анной Петровной Лопухиной.

— Скучно, скучно, сил нет, как скучно с ним, — говорила Екатерина, — скучно до онемения, до обморока! Ну подумай, Анята, я ему говорю хоть бы об этом трактате, говорю, что Крым должно подписать под наше преобладающее влияние и должно стремиться, чтобы он стал совсем русским, составлял бы часть империи; тогда, говорю я, Россия, упираясь в Ледовитый океан на севере и имея

два моря — Черное и Каспийское — на юге, может иметь влияние на всякое решение Европы и Азии. Я говорю ему о таком могущем быть величии нашего Отечества, и как ты думаешь, что он мне на это ответил?

— Право, не умею сказать, государыня! — отвечала Лопухина, смеясь. — Мало ли что может отвечать на такое сообщение человек, любимый нами и близкий... Думаю, что, забывая об Отечестве, он пришел в восторг от его руководительницы и, может быть, вместо всякого ответа, просто попросил позволения поцеловать вашу ручку.

— О, нет! Хотя, по-моему, и это было бы очень глупо. Голубкам и тем нельзя только ворковать на свете. По-моему, делу должно быть время, а потехе час. Но с подобным ответом можно было бы еще помириться. Но нет! В нем не хватает ума даже настолько, чтобы понять, что глупость свою следует замаскировать хотя бы лестью. Он просто на вопрос, касающийся будущего величия и славы нашего Отечества, с наивностью ребенка спрашивает: можно ли смешать голубой и зеленый шелка, вышивая попугая. Может ли бестакт-

ность и глупость переходить такие геркулесовы столбы?

— Да! Нельзя сказать, чтобы он был очень находчив...

— И это после графа Григория, который, пусть хоть не много понимал, но ко всему относился с горячностью истинного патриота, все принимал к сердцу. А фантазия его, можно сказать, парила... Помню, какие смелые планы кружили всегда ему голову. Воображению его, кажется, не было предела. Крепость льва, мужество рыцаря, блеск метеора сверкали в каждом его слове и в его истинно мужественном характере... А ведь как добр, как незлобив был он...

— Да, зато его брат, граф Алексей Григорьевич...

— Ну тот плут, о нем и говорить нечего. Он всех более воспользовался положением своего брата. В то время как Грегуар почти ничего никогда для себя не просил, Алексей умел вытягивать от меня все, что можно. Положим, что он оказал мне не одну услугу, и из таких, какие государи не забывают. Чесменская битва и доставленная мне самозванка — это та-

кие его действия, которые должны быть сохранены и будут сохранены в моей памяти. Но Грегуар, Грегуар! Какая красота, какая фантазия, какая сила! Что если бы этот человек был образован? Знаешь, Аня, он так умел увлечь, так умел заставлять быть себе преданной, что я... не будь его несчастного характера... Он был добр как овца, но эта пылкость, это бешенство... Не будь этого, я сейчас бы...

— Зато его пылкость, как ваше величество изволите называть его порывы, признаюсь, приводила нас всех в смущение. Мы, признаюсь, изумлялись вашему терпению, вашей снисходительности и, скажу откровенно, подчас даже боялись за вас...

— Что же делать? Мне много приходилось терпеть от этой пылкости, доходящей до бешенства, до ража, до сумасшествия. Иногда точно даже думалось, что оставаться с ним опасно. Когда находили на него такого рода припадки, он положительно не помнил себя... Но зато человек был, истинный человек! Благороден, великодушен, добр... И что бы потом я ни говорила, чем бы ни грозила, как бы ни упрекала, он все принимал, на все пола-

гался, умоляя только о прощении и только о том, чтобы я не отдаляла его от себя... Я не могла не сдаваться на его мольбы, на выражение его преданности, раскаяния, не могла не ценить этой нежности, страсти, любви. Как женщина, я ему уступала... К несчастью, и нежность, и страсть, и любовь были опять до первого припадка ража, до первого бешенства... Но за припадком опять следовало раскаяние, опять нежность, и везде отвага, героизм, везде душа... Да это человек был! А этот, этот? Ну что мне в том, что он мягок как мокрая курица, что его, кажется, ничем не выведешь из себя?

— А красив?

— Да! Пожалуй, лучше Орлова, хотя и тот был редкий красавец мужчина. Но это картина, статуя, которую не оживил бы даже огонь Прометея. Знаешь, раз я увлеклась было мыслью, нельзя ли сколько-нибудь развить его понятия, разум, чувство... Но вижу, что труд Сизифа. Это просто кукла, которой не коснулся огонь разума! Можно любоваться статуей, находить красивой художественно исполненную куклу, но любить? Никогда!.. Пигмалион-

на я не понимаю!.. Он, по-моему, безнадежен. Никакая сила всеоживляющей любви не в силах вытащить его из того омута ничтожества, мелочности, обыденности, пустоты, в которые он увяз по уши, которыми питается, живет и которыми чувствуемую мною с ним скуку он доводит до одурения, именно, как я говорила, до обморока. Более я не в силах переносить такой жизни. Для меня невыносимо видеть моего генерал-адъютанта, моего тайного советника, моего друга, близкого мне человека, вышивающим в пальцах и задающим мне вопросы о синем и зеленом шелке... У меня к тебе просьба, Аня, поговори с ним: пусть он просится в Петербург, откланивается и уезжает. Я ему дам все, что он пожелает, кроме влияния на дела. Этого влияния, впрочем, ему и не нужно. Он сам понимает, что всякое его вмешательство только вредит. В этом отношении он похож на старшего Разумовского, не касается того, что ему недоступно. Тот — по крайнему недостатку образования, этот — по совершенной неспособности обсуждения чего бы то ни было. Оба были тем и хороши, что не брались за то, чего не могли

выполнить. В этом отношении я ему очень благодарна. Но мне с ним скучно... Иногда, знаешь, глядя на его вышивки, я думаю: да и сам-то он не вышит ли из шелка и гаруса, хоть и красиво вышит! Поговори, Аня!

— Слушаю, ваше величество, ваше желание будет исполнено сегодня же. Это тем справедливее, что если уж скучно с человеком близким, то где же искать развлечения от скуки? Но позволю себе доложить: мы, слабые женщины, как-то невольно сдаемся на то, что нам необходима опора в мужчине. Без мужчины мы невольно чувствуем себя сами не в себе. Поэтому поневоле иногда должны быть снисходительны. Как ни скучен иногда человек близкий, но одиночество еще скучнее.

— Ты права, Аня. Но я вовсе не обрекаю себя на одиночество. Если судьба, одарив меня счастьем, можно сказать, всесторонне, лишила меня одного счастья семейного, то, покорясь Промыслу и находя невозможным вступать в новый брак, для устранения могущих быть затруднений в будущем нашего Отечества, — затруднений, которые Россия

уже испытала в борьбе двух линий романовского дома от царей Иоанна и Петра Алексеевичей, отказываясь даже, ради отстранения возможных интриг и пронырства, от права матери на своего ребенка, я вместе с тем нахожу, что, ради блага того же Отечества, я должна думать о своем здоровье и спокойствии. Больная и раздраженная государыня не может принести своему государству ничего, кроме вреда. Я ненавижу разврат, но не принадлежу к числу тех чопорных недотрог, тех ханжей-барынь, которые в мыслях своих перебирают Бог знает что и доводят мужей своих до чахотки, но вместе с тем боятся тени, если только эта тень — незаконный супруг. Замуж идти я не могу, но не могу жить одинокой. Мужской ум, мужская сила мне нужны не столько в физическом, сколько в нравственном отношении. Нужно только, чтобы это был ум, соединенный с мужеством, силою, доблестью, всеми мужскими добродетелями. Александр, несмотря на свою физическую красоту, не может быть мне ни другом, ни опорой, потому что в нем нет того, что мне нужно, — нет мужского ума, способного

дополнять, оттенять те стороны моего женского ума, который жаждет полноты всеобъемлемости, мужской силы.

— О, государыня, — улыбнувшись, возразила Лопухина, — да где же вы найдете такой мужской ум, который бы в силах был дополнить ваш свет...

— Ты хочешь польстить мне, Анята, — перебила ее Екатерина, — ты хочешь сказать, что я так умна, что нет уже надобности ни в каком дополнении? Не льсти! Я сама знаю, что я не глупа, тем не менее во мне нет того, что может быть в весьма недалеком мужчине, если он не так глуп, как Васильчиков. Во мне нет способности обобщения, объединения фактов, даваемых анализом. Это способность чисто мужская. Мы, женщины, все вообще берем больше фантазией, чувством, наш анализ скорее исходит из синтеза, чем служит ему основанием. Способность обсуждать и объединять замечаемые явления для вывода общего закона меня всегда привлекала, отсутствие этой-то именно способности в Васильчикове и заставляет меня просить тебя... Поезжай, Анята, с Богом! Сегодня он у

Нарышкина, там ты и можешь с ним поговорить. Еще раз скажу: обещай ему все, что можно...

После первого своего доклада, когда Потемкин так увлек своими рассказами Екатерину, что она забыла с ним время, он стал часто приглашаться в покои государыни как для деловых объяснений по привезенным им бумагам и особому письму фельдмаршала, так и для препровождения времени и развлечения государыни. Было видно, что ей с ним было приятно. Потемкин этим пользовался и в своих рассказах не щадил фельдмаршала, описывая его подозрительность, мнительность, капризы, странности и затеи. Анекдотическая часть этих очерков давала обильный материал его остроумию, и государыня много смеялась, слушая их, а иногда и сердилась, но не на рассказчика. В то же время на Потемкина, как на доброго вестника мира, рекомендованного фельдмаршалом за его храбрость, распорядительность и разумность, сыпались награды. Он был произведен в генерал-поручики. Государыня собственноручно надела на него

александровскую ленту. Ему была дана деревня в тысячу с чем-то душ, подарен дорогой перстень и серебряный сервиз, после дано было что-то больше пятидесяти тысяч. Эти награды, а еще более частые приглашения и беседы, иногда с глазу на глаз, обратили на Потемкина общее внимание. Начались толки, пересуды, заискивания, усилившиеся особенно после того, как узнали, что Васильчиков уже уволен и уехал в Петербург. Одним словом, Москва, праздновавшая торжественно славный мир, заговорила. В Потемкине уже видели восходящую звезду и, по тогдашним взглядам общества, готовы были перед ним склоняться.

Между тем празднование мира шло своим чередом. Сочувствуя словам государыни и исполняя ее желание праздновать славу русского оружия сколь возможно торжественнее и оживленнее, москвичи давали праздник за праздником, бал за балом, один богаче, великолепнее и изящнее другого. Все эти праздники Екатерина удостоивала своим присутствием, и на них, уже по самой выказываемой ему явно государынею благосклонности, первен-

ствовал привезший радостную весть о мире молодой генерал-поручик Григорий Александрович Потемкин. За отъездом Васильчикова Москва начинала уже думать, что он все; что он уже человек случая — человек, который может располагать большим, чем кажется. И все сгибались перед Потемкиным, смотрели ему в глаза, искали случая угодить ему. А эти поклонения, заискивания, угодливость более и более волновали честолюбивую душу Потемкина, более и более разжигали его желания. Он знал, что ничего такого нет; знал, что с ним говорят, его слушают, но только потому, что нет никого, кто бы говорил занимательнее его, кто бы был интереснее его, знал больше его. Явись кто-нибудь другой — и, пожалуй, он может остаться в стороне.

"Москва, — думал Потемкин, — как добрая, но болтливая старушка, забегает вперед. Она не обсудила, что после Васильчикова нетрудно быть занимательным кому бы то ни было. Но это еще далеко до силы, до влияния".

Действительно, государыня оказывала явно особую благосклонность Потемкину, но не более, чем она оказала бы всякому другому,

привезшему ей радостную весть мира во время ее сомнений и колебаний, особенно если бы этот другой оказался человеком способным и занимательным.

Но ни балы, ни праздники, ни московские пересуды и сплетни не отвлекали внимания от наблюдения тех, кто мог и кому нужно было знать действительное положение дел при дворе. Графиня Парасковья Александровна Брюс, урожденная Румянцева, была одною из тех, которые не только желали все видеть, все знать, но желали направлять и, если возможно, руководить. Видя на придворном горизонте новое светило, столь отличное от прежних, она занялась им. К глубокому своему сожалению, она увидела, что Потемкин не поддается ее влиянию и что его ни в каком случае нельзя признавать своим союзником. Поэтому, видя дело в настоящем свете, она сочла себя обязанною написать своему брату-фельдмаршалу:

"В выборе вестника мира ты сделал величайшую ошибку. Нет сомнения, он добьется своего. Это можно сказать утвердительно. И оно не замедлится, хотя теперь еще ничего

нет. Но достижение им своей цели будет нам не только не в пользу, а в жестокий вред. Даже теперь, еще ничего не видя, он много и сильно успел уронить тебя в ее глазах. Пока есть время, принимай меры!.."

Прочитав такое письмо от своей умной и любимой сестры, фельдмаршал граф Петр Александрович Румянцев—Задунайский невольно ударил себя по лбу.

"Ах, негодяй! — подумал он. — Надул, просто надул! Как он здесь распинаялся да подлещивался! Каким преданным притворялся!.. Обманул, нечего и говорить, совсем обманул! Просто обошел! И ее обойдет непременно; сестра права, добьется своего, это верно! Как ему не обойти ее, когда меня, меня сумел вокруг пальца обвести! На что другое, а на это способен! Да ведь потому-то я и послал его, что видел, что способен. И сам я выискал случай, сам писал, учил, распинаялся за него, а он?.. Ах мерзавец!"

Гневу фельдмаршала не было пределов.

"Опять, как было и не поверить? — рассуждал он. — Казалось, весь был почтение и преданность. Головы своей не жалел, чтобы мне

хоть чем-нибудь угодить, чем-нибудь меня потешить, чтобы только мое внимание на себя обратить. В глаза, бывало, смотрит; только и думал о том, чтобы мне приятное сделать... Надул, просто надул, что и говорить! Бывало, бранит Васильчикова: "Как, дескать, не догадаться и не напомнить государыне, что мой графский герб давно княжескою мантиею прикрыть следует, а для позолоты княжеского герба должно образовать княжество хоть из отвоеванных мною от Турции земель. Я бы, говорит, на коленях умолял, для ее же славы и чести; в ее бы глазах с голоду себя уморил, если бы не сделала". Ну, я и поверил. Решительно стареть начинаю! Провел, во всех отношениях провел!.. "Прими меры, пока есть время", — пишет сестра. Но какие же меры отсюда за 2500 верст я могу принять? Потребовать его к армии? Он не поедет, скажет, что высочайшему повелению должен представить объяснения на те или другие вопросы. Война же теперь кончилась. Сам дал письмо, сам хвалил толк и храбрость, сам рекомендую обращаться к нему за разъяснениями. Какое же может быть тут требование к армии?

Нечего говорить, сам своими руками вытащил, сам поднял, за то он же меня и топит. О, люди, люди!.. Что тут делать? Ничего не выдумаешь! Разве соперника послать... но кого, кого? Такого ловкого бестию другого трудно найти!"

В это время в его кабинет вошла графиня, его жена, урожденная Голицына, сестра фельдмаршала, бывшего в Петербурге в то время главнокомандующим и генерал-губернатором. Она приехала в Бухарест к мужу еще тогда, когда только приостановились военные действия и начались переговоры о мире, и жила все это время с ним, так как до нее дошли слухи, что ее супруг, хотя и не старик, но все же человек солидный, вспомнил свою молодость и начал чересчур увлекаться приветливыми и далеко не недоступными молдаванками.

— Мой друг, — сказала графиня, — ты не имеешь ничего против того, что я сегодня приглашу к себе обедать Pierr'a?

Румянцев ударил себя по лбу.

— Чего я думаю, чего думаю! Уж именно женский ум лучше всяких дум! Да, Pierre —

единственный человек, который может смять, уничтожить, затмить интригана. Он хоть кого из седла выбьет, даже против своего желания. И он-то уж никак не обманет, не станет против, заодно с врагами. Как это я прежде не подумал? Да, Pierre единственный человек, который может спасти. Государыня же его, кажется, еще не видала или видела прежде женитьбы, когда она из-за Орлова, можно сказать, никого и ничего не видала. Да, Pierre, этот не станет Лазарем прикидываться, не станет, говоря обо мне, глаза к небу поднимать, но за то и не подаст вместо хлеба камень, не станет интриговать. Да, да, Pierre!..

— Прошу тебя, душа моя, пригласи! — обратился он к жене. — Ты меня много обяжешь. Он же у нас давно не был, а мне нужно с ним поговорить. Пожалуйста, пригласи! И прикажи, чтобы обед был поделикатнее, получше! Из погреба прикажи достать бутылочку рюдесгейма, что германский император в подарок прислал. Он такой редкий гость, что хотелось бы угостить.

Графиня ушла и написала пригласительную записку к своему кузену генерал-поручи-

ку князю Петру Михайловичу Голицыну, прося его от себя и от имени своего мужа, главнокомандующего, приехать к ним запросто обедать.

Глава 7. Князя Голицыны

Род князей Голицыных, известно, идет в прямой линии от Гедемина, великого князя литовского, собравшего под свою мощную руку разрозненные племена литвы и жмуди, частью же эстов и славян.

Усиливаясь слиянием этих народностей, он могуществом своего оружия скоро распространил свою власть на всю Приднепровскую Русь, разгромленную перед тем нашествием Батая, освобождая ее этим от татарского ига, которое столь долго угнетало собой восточные русские княжества. Не меньшую пользу оказал он и Руси Юго-западной, ибо обаянием своей мощи удерживал от распространения в ней влияния немецкого, которому подпала она впоследствии и которое легло на нее игом если не более тяжким, то более вредоносным для основ русской народности, чем даже самое иго татарское.

Праправнук этого знаменитого воина-администратора, этого собирателя рассеянной Литвы, от его второго сына Наримунда, во святом крещении Глеба, князь Юрий Патрикеевич прибыл из Литвы в Москву вместе с троюродною своею теткою княжною Софьею Витовтовною, при выходе ее замуж за великого князя московского Василия Дмитриевича, сына Донского. Принят он был с честью. Великий князь впоследствии выдал за него свою дочь княжну Анну Васильевну, и он был назначен первым боярином боярской думы великого княжества Московского. Потом, по занятии великокняжеского стола Василием Васильевичем Темным, родным братом его супруги, князь Юрий Патрикеевич был сделан его государственным печатником и государевым сберегателем. Правнук этого князя Юрия Патрикеевича Патрикеева князь Михаил Иванович Голица и есть родоначальник князей Голицыных. Он был ближним боярином при царе Василии Ивановиче и взят в плен под Оршею. О нем-то писал польский король царю Ивану Васильевичу Грозному, что обязанный уважать величие душевное не только в

своих, но и в чужих вельможах, он дарует свободу знаменитому воеводе его отца...

С того самого времени князя Голицыны стояли постоянно в челе русской аристократии, тогда весьма сильной, служа русским царям и земле Русской боярами, воеводами и начальниками приказов по их роду, богатству и связям с самыми знаменитыми родовыми именами тогдашнего Московского государства: Захарьиными—Юрьевыми, Морозовыми, Сабуровыми, Воротынскими, Долгорукими, Стрешневыми, Милославскими, Трубецкими и другими, не жалея на службе земле Русской ни своей крови, ни своего достоинства.

Праправнук сына помянутого Михаила Ивановича Голицына, князь Михаила Андреевич Голицын, женился, будучи уже боярином, лет тридцати четырех, на молоденькой хорошенькой сиротке, не имевшей ни отца, ни матери, Парасковье Никитишне Кафтыревой, и взял за ней огромное кафтыревское состояние — состояние столь значительное, что долгое время не только его и его детей, но даже и внуков, в отличие от других Голицыных,

чтобы означить их преимущественное богатство, называли Голицыными—Кафтыревыми.

От этого брака у него родилось четыре сына. Все они, вместе с со своим двоюродным братом, великим Голицыным, князем Василием Васильевичем, по своему положению занимают важное место в истории русской жизни.

Старший сын Дмитрий Михайлович был знаменитый руководитель верховного совета, управлявшего государством во время малолетства Петра II. По его голосу была избрана на престол императрица Анна Иоанновна, ему же приписывают составление известных пунктов, коими ограничивалось самодержавие избранной государыни, что вызвало впоследствии на него те гонения, которые заставили говорить, что императрица Анна преследует всех тех, кто доставил ей престол.

Второй сын Михаил Михайлович был не менее знаменитый фельдмаршал петровского времени. Он взял Шлиссельбург, даже против воли Петра, и дал этим ему возможность твердой ногой стать на побережье Балтийского моря. В Полтавской битве он командо-

вал правым крылом армии и много содействовал победе. Отряженный вместе с Боуэром и Меншиковым для преследования шведской армии, он настиг ее у Переволочны и заставил положить оружие.

Третий сын Петр Михайлович был сенатором в то время, когда сенат состоял всего из восемнадцати членов и в нем сосредоточивалось управление государством.

Наконец, четвертый и последний сын, младший всех братьев и сестер, которого по неизвестной причине называли тоже Михаилом, служил во флоте, был послом, а потом, при Елизавете Петровне, генерал-адмиралом и президентом адмиралтейств-коллегий. Он был моложе старшего брата на 20, а своего брата-соименника — на 10 лет.

Таким образом, у князя Михаила Андреевича было два сына Михаила Михайловича: один, старший — фельдмаршал; другой, младший — генерал-адмирал.

У старшего Михаила Михайловича, фельдмаршала, бывшего женатым два раза, было семь сыновей и десять дочерей. Между ними был тоже фельдмаршал Александр Михайло-

вич, бывший в описываемое нами время главнокомандующим и генерал-губернатором Петербурга; Дмитрий Михайлович, посол в Вене, заслуживший почетную известность учреждением московской Голицынской больницы; Петр Михайлович, бывший шталмейстером при дворе, и дочь Екатерина Михайловна, бывшая замужем за фельдмаршалом графом Петром Александровичем Румянцевым—Задунайским. У Михаила Михайловича младшего, генерал-адмирала, было также пять сыновей и четыре дочери, и мы видим между ними по родовым обычаям прежнего времени опять те же имена: Александр Михайлович, бывший вице-канцлер и потом при императрице Екатерине обер-камергер; Михаил Михайлович, Дмитрий Михайлович и Петр Михайлович, командовавший авангардом в армии Румянцева и бывший ему истинно правой рукой.

Петр Михайлович был красавец идеальный.

Все записки современников, все воспоминания и предания о том времени говорят о необыкновенной красоте князя Петра Михай-

ловича. Он был красавец такой, что солдаты о нем говорили: "Ни в сказках сказать, ни пером написать". И точно, высокого роста, стройный, с ясным, светлым взглядом, нежными чертами лица, он был истинно русский молодец — кровь с молоком, о котором никакая русская душа не могла вспомнить без удовольствия. Но, кроме бросающейся в глаза, осязательной красоты, князь Голицын был лихой наездник — такой наездник, что хоть в вольтижеры; стрелок, бьющий на лету из пистоleta ласточку, да еще норовящий попасть в самую головку, чтобы не испортить птичку; наконец фехтмейстер, какого до того русская армия не видала. Понятно, что при таких условиях молодечества, его беззаветной храбрости и безграничной доброте он в войске был любим до обожания. Он был силен, мускулист, но сложение его было столь деликатно, что сохраняло совершенно полное изящество в очертаниях. Рука у него была маленькая, нежная, белая, "настоящая княжеская ручка" — говорили солдаты, хотя этой рукой он легко подбрасывал восьмипудовую гирию. Ногой его тоже можно было полюбоваться,

как ножкой женщины. На этот изящный торс, будто скопированный с древних изваяний, олицетворяющих соединение мужской силы и красоты, была легко и изящно посажена голова с ясным взглядом, приятным выражением. Пусть всякий представит себе, какое он мог производить впечатление.

Для полноты очерка скажем, что лицо его обрамлялось шелком густых, темно-каштановых, легко вьющихся волос; что у него был открытый лоб, тонкие черные брови и длинные ресницы над темно-кариими глазами. Его глаза, глубокие, выразительные, отличались необычайною ясностью и бесконечной добротой. В них доброта, казалось, светилась, сияла; казалось, что из них лилась любовь на все живущее. Они смотрели так чисто, так тепло, что, взглянув в них, всякий готов был поверить князю Петру Михайловичу свою душу.

Но что всего замечательнее было в князе Петре Михайловиче, на чем особенно нельзя было не остановиться — это его улыбка. Что за улыбка у него была: добрая, игривая, располагающая! Случалось, что в ней сверкнет

юмор, насмешка, но и в насмешке-то свети-лась вся доброта его, вся любовь, даже к тому, над кем, казалось, он хотел посмеяться.

Вот каков был родной брат обер-камергера, князя Александра Михайловича Голицына, князь Петр Михайлович, двоюродный брат Санкт-Петербургского генерал-губернатора и графини Екатерины Михайловны Румянцевой. Его-то графиня и пригласила к себе и к мужу-фельдмаршалу обедать.

К приведенным очеркам внешних достоинств князя Петра Михайловича следует прибавить светлый ум, высокое образование, глубокую начитанность и чрезвычайную приятность в разговоре. Симпатичность его нежного, приятного и вместе сильного голоса превосходила всякое вероятие, даже команда его во фронте казалась мелодичною. К тому же художественный талант изложения, мастерство очерков и занимательность расположения заставляли заслушиваться, когда он говорил. И такое очарование одинаково распространялось на всех. Говорил ли он с солдатами, те были от него без ума; говорил ли в обществе со стариками, дамами, молодежью, де-

вицами, все были от него в восторге, все чувствовали его обаяние, все были им очарованы. Дети его особенно любили. Их, бывало, нельзя уговорить уйти из комнаты, где был и говорил князь Петр Михайлович. Они забывали свои игры, совершенно стихали и заслушивались, не желая пропустить мимо ушей ни одного его слова.

Чтобы закончить нравственный портрет князя Петра Михайловича Голицына, нужно еще сказать, что необыкновенная нравственная чистота, даже в помыслах, не только в словах, делала его совершенным исключением из того развращенного и распущенного общества, в котором он вращался. Он не только не допускал себя впасть в цинизм тогдашнего, почти всеобщего разврата, но не допускал себя даже до произнесения грязного слова. Будучи еще в молодых годах, лет 22, не более, он влюбился в прелестную девушку, соседку по своему московскому дому, княжну Екатерину Александровну Долгорукову. Ей тогда не было еще и 15 лет. Тем не менее всякое нежное слово, всякий даже взгляд на другую женщину он считал профанацией своего чувства. Княж-

на тоже влюбилась без памяти в своего красавца соседа. Она была сирота. Отца своего, Александра Михайловича, она не помнила. Он умер, когда ей не было и пяти лет. Мать ее, урожденная княжна Щербакова, пережила своего мужа только шестью годами. Она оставила трех дочерей, между которыми Екатерина Александровна была старшая. Всех трех сирот принял к себе на воспитание их дядя, генерал-аншеф князь Василий Михайлович Долгоруков, отличенный впоследствии наименованием Крымского, и они росли и воспитывались с его семейством, состоявшим из двух сыновей и четырех дочерей. Все они были близкими знакомыми в доме его отца, генерал-адмирала князя Михаила Михайловича, и в самых дружеских с ним отношениях. Потому сближение между молодыми людьми произошло естественно. Через два года праздновалась их свадьба. Князю Петру Михайловичу было около 24 лет, а его невесте 17, и это была самая прекрасная парочка из всей Москвы — парочка тем более редкая, что, кроме соединения красоты, ума, образования, знатности, богатства и взаимной любви, в ней со-

единилась одинаковая девственность как со стороны невесты, так и стороны жениха. Прознося свои обеты пред престолом Божиим, они могли искренно, от всей чистоты правдивого сердца, говорить, что никогда ни у ней, ни у него не волновалось сердце иначе как во взаимной и бесконечной преданности друг другу. И обеты их обоих пред Богом были чисты и девственны, как молитва ангела.

Зато и благословил их Бог счастьем примерным, невиданным. Они жили друг для друга, душа в душу, он в ней, она в нем. Мысли, чувства, желания их — все было общее. У них были общие надежды, общие мечты, общие стремления. Для князя Петра Михайловича весь мир была его Катенька, для княгини Екатерины Александровны весь мир был ее князь Pierre. Это была жизнь вдвоем, взаимное дополнение одной жизни другою, беспредельное созерцание собственного взаимного счастья, непрерывная молитва благодарных Небу за счастье сердец.

Но подобное счастье на этом свете продолжительным быть не может. В год своей женитьбы Петр Михайлович потерял отца, а по-

том, едва прошло четыре года, княгиня Екатерина Александровна как-то простудилась. У нее сделалось воспаление легких. Тогдашние эскулапы вздумали лечить ее кровопусканием, и она после пятилетнего счастливейшего супружества, прохворав две недели, тихо скончалась на руках едва не обезумевшего мужа, оставив на его попечении, как залог ее любви к нему, трехлетнего ребенка, маленького Мишу.

Князь Петр Михайлович буквально чуть с ума не сошел с горя. Сына он почти видеть не мог. Его детский лепет, наивность и веселость приводили его в отчаяние. Сознывая, однако ж, обязанность и среди своего безысходного, глубокого горя быть человеком, он решил переломить себя. Для того, поместив малютку у своей замужней сестры княгини Марии Михайловны Хованской, он стал проситься в действующую армию. Румянцев взял его с удовольствием. Он был гвардейский поручик, но его перевели в армию только младшим полковником, хотя нередко в то время поручики переводились и генералами. Голицын, впрочем, об этом не думал. Он поступил бы,

пожалуй, прапорщиком. Но отличная храбрость, редкое молодечество, спокойствие и распорядительность, как во время самого дела, так и на отдыхе, и в походе, быстро подвинули его по ступеням военных чинов и отличий. Прошло с небольшим четыре года, и он был уже генерал-поручик, александровский кавалер и командовал авангардом армии.

Хотя в армии все знали, что князь Петр Михайлович приходится близким родственником жены главнокомандующего, но против чрезвычайно быстрого его повышения не поднялся ни один голос: так заслуги его были очевидны для каждого. Напротив, все находили, что он награжден еще недостаточно, что его заслуги недовольно оценены. Вечно впереди, вечно покойный, веселый и распорядительный, одушевляющий собой всех, он не раз дарил армию случайностями, исходящими из его находчивости. То он нежданно выручит какой-нибудь батальон, нечаянно натолкнувшийся на сильного неприятеля и окруженный им; то спасет дело, неожиданно приведя свежий отряд в самую решительную минуту боя; то придумает, можно сказать, со-

здаст источники продовольствия. Скромно приносит он все эти заслуги свои на пользу армии, не ища наград, не жалея трудов и не только не избегая опасности, но как бы играя с нею и требуя от своих подчиненных только одного — возможного на войне человеколюбия.

Одним словом, в армии князь Петр Михайлович был настолько любим и уважаем, что всякий с удовольствием уступал ему свое место, несмотря на старшинство; всякий уступал ему первый шаг, признавая справедливым его во всем первенство. Всякий знал, что с Голицыным одушевление, с Голицыным победа; и всякий с удовольствием ему подчинялся. Не исключали себя из этого общего поклонения князю Петру Михайловичу ни немец Вейсман, несмотря на его мелочную, чисто немецкую щепетильность и действительные военные заслуги; ни даже гениальный русский чудак Суворов, готовый во всякое время стать под его команду, несмотря на его молодость, находя его и только его единственно достойным командовать даже им самим. И точно, за Голицыным иначе шли сол-

даты, с Голицыным иначе шло дело, с Голицыным были иные распоряжения. Румянцев, как ни был он подозрителен и даже завистлив к славе других, ни разу не сомневался и не подозревал в чем-либо Голицына — так он был прост, скромн, распорядителен и спокоен, так ясна и чиста была вся жизнь его, в которой таилось только одно страстное чувство: это неизменное воспоминание его покойной жены. Потемкин, приехав в армию, хотел было затмить Голицына своей личной храбростью, но затмить Голицына было невозможно. В замечательной личной храбрости Потемкина не может быть сомнения. Но между ним и Голицыным была та разница, что Голицын был храбр для себя. Потемкин же был храбр для других. Первый был храбр и спокоен, даже сам не замечал своей храбрости и уж решительно не думал о других; Потемкин же личной храбростью своею именно бравировал и хотел, чтобы это видели все.

Этого-то человека и предназначил в уме своем Румянцев послать государыне в соперничество Потемкину. "Только бы захотел, — думает Румянцев, — а он сделает, это верно,

против него никто не устоит! Но захочет ли он? Это еще вопрос!"

Рана от потери жены не зажила еще в сердце Петра Михайловича, хотя, разумеется, четыре года деятельной, боевой жизни не могли до некоторой степени ее не затянуть. Она, эта рана, обратилась в нем в то высокое чувство самоотвержения и молитвы, обратилась в ту нежную, хотя и заочную любовь, которая росла в нем с каждым днем к его малютке сыну.

Это, однако ж, было слишком далеко от того, чтобы в нем могли возбудиться какие-либо честолюбивые стремления, и еще в таком виде, чтобы он решился на интригу.

— Нужно убедить его! — говорил граф Румянцев, поясняя жене свое положение. — Нужно уговорить, урезонить — представить ему, что благо Отечества требует от него жертвы...

— Государыня у нас добрая, хотя и с характером; твердая, но добрая! — объяснял Румянцев. — Главное, в ней преобладает стремление к общему благу. Нужно только не допускать на нее влияния разных проходимцев, це-

ли которых не добро, не польза, а плотоугодничество, удовлетворение их ненасытной алчности. Их честолюбивые притязания основаны не на действительных заслугах, не на достоинствах, а на пустом безмерном самолюбии и самых низких инстинктах чванства и жадности. Отклонить государыню от таких недостойных и гнусных покушений есть заслуга пред Отечеством, большая даже, чем взятие неприятельской крепости или разбитие неприятельской армии...

— Благо государства всегда зависит от того, — пояснял граф Румянцев далее, — чтобы государей окружали люди доброжелательные, ценящие труд, уважающие заслугу, а не думающие только о себе и о своих великих качествах. А чего ждать от людей, низкие чувства которых не могут даже вместить в себе понятие о самоотрицании ради общего блага? Какое самоотрицание? Они не могут понять даже малейшего пожертвования, малейшего лишения для достижения самых высоких, самых благих целей. Если бы, кажется, им нужно было отказаться вот от этой чашки кофе, — сказал фельдмаршал, которому в это

время кофе подали, — чтобы спасти хоть от чумы Москву, но так, чтобы эта чашка составляла им действительное лишение, то они ни за что бы от нее не отказались; гори все огнем, мне бы было хорошо — вот их девиз, их направление. Зато когда аппетита нет, когда и без того сыт по горло, тогда, пожалуй, каждый из них и от обеда откажется — пусть, дескать, кричат, что не ест и не пьет ради блага Отечества... — Румянцев плюнул и продолжал с горячностью: — Такие проходимцы яд, язва, более опасная, чем хоть та же московская чума, потому что они отравят не только Москву, но все государство, и не на один год, а на целые поколения!

— Возьмем хоть бы меня, против которого интригует этот проходимец Потемкин, — начинал разбирать фельдмаршал, — каков я ни есть — человека без недостатков нет, и я, разумеется, сам знаю, что во мне их множество, но я, нет сомнения, в лице своем представляю заслугу. Не в личной храбрости дело. О ней смешно говорить. Всякий прусский драбант, привыкший к огню, не уступит мне в личной храбрости, да и наши, после первого-второго

дела, глядишь, а они уж и песенки под ядрами распевают. Но кто повернул все дело Семилетней войны к результату взятием Кольберга, да и до того при Цорндорфе?.. А нынешняя война?.. Но я о себе не говорю. Екатерина как ни мало меня знала, как ни была предупреждена против меня, потому что знала, что меня ценил ее супруг, покойный император, но когда после его смерти я подал в отставку, то она, с уступкой своего самолюбия, сама писала ко мне, и писала весьма деликатно, что не стесняет моей свободы, но что для блага и пользы Отечества она просит остаться на службе... А этот проходимец, низкопоклонничая передо мною здесь всеми способами, стремится теперь ее против меня восстановить. Но не во мне дело: я не составляю России. А чего можно ждать от полупола, полуиезуита, полуполяка, полустарообрядца и, пожалуй, полутатарина? Все доброе, все истинно русское он отстранит, уничтожит, а будет забавляться фокусами, будет тешить самолюбие для целей своей алчности, своего плотоугодничества и чванства... Принять все меры против такого наплыва проходимства есть дело,

есть обязанность каждого истинно русского, каждого любящего свое Отечество, даже каждого христианина. И чем кто стоит выше, чем кто большими обладает достоинствами, от того тем большего количества усилий Отечество вправе ожидать, чтобы подобные проходимцы были уничтожены, чтобы им было указано надлежащее место по их значению и чтобы они никак не допускались до несоответственного и вредного влияния.

Граф Петр Александрович даже разгорячился, объясняя жене необходимость убедить ее кузена пожертвовать своим болезненным чувством минувшего горя и энергически встать против интригана, который, обладая действительно редкими способностями для ведения интриги, в самой разумности и величии характера государыни найдет себе точку опоры при ней держаться и ее увлекать, то бросая в глаза пыль, то производя и придумывая эффекты, льстящие самолюбию, в то время как сущность будет оставаться в стороне, об общей же пользе никто не будет даже думать. Румянцев даже рассердился, говоря это. И точно, ему было страшно досадно, что По-

темкин провел его и им же воспользовался для интриги против него же самого.

— Наконец оставим в стороне Отечество, Россию, — продолжал Румянцев. — Но разве Голицыны ничем не обязаны своему роду, своему имени? Разве имя князей Голицыных допускаявших свободно и хладнокровно смотреть на общественное расхищение всего, что только может быть для России дорого — на расхищение не только ее достояния, ее труда, но и ее крови, ее заветных преданий и верований? Разве может князь Голицын хладнокровно смотреть, что общественное богатство будет проматываться проходимцами и интриганам; народные предания, уважение к труду и заслуге будут падать; нравственные понятия извращаться?

— Вон твой брат почти царское богатство жертвует на устройство больницы; дядя тоже почти царское состояние пожертвовал на собрание музеума и библиотеки. Зачем это они делали и делают? Ради блага, ради пользы общественной. А разумно ли, дельно ли жертвовать на то, что расхищается, что обращается в проходимство и интригу? Наконец, если

князь Петр Михайлович не хочет ничего ни для себя, ни для России, ни для своего имени и рода князей Голицыных, ни для меня и тебя — хотя я полагаю, что и мы имеем некоторое право на его внимание — то неужели не хочет он ничего для своего сына, этого сироты, оставленного любящею его женой на его попечении? Это уже будет нехристиански, хуже — нечеловечески.

Графиня поняла своего мужа и дала ему слово со своей стороны употребить все усилия, чтобы своего кузена убедить, уговорить, принудить принять на себя миссию, которой от него, по объяснению графа Румянцева, требовали Отечество, его имя и чувство его отцовской любви, хотя нельзя не признаться, что в числе стремлений к его убеждению много и много участвовали оскорбленное самолюбие и подозрительность самого графа Румянцева, который никак не мог простить, что Потемкин его провел, надул, поймал за слабую струну его характера и подвел, да так, что он сам, как говорил Румянецв, дал ему палку против самого же себя.

Глава 8. Свет и тьма

Главкомандующий Москвою, назначенный туда по прекращении чумы в видах ее успокоения и оживления, князь Михаил Никитич Волконский, вследствие торжественного празднества славного мира, давал бал.

Все меры были приняты к тому, чтобы бал был блестящий. Из Петербурга был нарочно выписан декоратор, долженствовавший позаботиться убранством княжеских комнат и монтировкой столов для ужина. Три повара-француза под особым наблюдением самого Льва Александровича Нарышкина, известного гастронома и гурмана, любившего угощать гастрономически и знатока в этом деле, готовили ужин. За десертом ездили в Вену. Рыбу везли с Волги. Для более изысканного угощения был убит зубр в Беловежской пуще и привезена целая стая откормленных фазанов. Старые вина, от мадеры до рейнвейна и венгерского, старые меда и, наконец, новое, начавшее только тогда входить в моду шампанское были приготовлены, чтобы лить их рекой.

Бал полагалось начать кортежем фей, идущим навстречу государыне. Для того были выбраны шестнадцать первейших красавиц Москвы. В свите государыни должны были находиться шестнадцать офицеров, заблаговременно подготовленных для кадрили. Офицеры должны были разобрать фей и в виду государыни танцевать кадрили фей, музыку для которой написал Чимароза, первая музыкальная знаменитость того времени. Фейерверк был приготовлен на Москве-реке, на которую выходили окна дома князя Волконского, старшим пиротехником артиллерийской лаборатории, изучавшим это дело под руководством самого Миниха. Китайская иллюминация сада, картины и транспаранты, долженствовавшие быть показанными, в заключение — ужин на пятьсот человек в зимнем саду, монтированном художественно, — все должно было быть великолепно.

Государыня приехала на бал около девяти часов. Тогда это был поздний час приезда. Ту же минуту начался блестящий кортеж фей из великолепного штата Армиды — кортеж, разобранный потом следовавшими за госуда-

рыней офицерами в виде представления похищения римлянами сабинянок. Затем началась знаменитая кадриль, включенная потом Чимарозою в оперу, но написанная, собственно, для бала, — кадриль, поставленная чуть ли не первым балетмейстером того времени, известным Дидло.

Государыню очень заинтересовали и кортеж, и похищение, и кадриль. Все, что могло соединяться блестящего, прекрасного, очаровательного — все соединилось в этой кадрили. Волшебная роскошь костюмов, ослепительный блеск драгоценных камней и сияющая прелесть живой красоты и грации одинаково стремились, чтобы поразить, ослепить. И государыня действительно была поражена.

Незадолго до прибытия государыни приехал Потемкин, приветствуемый хозяином и обществом как герой дня и как восходящее светило. Он спокойно принимал воскуряемый ему обществом фимиам, как нечто должное, как нечто такое, на что он имеет неоспоримое право. Но вот государыня вошла, и он незаметно очутился подле нее.

Государыня была очень довольна и балом,

и его вниманием. Она весело обратилась к нему, высказывая свои замечания и говоря, в какой степени она поражена и восхищена. Он старался дать ей заметить, что он не поражен и не восхищен, ожидая вопроса: почему? На вопрос этот у него уже был готов ответ, что при солнце звезды не видны! Он, пожалуй, видел только одну ее, государыню, при которой мысли его не могли стремиться ни к чему, кроме как единственно к ней. Но ни отвечать таким образом, ни слышать замечания государыни ему не удалось. В зале произошло что-то необычайное. Внимание государыни и всего общества обратилось туда. Голоса восхищения, умиления, зависти, обожания, восторга, раздававшиеся до того там и сям, вдруг будто замерли; музыка смолкла; кадрили остановилась.

— Посол от фельдмаршала, новый посол от фельдмаршала! — говорили кругом.

— Что-то из армии! — пронеслось гулом по всем залам княжеского дворца.

Государыня взглянула.

Сквозь большую толпу фей, офицеров, маркизов времен Людовика XIV и XV проходил

князь Петр Михайлович Голицын.

Внимание государыни невольно на нем остановилось.

Князь Голицын вошел в большую залу, видимо, прямо из курьерской повозки. Сапоги его носили еще на себе признаки грязи, дурно отертой на изящной и обставленной цветами лестнице; мундир несколько запылен. Но это нисколько не уменьшало влияния, производимого его красотой... Он был в простом армейском мундире петровского времени, то есть коротком, до колен суконном кафтане темно-зеленого цвета, с отложным красным воротником и светлыми пуговицами, без золотого шитья, без орденов, и перетянут в талии генеральским шарфом.

Через плечо, на узком ремешке, кое-где стянутом серебряным набором, висел турецкий ятаган в серебряных ножнах, ручка которого была украшена драгоценными камнями, — ятаган, взятый с бою самим Голицыным у изрубленного им турецкого аги.

Эта простая, сравнительно грубая форма против кафтанов и камзолов из венецианского бархата и лионского атласа, шитых золо-

том, блестками, жемчугом, против кружев, блонд, драгоценных камней, делала свое дело. Она отличала Голицына от толпы и отчетливее, рельефнее выставляла пред государыней его мужскую красоту.

Государыня пристально взглянула на Голицына, перед которым расступилась толпа, и ее будто что укололо. Все, что воображение ее когда-то представляло в образе мужской красоты, все, чем еще в детстве наделяла она героев читанных ею романов — рыцарей круглого стола, все это представилось разом, обрисовалось в ее мысли образом и фигурой князя Петра Михайловича. Она увидела в нем идеал, идеал мужчины в выражении его силы и разума.

На мгновение она побледнела, но через секунду она почувствовала, что кровь розовым румянцем разливается по ее лицу и она, сама не своя, горит под впечатлением взгляда идущего и невольно любуется его стройностью и красотой.

"Вот красавец, — подумала она. — Что тут все Орловы, Васильчиковы, Понятовские? Вот красота мужчины, которая, можно сказать,

светится силой, отвагой, мыслию, разумом, чувством..."

Голицын подошел к ней и, отрапортовав о благополучии армии, стал ей докладывать о цели, для которой фельдмаршал счел нужным его отправить, то есть, нужно сказать, о предлоге, потому что цель фельдмаршала была совсем иная. Предлогом служили устройство Крыма и возникшие там смятения.

Государыня слушала Голицына, говорила ему милостивые слова как бы в тумане. Государыня не обладала музыкальным слухом. В операх, особенно на первые представления опер Чимарозы и Сарти, в присутствии самих композиторов она всегда сажала с собой Лопухину, Протасову или Нарышкину, на обязанность которых возлагалось дать ей знак, когда должно было аплодировать. Впоследствии французский посланник граф Сепор целый месяц занимался с ней преподаванием вирсификации. Но, как он ни бился, не мог он заставить ее уметь "хорей от ямба отличить". Но мелодичность голоса Голицына и ее поразила сразу.

Всматриваясь в его глаза, любуясь краси-

выми и выразительными чертами его лица, увлекаясь приятностью его улыбки, она видела во всем этом силу искренности, видела правду в увлекательной форме типа мифологической истины. Потому невольно она заслушивалась этого голоса, звонкого, чистого, симпатичного, без уменьшенной игры звуков, без аффектации в выражении, но естественного, простого, самую искренностью своею доходящего до сердца. Она, казалось, слушала бы его с удовольствием, если бы он говорил те стереотипные фразы мелочности, которые так надоело ей слушать от Васильчикова. Но нет: она услышала речь, полную ума, образованности, остроумия, соединенных с чрезвычайною скромностью и простотой. Она услышала речь истинного *maitre de salon*, привычного вести гостиную беседу в Париже; слушала разговор истинного великосветского денди, обратившегося в делового, разумного докладчика, с сохранением, однако ж, всех условий салонного остроумия и светского изящества.

Опираясь на случайность его приезда на бал прямо с театра войны и поля битв, в виде

внимания к его боевым подвигам, которых ценить и поощрять преимущественно было ее дело, как государыни и русской женщины, Екатерина просила его остаться на балу как есть и быть ее кавалером. Разумеется, Голицыну не оставалось ничего более, как благодарить за милость.

Потемкин заметил впечатление, произведенное Голицыным. Он хотел его перебить и обратился к государыне с замечанием, имевшим некоторое значение — замечанием дельным и остроумным, которое на досуге, слушая разговор государыни с Голицыным, он сочинил. Но Екатерина в это замечание не вслушалась, не отвечала и даже, обернувшись, казалось, вовсе не узнала его: так сильно внимание ее было поглощено Голицыным.

Да и где было ему, питомцу наполовину бурсы, наполовину казарм, выдержать соперничество в салонном разговоре с действительным представителем изящества, грации и остроумия, усвоенных в конце XVIII века только кровной, родовой аристократией всех стран и народов!

Музыка заиграла снова. Кадриль снова на-

чалась. Государыня чувствовала чрезвычайно приятное ощущение от возможности все это представлять, объяснять Голицыну и слушать его мысли и остроумные замечания.

Потемкин исчез с бала, кусая себе ногти. Государыня этого не заметила. Против своего обыкновения, полюбовавшись фейерверком и иллюминацией сада, она осталась ужинать. Голицына посадила подле себя и даже после ужина весьма долго с ним разговаривала. Возвратилась она к себе во дворец очень поздно, так что ожидавшая ее дежурная камер-фрау Алексеева начала уже беспокоиться: "Не случилось ли чего? Наша матушка никогда так долго нигде не засиживалась", а жившая у государыни единственная дурка, которую не изгоняла она по непонятной снисходительности, хотя никогда ею не занималась, Матрена Даниловна Торлецкая, называвшая Екатерину всегда сестрицею, встретила ее пляской с подпрыгиваньем и подскакиваньем, припевая:

*Ай сестрица, ай сестрица,
Ай хорош табачок!
Ай сестрица, ай сестрица,*

Хорош миленький дружок!

Екатерина засмеялась и ответила:

— И точно хорош, Матренушка, ложись скорее спать!

Между тем пятьсот рублей, полученные за проданного садовника, и другие еще потом, за проданного повара, дали нашим проходимцам, Семену Никодимычу Шепелеву и Якову Федоровичу Квириленке, средство немножко поправиться. Семен Никодимыч облекся уже в польский кунтуш, сшил Квириленке шляхетскую чемарку — одним словом, поправляясь сам, он поправлял и товарища: ведь дело было общее. Но, надевая оба шляхетские костюмы, они сохранили на всякий случай свитку Квириленки, на тот конец, что если потребуется опять продажа, то не искать бы платья, в чем продавать. Шепелев занимал номер в гостинице, небогатый, конечно, но порядочный, шляхетский номер, а вообще поустроился несколько в ином виде, чем был на постоялом дворе в Зарядье. У него уже и табакерка была не золотая, конечно, но отлично вызолоченная, и погребец, и два чемодана с

хламом. "Нельзя приезжему быть без чемоданов. Кто тогда поверит тебе хоть на грош?" — возражал он Квириленке, когда тот его убеждал чемоданов не покупать, потому что класть в них нечего. Но деньги у них уже были на исходе. Как ни гостеприимна была тогда Москва — обедать хоть каждый день ходи, если одет мало-мальски прилично — но деньгами награждать не любила, и проходимцам в руки они приходили весьма туго. Ни обыграть кого, ни на дуэль вызвать и на мировую что-нибудь сорвать Шепелеву не удавалось. Ясно, что деньги должны были мало-помалу расходоваться.

Квириленко очень и очень об этом думал. Очень уж не хотелось ему попасть в то положение, в котором сидели они на постоялом дворе в Зарядье, когда, по выражению Квириленки, "мельница-то во рту, почитай, совсем без помола была".

Думая об этом, он как-то раз невольно начал:

— Послухай-ка, пан Семен Никодимыч. Ну, мы садовника того съели, повара, почитай, тоже съедим. Нельзя ли опять слесаря про-

дать, что ли?

Операция продажи Квириленке, видимо, понравилась. Главное: накормят, поднесут водочки, дадут денег, и ни малейшей опасности, потому что только начнет темнеть — его и след простыл.

— А что? Ты разве слышал, что на слесаря есть охотники?

— Как охотнику не быть! Да, видишь, я думаю, что у тебя и так теперь в закромах-то скоро мыши с голоду околевать начнут, так нужно что-нибудь делать? Хуже, как дойдем до того, что опять есть нечего будет!

— Так-то оно так! У меня, точно, и сорока рублей в бумажнике не осталось, но все нужно подумать...

Семен Никодимыч все деньги держал всегда у себя и хотя не отказывал Квириленке на его нужды, когда деньги есть, но никогда не допускал его до проверки своих издержек и редко, и то случайно, говорил о том, сколько есть налицо.

— Так чего же тут думать? — сказал Квириленк. — Продавать, да и только! Вот вчера я нарочно заходил в кузницу посмотреть их

мастерство и кое-что высмотрел, так что, пожалуй, целые сутки болтать стану о слесарном деле и не попадусь, что я такой же слесарь, как и повар или садовник!

— Да, видишь, дело-то все же опасное, особенно как сойдутся да переговорят: "Что это, дескать, за притча такая, кого Шепелев ни продаст, все пропадают". Живо эдак попадешь в уголовщину, и упрячут в доброе место, да еще с пристрасткою. Ведь здесь не Польша, помни, долго думать не станут. А тут выходит такой случай. Может, мне тебя и совсем продавать не придется. Может, и так поправимся. Я вчера был в бане и слышал, что народ толкует, будто из армии Потемкин приехал, мир привез и скоро его праздновать станут. Коли это так, коли действительно Потемкин приехал, то тебе не придется учиться лошадей ковать: Потемкин поможет!

— Яка-то птица этот Потемкин?

— Это наш смолянин, шляхтич! Отцы наши соседями жили и были приятели. Мы вместе голубей гоняли и птичьи гнезда зорили. Он лет на шесть или на семь меня помоложе будет, но это ничего: мы были приятелями. Я

ему не раз помогал: раз из болота вытащил, раз чуть не от смерти избавил. Крылом ветряной мельницы подхватило веревку, а веревка-то была кругом его обвязана, так я перерезать успел. Потом нас вместе в иезуитскую школу учиться отдали, и мы с год, не то с полтора вместе Аристотеля проходили. Ну а теперь, говорят, он птица важная, уже генерал, у государыни в милости. Неужели он товарищу старому откажет?

— Ну уж твоим-то затеям никак не поможешь, коли говоришь — в милости. Пожалуй, захочет сам фавор получить!

— Где ему? Не знаю, каков он теперь стал, а был такой неприглядный да невзрачный; к тому же кривой. Ну а я — ты видишь сам, каков я есть человек? Тетушка Мавра Егоровна недаром в лейб-компанию выписывала. Да он, впрочем, и не любил эдак чем-нибудь по части женского пола пробиваться; любил больше все духовное. О Тридентском да Констанцком соборе все читает. Мы, бывало, с девками за грибами, а он к отцу Виценту спорить об арианской ереси... Если он в милости, то, думаю, по ученой стороне, по письменной

части. А мне-то, пожалуй, поможет: и поприоденет, и денег даст... Пойду вот ужо его отыскивать, авось повидаю.

Этот разговор между приятелями происходил ровно дня за три перед балом князя Волконского, стало быть, перед приездом князя Голицына. Потемкин находился в то время в эмпиреях надежд на всевозможные успехи.

В то время как он одевался, чтобы ехать на бал к Волконскому, ему говорят, что пришел какой-то господин, просит позволения его видеть и просит подать ему письмо.

Потемкин прочитал письмо следующего содержания:

Ваше превосходительство!

Милостивый государь и достойно уважаемый соученик и сотоварищ Григорий Александрович!

В уверенности благородных чувств души вашего превосходительства, я надеюсь, вы не изгнали совершенно из своей памяти вашего соученика и сотоварища детских игр и дозволите лично засвидетельствовать вам свое высокопочитание и преданность всенижайшего слуги

Семена Шепелева.

"Какой это Шепелев? Шуваловым сродни Шепелевы были, — подумал Потемкин, — или уж не тот ли болван, наш сосед, который раз меня, мальчиком еще, посадил на ворота нашего дома, чтобы посмотреть, как я слезу оттуда, а потом вместе со мной в Вильне ходил к отцам иезуитам латынь учить, с тем, разумеется, чтобы ничему не научиться?"

Сказав это себе, он велел, однако же, позвать пришедшего. Тогда он еще не был так недоступен, как впоследствии.

Вошел знакомый нам саженный господин, но уже не в венгерке, а в польском кунтуше, который к нему шел несколько лучше, чем коротенькая пресловутая венгерка.

— Семен, это ты? — спросил Потемкин не то презрительно, не то радостно, но с видимым пренебрежением...

— Точно так, ваше превосходительство, Семен Никодимов сын Шепелев.

— Ты, кажется, еще вырос после того, как мы расстались, помнишь, после того, как вместе у отца Вицента из сада яблоки воровали?

— Вырасти не вырос, а не умалился, ваше

превосходительство, — отвечал Шепелев.

— Убирайся ты к черту с превосходительством. А вот что: слышал я о твоих подвигах в Варшаве и в Киеве. Ты, пожалуй, и сюда затем? Так скажу по старой памяти: лучше поворачивай оглобли. Здесь, брат, этих штук не любят: как раз сцапают! Да ведь и случаев таких, какой у тебя с Колобовым был, почти не бывает. Дуэль — дело не русское. Правда, было прежде у нас поле, Божий суд, но то было дело серьезное, общественное, не то что французская дуэль, что хвастают: дескать, в день три дуэли было. Еще в картишки туда-сюда, и здесь поиграть, пожалуй, можно. Что же касается чего другого, поворачивай оглобли.

— Каким вы молодцом стали, Григорий Александрович, — невольно сказал Шепелев, оглядев товарища, одетого в бальный мундир генерал-поручика.

— Молодец, как соленый огурец. Ну, что же? Верно, есть дело, а то мне некогда...

— Как же, просьба, и покорная просьба.

— Что такое?

— Я бы желал представиться государыне!

— Ты с ума сошел! Зачем?

— Да так, стал бы места просить!

— Чистый вздор, братец! Какое тебе место? Впрочем, представление зависит не от меня. Проси обер-камергера. Больше ничего? Говорю: некогда!

— Еще: я здесь совсем чужой, без средств...

— Когда будешь уезжать, на дорогу дам триста рублей, а пока здесь живешь — ни гроша. Прощай!

И Потемкин уехал на бал, оставив Шепелева с разинутым ртом. Ему хотелось решить вопрос: как Потемкин его принял, пренебрежительно или просто по-товарищески?

На другой день бала о приеме Голицына, об оказанном ему внимании говорила вся Москва. С утра к подъезду его дома подъезжали экипажи поздравить с приездом, с милостью государыни, наговорить любезностей, напомнить свое знакомство. Приезжал поздравить и Потемкин. Он при этом заметил, что те, которые не далее как вчера заискивали в нем, раболепствовали, сегодня его почти не узнавали. Но Голицын долго принимать не мог. Ему нужно было к государыне. Екатерина была с ним еще приветливее, чем вчера.

Да и он, докладывая государыне по приведенным им от фельдмаршала весьма серьезным бумагам, доказал, что он еще более ловкий и умный докладчик, чем салонный кавалер. Вопросы об устройстве Крыма, отделяемого от Турции, устраиваемого в виде независимого ханства, излагались им ясно, отчетливо и разрешались с удивительною легкостью и находчивостью. Государыня оставила его у себя обедать и удержала чуть ли не на весь день. На другой день было повторение того же. Государыня видимо была им очарована.

Потемкин не выходил из своих комнат. Он думал: пусть этот немножко надоест и меня вспомнят. Однако ж государыня не вспоминала, и он хандрил, кусая себе ногти.

Раз как-то он выискал предлог, пошел было, приказал о себе доложить. У ней сидел Голицын, и она его не приняла.

Другой раз он был у ней с докладами. Она его слушала, но приходит камердинер и говорит, что приехал князь Петр Михайлович.

Она сейчас же остановила его.

— Оставим это до другого раза, Григорий Александрович, — мне нужно поговорить с

Голицыным! Бумаги положи тут! Я прочитаю и напишу, что думаю!

Пришлось поневоле откланяться.

Потемкин бесился изо всех сил, особенно когда узнал, что его выгнали, потому что государыня хотела отправиться с Голицыным на катанье с гор.

— Какую-нибудь неделю назад она ни за что бы не поехала на горы без меня, каталась бы непременно с одним мной, а теперь... Это штука этого хитреца фельдмаршала, непременно его затея... Что бы такое сделать, чтобы уничтожить, перехватить?..

По прошествии нескольких дней он решил идти снова. Ему надоело сидеть будто взаперти, тем более что из придворных к нему никто не заглядывал, тогда как до приезда Голицына он едва мог отбиваться от посещений. Авось увидит и обрадуется, авось опять обратится к нему. Но государыня к себе в кабинет его не просила, а выйдя в уборную ко всем ожидающим, его почти не заметила, хотя сказала что-то, но что-то такое общее, такое формальное, что Потемкин думал: "Лучше бы уж не говорила. Между тем прежде..."

Потемкин опять скрылся у себя и стал обдумывать, как же отстранить, что бы такое сделать?..

Не прошло недели с полного уединения Потемкина, как у него в комнатах, против него, лежащего на диване, скучающего и грызущего от досады свои ногти, сидел Семен Никодимыч Шепелев уже с некоторым апломбом, как бы на правах старого сотоварища. Он был уже не в венгерке и не в кунтуше, а в дворянском мундире того времени, состоящем из шелкового, темно-коричневого кафтана со светлыми пуговицами, таких же панталон, кружевных брыж и манжет, чулок и башмаков. Он был без усов, волосы были завиты и напудрены. Но в этом виде, со своей истасканной и развратной физиономией и при своем громадном росте, он казался просто страшилищем, особенно с его нахальными манерами, резкими движениями и тоном, вовсе не соответственными костюму деликатных педиметров прошлого века.

Семен Никодимыч рассуждал о выгодах и невыгодах того и другого положения, о разных невзгодах жизни, направляя, однако ж,

все свои рассуждения к тому, нельзя ли как выпросить у государыни аудиенцию.

— Полно врать, Шепелев, — сказал Потемкин. — Какая там тебе аудиенция? С рыла на черта смахиваешь, а тоже красоваться лезешь! Былое прошло, братец, и его не воротишь! Да разве найдется кто, у кого две головы, разве кто бы после всего, что ты делал в Киеве и в Варшаве, осмелился тебя государыне представить?

— Будто от радости, превосходительный милостивец, будто от радости? Поневоле в разбойники пойдешь, коли жевать нечего!

— Ну, так и оставайся разбойником, а не прикидывайся святошей! Коли разбойник, так и разбойничай, пока не повесили!

— Шутить изволите, милостивец! Ведь и разбойнику болтать ногами на веревке тоже не хочется? Ну а что я стану делать? Камни ворочать? Пожалуй, я бы и не отказался, если бы не знал, что переворочай я хоть всю московскую мостовую, так мне не выработать вот хоть бы на эту цепочку, которою вашей чести было угодно меня подарить. Разуму в труде не будет.

— А в бретерстве есть разум?

— Как же, превосходительный милостивец! На шпагах я дерусь хорошо, из пистолета тоже бью почти без промаха. Драться-то со мной никому и не охота, невыгодно, лучше мир. Ну, да я стараюсь и не доводить дело до крайности, лишнего не прошу, а только так, постригу немножко, да и в сторону. Так другой, третий; а с миру по нитке, голому кафтан.

— Не хочешь ли лучше прямо кафтан заполучить?

— Как не хотеть, милостивец, да все удачи нет! Вот я и думал: расту я большого и все такое эдак в порядке...

— Ну, брат, это вздор! А вот что: я предложу тебе дельце. Тебе сколько за вызов платят?

— Да разно, превосходительный милостивец! Каков вызов и какой: чтобы драться или чтобы струсить? За одно и тысячи иногда довольно, а за другое и пяти не возьмешь! Раз только мне удалось взять...

— Э, про Колобова-то? Ну, это мы знаем.

— То-то и есть, милостивец! То дело было

хорошее. Сам навязался, да сам же и на попятный. Зато денег не пожалел. А нонче народ все такой, что гроша перепустить не хотят, да денег-то больше все ни у кого нет.

— Ну, тут деньги найдутся...

— И что же, превосходительный милостивец, струсить надо или драться?

— Нет, брат, тут уж надо драться, и хорошо драться.

— За этим дело не станет. Мы от своего дела не прячемся. Только коли дело, изволите говорить, трудное, надо и заплатить подороже...

— Ну, за этим тоже не постоят. Только смотри — не сробей!

— Ну, уж это, превосходительный милостивец, атанде-с! Не родился еще тот человек, который бы видел, что Семен Никодимов сын Шепелев без денег струсил!..

— Коли так, то слушай!

Потемкин приподнялся, выдвинул ящик письменного стола, перед которым лежал, и показал его Шепелеву. Ящик был полон деньгами, уложенными в порядке.

У Шепелева, при взгляде на деньги, от жад-

ности заискрились и засверкали глаза, как у волка.

— Тут пятьдесят тысяч, — сказал Потемкин. — Они твои! Вызови на дуэль и убей кого мне нужно!

— О милостивей, милостивец! За пятьдесят тысяч я вызову и убью черта! — восторженно заговорил Шепелев, обдавая Потемкина масляным взглядом. — Прикажите только, повелите, дорогой сотоварищ, превосходительный милостивец! Скажите, кого... Рассчитывайте верно, что ему не долго жить на свете... Только кого?

— Голицына!

При слове "Голицына" лицо у Семена Никодимовича разом перекосилось, глаза как-то осовели...

— Какого Голицына? Не того ли, что в армии у Румянцева? — спросил Шепелев как-то нерешительно.

— Ну да, князя Петра Михайловича!

— Да ведь он в армии?

— Приехал!

— Приехал! Ну, этого, простите, превосходительный милостивец, не в силах!

— Как, не в силах?

— Так, не в силах: не могу! Всем моим сердцем, многочтимый многомилостивец, желал бы, но что же делать? Тут атанде-с. Не могу!

— Отчего не можешь?

— Да так! С этим, великодушный покровитель, шутки плохие. Он двоих таких, как я, фехтовальщиков к черту на жаркое отправит.

— Вот вздор какой!

— Нет, не вздор, почтенный благодетель! Князь Петр Михайлович такой человек, что нашему брату от него подальше нужно. Их только четыре на свете и есть: Сен—Жорж, Полиньяк, лорд Пемброк и князь Петр Михайлович. Их как чумы беречься нужно. Самое главное — что от вызова он ни за что не отступится.

— И не нужно, чтобы отступался. Ты дерись и убей!

— Тут старуха надвое сказала. Из пистолета он стреляет на лету воробьев. Ясно, меня прострелит, как сову какую. А на шпагах, да я и увижу его только во время салюта. В любую точку проколет. Нет, уж с этим, многочтимый милостивец, извините! Хотел бы служить

вам, да и денежки-то уж очень соблазнительны, но не могу, ей-Богу, не могу!

— Слушай, Шепелев! У меня нет ста тысяч, но они у меня будут, даю тебе слово — будут, через несколько дней. Сто тысяч за его голову!

— Бог с вами, милостивец! Да разве я не хотел бы? Но нельзя, никак нельзя! И пятьдесят тысяч — деньги, большие деньги; но ни пятидесяти, ни двадцати, ни ста не получишь, когда к дедушке покойному в гости отправишься. Уж это, я вам скажу, не рука! Попробуйте-ка, ваше превосходительство, сами!

— Какой ты дурак! Да разве я стал бы с тобой говорить, если бы мог сам? Я бы небось не струсил, не задумался. Но мне нельзя, невозможно. Я должен быть его приятелем, слова против него не могу сказать... А то бы была — не была: я ♦ то, верно, бы не струсил...

— Это верно, милостивец, струсить бы — не струсил. Помню я, как мальчиком еще вы на меня рассердились и налетели, хотя я был вас сильнее, по крайней мере втрое, — ну, и старше гораздо был. Но тут другое дело: тут мы вас только и видели. Знаете, в Кракове, в

Фехтовальном зале, я попробовал было с ним на эспантонах. Он шутил, шутил да и рубнул по плечу тупым круглым эспантоном, так рука-то и теперь сказывается, а я даже и выпадки сделать против него не мог. Нет, с ним плохо шутить... И все это у него так спокойно, сердечно как-то выходит. Видно, что и не думает о вас, шутит. Только кошке игрушки, а мышке слезки...

— Хороша ты, мышка в косую сажень!

— Да, но перед князем на себя поговорку принять придется, велика Федора...

— Трус!

— Нет, не трус! Я, например, знаю, что вы деретесь хорошо, но стать против вас не задушаюсь. Но с князем нас троих мало! Да за что вы так сердиты-то на него?

— Нисколько я не сердит. Он стоит на моей дороге, мешает: надо его убрать.

— Так, понимаю. Ну, тогда надо, по крайней мере, пятерых против него послать. Возьмите каких-нибудь брави; и стоять дешевле будет...

— Дурак, трус и дурак! Вот что. Какие тут брави? Ведь Москва — не Италия. Да и сколь-

ко их нужно, чтобы остановить карету цугом, сбить кучера, форейтора, двух выездных, а иногда еще двух верховых? И это все только для того, чтобы до него добраться. Тут нужен будет, особенно таких трусов, как ты, целый полк. Между тем ты фехтовальщик; выдумай какой-нибудь новый удар — и дело в шляпе. Сто тысяч твои! Подумай-ка!

— Тут думай, не думай, а все ничего не выдумаешь. Стены лбом не прошибешь...

Потемкин, с выражением крайней досады, выгнал Шепелева от себя. "Дураки, трусы! — говорил себе он. — Где можно стянуть — готовы, а как дело, так и тыл показывают... Мерзавцы..."

Он послал узнать, где и с кем государыня. Ему доложили, что с Голицыным и госпожою Брюс в оперу уехали. Он опять улегся на диван, опять начал кусать ногти и хандрить...

Только хандрить ему не пришлось. Снова докладывают: "Пришел Шепелев!"

— Зови!

— Что, трус? — спросил Потемкин, когда тот вошел.

— Нет, не трус, а вот что: вы *сто* обещаете?

— Ну, да, *сто!* Вот пятьдесят в столе лежат, а пятьдесят через несколько дней достану.

— Хорошо. Я принимаю и свое дело сделаю. Он не будет на вашей дороге, только с тем, чтобы вы были его секундантом.

— Это зачем?

— Затем, чтобы все дело вы видели сами.

— Гм! Только как же ты сделаешь?

— Уж это мое дело. Спасибо — Квириленко напомнил, новый удар указал! Совершенно новый! Его-то уж никак не ожидает князь. После ложной атаки делаю демисер и аванс — колю в сердце. Такой штуки ему и в голову не придет, будь хоть семи пядей во лбу.

— Хорошо, буду секундантом.

— Как же только дать ему повод себя оскорбить? Я с ним нигде не встречаюсь, да если бы и встретился, так, наверное, он со мной и говорить не станет...

— Очень просто. Вот будет публичный маскарад. Я поведу его к буфету, а ты говори с кем-нибудь неуважительно о его покойной жене. Это — его больное место...

— Прекрасно... Только мне ведь деньги нужны...

— Зачем? Чтобы взять да и удрать из Москвы хоть в Краков?

— Э! Ваше превосходительство, как же дурно вы изволите о своих старых товарищах думать! Мне ведь нужно немного... Мы по чести, начистоту. Не по-товарищески думать изволите...

— Ну-ну...

Глава 9. Злодейство

— **Ч**то с тобой сделалось, брат? На тебя не похоже! Связаться с негодяем, проходимцем и еще в публичном маскараде! — говорил обер-камергер князь Александр Михайлович Голицын своему брату Петру Михайловичу...

— Признаюсь, погорячился! — отвечал тот. — Но представь себе, какой мерзавец! Разумеется, он не знал, что я был женат на Кате Долгоруковой и чту ее память, как святыню. Ну, да и то: я был замаскирован. Но он вдруг подле меня вздумал рассказывать, что когда мой покойный тесть, князь Александр Михайлович Долгоруков был послан в Вильну, то будто его дочь, Екатерина Александровна

в него влюбилась и вышла бы замуж, да что отец не согласился, но что не раз назначала она ему свидания в Тышкевичевом саду. Не знал он того, хвастливый болван, что князь Александр Михайлович, когда умер, оставил Катю всего пяти лет от роду, в Вильну же ездил он вовсе без семейства; не знал того, что она выросла и воспиталась у своего дяди, князя Василия Михайловича Долгорукова — вот что теперь титул Крымского дали, который в Вильне никогда не бывал. И врал это он все с такими гнусными подробностями, что, признаюсь, я не мог выдержать, а как, по желанию государыни, в память отца, генерал-адмирала, я был одет Нептуном, с серебряным трезубцем в руках, то и наломал о него трезубец, выяснив в то же время всю ложь и подлость этого мерзавца. К сожалению, этот негодяй оказался отставным русским офицером и дворянином. Что делать? Отказать ему в удовлетворении я счел неприличным. Оно, впрочем, для меня не страшно. Он же выбрал оружие, которым я владею в совершенстве. Я не убью его: не стоит. Поучу немножко и удовольствуюсь; выбив шпагу из рук. Но все дело

неприятное...

— Кто же у тебя секундантом?

— Потемкин. При нем было дело, я его и просил. Впрочем, для меня решительно все равно. Если бы пять человек все на меня со шпагами напали, я полагаю, от всех бы пяти отделался. Вот сегодня на карусели у Салтыкова, я думаю, мне придется делать опыт в этом роде.

— А ты получил приглашение с назначением?

— Как же, на первую кадриль и с государыней...

— Так. Мне показывали записку. А после что же? Салтыков что-то вроде турнира затевает?

— Да, и я буду иметь случай показать, как я дерусь на шпагах.

И точно, князь Петр Михайлович в тот же день показал свое необыкновенное искусство, фехтуя сперва против двух, потом — против трех и, наконец, на удивление всем, — против четырех искусных фехтовальщиков, и ни одному не дал задеть себя, тогда как всех искрестил и у двух шпаги из рук выбил.

На другой день, ранним утром, чуть со светом, на обмятой и плотно утрамбованной снежной площадке за Петровским парком съехалось двое парных саней.

В одних из них сидели известные нам паны Семен Никодимыч Шепелев со своим — тоже называющимся польским шляхтичем — Яковом Федоровичем Квириленко, а в других — князь Голицын с генерал-поручиком Потемкиным.

Князь Голицын весело шутил, вспоминая, как тоже раз они с Потемкиным, по приказанию Румянцева, ехали в Молдавии на какую-то лихую экспедицию, только ехали не с такими удобствами, как теперь, в санях, подбитых медвежьим мехом и укрытых медвежьей полостью, а в молдавской каруце, в которой трясло их хуже жидовской арбы. Потемкин был молчалив и угрюм.

Сани, по мере того как выходили из них господа, отъезжали к ближайшей харчевне, отстоявшей не более как в полуверсте от места, выбранного дня поединка, за небольшим березничком, росшим на холме, так что видеть оттуда, что делается на площадке, было

невозможно.

Зато с площадки вниз, несколько влево, было как на ладони видно небольшое село, с каменной церковью и колокольнею, за которыми высокою каменною оградой было обнесено кладбище.

Согласно условиям этикета дуэли, на точном выполнении которых особенно настаивал Потемкин, секунданты измерили приготовленную площадку, обозначили границы ее кольшками, разделили свет и ветер и испробовали упругость трамбовки.

Все было в порядке.

Наконец шпаги были выверены, места назначены, противники с выполнением всех обрядов поставлены на места и вооружены.

Голицын предложил противнику отказаться от своих слов ввиду видимости лжи, и тогда, сказал, он с удовольствием готов просить извинения за нанесенный удар.

Шепелев отказался от всякого соглашения.

— Князю хорошо говорить об извинении и прощении, — сказал он, — когда он своей проклятой палкой чуть лоб мне не раскрыл. Вон, рог какой! Как еще череп-то не лопнул...

— И прекрасно, — весело проговорил князь. — Была бы честь предложена!..

Противники стояли один против другого, опустив шпаги к земле. Потемкин дал знак к началу салюта.

Князь ловко поднял от земли шпагу, взмахнув ею; приподнял шпагу и Шепелев, но прежде еще, чем шпаги их коснулись одна другой для выражения рыцарского привета и взаимного уважения, Шепелев выхватил левой рукой спрятанный в кармане пистолет и выстрелил из него почти в упор в грудь князя.

Князь упал, не произнеся ни звука, не сделав даже конвульсивного движения. Пуля прямо пронзила его сердце.

Потемкин на мгновение совершенно потерялся.

— Что это? — вдруг вскрикнул он. — Убийство?

И Потемкин бросился было со шпагою на Шепелева, думая проколоть его, но тот легко отпарировал неверно направленный удар.

— Да, убийство! А вы чего же хотели, многочтимый благодетель? — спросил Шепелев

совершенно хладнокровно, отстраняясь от нового нападения Потемкина и кидая в сторону разряженный пистолет. — О чем вы-то, мой старый сотоварищ, хлопотали?

— Я хотел честного боя, хотел дуэли! — горячо говорил Потемкин. — Я бы с удовольствием сам встал, сам стал бы драться, но мне это было невозможно, и я просил за себя, но честно, шляхетски, а тут простое, подлое убийство из-за угла, хуже, чем из-за угла...

— Если иначе ничего сделать нельзя было? Если приходилось непременно или быть убитым самому, без всякой пользы для вас, или убить, достигнув цели, которую вы, мой превосходный сотоварищ, ясно изволили наметить и указать? Что же оставалось делать? Я предпочел достигнуть цели, сделать то, чего вы желали — убрать с дороги — стало быть, убить.

— Но это злодейство, злодейство! Вы осрамили, уничтожили меня! Уж одно то, что я имел дело с таким подлецом и убийцей, как ты, отравляет всю мою жизнь, ложится вечным пятном на моем имени. Теперь говори, ну, говори, какой ответ мы дадим, что мы ска-

жем! Что будут говорить о нас все? Если только повесят, то это будет милость...

— Помилуйте, великодушный милостивец, за что? Будто мы и станем рассказывать, как дело было? Мы скажем, что ввиду необыкновенного искусства в фехтовании, выказанного вчера князем, я потребовал перемены оружия. Князь по своему великодушию согласился, и вот счастье выпало на мою сторону. Стреляли вместе по данному знаку, хоть по третьему удару. Вон — колокол. Слышите, звонят? А вот и другой пистолет, который мог быть в руках князя и который разрядить он мог не успеть, желая, может быть, сперва выдержать мой выстрел, а потом уже стрелять. Заметьте, пистолеты оба с вензелем его сиятельства и под княжескою короною. Все было придумано, все разочтено вперед. Опровергать это объяснение, разумеется, ни я, ни Квириленко не станем. Вся история — его собственного изобретения. Отдайте, ваше превосходительство, ему справедливость; я тут — как, впрочем, большею частию всегда — только скромный исполнитель. Вашему превосходительству, кажется, тоже против этого ска-

зять будет нечего. Все было направлено и сделано, чтобы в точности выполнить ваше желание: убрать с дороги, как следует, опасного соперника. Если бы я был искуснее его, то и говорить нечего: я бы его убрал просто, по правилам искусства; но как стать со шпагой в руке против князя была вещь немыслимая — первым же авансом после салюта он непременно проколол бы меня насквозь, — то и придумана была новая штука, новый фортель, которым, так или иначе, ваше желание осуществилось, ваше приказание выполнено. Затем пока, в ожидании ваших будущих милостей, имею честь вам, многочтимый милостивец, откланяться. Ваши и князя люди через несколько секунд будут к вашим услугам.

И Шепелев вместе с Квириленкой исчезли за перелеском.

Потемкин остался один с охладевшим трупом князя. Ему самому становилось холодно и страшно тяжело. "Ведь он прав, — думалось ему, — так или иначе, я хотел, чтобы он был убит. И вот он убит! Это моя вина, мой грех..."

От этой мысли будто что-то кольнуло его прямо в сердце, что-то сжалось и сдавило его

грудь так, что дрогнули даже кончики его пальцев.

"Все это очень хорошо или очень дурно, — вдруг подумал он. — Но убитого ничем вернуть нельзя, нужно воспользоваться его смертью. Ведь я точно хотел, чтобы... его не было, и вот..."

Но в ту же минуту его опять что-то закололо, потом будто ударило чем в голову, затем будто сказал кто: "Ты убийца, убийца, подлец! Жизнь тебе заплатит, страшно заплатит!.. Подлец, подлец!" Между тем вспомнился ему он — будто ожил пред ним — с его бесконечною добротой, честностью и добродушием. И Потемкин вдруг, с неожиданным порывом чрезвычайной страстности, бросился на грудь покойного в слезах и в отчаянии.

— Прости, прости меня! Прости убийцу твоего, злодея твоего! — со странным оживлением вскрикнул Потемкин и начал вглядываться в костеневшее лжцо убитого.

— Прости, бранный товарищ, великодушный друг, готовый жертвовать собою за каждого! Прости злодея твоего, помолись за него! Дорогой, святой, голубчик, помолись...

И он зарыдал горько, истерически зарыдал на груди трупа...

Приехали люди, подняли труп, положили в сани и увезли. Потемкин долго оставался еще на месте. Ему все казалось, что он не может, не имеет права уходить. Он приехал не один, приехал с товарищем, с другом... Но ведь этого друга он убил! Да! Но он добр, он великодушен, простит. Вот начинает смеркаться; он придет и скажет, что простил...

Потом он вдруг будто что вспомнил. "Нужно к государыне, — сказал он, — нужно ее успокоить, утешить. Ее, бедную, смерть эта поразит, ужаснет! Но что же делать? Когда встречаются на одном пути два соперника, один должен быть отстранен!.."

Екатерину действительно страшно поразило известие о дуэли и смерти Голицына. Сперва она не могла дать себе отчета: что это, отчего, каким образом? Да ведь он вчера только, вот почти сейчас сидел тут, был жив, был весел, шутил... Где же сегодня? Его нет, нет и не будет никогда! Ужасно, ужасно! Да разве возможно это? Разве это справедливо? Боже мой, за что же? А я ♦ то, я?..

И она плакала, даже не сознавая, что она плачет.

Екатерина чувствовала, что в нем она потеряла единственного человека, который возвышал порывы души ее. Она чувствовала, что с ним она становилась выше, благороднее. В присутствии него она стряхивала с себя ту мелочность жизни, тот материализм взглядов и понятий, которые оказывают самые возвышенные стремления. С Голицыным она сознавала это, самые желания ее добра, пользы, возвышения государственного благосостояния были иные, были не те, которые вызывались в ней эгоизмом людской гордости; ни одной нечистой, материальной, плотской мысли не являлось с ним, "Он был идеал, вызывающий только светлые помыслы вдохновения. Он вызывал во мне те мысли, которые оставались еще во мне от первых впечатлений детства, от первого взгляда на Божий мир, от первой, сердечной молитвы Богу. Какая разница против холодного чувственного расчета Салтыкова, приторной сентиментальности Понятовского, ничтожества Васильчикова и порывистого материализма Орлова. В Голи-

цыне была душа, мысль, чувство, и во всем ощущалась не плотско-физическая, а нравственная сила... И он умер, убит и унес с собой все, что было в самой мне чистого, возвышенного, светлого, что было душой моей и что он вызвал, возбудил..."

И Екатерина заливалась горькими слезами отчаяния, принимая утешения Потемкина сперва холодно, едва не с отвращением, но потом проникаясь к нему чувством невольной благодарности и усваивая в своей привычной жизни его участие.

В странном положении при Екатерине все это время был Потемкин. Разумеется, ни одной минуты государыне и в голову не приходило, что он мог быть хоть в какой бы то ни было степени участником в смерти князя Петра Михайловича. Он вместе с нею так горячо оплакивал его, так дорожил его памятью. Несчастливая случайность дуэли, исходившая сперва из горячности самого князя, а потом из его беспредельного великодушия, и только случайность, которая будто бы всего более огорчала самого Потемкина. Он говорил, что, служа вместе с ним при Румянцеве,

участвуя неоднократно вместе в различных военных предприятиях, он успел его полюбить как человека, чувства которого, образ мыслей и благородство поступков заставляли его любить и уважать всех, кто его знал. Екатерина сама в глубине души своей сознавала, что знать князя Петра Михайловича и не любить его было невозможно. С тем вместе она чувствовала — и это почувствовала она только со дня смерти князя Петра Михайловича, — что ее что-то от Потемкина отталкивает. Она видела в нем что-то такое, чего прежде не замечала. Прежде всего ей бросилось в глаза, что это "что-то" — есть ничего более, как его прямая, существенная, не только физическая, но и нравственная противоположность князю. Уж один его неподвижный, упорный, будто стальной взгляд, с его легким как бы подмигиванием одним зрачком, представлял такую противоположность чистому, прозрачному, светлому взгляду, которым, бывало, сиял князь Петр Михайлович, что нельзя было не представить себе одного явным противоречием, прямою противоположностью другого. Потом вот в Потемкине ка-

кая-то барская неподвижность, какая-то увесистость, властность; в нем все плотское, все материальное: эти чувственные губы, эта гордая, пренебрежительная улыбка. Откуда они, хотя бы властность и барство? Ему ли, сыну бедного, гнетомого землей и средой помещика, в полосе, переходящей от Польши к Москве и от Москвы к Польше, чувствовать потребность власти, усваивать сознание барства? А князь — родовой потомок властителей, преемственный представитель величия и силы — отчего в нем не было неподвижности, не было барства? Напротив, в нем была готовность к самопожертвованию, к самоотрицанию; в нем сияла доброта, готовая от всего отказаться, все отдать, и никак не для властности, никак не для барства, а ради добра, ради блага, ради успокоения, утешения, радости других. Отчего это! Оттого что в нем везде и во всем светила душа, отвечала себе Екатерина, светило нравственное начало жизни, мысль в ее небесном настроении. А здесь плоть, земля, материальные стремления и эгоизм полный — от пят до кончика волос и до обгрызенных ногтей...

Екатерине пришло на мысль, что в двух этих противоположных один другому людях она видит олицетворение индийской легенды об Ормузде и Аримане, добре и зле. "Бел-бог и Черн-бог славян, Адонаи и Молох Востока. — сказала себе она. — Остайся он жив, и мои стремления, моя жизнь и чувства получили бы очищение в светлой сфере нравственной чистоты, в небесной сфере Адонаи. Но его не стало, и стальной, неподвижный взгляд Молоха меня невольно тянет-тянет, притягивает! А что затем? Не потому ли индийцы, поклоняясь добру, приносят жертву и злу, чтобы оно их не охватило? Что же могу сделать я, не верящая жертвоприношениям? Мы — прах и пыль, — решила она. — И если нас ничто не поднимает к Небу, мы поневоле льнем к земле? Но, отдаваясь земным помыслам, мы должны помнить только то, чем обязаны Небу, и да поможет мне Бог не забыть это!"

Потемкин скоро достиг своей цели. Он был пожалован генерал-адъютантом, произведен в генерал-аншефы, назначен вице-президентом военной коллегии. Ему была дана андре-

евская лента, осыпанный бриллиантами портрет государыни, а потом было предписано присутствовать в конференции по иностранным делам. Потемкин становился всем. Ни Москва, ни главнокомандующий ею, значит, не ошиблись. Он стал человеком сильным и случайным, хоть и позже того, как все это Москва ему пророчила.

Но прежде еще, чем Потемкин стал великим человеком, ему нужно было рассчитаться за услугу, благодаря которой он мог надеяться быть тем, чем он стал. Как ни тяжело было ему вспомнить факт события, как ни давило его сознание, что вот он входил с этими людьми в соглашение платить им деньги, стало быть, он участник, более — пружина преступления и что убийство, подлое убийство товарища из-за угла лежит на его душе, но он все же в ту же минуту, как ему доложили о Шепелеве и Квириленке, приказал их звать.

Он сидел в это время на окне, в халате и туфлях на босу ногу и барабанил по стеклу пальцами.

Как только они вошли, он встал и, не отвечая на их поклоны, подошел к столу, вынул оттуда все деньги, какие там были, и бросил их прямо в лицо Шепелеву, осыпав его, таким образом, ассигнациями.

— Возьмите и убирайтесь к дьяволу, пока я не распорядился, чтобы вас повесили! — круто сказал Потемкин, не глядя на них.

Квириленко механически, бессознательно начал подбирать разлетевшиеся ассигнации, но Шепелев в ответ на такое приветствие нахмурился.

— Оставь, брось! — резко сказал он нагнувшемуся Квириленке, потом обратился к Потемкину и нагло отвечал, глядя ему прямо в глаза: — Как это, за что, многочтимый милостивец? За что, ваше превосходительство? За то, что, исполняя ваше приказание с опасностью своей жизни, мы оказали вам услугу? Ведь дай я промах, князь Петр Михайлович не задумался бы проколоть меня, как какую-нибудь козявку, да и Кривиленке тут заодно пощады бы не было. Так за то, что мы из кожи лезли угодить вам, нас повесить? Дело хорошее, ваше превосходительство, господин

генерал-поручик! Только позволю себе доложить вот что: ни вчера, ни третьего дня я сюда не шел, не показывался, хотя, кажется, как бы не идти денежки получить, и хорошие денежки, заслуженные, заработанные?.. Но я не шел, потому что вот друг сообразил, — и Шепелев указал на Квириленку, — что прежде всего нужно себя обезопасить. Вот мы и придумали описать всю историю: и как мы это торговались с вами, и как уговаривались, и как я отказался было, несмотря на весь соблазн, на все ваши убеждения. Я отвечал: "Не справится, говорю: брави наймите!" А вы в ответ: "Дурак! Москва не Италия". Потом, когда мы с Квириленкой дело обсудили, я решился. Квириленко сказал: "Зачем брави? И сами справимся. Нового шпажного удара, как хочется твоему прежнему товарищу, против Голицына не выдумать. Этого невозможно! Он так хорошо дерется, что всякий удар предупредит. Но из пистолета — другое дело: выстрелить можно. Он уже никак не будет ожидать". И вот после того я воротился к вам со своим согласием и маленький задаточек получил... Все это я описал в порядке, как следу-

ет, запечатал и отдал одному старому знакомому, верному мне человеку с тем, чтобы, если он меня в течение недели не увидит, доставил бы мой конверт в вольный город Гамбург, для напечатания его в тамошних курантах. Так что, изволите видеть, многочтимый мой сотоварищ, ведь коли повесят меня, то и вашему превосходительству не совсем ладно придется на свете жить. Государыня-то, говорят, гамбургские куранты каждый день читает...

Потемкин остановил на Шепелеве свой неподвижный взгляд.

— Чего ты хочешь от меня, проклятый человек? — сказал Потемкин. — Разве не видишь, что я отдаю тебе все?

— Так не отдают, ваше сиятельство! Виноват, вы еще не граф, ну, да это все равно: будете и граф, и князь, и все, чем вы захотите быть. Я узнал, на какой дороге Голицын стоял, чему мешал и отчего вам понадобилось его убрать во что бы то ни стало; узнал, почему вы и мне аудиенцию предоставить не пожелали. Ну, да это ничего не значит: всякому своя дорога и свое счастье. Теперь вы будете

всем, чем захотите, и будете благодаря мне, моей услуге, моему труду. Вознаграждение за этот труд я желаю получить честно, полностью, согласно вашему честному слову и как следует по старой нашей товарищеской дружбе и прежним отношениям. А то — повесить... Ну, повесят нас, так наши показания не много славы и вашему превосходительству прибавят. По-моему, лучше бы гладко да ладком. Денежки счет любят, вы сами изволите знать. Мы трудились, а вам за наш труд заплатить следует...

— Ты свое подлое, гнусное убийство называешь трудом?

— Да, многоуважаемый превосходительный милостивец, тяжким и опасным трудом, предпринятым нами для вас, сделанным по вашему настоянию и указанию...

— Шепелев, если ты еще это будешь говорить, то я тебя убью собственной рукой!

— Ну, что же, убейте, будущее сиятельство! Тогда у вас на душе будет не одно убийство, а два; а гамбургский пакетец все-таки полетит по назначению и раскроет перед целым светом то, что теперь нам известно только тро-

им, да и то Квириленку считать нечего: он и я один человек; стало быть, известно только мне да вам...

Во время этого разговора Квириленко молчал и нет-нет да и нагибался подбирать ассигнации и, поднимая то ту, то другую пачку, складывал их на столе, так что в конце концов они уже все были собраны и лежали неправильною грудой перед Потемкиным.

Потемкин опустил на диван, положил руки на стол и опустил на них свою голову, потом вдруг вскинул голову назад и спросил надменно: "Чего же тебе нужно? Я отдаю тебе все, что есть. Больше мне дать нечего. Я тебе это говорил прежде. А что ты грозишь мне пакетом, то я этого не боюсь; я могу убить тебя и себя. Бери и уходи!"

— Ваше превосходительство изволили за дельце обещать сто тысяч. Значительность вознаграждения меня подвинула на труд. Правда, вы изволили сказать, что пятьдесят тысяч изволите дать сейчас же, а другие через несколько дней. Вот и извольте сосчитать, сколько тут и сколько придется получить после. Сосчитаем, удовольствуемся и, са-

мо собой, не станем вас беспокоить, а исчезнем аки дым. До тех пор, простите, ваше превосходительство, мы тоже должны сообразать получение уплаты за свой труд.

Потемкин не отвечал, положив опять свою голову на свои лежавшие на столе руки, сложенные пальцы которых, казалось, судорожно сжимались от внутреннего волнения.

— Считай! — сказал Шепелев Квириленке. Квириленко стал считать, укладывая пачки тысячами.

— Пятьдесят три тысячи восемьсот рублей! — сказал Квириленко.

— Ну вот, а на остальные сорок шесть тысяч двести рублей пожалуйста записочку. Задаточек нужно считать на хлопоты и расходы.

— Ты мне не веришь? — спросил Потемкин, опять гордо поднимая голову.

— Помилуйте, многочтимый милостивец, как не верить? Но дело не такое, чтобы на слово положиться, особенно после того, как вы меня и повесить, и убить хотели. Хоть бы подумали о том, что, может, ведь и напередки пригожусь! Может, и еще кого с дороги уби-

рать придется!

Потемкин взял лист бумаги и перо.

— Ты согласен получить остальные через неделю в Кракове?

— Будем очень благодарны вашей милости. Нам точно что здесь ждать нечего. Нужно удирать, сию минуту удирать!

— Вот, возьмите! Через неделю получите и отдадите расписку. Убирайтесь же ко всем чертям!

— Много чести, ваше будущее сиятельство, будем там с нетерпением вас ожидать!

Забрав деньги и записку, Шепелев и Квириленко исчезли. Потемкин долго смотрел им вслед сквозь неплотно притворенные двери, потом опять опустил голову на сложенные на столе руки и зарыдал как ребенок.

Но в тот день назначен был концерт. Сарти приготовил в честь Екатерины новую кантату. Эту кантату должны были пропеть благородные питомицы Московского екатерининского института. Нужно было ехать...

— Снявши голову, по волосам не плачут! — сказал себе Потемкин и велел давать одеваться.

Глава 10. Иллюминатка

Много лет прошло, много событий пронеслось с тех пор. Польши уже не было в смысле самостоятельного государства. Родовитые паны, старшие дети родной земли, стугбили силу своей матери. Они, соединясь с жиждовством, задушили начатки доблести ее младших сынов.

Род и капитал вместе, в началах своих основ, как элементы общественности, подавили собою мысль и труд Польши и скоро сделали из нее географическое выражение — сделали то, чего не могла сделать десятивековая история. Польский король жил в Гродне не то гостем, не то пленником Екатерины и ждал только от ее милости благостыни себе и уплаты своих долгов.

Фридрих Великий, прусский Фриц, поклонник философии и абсолютизма, коронованный либерал, вводивший свой порядок жизни с помощью штыков и поддерживающий его шпицрутенами, был так напуган результатами, к которым едва не привела его Семи-летняя война, что старался всеми мерами

уклоняться от военных столкновений. Он занимался исключительно финансовыми проектами, изыскивая способы поправить свои денежные дела, расстроенные донельзя его прежними войнами. Финансовые проекты Фридриха были разнообразны. Он то облагал акцизом соль, то надеялся поправить средства своего казначейства воспрещением своим подданным жарить у себя в домах кофе. Но — увы! — финансы, видно, плохо ладят с философией. Дело подвигалось очень туго. Никак нельзя было ничего взять с тех, с кого было нечего взять, и касса короля-философа была пуста. А в это время, будто назло, молодой фантазер, германский император, юный Габсбург, исконный враг бранденбургского дома и вечный, неизменный его соперник, выдумал новый проект, обозначил свое недавнее избрание новыми притязаниями. Он захотел присоединить к Австрии Баварию. Если допустить такому предположению осуществиться, то Австрия охватит Пруссию с двух сторон. Она будет в состоянии раздавить ее во всякую минуту. Этого допустить нельзя. Поневоле нужно воевать, но на войну ни де-

нег нет, ни войска нет!

Правда, того и другого у Австрии тоже немного, но у ней союзник — вся Германия. Да и старая союзница Пруссии, ее поддержка и опора в былые времена — Франция, теперь сторону австро-венгерской королевы Марии Терезии и ее сына, германского императора, держит. А все волей-неволей нужно воевать!

И началась война — картофельная война. Дело худо идет. Одно средство поправиться — просить покровительства и защиты русской императрицы.

Такое покровительство было ему оказано. Германский император почувствовал влияние России, вынудившей мир, можно сказать, одним словом своей государыни.

Но, почувствовав это влияние, он и сам захотел с ней сблизиться, заслужить ее расположение, соединить свои интересы. Для этого нужно, чтобы его перед русскою государыней поддерживали все, которые ее окружают, которые к ней ближе. В это время самым близким к ней человеком был Потемкин. Ясно, нужно сойтись с Потемкиным.

Уж из одних этих слов можно видеть, что

царствование Екатерины все эти годы было славное, великое. Недаром же властители мира со всех сторон добивались ее расположения, искали ее дружбы, заискивали даже в ее любимцах.

Но среди всей своей славы, всего своего величия она не забыла князя Петра Михайловича Голицына и его внезапной смерти, последовавшей в форме дуэльной случайности. Она не понимала почему, но ей все казалось, что тут что-то не так, что есть что-то загадочное, исключительное, что-то злодейское, пахнущее умыслом.

"Что это такое? Почему ни с того ни с сего какой-то проходимец начинает вдруг чернить память его покойной жены, не только никогда не видав ее, но даже не зная того, что в то время, о котором он говорил, она была менее чем пятилетний ребенок? Потом — каким образом дуэль, назначенная на шпагах, могла кончиться пистолетным выстрелом? Откуда взялись пистолеты и почему князь не успел разрядить свой?"

Эти вопросы мучили Екатерину. Ей все казалось, что она, как государыня, должна их

раскрыть, и если бы открылось, что тут был обман, подлог, злодейство...

— О, тогда я распорядилась бы!.. — говорила она нередко Потемкину или при нем, не подозревая даже, в какой степени эти слова относятся к нему и его мучат, жгут.

Не раз и не два она приказывала строго расследовать это дело; поручала разузнать, раскрыть, найти; поручала неоднократно спрашивать разных лиц и разные стороны; поручала она это и самому Потемкину, и лицам, бывшим к ней впоследствии близкими: Завадовскому, Ермолову; возлагала произвести полное расследование сперва на Рылеева, а потом на известного Шешковского. Даже в конце ее царствования, более чем через двенадцать лет после смерти князя Петра Михайловича, был некоторое время этим занят ее статс-секретарь Грибовский. Но что все они могли раскрыть, особенно при отсутствии Шепелева и Квириленки, скрывшихся от всяких преследований, и при влиянии на дела Потемкина? Они поневоле должны были говорить и представлять то, что всех оправдывало.

И вот со всех сторон ей приносят только один опыт, из которого она могла только видеть горячее участие и любовь к покойному Потемкина, теперь уже всесильного вельможи, великолепного князя Тавриды. Во всяком доходившем до ее слуха слове она могла видеть только его желание охранить, оберечь жизнь человека, которому он, как своему военному товарищу, был столько предан. Приносили, однако, ей время от времени и различные разъяснения. Например, ездивший нарочно во Францию для расспросов Шепелева и Квириленки полковник Возницын, действительно их нашедший и расспрашивавший при бывшем там нашем после Иване Сергеевиче Бяратинском, донес ей, что Шепелев говорил не о супруге князя Петра Михайловича Екатерине Александровне, урожденной Долгоруковой, а совсем о другой Долгоруковой, вдове Екатерине Андреевне, действительно жившей в то время в Вильне довольно легкомысленно и которую он ошибочно называл Екатериной Александровной. Перемена оружия произошла действительно по настоянию Шепелева, так как показанное накануне

Голицыным чрезвычайное искусство в фехтовании давало ему, по его мнению, право настаивать на таковой перемене условий дуэли, против чего горячо восставал Потемкин, но должен был уступить желанию самого князя, великодушие которого не допускало, чтобы он имел против своего противника столь видимое преимущество. За пистолетами, по приказанию князя, посылал верхом его человека Квириленко. Первый выстрел был, по настоянию Потемкина, предоставлен князю, но он опять не хотел воспользоваться этим преимуществом, могшим быть для Шепелева — опять по искусству князя в стрельбе — роковым, и требовал, чтобы стрелять по третьему удару в ладоши Квириленкой. Но вследствие сделанных Потемкиным возражений было решено — стрелять по третьему удару в колокол, так как внизу, в долине, было видно, что пономарь поднимается на колокольню звонить к обедне. Одним словом, со всех сторон она получала только такого рода сведения, которые положительно доказывали, что князь сперва сам непростительно погорячился в маскараде, изломав свой трезу-

бец о голову Шепелева. Трезубец был хотя из дутого серебра, но все же настолько твердый, что Шепелев был ошеломлен ударом чуть ли не до беспамятства. Потом он держал себя истинно великодушным рыцарем, не желая, вопреки настояниям Потемкина, иметь перед Шепелевым какое-либо преимущество, напротив, предоставляя все шансы Шепелеву. А затем дуэль была как и всякая дуэль. Она кончилась для князя несчастливо. Что же тут делать? Дуэли в то время хотя и были воспрещены по регламенту Петра Великого, но не преследовались и даже во время полунемецкого управления после Петра укоренились в войске как обычный прием решения всех споров и недоумений между офицерами. Ясно, что государыне, поддержавшей существовавшие обычаи и не воспретившей дуэли законом, не было повода кого-либо преследовать за дуэль Голицына, тем более что противники Голицына, Шепелев и Квириленко, были вне ее власти. Она могла сожалеть, вспоминать, но и только. Никто не сказал ей, что за пистолетами Квириленко посылал верхового уже тогда, когда князь лежал охолоделый на снегу,

убитый изменнически; никто не сказал, что и пистолеты, представленные к расследованию, были не пистолеты князя, а только похожие на них, хотя и были с его гербом и вензелем. Но чего она не знала — того не знала и не могла знать, а тем менее могла подозревать... Она ничего и не подозревала.

Между тем стремления государыни разузнать, раскрыть, расследовать истину касательно дуэли князя Петра Михайловича, все разговоры о ней, воспоминания, даже намеки страшно терзали всецельного уже тогда князя Потемкина. Они мучили его, сушили его душу. Он не знал, куда от них кинуться, куда уйти. Он начинал хандрить, тосковать, скучать. Против его воли беспрерывно рисовался в его воображении убитый князь: как он лежал перед ним на снегу и кровь сочилась у него из изменнически нанесенной ему раны... Не раз он готов был сам все раскрыть, все рассказать, чтобы только более не слышать, более не думать. Но он знал, что его рассказ будет действительно для него гибелен, но не избавит его от думы, не спасет от воспоминания. Он знал, что и за рассказом князь ему будет

также мерещиться и он будет также тосковать, еще преследуемый и презираемый... "Нет, уж лучше молчать", — говорил он себе. И он молчал, страдая невыразимо от самого молчания...

Екатерину тоже при каждом воспоминании о князе Петре Михайловиче и его смерти охватывала тяжкая, невыносимая грусть.

Потемкин, несмотря на свою хандру и тоску, стремился всеми силами занять эту пустоту, заменить ее всем, что могло развлечь, развеселить, успокоить... "Действительно, он успокаивает, развлекает, — говорит себе Екатерина, — но на одно мгновение. Лучше сказать: он вводит меня в мирские, материальные интересы, заставляет наслаждаться земным, плотским счастьем. Нужно благодарить и за это. Но как далеко оно от света чистой души, как далеко от радостей Неба!"

И точно, Потемкин, несмотря на свою постоянно мучившую его хандру и тоску, можно сказать, лез из кожи, чтобы занять и развлечь государыню. Он то представлял ее воображению всевозможные проекты для ее будущего величия и славы, то развлекал блестящими

праздниками и торжествами, то тешил миром общим благодеянием от ее царствования. Наконец, он вызвал в ее славолюбивой душе стремление быть восстановительницей христианства на Востоке и спокойствия и порядка на Западе. Но все не может он ничем заставить ее забыть ни эту дуэль, ни эту смерть, которые, являясь внезапно перед ее мыслью, дают как кошмар ее воображение. И Екатерина начинает думать о неправильности, нерациональности, несправедливости дуэлей вообще.

— Где тут разум, где человеческий смысл? — говорит она. — Я же могу быть обиженной, и я же буду убита по правилам, по законам дуэли? Простая драка разумнее! Та исходит из порыва страстей, исходит из увлечения. Если она и кончится убийством, если кончится неправильно, то есть убит или прибит будет обиженный, то, по крайней мере, это совпадает с сознанием, что увлечение страсти не руководствуется анализом разума. В дуэли же увлечения нет и не должно быть. Оба безмолвно и хладнокровно принимают закон дуэли и обязательно ему подчиняются.

Но закон этот, по самому своему существу, дик, неразумен, закон варварства и кровожадности...

И тогда же Екатерина в уме своем постановила воспретить и преследовать дуэли всеми мерами своей самодержавной власти. Ведь Ришелье воспретил же дуэли — и еще когда — когда дуэли составляли как бы исключительную привилегию благородного сословия; когда французскому дворянству они представлялись его правом, наследием феодальных прав их отцов и дедов, имевших право объявления друг другу войны. Если это можно было сделать в век Ришелье, то почему же не восстановить такое запрещение теперь, в век, освещенный уже светом философии, требующей от законодателей гуманности и разума?

И Екатерина начала обдумывать свой закон о дуэлях.

А годы все шли, все шли. Слава ее царствования сияла и сияла; интриги и козни против нее рассыпались; враги принуждены были падать ниц. Напрасно французы подняли против нее шведского короля, напрасно ин-

триговались ими Польша и Малороссия, поднимались Крым и Кубань. Екатерининские орлы все охватывали, все примиряли. Вот в это-то время говорят ей о новой дуэли, которая напоминает ей старую; а воспоминание об этой старой дуэли если и заглохло несколько от времени, то никак не погасло, никак не умерло в ее сердце, а все будто незажившая рана сочится и мучит при каждом прикосновении к ней.

При слове дуэль, произнесенном Рылеевым, Екатерина даже вздрогнула: так глубоко она была потрясена бывшею дуэлью, отнявшею у нее — как она думала — ту чистоту и свежесть, которые влекли ее к Небу, когда теперь она все более и более погружалась в требования земли. Она вздрогнула даже, сказали мы, хотя после этой дуэли прошло около пятнадцати лет.

"Опять дуэль, и из-за причины столь вздорной, что верить не хочется, и которая касается скорее меня самой, моих распоряжений, а никак не юноши Чесменского, который в своей форме ровно столько же виноват, сколько далай-лама в разрешении курить табак.

И этот мальчик Чесменский, у которого, кажется, молоко на губах не обсохло, принимает вызовы на дуэль, заставляет опасаться своего ухаживанья! Боже, как же я ♦ то стара, значит! — сказала себе Екатерина. — Да стара, а все хочу жить!..

А если я, несмотря на старость, хочу жить, — думает она, — то в какой степени должен хотеть жить Чесменский, юноша, еще не испытавший жизни?

Я должна охранить жизнь его, — резюмирует Екатерина далее. — Я приняла его на свое попечение. Он если не плод любви и преданности мне, то во всяком случае плод заслуги предо мной; а это одно уже заставляет меня не оставлять его своим вниманием, заботиться о нем... Говорят, князь Гагарин дерется на шпагах не хуже того, как дрался покойный князь Петр Михайлович. Нет ли и тут какого-нибудь умысла, чего-нибудь такого, что должно сделать жертвою того или другого? Но я не допущу этой дуэли, ни за что, ни под каким видом не допущу, как государыня, как покровительница их обоих, наконец — как христианка. Я не могу и не должна допускать

дуэли, в которой из-за ничего мальчик ставит на карту всю свою жизнь, все свое будущее... Ведь теперь дуэли воспрещены уже законом, и, стало быть, я имею полное право наложить на нее свое Veto".

И вот мы видели, как государыня задала, как она сама выражалась, окрик на Гагарина, позвала Рылеева и опять повторила твердо свое приказание, чтобы этой дуэли не было, повелев ему эту ее непререкаемую волю передать так же графу Брюсу, бывшему в то время главнокомандующим в Санкт-Петербурге и генерал-губернатором, и сделать известной по войсковым командам.

Князь Гагарин, получив от государыни окрик, счел своим долгом в ту же минуту написать к Чесменскому и Бурцову извещение в такого рода выражениях, что, выполняя священную волю все милостивейшей государыни, он приносит перед корнетом Чесменским всевозможные извинения и просит сделанный им вызов считать недействительным. Смысл заявления, обращенного от Гагарина к лейб-гусарскому полку, был тот, что, считая исполнение высочайшей воли первым дол-

гом верноподданного, он просит у Чесменского извинения во всем, в чем он может считать себя обиженным, и за таковым его отзывом он, при выражении своего полного уважения полку и его форме, полагает, что всякое могущее быть в рассуждении его в полку недоумение само собою должно прекратиться.

Бурцов, после переговоров со старшими офицерами полка, признал ответ этот удовлетворительным, но Чесменский, получив отзывы князя, вспыхнул.

— Что это, меня совсем уж за ребенка считают? — сказал он себе. — Тут, говорят, полк дуэли не допускает, а там по высочайшему повелению извинения просят! Не хочу я никаких извинений, да я и не был оскорблен, не я вызывал, а он. Стало быть, он должен смыть свое оскорбление, а не я. Мне не в чем принимать извинений, да я и не хочу никаких извинений. Я хочу дуэли — дуэли на смерть, хочу лучше, чтобы убили меня, если хотят, а не считали за мальчика, которого, с одной стороны, морят с голоду, а с другой — хотят водить на помочах, утешая игрушками,

как двухлетнего ребенка, в виду которого, чтобы он не плакал, бьют пол или дверь, о которые он ушибся. Вызов был сделан Гагариным. Он счел себя оскорбленным тем, что я к нему явился, когда он не желал продолжать со мной свое знакомство. Если я оскорбил, я и должен извиняться; а я не извиняюсь. Ну, в конце концов, мы и должны стреляться, резаться, колотиться, что бы там ни было. Нет, нет! Шутить с собой я не позволю!

И Чесменский написал Гагарину в ответ:

"Милостивый государь мой! Не будучи никогда ничем вами оскорблен, я крайне изумился получением вашего извинения, да еще по высочайшему повелению. Потому полагаю, что ваш вызов меня не только сохраняет свою силу, но удваивается еще вызовом с моей стороны, который вы, как благородный человек, я надеюсь, не позволите себе отвергнуть, ибо полагаю, что вы как вызовом вашим, так и последующим извинением пожелали надомной смеяться и задели тем мою офицерскую честь. Надеюсь затем встретиться с вами с оружием в руках, приношу вам те чувства своего уважения, с которыми всякий че-

ловек должен относиться к своему благородному противнику.

А. Чесменский"

Письмо это, несмотря на все убеждения Бурцова, Кандалинцева и других офицеров полка, было отправлено по адресу.

Гагарин, получив его, тоже обратился за советом к офицерам, которые общим хором заключили, что письмо это составляет действительную *casus belli* дуэли, и Гагарин решил, что какие бы последствия от его непослушания ни произошли, но отказаться от дуэли он не может, а как государыня, принимая во внимание молодость Чесменского, желает охранить его жизнь, то Гагарин, пользуясь своим искусством фехтования, дает себе слово, что он никоим образом не будет на него нападать, а ограничит свои действия исключительно отражением его ударов.

— В таком виде дела, — говорил Гагарин, — желание государыни будет выполнено, между тем я буду избавлен от унижения сносить упреки мальчика, что, вызвав его, я отказываюсь от дуэли ради каких-то двусмысленных причин.

Только что решение Гагарина, что дуэль должна состояться, было сообщено Чесменскому, как денщик ввел к нему даму весьма странного вида.

Даме было уже далеко за сорок, но все же было видно, что некогда она была очень хороша. До сих пор еще ее небольшие каренькие глазки сверкали искрой, а нежный цвет лица как бы скрывал начавшие уже обозначаться морщины. Одета она была в глухое, по самую шею, черное суконное платье, с длинным шлейфом и без талии, перехваченное только черным же шелковым кушаком с мистически вышитыми по нему серебром буквами RF и с серебряной кованой пряжкой, изображавшей Адамову голову с крестообразно положенными ниже нее костями. Рукава ее платья от самых плеч были разрезные, широкие, оставляющие руки совершенно обнаженными, и доходили чуть не до полу. На левой руке виднелся браслет, представлявший переплетенные между собою символы Веры, Надежды и Любви в виде пылающего факела, креста и якоря; а на шее, на золотой цепочке, висел серебряный ключ. Голова дамы была покрыта

черным флером с вышитыми по нему серебряными пчелами.

Чесменский с изумлением остановил взгляд свой на вошедшей даме.

— Вы Чесменский? — спросила она по-русски, хотя в ее выговоре был замечен несколько иностранный оттенок.

— Да, я Чесменский, сударыня. Чем могу служить вам?

Дама коснулась рукой своего висевшего на шее ключа и сделала какой-то мистический знак, которого Чесменский, разумеется, не понял. Потом, согнув локоть, она подняла правую руку свою выше плеча, как бы готовясь к благословению, и, согнув особым образом пальцы, начала говорить тихо:

— Я принесла вам благословение вашей матери!

— Матери? — удивленно спросил Чесменский. — А вы знали мою мать?

— Знала ли я ее! Я жила с нею, служила ей, страдала вместе и закрыла глаза ее перед смертью, приняв для вас ее благословение и ее завет любви и мести... С нею, кажется, умерла и я, по крайней мере, умерла душа

моя, а я осталась — осталась для того, чтобы передать вам частицу души ее, ее волю и ее заклятие; чтобы сказать вам все, о чем, бедная и измученная, молилась она в последние минуты своей борьбы с жизнью...

— Позвольте же мне прежде всего спросить вас, сударыня, кто была моя мать?

— О да, я расскажу вам, и если у вас не разорвется сердце, не закипит мщением душа ваша, то... то... вы камень, а не человек... Слушайте, слушайте, я начну вам грустную историю вашего рождения...

Дама опустилась в кресло, держа правую руку свою поднятою с прежним знаком мистицизма, а левою трогая висевший на шее серебряный ключ, как бы талисман своего слова.

— В стране, где цветут лимоны, где аромат померанцев обдает каждого благоуханием страсти, появилась чудной красоты княжна, как светлая звезда Востока, как отрадное видение жизни, — говорила пришедшая, устремляя на Чесменского свои влажные и полные задушевной мысли глаза.

Чесменский молчал. Она продолжала:

— Княжне принадлежали богатства неисчислимые. Она должна была занимать престол обширнейшей империи. Но у нее были враги. Враги захватили ее бессчетные богатства, отняли у нее ее престол. Они лишили ее всего: отца, матери, рода, богатства, почестей, отечества — княжна все простила им. Не могли они отнять у нее только ее дивной красоты и ее славного имени; еще не могли отнять у нее ее подруги-прислужницы, которая готова была положить за нее душу свою. Этою прислужницей была я. Но и без царства она была царица, без богатства владела всем. Красота ее заставляла склоняться перед нею ниц князей и графов, складывать к ногам ее все богатства владык земных и заставляла их прославлять великое имя ее. Тогда враги решились отнять у нее красоту ее. Снарядили они целый флот, морскую силу великую, дали флот тот в команду дьяволу в человеческом образе и поплыли в ту благословенную страну, где не было ни убийств, ни казней, где люди признавали себя братьями, детьми одного отца — Бога Истинного, Вездесущего, Всесильный и непогрешимый наместник Коего

управлял всем силою своей святости.

Прибыл флот в мирную страну, прибыл с ним и начальник его, дьявол-искуситель в образе человеческого, увидел княжну и воспы- лал к ней страстию.

"Смотри, — говорит, — мою мощь, силу ве- ликую. С ней, — говорит, — я отдам тебе цар- ство твое, увидишь родных и братьев твоих, водворишь мир и любовь в земле твоей. Я все тебе дам, отдай мне красоту твою".

Только Господь Бог не внял искушению дьявола: княжна послушала его и отдала ему красоту свою девичью. Он взял ее, велел дуть морским ветрам и понес ее по морю, яко посу- ху, в ее царство, а там отдал врагам ее на ис- тязание и муку. Среди этих-то мук и истяза- ний, среди всех ужасов ада и заключения, ро- дился ты, как залог плотской любви дьявола.

"Вот мститель мой, — сказала мне тогда твоя мать. — Живи, Мешедде, — меня живую так звали. — Живи, чтобы сказать ему о моих страданиях. Да проклянет он отца своего, да мстит ему, как врагу и губителю его матери. Пусть мстит всею силою своей невинности, всею искренностью своей правды. Злобе

его — а он сама злоба — да сопоставит он доброту свою; лжи его — а он сама ложь — да противопоставит искренность свою; непомерной его гордости, жадности, лукавству — да противопоставит он свои любовь и незлобие. И да сокрушит главу его и тем спасет меня из ногтей дьявольских, из геенны огненной, где до того страдать буду я за то, что слушала козни врага рода человеческого, поддавалась соблазну его и отдала ему красоту свою девичью, чистоту ангельскую..."

И вот сказала она это и умерла на руках моих, — говорила Мешедде, — а с ней умерла и душа моя, тело же мое, видишь, живет и будет жить, пока не узнает, что ты отмстил врагу ее, отцу своему, чтобы с этой вестью явиться к ней и спасти ее от страданий и мук того света — тех мук и страданий, которыми и здесь терзалась она врагом добра и света и среди коих умерла, попавшись в когти дьявола...

Чесменский слушал Мешедде как отуманенный, пока она не передала ему письмо его матери — письмо, которое восемнадцать лет берегла она, чтобы выполнить клятву, дан-

ную ей умирающей.

Тогда Чесменский прочитал грустную историю жизни, любви и заключения Али—Эметэ, — историю жизни и страданий своей несчастной матери.

— А! Вот в чем дело! — сказал себе он. — Соблазн для обмана, обольщение ради видов честолюбия и корысти! О да, это стоит проклятия, стоит мести...

— Ты говоришь стоит! — сказала она, вставая с кресел. — Нет, слишком мало для изверга! Он вверг бедную княжну, нашего ангела, твою мать во все ужасы ада! Он по капле точил ее кровь, вытягивал жилы. Нарочно придумывал муки, чтобы терзать ее. Только его дьявольская злоба могла выдумать мучить ее сотней глаз солдат; только подземной силой ада он мог поднимать воду, чтобы ей казалось, что каждую минуту она тонет. Что меня нарочно при ней секли и мучили, чтобы удвоить ее страдания. Да и ты, ты сам на себе бы испытал злобу его, если бы тебя от него не скрыли, не унесли, только что ты родился. Он искал тебя, жаждал смести тебя с лица земли как живой укор своей совести. Тебя спасло

благословение твоей матери и ее молитва. И мечь страшная, роковая должна быть твоей обязанностью, твоим призванием. Для такой мести ты избранное орудие Божие...

Она говорила это, а глаза ее горели; пена била у рта; зубы начали стучать один о другой; судороги передергивали лицо, и в страшных корчах, с диким воплем она упала в кресло...

Ее уложили в постель, но не прошло четверти часа, она встала, подошла к Чесменскому, благословила его и исчезла, не сказав ни слова, будто пифия прошлого, будто тень с того света...

Между тем пришло время ехать на место дуэли. Приехали Бурцов и Кандалинцев. Чесменский оделся и, проговорив в виде шутки, что нужно позавтракать, ибо неизвестно, будет ли он обедать, пригласил гостей слегка закусить. По счастью, он получил перед тем сколько-то денег.

Позавтракали легко, так чтобы заморить аппетит. Кандалинцев не допустил даже выпить рюмки вина Чесменскому, "чтобы не дрожала рука", — проговорил он. Больше мол-

чали, были серьезны. Чесменский думал о своей матери и говорил себе: "Пожалуй, всякая даже идея о мести будет сегодня же прекращена моей дуэлью. Но кто же это мог знать? Зато на том свете мы увидимся!" Бурцов и Кандалинцев понимали, что, ставши со шпагой в руке против Гагарина, Чесменский будет предоставлен вполне его великодушию. Правда, говорят, он не хочет нападать, но в горячке дела самому нельзя отвечать за себя. Притом дуэли были уже запрещены; секунданты подлежали наказанию; вообще — не веселое дело. "Но что же делать? Нельзя же отказать товарищу: дело чести", — думали они, не давая себе труда предложить себе другой вопрос, да где же и в чем тут честь?

Наконец, собрались и поехали. Порошил небольшой снежок. Они проехали Петровский остров с начавшимися было работами Петра и потом брошенными — остров тогда еще совершенно болотистый, низменный, покрытый листовенным болотистым лесом, потом переехали на Каменный и, миновав бес-тужевскую дачу, подъехали к маленькому домику, содержимому одним из французских

эмигрантов для загородных удовольствий. Француз встретил их приветливо, обещал приготовить роскошный завтрак с шампанским на мировую и пожелал, чтобы их ссора окончилась легким кровопусканием. Оттуда они, оставив лошадей, пошли пешком. Войдя на двор какой-то начавшейся строиться дачи, они увидели там Гагарина с его секундантами, Ильиным и Дурново. Снег был выметен до замерзшей земли, которая была посыпана песком. Гагарин стоял, опершись на обнаженную шпагу, и ждал.

Секунданты стали выверять место и оружие, взяв шпагу из рук князя, на которую тот до того опирался. Они означили линию ветра, определили линию света, стараясь, чтобы производимые ими препятствия приходились обоим противникам поровну. Наконец они поднесли к Чесменскому на выбор две шпаги. Чесменский взял одну из них, другую они подали Гагарину.

Противники стояли уже на местах. Гагарин просил позволения сказать несколько слов.

Изъявлено было общее согласие. Тогда Га-

Гарин сказал:

— Уступая настоянию господина Чесменского стать против него с оружием, я вместе, в исполнение желания нашей всемилостивейшей государыни, заявляю, что он может нападать на меня совершенно безопасно, потому что от меня нападения не последует, я буду только защищаться!

— Напрасная игра в великодушие, князь! — горячо возразил Чесменский. — Первый вызов был сделан вами, и я настаиваю на точном выполнении условий дуэли до первой тяжкой раны. И если вы не захотите ранить меня, то я употреблю все усилия ранить вас...

Дальнейший разговор был остановлен; секунданты признали его неприличным. Начался салют и горячее нападение со стороны Чесменского. Гагарин парировал, но не напал, заметив, однако, что это не так легко, как он думал: Чесменский владел шпагой лучше, чем он ожидал.

Все же, однако, его необыкновенное искусство владеть шпагой давало ему способ выдерживать себя, и он только защищался.

Вдруг с забора, в ворота, в калитку, из-за

дров, из-за недостроенного дома выбежали люди, схватили за плечи Гагарина и Чесменского и быстро оттащили их одного от другого, захватив и всех четырех секундантов.

— Ну, слава Богу, чуть-чуть не опоздал! Да, видите, в какую трущобу забрались. Найди их тут, да еще на дворе. Всю рощу обегали, каждый кустик пересмотрели — все нет, да и только. Насилу догадались. А то беда: досталось бы мне от государыни. Ну, слава Богу! Никто, кажется, не ранен? — спрашивал Рылеев, осматривая дуэлистов и отнимая у них и у секундантов оружие.

Никто не противился. Слова "по высочайшему повелению" заставили всех безмолвствовать и исполнять приказания обер-полицмейстера, тогда как не будь этих слов, то несмотря на то, что полиция явилась в составе сорока или пятидесяти человек, шесть офицеров, может быть, долго отстаивали бы себя. Но, но... слова "высочайшая воля" были талисманом, заставлявшим склоняться перед собой в России каждого.

— Да, господа, — говорил Рылеев. — Чуть-чуть было вы меня, не подвели. Докладываю

сегодня государыне, что завтра или послезавтра дуэль состоится на Каменном острове. Она и говорит: "Вздор! Они уже поехали! Возьми сейчас команду, поезжай и как найдешь, то арестуй всех и рассади по разным углам". Поехали — и нигде, только сани у француза нашел. Уж как мы добрались, и сам не знаю! Теперь пожалуйста ваши шпаги, и я, именно как государыня приказала, развезу вас по разным углам.

И развез секундантов: одного — на Петербургскую, к немцу Неймерту; другого — к Смольному монастырю; третьего — в Колонну, к Свищеву, а четвертого — на Васильевский остров...

"Теперь самих дуэлистов куда бы?" — спрашивал он себя. — Нужно — куда бы покрепче. Вот князя возьму к себе, а задорного юношу под самый крепкий замок отвезу к графу. Ну, пожалуйста, господа!"

Обер-полицмейстер развозил всех сам и сдавал каждого с рук на руки в то время, как француз напрасно ждал их с завтраком. Только хлопоты Рылеева запереть Чесменского покрепче были напрасны. Когда вечером при-

несли ему ужин, по тогдашнему положению, как арестованному гвардейскому офицеру, суп из курицы и жареного рябчика, его в арестантской камере уже не было. Он исчез их под трех замков.

Часть вторая

Глава 1. У чужих

— Возвещение истины дается только мудрому, ибо глупый есть глупый! Может ли истина оставаться светлою, проходя через глупую голову? И луч солнечный, проходя через мутную воду, теряет свой блеск и чистоту!

— Но, почтенный отец-учитель, где же искать мерило мудрости, чем может мудрость определяться?

— Созерцанием непреложной верности, готовностью на самоотрицание и возвышенностью мыслей! Верность — первый залог мудрости. Мудрый верен, потому что мудр, а верный мудр, потому что верен!

— Поэтому, отец-учитель, выходит, что за основание мудрости следует признавать не разум, а верность?

— Да! Потому что верность разумности есть тот же разум, только вне возможности отклонения с разумного пути!

— Чем же может определяться верность?

— Послушанием!

— Каким образом? Нельзя же сказать, что послушание есть мудрость!

— Несомненно! Ибо нет мудрее внимлющего!

— Как это понимать, отец-учитель? Что такое именно обозначаем мы словом послушание?

— Восприятие чужой воли всем сердцем, всем существом своим и стремление осуществить эту волю всеми силами души своей.

— Но, отец-учитель, почему же такое послушание можно назвать мудростью?

— Потому что оно мудростью руководствуется и мудростью руководит! А все, что касается мудрости, немудрым быть не может!

— Чем приобретается способность такого послушания?

— Внутренним созерцанием и умственной молитвой.

Такая игра во фразы происходила в одном из ученых кабинетов пресловутого города Мюнхена — столицы ультрагерманского и ультракатолического германского курфиршества Баварии, между сухопарым, седоватым нем-

цем — немцем весьма серьезным, с длинными седыми ресницами, высокими бровями, глубокомысленно нахмуренным лбом, и нашим юношей Чесменским, столь таинственно исчезнувшим несколько недель назад из арестантской генерал-губернаторского дома в Санкт—Петербурге.

Но Чесменского не легко было узнать, он был уже без усов и не в форме корнета русской лейб-гвардии гусарского полка и не в шелковом, раззолоченном французском кафтане, чулках и башмаках, с напудренными волосами и косой, а в простом черном сюртуке а la Лафайет, английских сапогах и с коротко обстриженными волосами.

Он сидел и слушал глубокомысленный вздор, который говорил немец, со вниманием неофита, внимающего евангельской истине; предлагал время от времени вопросы и усваивал даваемые ему разрешения без внутренней поверки, без критериума разума, а просто на веру, как нечто не подлежащее сомнению.

Они сидели в ученом кабинете перед письменным столом, заставленным многочисленными предметами ученого свойства, между

которыми одно из замечательных мест занимал человеческий череп, лежащий на обшитой серебряным галуном и с серебряными кистями черной бархатной подушке и с положенными под него накрест берцовыми костями. Этот череп должен был служить сколько анатомическим препаратом науки, столько же и символом ничтожества человеческих стремлений и суеты сует всего, что может дать здешняя жизнь.

Но что такое ученый кабинет? Понятно: комната, предназначенная специально для ученых занятий и бесед. Такого рода комнаты начали в Мюнхене устраиваться с половины прошлого века. Надобно полагать, что первоначальное учреждение их было вызвано немецкою подражательностью, не желавшею ни в чем уступать французам. В Париже открылось несколько гостиных, которые по царствующей в них изящной болтовне, по искусству ведения их блестящего *causerie*, обратили на себя внимание целого света до того, что их стали называть бюро разума.

Немцы ли в этом французам уступят? Они ли не стоят на страже науки и глубокомысленно

лия?

Но в Париже за устройство салонов взялись дамы, а французские дамы того времени были действительно способны соединить блеск остроумия с успехами мысли. Они сумели искусством своей беседы предоставить французскому языку преобладающее значение. Немецкие же дамы не были любительницами остроумия. Для них приятнее самых остроумных разговоров было рассуждение о шамандкухенах и перемывание косточек отсутствующих подруг. Потому немцы и придумали: вместо парижских салонов устроить у себя ученые кабинеты, с пивом, кнастером и другими условиями немецкой учености, которая штудировала здесь метафизические определения, то есть продолжала то же, что делала она в своих аудиториях, только предоставляя здесь большую свободу и допуская, даже принимая с сочувствием воспрещенные в аудиториях знаки одобрения.

Но подражание — всегда только подражание. Немецкое подражание французскому остроумию породило дубоватую немецкую вицу; желание подражать блеску французско-

го двора привело к скучнейшему формализму немецкого этикета и бесплоднейшей бюрократии, наконец, разорило почти все владельческие фамилии Германии; желание же создать в Германии — из подражания тоже французам — свои умственные центры, где бы возможно было обмениваться мыслями, привело к устройству сперва невиннейших ученых кабинетов, в которых, нужно сказать правду, всего менее было учености, но которые под влиянием политических и социальных условий германской общественной жизни весьма скоро обратились сперва в профессорские кружки, а потом — в сектаторские общества с различными системами и воззрениями, отвлеченная туманность которых давала полнейший произвол всевозможным утопиям и самым несообразным толкованиям, проповедуемым этими кружками как несомненная истина.

В один из таких кружков или обществ попал наш юный, увлекающийся и восторгающийся беглец Чесменский.

Чесменский был масон. Он принял масонство еще в России, тогда на масонство была

мода. Но в России он думал о масонстве, надобно полагать, столько же, сколько и о Китайской империи. Занятый службою, своим положением, светом и отношением к товарищам, он не имел ни времени, ни желания вдаваться в мистицизм отвлеченностей и ограничивал свою принадлежность к масонству только выполнением некоторых внешних обрядностей. Но когда побег из арестантской дома военного генерал-губернатора лишил его отечественной почвы, а скука одиночества начала вызывать усиленную жажду деятельности, то под давлением еще внешних влияний, производимых теми, кто содействовал его бегству, он невольно стал желать ознакомиться ближе с тем, что, он полагал, составляет сущность масонства.

Всеобъемлемость и отвлеченность принципа, которому масоны себя посвящали — "служение человечеству" — увлекла восторженную голову юноши, относящего к недостатку своего развития то, чего он не понимал, и думающего, что метафизические умозаключения, мистицизм и таинственность действительно могут привести к исследова-

нию человеческой природы во всех ее проявлениях. А на такое исследование, понятно, должно опираться истинно полезное служение, истинно полезная деятельность. К несчастью, вместо общества "вольных каменщиков", принимающих за догму отвлеченный тезис, он попал в один из самых опаснейших видов германского сектаторства, прикрывающий себя только именем и внешним видом масонства. Это были столь известные впоследствии иллюминаты, не усвоившие еще, впрочем, тогда этого имени.

Но откуда они взялись, из каких данных могло логически произойти их учреждение и где почва, на которой они могли укрепиться?

Данные эти были в тогдашнем социальном и политическом устройстве общественного быта Германии, а почва нашлась в тех самых кружках, которые от нечего делать забавлялись метафизическими определениями.

Дело в том, что пока увлечение воззрениями и анализом стояло исключительно на почве отвлеченности той или другой доктрины, кружок или общество, принимающее эту доктрину, не могло иметь существенного значе-

ния; но как скоро касалось оно практической почвы, то немедленно получало реальное значение и политическую силу, с которыми при тогдашнем разделении Германии на мелкие владения весьма трудно было бороться.

Своекорыстное шарлатанство, разумеется, этим пользовалось. Искусно прикрываясь восторженностью и самоотрицанием, оно, в своих видах, придавало отвлеченным исследованиям политический характер, соответственный своим личным выгодам. И это могло происходить тем с большим удобством, что таинственность масонов, их мистические увлечения и обряды давали полную возможность всякие сектаторские стремления именем масонства прикрывать и распространять.

Ясно, стало быть, что такого рода сектаторские кружки Германии были не масоны собственно, напротив, между кружками были даже такого рода, которых направление было прямо противоположно истинному масонству, и устраивались иногда людьми, знакомыми с масонством только понаслышке и не только не принявшими его внутренних догм и символов, но даже не усвоившими его

внешних форм и знаков. Но это были кружки, которые, прикрываясь таинственностью масонства, стремились утилизировать общественные инстинкты и направлять их в таком именно смысле, в каком представлялись они наиболее подходящими их учредителям. К таким именно кружкам следует отнести и общество германских иллюминатов.

Первоначально общество это учредилось с благородною целью: противодействовать влиянию иезуитизма, подавлявшего в то время в Баварии всякое движение, всякий успех мысли. Уничтоженные ex-officio папской буллой, изгнанные из Испании, Неаполя, Франции, Пармы, даже Австрии, иезуиты укрепились и сосредоточились в Баварии. Пользуясь бесхарактерностью ее самодержавного курфюрста Карла Теодора, они захватили там в свои руки всю правительственную власть и затем, при помощи своих духовных конгрегаций, дали тамошней общественной жизни такое направление, по которому люди должны быть только послушными трупами в руках чужой воли, быть безмолвными машинами исполнения требований их полумонашеско-

го, полуполитического ордена. Гнет мысли был страшный. В народе распространилось суеверие и подавлялось всякое движение разума. Наука, подчиняясь выводам отцов иезуитов и их схоластическим приемам, велась прямо к отрицанию всякого знания. Внутренняя жизнь каждого подвергалась шпионству, подвергалась вещественному и нравственному насилию.

Подобное состояние страны вызвало протест со стороны профессора канонического права Вейсгаупта, который с кафедры стал говорить о ненормальности подобного положения дел.

Этот протест лишил профессора кафедры и навлек на него иезуитское преследование в такой степени, что он едва не умер с голоду.

Тогда энергическому профессору пришло на мысль учредить общество противодействия иезуитизму в политике, науке и жизни и в основание этого общества принять те же самые принципы, помощью коих возвысились и укрепились иезуиты, как-то: цель оправдывает средства; ложь, обман, насилие и даже злодейство допускаются для достиже-

ния высших требований разумности и так далее. Эту мысль профессора усвоил прежде всего его любимый ученик фон Цвак, человек с некоторыми средствами. Он со всею горячностью молодости принялся за ее осуществление. Таким образом начало возникать общество, противодействующее иезуитизму способами того же иезуитизма.

Новое общество встретило себе сочувствие во всех врагах обскурантизма и мертвенности, но распространялось туго. Лихорадочная, правда, но слишком еще неопытная деятельность Цвака и совершенно отвлеченная ученость Вейсгаупта давали слишком слабую опору его существованию. Но скоро вступили в главу нового общества люди влиятельные и практические. Один был известный писатель, человек предприимчивый, ловкий, обладающий несомненным талантом и значительными средствами. Это был Николаи. Он был масон, впоследствии долго жил в России у графа Румянцева, сына фельдмаршала, бывшего тогда канцлером, на правах человека ему близкого, и много содействовал распространению масонства в России. Вступив в общество ил-

люминатов, он придал ему формы масонства с его символистикой, таинственностью посвящения, разными степенями братства, из коих только высшие степени могли знать истинные цели и средства общества; другие же члены должны были быть только их безмолвными исполнителями. Другой был еще более деятельный, более сильный и влиятельный, более богатый, камергер веймарского двора и занимающий важное место в баварской администрации тайный советник барон Книге. Они совершенно преобразовали устраиваемое Цваком общество, придали ему таинственность и силу и не упускали ничего, что могло распространить и возвысить его влияние. Они изменили и самое его наименование, назвав его просветителями, или *иллюминатами*.

Открытая, видимая цель иллюминатов была искоренение невежества, снятие с человечества всех пут, освобождение от всяких оков, затрудняющих его развитие. Средствами для того должны были служить требование точного исполнения всеми членами решений высшего трибунала, изображаемого мистиче-

ским знаком; полное подчинение низших степеней высшим, с тем же отрицанием своей воли, с каким это практикуется в ритуалах иезуитизма; общественные взносы, взаимная поддержка, таинственность и мистицизм.

Но видимость указанной цели и средств прикрывала более сокровенные стремления, руководимые бароном Книге.

Преобладающею страстью Книге было властолюбие. Среди баварской знати он занимал высокое положение, был богат, имел обширное и знатное родство, связи, вообще был лицом влиятельным и пользовался расположением курфюрста Карла Теодора. С тем вместе он сох от зависти, видя, что власть, действительная, настоящая власть, находится полностью в руках иезуитов. Он переварить не мог, что он только пешка в руках конгрегации, что его только терпят, пока он исполняет их требования; что он пользуется и положением и значением только до тех пор, пока это иезуиты ему предоставляют.

Это чувство властолюбивой зависти заставило его обратиться к новому обществу. Вступив и получив в нем влияние, он вдруг почув-

становал, что он становится силой, с которой иезуитам приходится считаться. Приняв в основание правило, указанное Вейсгауптом, что с иезуитами должно сражаться равным оружием, следовательно, не разбирать средств для уничтожения их влияния, он начал последовательно сознавать, что с усилением общества, при той таинственности, которую оно себя окружило, сила его растет, распространяется по мере того, как усиливается общество; мало того, он заметил, что с тем вместе даже растет его богатство. Понятно, что он стал смотреть на общество как на опору своего властолюбия.

Он начал рассуждать таким образом: "Снять оковы с человечества, распутать путы, его связывающие, значит оставить человечество на распутье, бросить в хаос безначалия! Освободить от предрассудков — значит лишить того миража, который иногда дает счастье. Нет, это не то! Прежде всего нужно создать власть, которая сумела бы самый хаос обратить в порядок; сумела бы счастье, извлекаемое человечеством из предрассудков, заменить новым источником. Но из чего же мо-

жет исходить этот источник? Ясно — из разума! А этим всеобщим разумом, по крайней мере, толкователем общей разумности, должен быть я, барон Книге; даже не то, должен быть знак, но этим знаком, в сущности дела, должен быть я, не кто иной, как я, который и должен взять на себя заботу о благоденствии человечества.

Для человечества, — рассуждал он, — несравненно отраднее, когда власть является перед ним в виде чего-то отвлеченного, чего-то исходящего, может быть, не из здешнего мира, является в виде мистического лица, которое может быть послано самим небом. Итак, прочь иезуитизм, прочь клерикализм и феодализм, всех их заменю я, барон Книге, долженствующий быть руководителем людей и народов".

С такими-то ясно осознанными целями барон Книге взял на себя руководство делами Общества иллюминатов под масонским именем Филона. Благотворность видимой, явной цели общества — противодействовать обскурантизму — скоро привлекла к нему все интеллигентные силы Германии, для коих гнет

иезуитизма был невыносим. А затем общество начало распространяться и по другим странам, давая в руки барона Книге и его товарищей, Вейсгаупта и Николаи, значащихся под именами Спартака и Псаметиха, влияние, силу и богатство.

Но в то же время и противники иллюминатов — иезуиты — были не такого рода люди, которые бы уступали свое положение без борьбы. Они, со своим официальным закрытием силою папской буллы, не только не утратили, но еще усилили свое влияние. Пользуясь правительственной властью в Баварии и чрезвычайным, хотя и скрытым влиянием в Южной Германии, итальянских государствах и Франции, они решили уничтожить своих противников — иллюминатов во что бы то ни стало.

Для того они прибегли к одному из своих, столько раз практикуемых ими с успехом средств: подкупу, клевете, лжи и насилию. Они уговорили или подкупили трех членов братства иллюминатов подать донос, в коем те обвиняли свое общество не только в стремлениях антирелигиозных, но и противупра-

вительственных. Одним словом, взводили на общество то, о чем барон Книге только помышлял. Они доносили, что общество для достижения своих целей не довольствуется пропагандой, но прибегает к всевозможным хитростям, допуская в своих действиях не только насилие, но и злодейство. Яд и кинжал, наемные убийцы и отравители — вот средства и сила иллюминатов, — писали клеветы иезуитизма, — и они — эта сила стала столь уже могучею, что влияет на суды курфиршества. В Баварии ни одно судебное определение не проходит, если оно противоречит видам иллюминатизма!

Уставы общества, требующие безграничного послушания и самоотрицания перед волей таинственного трибунала, давали такому извету вероятность. В это же время было несколько случаев, когда лица, враждебные иллюминаторству, нежданно и странным образом погибали. Один был убит на дуэли бретером; другой умер от того, что в аптеке перемешали лекарство; а третий утонул в ручье, где нельзя было утонуть курице. Все это в разъяснениях отцов иезуитов и их сподвиж-

ников имело свое значение. И они добились своего. Карл Теодор приказал закрыть общество и арестовать его руководителей.

Исполнить это герцогское повеление оказалось, однако ж, не так легко, как представлялось сначала. Баварская полиция захватила фон Цвака и несколько других третьестепенных членов, указывавших, можно сказать, сами на себя, но главные руководители общества, вследствие окружающей их таинственности, были никому не известны. При этом влияние иллюминатов, благодаря их многочисленности, было настолько распространено, что они всегда вперед знали меры, которые против них принимают; стало быть, всегда могли предпринимать то, что этим мерам могло противодействовать. И это, при политическом раздроблении Германии и постоянной враждебности между собою царствующих в ней феодалов, было весьма удобно. Преследуемый в Баварии непременно пользовался покровительством в Ганновере, или Касселе, или Бадене, непременно вызывал себе сочувствие в Шлезии или Саксонии. Что же касается до Книге, Вейсгаупта и Николаи,

то они были неуловимы. Самые влиятельные лица из иллюминатов не знали членов трибунала иначе, как под именами Филона, Спартака и Псаметиха, выражаемых одним мистическим знаком.

Барон Книге, подписав сам в качестве тайного советника и члена высшей администрации Баварии определение о закрытии общества иллюминатов, конфискации его имущества и аресте членов, особенно руководителей под мистическим знаком трибунала, дал знать всем своим ложам о предстоящей опасности, и правительство нигде не нашло ничего или почти ничего.

В этом виде дело, вероятно, стояло бы долго. Иезуиты искали бы иллюминатов, иллюминаты подкапывались бы под влияние иезуитов; а барон Книге, стоя между теми и другими, извлекал бы себе личную пользу из тех и других; но началась французская революция, и к действиям баварского Карла Теодора, преследующего все, что противоречило ретроградским идеям прошлого, присоединились все князья Германии, как католические, так и протестантские, а потом и государи всех дру-

гих стран, начиная с прусского Фридриха II, до того не только не преследовавшего тайные и нетайные общества, но даже им явно покровительствовавшего. Народные движения показали опасными всем, и они начали везде преследоваться, но преследоваться таким образом, каким вообще преследует сила, то есть без соображения размера преследования с действительною необходимостью. Крутые меры там, где следовало бы оказать снисхождение, и, наоборот, снисхождение к тому; что требовало резких и крутых мер, составляют постоянную ошибку силы, а такого рода ошибки, естественно, вызывают и укрепляют озлобление. Тем не менее дело общества иллюминатов висело тогда на волоске. Преследуемое повсеместно, оно неминуемо должно было закрыться и исчезнуть даже в воспоминании. Но барон Книге был не такой человек, который бы легко отступал от своих предположений. Ему пришло на мысль: нельзя ли, пользуясь революцией, не только вернуть утраченное влияние, но даже его возвысить и укрепить до таких пределов, чтобы никакие преследования ему не могли быть опасны?

— Для этого нужно, — рассуждал барон Книге, — все преследуемые правительствами общества, как в Германии, так и в других странах, слить в одно, направить их к одной цели и на этой цели соединить их общие усилия. Тогда иллюминаты и тугенбунды, розенкрейцы и карбонары, кающиеся братья и масоны, и все в усилиях своих представят такую силу, против которой не только гонение германских князей, но и воля правителей всех стран мира не будут иметь существенной важности.

— Тогда власть будет перемещена, строй общества изменится, феодализм исчезнет, — продолжал рассуждать барон Книге в сознании силы своего таинственного трибунала и своего собственного я, — по крайней мере, Бавария-то будет непременно в моих руках!

— Вопрос теперь в том, — спрашивал себя барон Книге, — каким образом этого достигнуть?

— Вот, — отвечает он себе. — У меня, в Берлине, был приятель, немножко того — голова не в порядке, но хороший, очень хороший человек и богат как жид. Да, я думаю, что он и

точно из жидов, имя такое — Клоотц...

При первых известиях о происшествиях в Париже он бросился туда.

— Мы, немцы, — объяснял Клоотц, — слишком методичны, слишком привязываемся к внешности, к форме, чтобы вполне усвоить то, к чему разумность должна привести. Французы другое дело, особенно теперь, когда мы разгорячены, кровь кипит, страсти бушуют.

Прекрасно, — продолжал свое рассуждение Книге. — Иллюминаты в основании своих принципов тоже ставят разум. Правда, они хотят еще просвещения, хотят изменения в политическом положении. Но разве эти желания не разумны? Опять, он не столько глуп, чтобы не сознавать, что деньги сила, а деньги у нас есть. Он полагал связать весь мир с помощью масонов и тугенбундов, но иллюминаты дадут ему новый элемент слияния. Если он об этом подумает, то схватится за мысль слияния всех обществ горячо; тем более что Париж и революция объявили уж себя центром всего, что восстает против тиранства, насилия и деспотизма. А он теперь может, он си-

ла! Ему удалось сосредоточить около себя все зажигательные стороны революционных страстей. Дантон от него без ума. Робеспьер близок, близки к все выдающиеся личности горы, даже Марат оказывает ему почтение. Его идея: принять величие разумности за догму народных верований, видимо, увлекает толпу. Желание сближения тайных обществ Европы с клубами якобинцев и кордильеров непременно польстит их идее народного державства. Но для достижения всего этого нужно кого-нибудь послать в Париж, обусловиться, обговорить. Кого? В Париж теперь, после сентябрьских убийств, когда всякий иностранец признается шпионом, не поедет никто. Муции Сцеволы, говорят, нынче не рождаются, да если бы и родились, то я по себе знаю, что людское благо не такая приманка, на какую является много охотников...

Впрочем, вот одна из сестер нашего братства пишет об одном неопите, готовом на все. Он молод, горяч и обязан нам за свое освобождение. Он масон, но готов приступить к иллюминатству, если встретит от иллюминатов помощь в своей миссии. Эта миссия —

частная месть. Тогда, говорит он, моя жизнь — это самая ничтожная жертва, которую я готов буду братству принести. Правда, он варвар, русский, и самые стремления его варварские. Он хочет мстить своему родному отцу, какому-то русскому вельможе, в чем-то виновном противу его матери. По всей вероятности, дело в чем-нибудь таком, о чем можно сказать *пошалил*. Но за это не мстят! Если бы все плоды шалости нашего многочисленного герцога Карла Теодора вздумали ему мстить за своих маменек, то, пожалуй, и иллюминатство было бы не нужно. Но пусть так! Ему нужно одно, нам другое. Пусть съездит в Париж, мы поможем ему в расчете его с отцом. Только способен ли он? А вот я возьму на себя его готовить, тогда увижу...

Результатом такого решения был ряд фразерских бесед, подобных той, которую мы привели в начале главы. Барон Книге в качестве просветителя из кожи лез, чтобы внушить Чесменскому, что главнейшее достоинство человека заключается в послушании до самоотрицания высшей воле; ибо воля эта есть воля трибунала, соединяющего в себе все

сокровища разума, все знания науки и все величие священного отправления. Она не может не быть направлена к благу человечества, ибо исходит из разумности истины, которая сама по себе есть уже благо! — говорил барон Книге. Но, разумеется, ни одним намеком он не дал понять, что весь этот разумный, ученый, святой трибунал состоит, главнейшее, из того же длинного немца, не обладающего ни особою ученостью, ни особым умом и способностями, но зато чрезвычайно желающего руководить всем, что знание, ум и способность в себе заключают, и настолько ловкого, что умеет водить за нос своих ученых товарищей и пускать кому угодно пыль в глаза...

Но о таких затаенных помышлениях барон Книге не говорил даже себе. Он перед самим собой старался представиться не чем иным, как покорнейшим слугою, все-преданнейшим исполнителем, благоговеющим перед волей того трибунала, который, в мистическом знаке, соединяющем три имени Филона, Спартака и Псаметиха, представляет и заключает в себе всю мудрость Соломона, все величие нау-

ки и всю всеобъемлемость прорицания.

Несколько дней спустя в секретнейшем журнале высшего трибунала иллюминатов было записано:

"Причислен к братству иллюминатов в степень минервала 2♦го класса неофит, варвар — русский, но владеющий хорошо французским и немецким языками, знающий латынь и обладающий многими весьма разнообразными сведениями. Он молод, стремителен, кажется весьма энергичным и может быть с успехом употребляем в решительных предположениях. На первое время он избран к отправке в Париж для переговоров с великим Анахарсисом".

Прочитав последние слова журнала, барон Книге засмеялся сам:

— Фу, однако же, какой дурак мой приятель. Его звали в Берлине Карл Иоганн, ему показалось неблагозвучно, и вот он Анахарсис — берлинский скиф, изучающий жизнь новых Афин. Другое дело, если бы он прятался за этим именем, как, например, я — за именем Филона, чтобы избежать иезуитских когтей. Нет, он не прячется, подписывает свою

полную фамилию Клоотц, а к чему же тут Анахарсис? Разве к тому, что если есть новые Афины, то должен быть и новый Анахарсис, да еще великий! Титул, поднесенный ему льстецами из санкюлотов, которых он кормит сотнями. И вот великий Анахарсис. Ну не комедия ли, не сумасшествие ли? Не заходит ли ум за разум?

Написав это, барон Книге не спросил у себя: "Не комедия ли и то, что я написал?", да и все братство, им руководимое, с тем чтобы поддерживать и тешить властолюбие и корыстолюбие тех, кто им заправляет?

Глава 2. У себя

Но как попал сюда Чесменский? Он был взят, как читатели помнят, на месте дуэли своей с Гагариным, вместе с их секундантами.

Рылеев, забрав всех, в буквальное исполнение воли государыни, развез их по разным гауптвахтам. Гагарина отвез в арестантские при обер-полицмейстерском доме, а Чесменского, как главного виновника, о котором государыня выразилась: "нужно дурь выбить, пыл остудить", — решил отвезти к генерал-губернатору. Там потачки не дадут, говорил себе Рылеев — пыл остудят и дурь выбьют! Правда, арестантские при генерал-губернаторском доме устроены для самых важных преступников, виновных в оскорблении величества. и в преступлениях против первых трех пунктов, которые, по регламенту Петра Великого, нещадно живота лишены быть имеют. Ну, что ж? Чесменский послушник все-милостивейшей воли, а кто послушник, тот бунтовщик, а кто бунтовщик, того сперва в застенке поласкать следует, а потом — ну, потом нещадно живота лишить!

— Балует их государыня, вот что! Пороть бы их всех как Сидорову козу, не смели бы своевольничать! — решил Рылеев. — А то что? А все нужно засадить его так, чтобы знал кузькину матку. Недаром государыня сказала: нужно дурь выбить!

Все это обдумывал Рылеев, подвозя Чесменского к дому генерал-губернатора и главнокомандующего Петербурга, которым тогда был недавно переведенный с московского генерал-губернаторства граф Яков Александрович Брюс, женатый на любимой сестре фельдмаршала графа Петра Александровича Задунайского, Парасковье Александровне, бывшей одною из самых приближенных статсдам Екатерины. Граф Брюс был человек политический, тонкий, но и весьма жесткий, находивший двести плетей и ссылку на каторгу слишком легким наказанием за кражу ста рублей. Выслушав донесение Рылеева и передаваемое им высочайшее повеление, он приказал засадить покрепче в секретные арестантские и содержать построже!

Тогда сдали Чесменского сперва в канцелярию генерал-губернатора, откуда под конвоем

препроводили в особое комендантское управление генерал-губернаторского дома, которое передало его смотрителю секретных арестантских, а тот, при помощи тюремщиков, засадил его в одну из так называемых глухих арестантских, устроенных для самых важных преступников, о которых, провожая туда, обыкновенно говорили: ну не для них свет Божий!

Арестантские эти назывались глухими, потому что были устроены таким образом, что ничем и никак не могли сообщаться с остальным миром. Единственное окно в каждой арестантской, размером полторы четверти в квадрате, стало быть, сквозь которое не мог бы пролезть и ребенок, даже если бы оно не было защищено железной решеткой, выходило на внутренний двор, кругом обнесенный стеной, охраняемой часовыми.

Чтобы достигнуть такой арестантской в доме, особо устроенном на генерал-губернаторском дворе и имеющем сообщение с домом генерал-губернатора только в верхнем этаже, нужно было сперва пройти кордегардию, потом, пройдя караульную комнату, под-

няться по лестнице в третий этаж, там длинным коридором пройти в так называемый пикет, где сидел гарнизонный офицер, принимающий арестантов, и уже оттуда, в сопровождении тюремщиков, спускаться в досмотровую, находясь уже в отдельном здании, которое на генерал-губернаторском дворе было устроено как потайной ящик, окруженный глухими стенами и над входом в которое было бы всего приличнее поместить надпись Дантова ада: "Оставь свои надежды, смертный!" Сюда-то Рылеев и засадил нашего юношу Чесменского. "Отсюда уже не убежит, — думал он. — У каждой двери часовые, в коридоре часовые, сторожа, тюремщики; на дворе караул и тоже часовые, не вылетит и птица!"

Однако ж Чесменский бежал, не потому ли, что у семи нянек дитя всегда без глазу? Дело в том, что история умалчивает кто, но надо полагать, что не граф Брюс и не Рылеев — но кто-нибудь из второстепенных и даже ниже, тем не менее влиятельных в надзоре за арестантскими лиц, может быть сам комендант дома санкт-петербургского генерал-губернатора из немцев, а может быть кто-нибудь и из

русских его сотрудников и помощников, — принадлежал баварскому обществу иллюминатов. Этот-то прозелит государства в государстве, этот-то русский представитель иноземной таинственности, может быть по влиянию Николаи, который в это время был в Петербурге, помог сделать то, что вообще считалось невозможным, — бежать из генерал-губернаторских арестантских, признаваемых в то время столь же крепкими, как венецианские тюрьмы Совета Десяти.

Не успел Чесменский осмотреться в своем каземате длиною сажени в три, и был, разумеется, в расстроенном и огорченном состоянии, шаги запиравшего за ним дверь тюремщика едва успели смолкнуть в коридоре, как вдруг в своде потолка, казалось, непроницаемого по своей толстоте и прочности, послышался небольшой стук.

Чесменский обратил на него невольное внимание.

— Не бойтесь и молчите, — послышалось ему, — вас берегут люди, к вам расположены!

Чесменский, разумеется, молчал.

Не прошло часа — в своде открылся небольшой люк, до того весьма искусно прикрытый, и оттуда на веревке спустился человек.

Человек этот с виду был похож на работника: штукатура, кровельщика, маляра, вообще кого-нибудь в этом роде. На нем был плотняный фартук; густые волосы на его голове прихватывались ремешком; на ногах были толстые, смазные сапоги. Но, спустившись, он смутил Чесменского вопросом, не имеющим никакого отношения к тому, чего можно было от него ожидать.

— Верите ли в Бога Единого, Всемогущего и Вездесущего, Его Единородного Сына Иисуса Христа и Духа Свята, иже в единице Троицею пребывает и прославляется? — спросил спустившийся, складывая необыкновенным образом свои пальцы.

Чесменский на секунду потерялся, но вспомнив, что он тоже масон, отвечал знаком низшей степени масонства или учеников, складывая свои пальцы в виде треугольника.

— Как христианин, верю в Бога Всемогущего и Святую Троицу! — отвечал он, давая сво-

ему голосу оттенок скрытой иронии над вопросом, когда не могло быть не известно, что другого ответа не может последовать.

— Верите ли в создание человека по образу и подобию Божию и в разум человеческий, отражающий и заключающий в себе все свойства Божества?

Чесменский опять затруднился ответом. Как ни слаб он был в схоластических толкованиях отвлеченных истин, но все же понял, что в словах незнакомца есть ловушка, что они заключают в себе видимое противоречие христианским догмам. Вопрос сближал разум человеческий с Божеством, придавая ему отражение и отождествление Божеских свойств.

— Верю! — отвечал, наконец, он уклончиво. — Верю, что разум человеческий есть высшее проявление творческой силы Божией!

— Верите ли вы, наконец, в умственную молитву, — освежающую и укрепляющую человека объединением его в данную минуту с Божеством и распространением на него Божией благодати?

— Верю силе молитвы, способной низве-

сти на нас благодать Божию и сделать нас достойными Божией милости!

— Если вы говорите истину, то прочитайте эту записку!

Чесменский взял записку. Она начиналась тоже мистическим знаком, представляющим соединение молота, циркуля и треугольника, за которыми, нужно думать, в виде кабалистической формулы значилось:

Мани, Факел, Фарес!

После было написано просто по-немецки:

"Вверьтесь совершенно тому, кто подаст вам это мое письмо. Он учитель правды и добра и наш истинно верующий старший брат. Волею Божией он избран, чтобы спасти Вас от злобы врага рода человеческого, погубившего Вашу мать и ищущего теперь Вашей гибели. Он узнал о моем свидании с вами и ищет уничтожить орудие Божие. Но козни дьявольские рассеются аки дым перед лицом Промысла. Вас охраняет Ангел Божий в лице своих избранных. Посылаемый брат исхитит вас из всякой напасти и заточения, и ни допросы, ни пытки не коснутся вас! Помните только завещание вашей матери: "Месть, веч-

ная месть извергу".

Записка заключалась тоже мистической подписью: "Земная оболочка той, которую в здешней жизни звали Мешедe".

Прочитав эту записку, Чесменский невольно задумался.

"Бедная, — прежде всего подумал он относительно писавшей к нему Мешедe. — Допросы Шешковского и несчастья, которые она перенесла, видимо, оставили на уме ее слишком сильное впечатление. Она везде и во всем видит пытки и казни!..

Но эту мысль его перебил невольно представившийся ему вопрос: — А что если в самом деле? Если записку эту диктовало не большое воображение, а полученное откуда-нибудь, может быть, при помощи масонов или других сектатаров, верное сведение и меня точно станут пытаться? Да что им от меня выпытывать? А Бог их знает! Может быть, родному батюшке что-нибудь понадобилось... Вот он услышал, что я виделся с Мешедe, и понимает, что ведь не с сыновним же почтением я взгляну... Но когда, когда в один день? А что тут удивительного? У них везде согляда-

таи, везде уши, а он хоть и не в прежнем величии, а все же его слушают, к нему внимательны! Он именно вельможа. Иначе зачем бы им было меня так прямо сюда засадить? Дуэль — Боже мой, мало ли на свете дуэлей бывало? Скажут — закон! Да будто все всегда живут по закону; ведь не сажают же их всех в казематы? А я здесь в каземате генерал-губернаторского дома. Чем я обеспечен, что меня не будут пытаться? Чем обеспечен я, что мне не будут ломать кости, бить, гладить каленым железом, сдирать кожу — мучить всеми способами, как мучили, пытали Долгоруковых, Волынского и мало ли еще кого!.. Может быть, родному батюшке понадобилось за чем-нибудь мне кости поломать, уродом сделать, может быть, он за то новую ленту получит или ему новую деревню дадут?.. Ведь отдал же он на мучение мою мать, свою подругу — почему не отдать и ее сына? А что я буду делать без рук или ног? Что буду делать, если буду вечным калекой?.. Какое ему до того дело? Этого он не хочет знать!

В самом деле, весьма может быть, узнав, что у меня была Мешедде, он понял, что не

благодарить же она меня его заставила, и затем, может быть, нашел, что я лишний человек на свете! Ну и что ж, пусть...

Мешедe говорит, что я должен жить для мести, для мести за свою мать! Так ли? Положим, я должен слушать Мешедe! Она страдала вместе с матерью, выносила заключение, может быть, пытку, закрыла глаза ей! Может быть, и меня приняла, когда явился я на свет... Она, видимо, выказывает мне свою привязанность. Я могу ей верить и слушать! Но месть, жить для мести, и кому же? Родному отцу! Это вопрос, и какой еще вопрос. Но не в том дело! Что я потеряю, если убегу? Служебное положение — еще каково оно будет после этого ареста и оказанного мной послушания. Государыня послушания-то и не любит прощать. К тому же и не хочу я никакого служебного положения. Мне надоела моя вечная борьба с самим собою и всем, что меня окружает. Я хочу быть свободным, и вот случай к свободе..."

— Я жду вашего ответа, милостивый государь, — сказал, наконец, стоящий перед ним в костюме работника незнакомец тоном дале-

ко не работника, даже не брата масона, так как в нем слышалась повелительная нотка, из чего Чесменский заключил, что если он масон, то, вероятно, высших, неизвестных ему степеней.

— Угодно ли вам воспользоваться моими услугами? — спросил он.

Чесменский в это время думал:

"Какая может быть цель, какой смысл в том, чтобы им меня обмануть и выдать? Решительно нет цели. Притом, Мешедде была так предана матери, преданность к ней отразилась даже на ее разуме, и сомневаться в ней я не могу!.."

— Благодарю от всей души, милостивый государь! Я в полном вашем распоряжении и буду глубоко благодарен за все, что вы сделаете, чтобы меня отсюда выручить? — отвечал Чесменский. — Но я должен вас предупредить. У меня нет никаких средств, ничего...

— От вас никаких средств не требуется: от вас только требуется послушание и молчание.

— Буду послушен как ребенок, и нем как рыба!..

— Будьте же готовы к вечеру! Я явлюсь к вам опять этим же путем!

И незнакомец исчез, поднявшись к потолку по веревке.

Чесменский остался один со своими мыслями. Люк в своде закрылся и был незаметен. Перед его глазами был опять тот же непроницаемый свод[2], то же маленькое, едва дающее свет окно с железной решеткой и та же окованная железными полосами толстая дубовая дверь, позади которой слышались неустанные шаги часового.

Ему стало грустно, он сел на нары и продолжал свои думы.

"Вероятно, — думал Чесменский, — он масон и меня, как своего, спасают масоны. Но как они узнали? Указала Мешедде, которая, может быть, тоже принадлежит к масонству!.." Но, подумав, он сейчас же отказался от своей мысли. Он вспомнил, что масоны вообще не допускали мер противузаконных. Они готовы были ходатайствовать за брата или ученика, готовы были просить, искать — постарались бы доставить средства к оправданию; готовы были задобрить и для того не от-

казались бы от жертвования... Но меры насильственные были настолько противны правилам масонства, что предполагать, что они проломали свод, нашли возможность побега и привели в исполнение такое бегство, было несообразно, масоны бы сказали: "Мы делаем, что можем! Нельзя, что же делать? Терпи, на это воля Божия! Сам Бог терпел!"

Потом Чесменский вспомнил, что незнакомец, кроме употребляемого масонами знака сложения пальцев треугольником, употребил еще знак, образуя из руки нечто подобное тому, как Чесменский помнит, складывали перед ним руки в детстве, заявляя, что "идет коза рогатая, идет коза богатая!", то есть сжимая руку кулаком, кроме первого пальца и мизинца, долженствующих представлять рога козы, направляя эти пальцы против его груди. Чесменский, не подумав, принял этот знак тоже за масонский высших степеней, но теперь он сообразил, что нет, это не то! Это нечто другое, особое, если и принадлежащее масонству, то представляющее совершенно независимое его разветвление.

Наконец, ведь Мешедде говорила ему, что

она иллюминатка и прибыла будто с каким-то важным членом их ордена бароном Николаи для распространения здесь правил их братства и приискания новых членов; много говорила об этом Николаи.

"Стало быть, меня спасают иллюминаты! — подумал Чесменский. — А что такое эти иллюминаты? Какое, впрочем, мне до этого дело? Отказываться от их услуг мне нет повода. Для меня решительно все равно, кто бы мне ни помог, только бы помог! Уж одно то, что я под арестом и здесь, дает мне право пользоваться всяким случаем бежать, особенно при воспоминании о страданиях моей бедной матери... Да, да! Для меня решительно все равно, кто бы мне помог, только бы помог!"

Чесменский сидел на своих нарах, и перед его глазами рисовалась картина мучений, которые должна была перенести его мать на таких же нарах, в такой же, если не худшей обстановке тюрьмы. И это должна была перенести княжна Владимирская — та, на которую в Европе указывали, как на законную наследницу русского престола и которую столь многие искренно от души признавали повели-

тельницею своих сердец...

"Как тяжело должно было отразиться на ней такое заключение: каким гнетом должны были давить ее этот свод, эти стены, хоронящие каждый звук ее голоса. Между тем она жила под таким сводом, томилась в подобных стенах, мучилась даже меня произвела на Божий свет!"

Думая все это, Чесменский достал письмо своей матери. Он поцеловал это письмо и стал читать его и перечитывать. Под влиянием чтения ему более ясно представлялась картина мучений той, которой он был обязан жизнью. Ему казалось, что он видит, как ее допрашивают, может бьют, пытаются. Во всяком случае была пытка, говорит он себе, если не физическая, так как она о ней не пишет, то страшная нравственная; ибо от нее добивались узнать то, чего она сама не знала. И такая пытка убила ее в цвете лет!

Все это рисовалось перед ним, росло, жило будто в сновидении. Он будто видел свою мать в минуту наводнения, когда пораженная, немая, она судорожно ломает себе руки от отчаяния и думает не о себе, а о нем, о том,

кого носила в то время под своим сердцем.

— Да! — вдруг вскрикнул он. — Следует бежать непременно, чтобы можно было узнать, допытаться и отмстить, страшно отмстить — прежде всего тому, кто был главным виновником ее страданий; тому, кто выдал ее на мучения! Но ведь этот *тот* мой родной отец!..

Слова эти он даже выкрикнул невольно, так горячо легли они, так отозвались ему на сердце.

"Странная судьба моя, — продолжал рассуждать про себя Чесменский. — Я должен мстить родному отцу за то, что живу на свете! Да! Потому что родился я не как плод любви, не хотя бы как плод увлечения, даже не как плод разврата. Я родился плодом дьявольски устроенной и с адскою ловкостью веденной интриги, первую жертвою которой была моя мать, а вторую должен быть я, потому что моя жизнь неминуемо должна быть страдание! Гагарин прав, говоря, что он не может быть свояком человека, который если и знает, что его зовут Алексеевичем, то не смеет даже подумать, что его отец не просто Алек-

сей, а граф Алексей Григорьевич Орлов—Че-
сменский, и что он-то и есть тот самый, кото-
рый целым миром признается первым вра-
гом моей несчастной матери.

Да! Гагарин прав! Правы и те, которые сме-
ются в глаза мне, дворянину неизвестного
происхождения. Но я отомщу, клянусь — же-
стоко отомщу и за мать и за себя! Отомщу за
все человечество, которое не может не быть
оскорблено отрицанием высшего из данных
ему чувств, отрицанием того чувства, которое
отличает от животных — чувства супруже-
ской и отцовской любви...

Теперь я понимаю, почему отец Павел, у
которого по чьему-то распоряжению я воспи-
тывался, всегда привозил меня к нему, когда
почему-либо он приезжал из Москвы. Пони-
маю, почему мой крестный отец, князь Алек-
сандр Алексеевич Вяземский, всегда спраши-
вал, возили ли меня к нему, гордому графу.
Понимаю также, почему он всегда так неохот-
но выходил ко мне, предпочитая отделаться
высылкою отцу Павлу какой-нибудь подачки.
Помню, как мне это бывало обидно. Придем
мы, сперва ждем на лестнице у толстого

швейцара, потом официант ведет нас к камердинеру. Тот поломается, но, после многих поклонов отца Павла, идет докладывать. Нам приходилось опять ждать. Наконец привели нас в адъютантскую. Адъютант, если был свободен, шел докладывать и вводил в комнату перед его биллиардной. Здесь мы стояли иногда с четверть, а иногда и с полчаса, — вспоминал Чесменский. — Отец Павел в это время был сам не свой. Наконец адъютант выходил, говорил, что граф извиняется, занят, а вот присылает!..

И адъютант подавал отцу Павлу или коробку с несколькими десятками золотых, или часы, или кольцо какое-нибудь. Раз, помню, он вынес бриллианты без оправы. Отец Павел низко кланялся, благодарил. А когда выйдем, говорил мне: "Бог с ним и с его подарками, лучше бы словом, а не рублем дарил!" Отец Павел был нежаден на подарки!

Но случалось иногда, что выходил к нам и сам граф.

Он всегда прямо подходил ко мне, схватывал за плечо, и, стряхивая немного, спрашивал отрывисто:

— Ну что, здоров?

Отец Павел обыкновенно отвечал за меня с низким поклоном:

— Слава Богу, ваше сиятельство, теперь здоровы, а вот на прошлой неделе...

Отец Павел хотел было рассказывать о случившемся со мной на прошлой неделе кашле. Но граф не слушал.

— И слава Богу, когда слава Богу! — перебивая отца Павла, говорил он.

— Учится?

— Как же, ваше сиятельство, читает порядочно, и четыре правила...

— А! Ну много ли будет девятью семь?

После моего ответа предназначенный отцу Павлу подарок вручался всегда мне в руки со словами: "для твоего воспитателя", с прибавкою коробки конфет или другой какой-нибудь сладости, которая сопровождалась словами: "для тебя", и подавалась отцу Павлу в руки.

И ни разу ни поцелуя, ни ласки, ни привета. Ни разу, кажется, он даже не взглянул на меня. Я даже не говорю о каком-либо воспоминании.

Жены его, графини, урожденной Лопухиной, я не видел ни разу. Положим, она не долго жила, но все же, кажется, лет пять-шесть, и знаю наверное, что меня несколько раз к нему приводили в то время, когда и она была с ним в Петербурге. Не случилось также ни разу видеть его дочь, Аннушку, хотя теперь ей лет уже семнадцать, и она сделана уже фрейлиной. Но когда он привозил представлять ее государыне и благодарить, государыня была больна и приняла ее в постели. А он, разумеется, не счел нужным мне ее показать!

Впрочем, с его стороны это естественно. Смотря на жизнь и на целый мир исключительно с точки зрения удовлетворения своей плотской похоти и материальных интересов, думая только о том, что тешит его самолюбие, для которого он готов был жертвовать всем на свете, даже самим собой, он не мог понимать чувств семейной связи, основанных на любви и чести. Ему было все трын-трава, кроме его грубых наслаждений и требований его самолюбия. А человек, у которого нет ничего святого, который думает только о себе, о том только, что его тешит, естественно бережется

всего, что может его самолюбие уколоть, удовлетворение его прихотей расстроить.

И вот мой родной батюшка боится с родным сыном своим даже говорить. Ведь каждое слово его подслушают, дополнят, разъяснят и оно дойдет до жены, до дочери. А он не хотел никаких разъяснений. В глазах своей жены и дочери он хотел быть только героем, только тем орлом, перед которым неприятельские корабли пылают, крепости падают, а он — спокойный, распорядительный, даже не смотрит на них. Он всего себя посвящает Отечеству... Понятно, что такому герою, рыцарю чести, даже намек на отношения его к моей матери был тяжел, крайне тяжел. Мой воспитатель отец Павел говаривал: "Несть действия, иже не оставило бы свой след". А такой след некоторых действий моего родимого батюшки, каков, например, был я, его сынок, должен был очень и очень его тревожить. Как не постараться от него избавиться? Вот, может быть, он старается. Раньше-то нельзя было, так он теперь. Нельзя ли, думает, выкинуть меня вовсе из людской памяти! Недаром же меня сюда засадили...

Но шалишь! "Наполнивший сосуд должен его и опорожнить!.." — говаривал отец Павел — и справедливо: что посеял, то и пожнешь!.. Сегодня же я исчезну, пропаду, но с тем, чтобы явиться потом грозным мстителем, мстителем, который напомним, что злодейство, эгоизм, бессовестность не остаются без наказания. Это закон природы, это воля Провидения!

Да, много они мне сделали зла! Много нанесли оскорблений, много унижений, заставили перемениться, — продолжал рассуждать про себя Чесменский. — И странная вещь, ничего этого я даже не подозревал, хотя меня очень и очень могли навести на мысль разговоры и расспросы моей крестной матушки, графини Татьяны Семеновны Чернышевой. Бывало, помню, только воротимся мы от графа, ее карета уже ждет. Зовут отца Павла с крестником. Идем. И начинаются расспросы, что и как? Видели ли? Говорили ли? Что он говорил, кто и как отвечал? Что подарил? И так все, до мелочи. Любопытна была уж очень покойница, моя матушка крестная, но добрая была женщина. Она меня всегда люби-

ла и ласкала. Бывало, у своих детей конфеты или игрушки отнимет и мне отдаст. Мешедэ говорила, будто после рождения своего я у ней жил более двух лет, пока не поместили меня к отцу Павлу; и она как будто родная мать обо мне заботилась. Я верю этому. Она была вся доброта и любовь. Когда я надел мундир конногвардейца, она всюду за меня распиналась. Многие, не зная ничего о моей матери, не шутя думали, что я ее побочный сын. Даже мне самому не раз намекали на это. И помогала мне в нужде иногда, сказать нечего! Да, добрая была женщина! Но добрые-то, видно, Богу нужны, вот умерла! Тогда как моего бесценного батюшку родного, графа Алексея Григорьевича, кажется, и обухом не пришибешь! Объезжает себе жеребцов да бушует в Москве на царских жалованиях! Но подожди, подожди! Явится и на тебя гроза и оттуда, откуда ты не подозреваешь..."

Мысли эти были прерваны открытием наверху люка и спуском оттуда незнакомца.

Самая аккуратность незнакомца в исполнении данного обещания заставляла полагать, что ему помогает кто-нибудь из близких

управлению тюрьмы...

В этом убеждали Чесменского спокойствие незнакомца, его неторопливость и самоуверенность. Он держал себя так, будто то, что он делал, было не только справедливо, но и законно или ему, собственно, было разрешено. Можно ли было, впрочем, этому удивляться, когда мнения тогдашней интеллигенции двинулись в такой степени, что принадлежать к одному из заграничных тайных обществ не только не считалось бесчестным, не только не признавалось изменою своей народности, но и считалось даже как бы обязанностью высшего образования; когда взяточничество и подкуп, можно сказать, были положительно общим недугом и, можно сказать, царили в высших сферах общества; когда о народности и самобытности никто даже и не думал; нет, еще страннее, когда о русской народности и самобытности все более думала и заботилась немка Екатерина II. Уж по одному этому русские имеют несомненное право признавать ее великой женой, признавать своей славной государыней!

Между тем нетрудно, кажется, было обсу-

дить, что, вступая в чужеземное политическое общество и принимая на себя обязанность безусловного повиновения посторонней власти, независимой от начал государственного устройства своей родины, гражданин вносит в государственное устройство своего Отечества рознь, раздор, разномыслие. Это замечание совершенно одинаково относится как к тайным обществам, так и явным конгрегациям, устраиваемым вне государственной власти.

Иезуиты и иллюминаты, карбонары и мальтийские рыцари, управляемые внешним влиянием, одинаково ведут к расстройству в государственном единстве и государственной розни, как и евреи своим кагальным управлением. Все они одинаково устраивали государство в государстве. Тогда этого не хотели понять! Не хотели понять, что сила в единстве, в сплоченности, в безусловной преданности своему родному, отечественному. Удивительно ли, что при полном отсутствии сознания самих себя, при полном отрицании своей самобытности и общем стремлении к подражанию находились люди, которые законы ма-

сонства или иллюминатства ставили выше законов своего Отечества и готовы были выдать всякую государственную тайну, изменить всякому самобытному настроению ради тех принципов, которые, они полагали, ведут к отрицанию варварства; ведут к тому, чтобы русские стали европейцами, забыв, что они русские. А затем, естественно, могли найтись и такие люди, которые, прикрываясь принципами, преследовали исключительно своекорыстные цели, то есть служили никак не идее, а своему мамону.

Опираясь на тех или других пособников, спустившийся к Чесменскому незнакомец распоряжался совершенно покойно. Он, видимо, был уверен, что в данную минуту он вне всякого преследования, вне всякой опасности. Не торопясь, он сперва мазнул чем-то стеклышко двери, сквозь которое можно было видеть, что делается в арестантской, и стекло стало как бы матовым; сквозь него, из коридора видеть ничего было нельзя. Потом в опущенной веревке сделал петлю; в эту петлю сел сам и усадил с собой Чесменского; после, условно качнув веревкой, он дал знать,

что все готово; и чьи-то сильные руки мгновенно подняли их обоих к потолку.

Чесменский был далеко не так спокоен. Он все думал: "Вот увидят, вот поймают — сейчас, сейчас!.. Мы же так шумим! Вот часовой сейчас взглянет, увидит, что стекло замазано, закричит, войдут!.. Непременно кто-нибудь схватит, остановит..."

Однако ж никто не остановил. Они очутились этажом выше. Затем куда девалась веревка и те, которые ее тянули сверху, Чесменский не заметил. Правда, у него не то было и на мысли, чтобы видеть и замечать, он был просто вне себя. Незнакомец пригласил его идти за ним по боковой лестнице. Он шел бессознательно, и они поднялись еще этажом выше.

Там они вошли в комнату, которая, вероятно, была некогда генерал-губернаторским застенком и предназначалась, собственно, для допросов, пыток и всего того, что до Екатерины считалось необходимою принадлежностью правосудия и власти. По крайней мере, это можно было думать, смотря на поставленный на возвышении длинный судейский, по-

крытый зеленым сукном стол, с председательским за ним креслом, зеркалом и всеми атрибутами присутствия и на расположенные внизу орудия: дыбу, кобылу, разного вида клещи, винты, тиски, наконец, всевозможных видов плети и шпицрутены. Здесь, может быть, Андрей Иванович Ушаков производил свои первые манипуляции над арестованными; может быть, здесь делал он свои первые допросы, производил первые дознания с пристрастием, чтобы потом уже препровождать допрашиваемых в главный застенок в нижнем этаже другого дома за летним садом. Употреблялись ли все эти орудия теперь? Разумеется, Чесменский не знал, на что они могли употребляться, он это видел. И невольно сердце его дрогнуло при взгляде на эти орудия; невольно представилось ему, что вот винты эти его жмут, тиски давят, и давят так, что хрустят его кости, в то время как щипцы рвут кусками его тело, а палачи привязывают его самого к дыбе... У него сперлось в груди от такого представления, захватило дух, но внимание его невольно было отвлечено тем, что к ним кто-то шел навстречу.

"Ну вот, ну вот, — подумал Чесменский, — вот и поймали, и остановили! Теперь, в самом деле, начнут пытаться..."

Но скоро он должен был успокоиться, потому что незнакомец прямо подошел к идущему и взял у него потайной фонарь и большой узел с чем-то. Оказалось, что это был человек, заранее подготовленный незнакомцем, чтобы их встретить со всем, что могло быть им нужно... У человека были приготовлены свечи, вода, разные принадлежности. Из узла незнакомец вынул два совершенно одинаковых, великолепно вышитых золотом по пунцовому бархату модных костюма тогдашних блестящих петиметров придворного общества. Далее, к великому удивлению Чесменского, вместе с белыми, также шитыми золотом камзолами, двумя парами шелковых чулок и башмаков со стразовыми пряжками, кружевными манжетами и брыжами, он достал оттуда небольшой ящик с полным парикмахерским прибором.

— Нужно переодеться! — сказал сухо незнакомец. — Вот он уберет как следует ваши волосы и выбреет.

И он указал на встретившего их человека.

Чесменскому сказать было нечего, и он безмолвно отдал себя в их полное распоряжение.

И вот Чесменского усадили на деревянную кобылу, между развешанными плетями и жаровней, бывшими, вероятно, многократно свидетелями нечеловеческих криков, после делаемого подле них туалета, и начали одевать.

Встретивший их человек с ловкостью искусного парикмахера сбрил у него едва начившие завиваться усы, подвязал косу; завил и осыпал пудрой волосы; надел на него принесенный костюм, подал часы с привесками и брелоками, превратив его таким образом из гусарского корнета в перворазрядного гражданского франта тогдашнего времени.

— Я оденусь совершенно так же, как и вы, — сказал незнакомец опять тем же ровным и не допускающим возражений голосом, каким он делал распоряжения до сих пор. — Постараюсь по возможности усвоить вашу речь и манеру, так что, в случае нежданной встречи, вы можете маскироваться мной, и

сколь возможно скорее исчезать!

И действительно, он оделся в точно такой же костюм, какой был одет на Чесменском; приказал сделать себе волосы точно в таком виде, в каком они были сделаны у Чесменского, и хотя он был гораздо старше Чесменского, но при помощи небольшой гримировки явился столь схожим с ним, что Чесменский едва верил своим глазам.

Это был он сам или его двойник, по крайней мере, близнец, схожий с ним как две капли воды, хотя будто и постарше. Чесменский видел, что года через три-четыре он будет непременно таким, каким представился ему теперь незнакомец.

— Теперь смелее идите вперед... Я буду идти за вами и говорить, что нужно делать! — проговорил незнакомец опять. — Имейте в виду, чуть что — вам сейчас следует за меня, а я уж буду знать, что делать!

Чесменскому отвечать было нечего. Он должен был полагаться вполне на того, кто спасал его из заточения.

Они шли длинным коридором, освещая путь потайным фонарем, так как в коридоре

не видно было ни зги. Человек остался позади с их платьем, и Чесменский более его никогда не видал. Наконец они подошли к какой-то двери. Незнакомец заявил, что тут нужна особая осторожность, и, прикрывая фонарь, отворил. Здесь было светло. Чесменский увидел перед собой лестницу вниз. Осторожно на цыпочках, едва переводя дух, спускались они по лестнице, освещенной кенкетами и находившейся, ясно, уже в другом здании, а не там, где были расположены арестантские. Незнакомец потушил фонарь и оставил его на лестнице. Затем они уперлись в дверь, войдя в которую очутились в буфете самого графа Брюса, со столами, уставленными разными закусками, лакомствами и прохладительными, за которыми стояли разряженные и напудренные официанты, не обратившие, впрочем, на вошедших никакого внимания, полагая, вероятно, что они также принадлежат к толпе гостей, хотя, разумеется, могли бы подумать: как же они, если они гости, вошли с черной лестницы? Ну да им было не до того! У них были свои хлопоты: отпускать прохладительные, бранить господ и так далее.

Отворенная из буфета дверь вела в ярко освещенную танцевальную залу, полную гостями, прохаживающимися между танцами и производящими общий гул своим говором, любезностями, шарканьем и мадригалами, которыми они друг друга осыпали.

Граф Брюс давал бал.

Бал был назначен по случаю празднования двенадцатилетней годовщины одной из побед его зятя, фельдмаршала графа Петра Александровича Румянцева—Задунайского при Кагуле, где граф Брюс тоже участвовал, исполняя весьма важное поручение своего зятя — обход правого крыла турецкой армии.

Фельдмаршал был сам тут же налицо. Он нарочно приехал для праздника из Малороссии, которою управлял по званию малороссийского генерал-губернатора. Он весело разговаривал с всесильным тогда любимцем князем Платоном Александровичем Зубовым.

Окинув взглядом эту разряженную, оживленную толпу гостей — этот блеск бала, который из дверей не довольно освещенного буфета казался ярче, сверкал рельефнее, Чемсменский невольно остановился. Он неволь-

но потерялся перед этим многолюдством, общим движением и светским шумом. Но позади себя он услышал твердый голос: "Идите, не бойтесь! Вас не узнают, да если бы и узнали, то разговаривайте покойнее, располагайте собой смелей! Ведь об аресте вашем, кроме графа Брюса да его двух-трех адъютантов, никому неизвестно".

Эти слова предали Чесменскому бодрость, и он вошел. Рядом с ним, несколько позади, шел незнакомец, как его старший брат, двойник его самого, действительный близнец, одетый так же, как и он, почти одного роста, и принимающий все его манеры.

Они проходили поперек залу, направляясь к выходу. На них, казалось, никто не обращал внимания. Лейб-гусар на бале не было никого! Они не ездили в свет. Но было много кавалергардов, конной гвардии, преображенцев и семеновцев, — полки, особенно любимые обществом того времени, а в этих полках, почти поголовно, от солдата до генерала, все знали Чесменского в лицо и, разумеется, легко могли его узнать, хоть он и был в гражданском платье, тем более что большая часть их были

и сами не в форме. Солдаты из дворян были в дворянских мундирах, многие из офицеров, нося придворное звание, надели гражданское платье, так как это тогда не воспрещалось никому, кроме лейб-гусар. Перемена костюма Чесменским могла подать только новый повод к вопросам. Могли придворные мундиры, были и такие, которые просто надели спросить, давно ли оставил полк, зачем и почему? Что думает делать? Не ради того, чтобы кто-нибудь действительно о нем заботился, а просто, по русской поговорке, "чтобы почесать язык".

Думая это, Чесменский шел, однако ж, далее нерешительным шагом, опуская глаза ниц.

— Идите спокойнее, — говорил идущий подле него товарищ, — смотрите прямо перед собой...

Случай помог им пройти поперек залы, не встретившись ни с кем. Но тут подошел к ним один из распорядителей танцев.

— Граф убедительно просит, чтобы вы танцевали алагер, который будет после английской кадрили! — проговорил он и всучил им

обоим по танцевальному билету. По счастью, распорядитель танцев был им незнаком.

Они поклонились молча, взяли билеты, а сами продолжали пробираться к выходу.

Все шло благополучно, Чесменскому не пришлось пока встретиться с кем-либо из близких знакомых лицом к лицу. Правда и то, что бал главнокомандующего Петербургом и санкт-петербургского генерал-губернатора, хотя, по самой сущности своего назначения, был не более, как собрание для общего удовольствия, но увы, такое патриархальное определение бала давно уже потеряло свой смысл. В настоящем это было точно блестящее собрание, будто бы с целью "людей посмотреть и себя показать" только — в действительности же с целями достижения бесконечного количества личных и частных интересов, которым каждый из посетителей не мог себя не посвящать. Самый бал, казалось, давался близким родственникам фельдмаршала, как бы в виде почетного празднования его победы, между тем как специальная цель бала была сближение фельдмаршала с новым любимцем, так как заметили, что после смер-

ти князя Таврического новый фаворит приобрел такую силу и влияние, какими никогда не пользовался Потемкин, несмотря на его прошлое, казалось, всемогущество. Тот заведовал только военной коллегией, южными губерниями да входил еще в отношения к иностранным дворам; а этому все давай: кого губернатором назначают, кого из службы выгоняют, какие где распоряжения делают — все подавай ему на просмотр, обо всем докладывай. Всюду он хочет запустить свою лапу; положить на зуб; недаром Зубов! Государыня приказала все его требования исполнять, как ее собственные высочайшие повеления: поневоле станешь искать сближения. А сближение таких лиц, как фаворит и фельдмаршал, выводит на свет Божий столько всевозможных интересов, касается столько самолюбий, что трудно себе и представить.

Тот добивается местечка, этот — награды, та хлопочет вывести в люди племянника, этот бьется о том, чтобы выиграть процесс. До Чесменского ли тут? Всякому свое.

Таким образом, Чесменский со своим двойником прошли незаметно зал и вошли в за-

мечательную библиотеку графа, в которой сохранилось много драгоценных изданий, собранных еще его двоюродным дедом, генерал-фельд-цейхмейстером, знаменитым ученым, чернокнижником и предсказателем времен Петра Великого.

Библиотека была также полна гостями, снующими взад и вперед; но они и сквозь них прошли незаметно, хоть и приглянулся к ним весьма пристально один из адъютантов графа Брюса, бывший в комендантском управлении в то время, когда утром Чесменского туда привезли. Наконец они вошли в зимний сад, из которого выход был прямо на парадную лестницу.

Вдруг они были остановлены возгласом молодой девушки.

— Александр, вы ли это? — вскрикнула она. — Ах, как я рада, что вас встретила и как хорошо вы сделали, что сбрили ваши противные усы. Но скажите, куда вы девали нашего князя? Утром, чуть свет уехал, сказывали к вам, и до сих пор еще не возвращался. Мы с сестрой чего-чего не передумали. Сестра очень тревожится, она не хотела даже сюда

ехать, но я настояла.

— Мне так хотелось быть здесь! Ведь я первый раз на петербургском большом бале, первый раз в петербургском свете. Идемте танцевать. Я танцую с вами английскую кадрили. Идемте же!

И она схватила Чесменского за руку.

Первые звуки голоса девушки заставили Чесменского вздрогнуть сильнее, чем он вздрогнул бы от крика Рылеева.

Голос был той, которая была идеалом его мысли, притягательной силой души его. Перед ним стояла насмешница-девица, его барышня-игрунья, а по-московски невеста-шалунья; одним словом, стояла Наденька Ильина.

— Это вы? — повторила она, не выпуская его руки и таща за собой в зал. — Взгляните, хорошо ли я одета, скажите, авантажна ли? Я бы хотела быть сегодня хорошенькой.

Чесменский взглянул на нее и забыл все: забыл и арест, и бегство, и своего товарища-двойника, и то, что они переодетые пробираются к выходу. Он помнил одно, что видит светленькие глазки хорошенькой девуш-

ки, его милой шалуньи, которая столько раз мерещилась ему во сне с какой-нибудь новой шалостью, с какой-нибудь новой игривой шуткой. Он чувствовал только ее прикосновение, слышал только ее мелодический, нежный и то будто умоляющий, то будто опять смеющийся голос.

Против воли он растаял. Удовольствие ее видеть приветливой, сердечной — видеть такой, какой он представлял ее в своем воображении, было для него столь неожиданно, что его совсем отуманило. С чувством невыразимой радости он прижал к себе ее ручку под мышку и с восторгом, забывая себя от полноты счастья, совершенно бессознательно повернул назад, скорым шагом прошел библиотеку и вместе с девушкой вошел в танцевальную залу, к совершенному изумлению сопровождавшего его двойника.

В зале устраивалась английская кадриль. Распорядитель танцев мгновенно указал место вновь вошедшей паре.

Танец начался авансом дам; Чесменскому приходилось делать шен, но он чувствует, что на его плечо легла чья-то тяжелая рука. Он

обернулся. Позади него стоял нахмуренный сотоварищ.

— Вы с ума сошли! — сказал он тихо. — Через пять секунд вас схватят! Идите вниз по лестнице и требуйте карету графа Амаранта! Садитесь. В карете вы найдете человека. Это сам граф. Отдайте ему это кольцо. Он уже знает, что нужно делать! Идите же!

— Но я, но я... — начал было лепетать Чесменский. — Я танцую...

— Идите, я протанцую за вас! Или вы хотите испытать на себе клещи, подле которых вы переодевались, и меня подвергнуть той же участи, а девицу уложить под розги на ту деревянную скамью, на которой вы сегодня брились? За этим дело не станет! Извольте идти, я вам говорю. Вы обещали полное послушание. Так-то вы послушны? Я требую исполнения.

И он указал на привешенный у него на цепочке какой-то знак в виде молота, обозначающий знак "вольных каменщиков высшей степени". Это Чесменский знал, хоть и весьма мало своим масонством занимался.

Чесменскому пришлось исчезнуть, вытал-

квиваемому своим двойником, который вместо него начал делать шен кадрили. Наденька Ильина возвращалась к своему кавалеру.

— Что это? Это, кажется, не Александр или он? Нет, положительно не он? А похож, точно похож! Неужели я ошиблась и говорила с посторонним? Не может быть! То был точно он, а этот! Решительно нет! Это, может быть, старший брат, но не он! А одет точно так же. Удивительная вещь! — думает Наденька, балансируя со своим новым кавалером и продолжая про себя рассуждать. — Каким образом я могла ошибиться? Да это он, переменялся только от того, что выбрился, переменял прическу, костюм. Нет, нет! Просто не он! Хоть бы заговорил что-нибудь, — продолжала она, становясь на место подле своего кавалера, — я бы узнала...

Но танцующий молчал. Молоденькой Ильиной становилось даже страшно! Что это за мистификация? Он или не он? Но она никак не могла решиться заговорить сама, видя в нем человека незнакомого, чужого, тогда как приняла его и говорила с ним так, как будто он один из самых близких ее знакомых,

будто он один из ее друзей.

Вдруг в конце кадрили кавалер ее неожиданно обратился к ней и проговорил отрывисто:

— Чесменский и князь, ваш шурин, сегодня утром арестованы по высочайшему повелению, потому, я надеюсь, вы меня извините, что, не имея права вам рассказывать и объяснять, я предпочел воспользоваться вашей ошибкой в зимнем саду и похитить у вас кадрили, которую вы, по всей вероятности, предназначали не для меня!

— Как арестованы, за что, когда? — невольно вскрикнула Наденька.

— Ничего не могу сказать, потому что сам ничего не знаю. Одно знаю, что оба они здоровы...

Слова эти были заглушены каким-то особым гулом, который будто пронесся в зале. Хозяину донесли о бегстве арестанта, заключенного по высочайшему повелению.

Граф остолбенел, и было от чего. Случилось нечто явно невероятное, тем более что дверь оказалась запертою, окно не тронутым, и вообще не сделано никакого взлома. Он го-

тов был прийти в отчаяние и невольно засуе-
тился.

Но ни суетиться, ни приходиться в отчаяние
ему не пришлось, потому что в ту же минуту
ему доложили, что его бал удостоила своим
прибытием государыня. Нужно было бежать
встречать.

Через несколько секунд вошла Екатерина
со своей свитой из статс-дам, фрейлин, ка-
мер-пажей со Львом Александровичем На-
рышкиным и Александром Сергеевичем Стро-
гановым во главе.

Музыка грянула "Славься сим, Екатерина".
Она вошла, опираясь на руку встретившего ее
хозяина, графа Брюса.

К ней навстречу почти бежал счастливый
и довольный новый президент военной кол-
легии и член конференции по иностранным
делам, изящный, красивый и еще совсем мо-
лодой, но уже генерал-аншеф и светлейший
князь, Платон Александрович Зубов.

Екатерина встретила его приветливо. Она
была довольна тем, что он спешил к ней. По-
темкин не любил ее баловать особою поспеш-
ностью. Всего же более она была довольна

тем, что видела, что он говорил с фельдмаршалом, а не с которою из дам; и видимо, до нее не танцевал, так как встретил ее даже без перчаток, между тем как столько красавиц — графиня Брюс была мастерица их собирать — разумеется, были бы рады приглашению, и он не мог знать, что государыня будет, так как она отказалась от приглашения графа и приехала неожиданно; может быть, именно потому, что пожелала взглянуть, что он без нее делает.

Граф Брюс захотел этим милостивым расположением и веселым состоянием духа государыни воспользоваться и сказать дурную весть в добрую минуту. Он сказал о случившемся у него непонятном побеге.

— Арестованный сегодня по особому, именно вашему повелению!

— Кто такой? — спросила Екатерина небрежно. Видимо, она думала не об арестанте.

— Лейб-гусарский корнет Чесменский! — отвечал граф Брюс, полагая, что едва ли государыня обратит на это внимание, тем более что он знал, что все преступление Чесменско-

го было в дуэли, ничем не окончившейся, а на дуэли вообще, несмотря на изданный Екатериною закон, смотрели весьма снисходительно.

Но к великому его удивлению, государыня приняла это известие весьма горячо.

Что ей пришло в голову, Бог знает! Может, бывшие заграничные интриги его матери Али-Эметэ; трудность новой борьбы при тогдашнем состоянии умов в Европе, и опасность новых клевет; неприятность новых инсинуаций. Отчего бы то ни было, но она приняла это известие к сердцу и строго приказала немедленно разыскать бежавшего, дав знать на все заставы, чтобы ни в коем случае не выпускать его из города.

Началась беготня, суета, хлопоты. Но все эти хлопоты оказались напрасными. Чесменский давно проехал заставу и катил на курьерских с чужой подорожной за границу, почти не выходя из экипажа. В Берлине он был на собрании масонской ложи; там виделся с Розенфельдом, одним из влиятельных членов тайных обществ, который и дал ему письмо к барону Книге; а этот решил употребить его

для целей общества иллюминатов, послать в Париж, чтобы переговорить с парижской знаменитостью того времени, хотя по рождению он был немец и прусак. Эта знаменитость был не кто иной, как тот, кто в клубе горы значился под именем Анахарсиса и которого ни с того ни с сего льстецы, разумеется, за его деньги, выдумали величать великим. Вот к этому-то великому Анахарсису Клоотцу, Чесменский, по поручению барона Книге, должен был отправиться.

Глава 3. Еще далее к чужим

Утром 1773 года 21 января по новому стилю было мрачное и холодное. Над Парижем моросил снег. Не доезжая до Парижа верстах в пятнадцать или двух немецких милях, в маленьком, но когда-то весьма оживленном городке Роменвиле, молодой человек, одетый в костюм неверующего, то есть в гороховую шинель с откидным воротником и широкими лацканами из черного сукна, шляпу с широкими полями, сапоги с отворотами, и с толстою суковатою палкою в руках, горячо спорил и торговался с пожилым французом в си-

ней блузе и каком-то колпаке, величаемом им фригийской шапкой.

Дело шло о том, что молодой человек хотел нанять его довести его до Парижа, тот соглашался, но просил за проезд столь невероятную цену, что молодой человек не хотел верить своим ушам.

— Помилуйте, ведь это смешно, нет не смешно, а глупо. Всего две немецких мили на какой-нибудь час с небольшим езды!

— Знаю хорошо, гражданин, что не более как две мили и что часа не пройдет и мы будем в Париже. У меня лошадка добрая и кормленая. А все говорю твердо: меньше двухсот франков не возьму, да и взять нельзя! Содержать лошадь в настоящее время, гражданин, не безделица, очень не безделица, потому: кто не потерял еще дворянской привычки — всех этих дворян разом в Сену или, ну, отдать палачам, пусть приготовят их чертям на выжигу — да, так: кто еще не потерял дворянской привычки "ездить", должен платить и хорошо платить! — объяснял француз.

— Уж верно у меня-то никакой дворянской привычки нет! — отвечал молодой человек,

стараясь со своей стороны отрестититься от дворянства, как от чумы.

В таком отрещивании не было ничего удивительного. У него перед глазами торчали обгорелые развалины когда-то великолепно-го графского замка или маркиза, несколько веков украшавшего собой городок Роменвиль и только несколько недель назад разоренного и сожженного новыми демагогами, проповедующими равенство и братство и объявившими всех дворян подлежащими смертной казни, а их имущества — имущества-то чем виноваты — сожжению и уничтожению.

Городок Роменвиль был некогда любимым местом римских патрициев, приезжавших сюда из Рима управлять покоренной римским оружием Галлией. Они первыми начали украшать его солнечную, волнистую долину, вводя в ней культуру Италии и древней Греции. Некоторые из холмов его они засадили миртами и лаврами, которые принялись и в течение семнадцати веков акклиматизировались, разрослись и доселе украшали своей темноватой зеленью светлые воды его извиистой речки. После, во времена еще Метро-

вингов, был возведен на степень маркизатства или графства, и один из графов Роменвиля, прямой потомок римского военачальника, некогда командовавшего расположенным здесь римским легионом, будучи близок к тогдашнему палатному эру, употребил громадные средства на то, чтобы из Роменвиля сделать нечто подобное римским Байям или Капрере Тиверия. Его потомки сохраняли его благородную любовь к украшению своей земли, стараясь возвысить ее производительность, поднять культуру и украсить всеми чудесами искусства. Городок процветал. Он казался садом Армиды. Чего в нем не было? И дивные памятники искусства древней Греции, и миниатюрное, но со всею роскошью выполненное подражание римским термам, и портики Афин, и пагоды Индии, и киоски Китая.

И все это, накопленное и устроенное веками, было уничтожено, срублено, сломано, разбито в один день бесшабашным варварством, не сознающим, что труд уничтожения плодов векового труда есть не только преступление, но такое преступление, которое заслуживает

проклятия.

Ввиду такого разрушения, вызванного одним словом "дворянское", естественно было от дворянства отрешиваться.

— Ведь не у одних же дворян бывают срочные и специальные дела, не у одних дворян умирают родные, не одним дворянам достаются наследства и не одним дворянам нужно спешить! Вот я и не дворянин, но я спешу в Париж... — объяснял молодой человек как-то решительно, будто боясь проговориться.

— Да, дворяне спешат теперь больше из Парижа, — заметил француз. — И тут сказать нечего, они не скупятся... Сколько раз предлагали мне хорошие деньги за то, чтобы того или другого дворянчика оттуда вывезти. Но я патриот, хороший патриот, от подошвы до кончика волос, всегда от того отказывался. Я желаю, чтобы всех их скорей передушили, потому помогать дворянам ни за какие деньги не стану! Я хорошо помню, как в клубе при мне Робеспьер говорил, что пока существует дворянство, Франция стоит на вулкане...

— Но вы, гражданин, просите такую цену за провоз, что, полагаю, даже дворянин, при-

выкший бросать деньги, и тот бы задумался, а мне, бедному клерку в Меце, не из чего платить. Положим, что моя поездка в Париж дает мне надежду на значительное увеличение моего состояния. Я еду, чтобы застать в живых умирающую тетку и охранить от расхищения остающееся после нее, говорят, весьма значительное имущество, которому она сделала меня единственным наследником. И я готов платить и хорошо платить за ваш труд и беспокойство, но все же с разумом. А двести франков за две мили, ведь это сумасшествие! Вы подумайте!..

— Гражданин, декретом Конвента воспрещено говорить *вы*. Равенство и братство ведут к благополучию, какое же тут *вы*? Что же касается цены, то я прошу самую настоящую. Вот спросите у Жерома, правда, он на своей паре саврасок уже уехал, и теперь во всем Роменвиле только у одного меня есть лошадь, так что выходит одно из двух, брат, гражданин, или плати, или иди пешком!

— Самый братский ответ, особенно когда заявлено, что нужно ехать во что бы то ни стало! Но, но, что же делать? Скоро ли, по

крайней мере, будет готово?

— Сию минуту, лошадь стоит в запряжке...

— Делать нечего, приходится уступить! Мне необходимо быть там сколь возможно скорей, и поневоле я должен согласиться, если вы, то есть ты, брат, гражданин, хочешь братски меня ограбить! Ну сто франков, согласись хоть на сто франков и вези, только скорее! За какие-нибудь полторы мили...

— Первое, не полторы мили... а полные две наберется, пожалуй, и с избытком. Потом свобода не допускает таксы на роскошь...

— Черт возьми, хороша роскошь: телега с лошадью...

— Все же лучше ехать на телеге, чем по этой грязи тащиться на своей паре ног. А лошадь у меня хорошая, и не увидишь, как к самому Лувру подкатим! Ну, была не была, давай задаток!

Чесменский — молодой человек, это был он — с видимым сожалением подал ему десятифранковый полулуидор. Француз схватил его с жадностью.

— Вы все такими деньгами будете платить? — спросил он, забывая о декрете, вос-

прещущем вы, и еще раз взглядывая на полученный им золотой, как бы не веря своим глазам, что у него в руках действительно золотая монета.

— Какими же? У меня нет других.

— А это другое дело, брат, гражданин. Тогда — не говорите же, что я хотел вас ограбить, я согласен взять за поездку только пятьдесят франков, но не иначе, чтобы платилось непременно такими же полулуидорами! Впрочем, ничего, мы возьмем и полные луидоры, если только они из чистого золота без обмана. Дело, что и говорить, все будет хорошее! За то я прокачу лихо, на славу! Только такими, именно такими, так что вы... (Француз опять забыл о декрете, воспрещающем вы) — мне платите, кроме выданного вами теперь задатка, еще четыре полулуидора или два полные луидора, но непременно чистыми золотыми монетами.

Француз, видимо, был несказанно обрадован полученной им платой. Прося непомерную цену за незначительную поездку, он рассчитывал, что ему заплатят ассигнациями, стоящими, однако, в то время еще не ниже,

как только в 1/10 номинальной их стоимости, после они упали далеко ниже. Теперь же он, уступив даже три четверти из того, что просил, брал почти втрое дороже того, что сам желал получить, если бы ему заплатили ассигнациями. Разумеется, он был очень рад.

По прошествии четверти часа Чесменский во французской таратайке сидел рядом со своим возницей, ругающим наповал аристократов и все, что к ним относится, и буквально, можно сказать, катился в Париж по превосходно шоссированной и обсаженной плодовыми деревьями дороге в сторону, прямо противоположную заставе "ада", куда после они въехали.

Снег перестал падать, из-за темных кучевых облаков показалось солнце; стало светлее и теплее; тележка легко и скоро катилась.

Вдали с правой стороны показались башни аббатства Сен-Дени, справа на некотором возвышении виднелся Париж, тоже с башнями, будто вырастающими из тумана и зелени садов. Вот обсерватория виднеется из-за куполов Люксембургского дворца, вот башня Святого Якова, а вот и знаменитая Notre-Dame.

Издали все это кажется таким светлым, таким радостным.

Они ехали возвышенностями, поднимаясь все выше и выше к Парижу, потому перед глазами их расстилались чудные окрестности. Слева виднелся ясный очерк Сен—Жерве, а справа — окрестности Обервиля; перед глазами неподвижной, стальной полосой расстилась Сена, за которой, вдаль, оттенялся яркой зеленью Сен—Жерменский лес. Они ехали вокруг города, стараясь отыскать случай въехать в одну из застав Парижа так, чтобы быть незамеченным.

Чесменский был очарован рядом представляющихся ему видов; тем не менее он желал скорей быть на месте. Но француз убеждал его не торопиться, а ждать случая, заявляя, что его непременно примут за иностранца, как не уверяй, что он из Меца; а примут за иностранца, непременно арестуют и обберут.

Тогда и он, француз, лишится своего вознаграждения.

Чесменский против этого не возражал. Несколько часов, проведенных им под арестом в генерал-губернаторском доме, показав-

лись ему столь ужасными, что он не раз думал: "Лучше смерть, чем заключение". Но болтовня француза, рассыпающегося в ругани дворян и аристократов, ему страшно надоела, и ответ на его объяснение о том, как, по рассказам его отца и деда, было здесь скверно ездить и как "тираны" устроили превосходное шоссе, идущее кругом Парижа до самого Версаля и захватывающее Нельи, так как там жила в то время королевская любовница, Чемсенский не выдержал и сказал:

— Да! Зато этим тиранским шоссе вы теперь пользуетесь!

— Положим, что пользуемся! — отвечал француз. — Но ведь сколько труда... Тираны, просто как есть тираны!

— Труда, однако ж, оплаченного из их шкапулок?

— Да, только оплату-то они взяли с того же бедного народа!

— Но они имели полную свободу располагать этой оплатой по своему усмотрению?

— Что ж, что по усмотрению, все же тираны!

— Не было бы тиранов, не было бы и шос-

се! — отрезал Чесменский, поддразнивая француза, потому что, несмотря на безрессорность таратайки, в которой они ехали, по гладкости дороги их почти не трянуло, и с ужасом вспоминая, как кидало его из стороны в сторону, когда он в покойной карете пробирался осенью по новгородским кочкам.

Но вот и Париж! Они успели въехать в его заставу "ада" вслед за толпой и пробрались, благодаря ловкости француза, как-то незаметно, так что на заставе их никто не остановил. Чесменский смотрел на все с любопытством. Его особенно поразила запущенность, грязь, темнота, даже будто какая-то приниженность великого города, на который Европа смотрела до того как на средоточие образованности, — столицу моды и вкуса целого мира. Большая часть домов с закрытыми ставнями, у некоторых были выбиты окна, попадались такие, которые были заколочены совсем наглухо, иные же были разрушены и красовались в развалинах. Вывески были сняты или отличались странным фразерством, вроде: "Продажа шляп свободы" или "Во имя братства: Сапоги!" Хлебные, мясные, зеленные лавки боль-

шею частью были раскрыты настежь, лари в них подняты, шкафы разбиты. Перед ними толпился народ, входил и выходил беспрепятственно, горячо рассуждая и размахивая руками. Видно, что в них не было ничего и что все рассуждения, весь пыл и горячка были напрасны. Можно отнять у человека все, что у него есть, но вызвать деятельность его ума насилием невозможно. На этом основании можно отнять у купца его товар, но никакими средствами нельзя заставить его продавать дешевле, чем он сам может его купить. И напрасны будут тут все таксы, все максимумы. Они поведут только к исчезновению товара. Этого-то простого естественного закона руководители революций в целом мире обыкновенно не могут усвоить.

Поразило также Чесменского необыкновенное многолюдство на улицах и отсутствие деятельности парижан. Казалось, все население города жило на улицах и только и делало, что сновало взад и вперед, не зная ни за что приняться, ни к чему приступить. Впрочем, он заметил, что в данную минуту стремление населения направлялось преимуще-

ственно в одну сторону. Вообще толпа, казалось, была чем-то особым ажитирована. Она шла горячась и жестикулируя с особой страстностью. Но это не остановило на себе внимание Чесменского. Он не заметил, что толпа эта идет не то с яростью, не то с любопытством. Его более поражала общая скудость, общая неряшливость, которыми толпа эта отличалась. Все были в каких-то хламидах, не то хитонах, не то блузах; женщины большею частью с голыми руками по самые плечи. Мужчины были одеты в епанчи по колону, изорванные и заплатанные, иные с голыми икрами и в деревянных башмаках. На головах у всех были весьма странные колпаки, похожие на тот, который он видел на своем вознице, на иных такой колпак украшался сосновой или дубовой веткой. Не только шелка или бархата, но и сукна не было видно ни на ком. Все, что ни шло, было одето в старый, грязный, изорванный демикотон, как его называли, хотя в нем не было шерсти ни шерстинки. Ни экипажа, ни богато одетого служителя, ни сколько-нибудь отличного от других, хотя бы только чистого костюма на ули-

це, полной народа, не было; все было серо, темно, отвратительно...

Толпа шла горячась, бежала, шумела, ругалась с какими-то ломаньем, кривляньями, возгласами, будто сейчас вырвалась из тюрьмы или из сумасшедшего дома и становилась все теснее и теснее, и все более и более серою и оборванною.

— И это Париж, — подумал про себя Чесменский, — город вкуса и роскоши, город удовольствий! Нет! Это именно санкюлоты, будто бегущие на праздник смерти. Им надоело жить, и вот они рады празднику!..

— Да, рады празднику, — продолжал рассуждать про себя Чесменский, — рады смерти, как и я... Может быть, я, собственно, за тем сюда и приехал, потому что, сказать по правде, зачем мне жить? Мне, сыну отца, предавшего мать мою и меня самого прежде даже, чем я родился...

Возгласы и крики толпы прервали нить его мыслей. Он оглянулся, было видно только море голов, над которыми показывались иногда махающие, большей частью голые руки...

На всем пространстве улицы ехала только

одна телега, в которой сидел он со своим возницей. По тесноте телега должна была подвигаться шагом. Несколько раз в нее заглядывали зверские лица, спрашивая хлеба, мяса, зелени, но как у них ничего не было, то им предоставляли двигаться вперед обругав, впрочем, именно его, Чесменского, самым страшным тогда наименованием аристократа, вероятно, за его суконную бекешу и чистый сравнительно костюм. Золотая цепочка часов и несколько брелков, которые можно было заметить на Чесменском в Роменвиле, по совету возницы, были давно уже спрятаны. Впрочем, несмотря на это, в его ушах раздавались и другие милые эпитеты, вроде тирана, шпиона, грабителя, кровопийцы и еще Бог знает чего. "Что же это?" — подумал он. — Неужели это та прославляемая свобода, о которой столько говорят, столько пишут, столько мечтают. Нет, это не то! Тут что-то есть, что именно не то! Свобода — не безумие, не горячечный бред нервов, не пустое фразерство и крик. Тут есть что-то прямо противное самой идее свободы, самой мысли о народном счастье" ...

В эту минуту слух его был поражен новым гулом, бряцаньем оружия и стройными звуками церемониального марша.

Пока они ехали по парижским улицам, день разгулялся, снег обратился в грязь, приптапываемую многотысячной толпой; с крыш текли состреки, падающие на идущих по панели, не обращающих, впрочем, на то внимания. Гул раздавался громче, бряцанье оружия слышнее, марш торжественнее...

— Ну, гражданин, — обратился к нему возница, — нам здесь нужно остановиться и распротиться. Дальше ехать нельзя: нас растопчут, раздавят, сомнут. Постарайтесь расплачиваться и вынимать так, чтобы никто не видал. Вот всего лучше кабачок "Философия", зайдем туда и рассчитаемся!

Чесменский сам видел, что показать деньги этой голодной и жадной толпе бесштанников не только не удобно, но и действительно небезопасно, потому и принял предложение возницы. Они своротили в сторону и вошли в какой-то грязный притон.

После уплаты вознице двух луидоров Чесменский спросил себе стакан *café au lait* и

сел к окну. Шум на улице все более и более привлекал его внимание, тем более что толпа, идущая по улице, остановилась, несмотря на то что идущие сзади более и более на нее напирали. Торжественный церемониальный марш слышался уже отчетливее в соединении с криками толпы, топотом о мостовую лошадиных копыт, бряцаньем шпор, сбруи и оружия.

В толпе гул стоном стоял в воздухе; поднимались руки, чему-то махалось, от чего-то все ажитировалось. Вдруг все смолкло, будто замерло. Слышался только торжественный марш.

Из боковой широкой улицы показался эскадрон кавалерии, в сопровождении справа и слева тоже толпы, большею частью женщинах, между которыми были, однако ж, и мужчины. Вся эта толпа была вооружена кто чем: тут были и охотничьи ружья, и ухваты, и метлы, и сковороды, и швабры, и старые тесаки, и модные шпаги прежних вельмож первых годов этого века, с золотой насечкой и камнями. Все это шло, бежало, стараясь не отстать от идущего легкой рысью эскадрона,

кричало и пело, вторя звукам торжественного марша. За эскадроном кавалерии шел батальон национальной парижской гвардии в взводной колонне, сопровождаемой также справа и слева беснующейся и вопящей толпой; за национальной гвардией шли музыканты, а за ними несли революционное знамя и значки разных корпораций и клубов. За знаменами следовала траурная карета, сквозь стекла которой виднелись довольно стройный и не старый, хотя, видимо, ослабленный и истомленный человек, беседующий с сидящим подле него аббатом, державшим в руках святое распятие, и напротив два жандарма.

По сторонам кареты шли тоже национальные гвардейцы, а за ними подле самых стен домов толпа теснилась самой сплоченной массой и едва двигалась в уровень с движением кареты. Звуки марша разливались торжественно вторимые толпой. Вдруг музыкальный переход и начался безумный, вакхически-игривый мотив марсельезы. Толпа завопила, потрясая своим оружием, стуча и крича сколько кто мог. Через минуту началось какое-то подергивание и подпрыгива-

ние; женщины начали махать платками, своими изорванными одеждами, космами своих распущенных волос. Мужчины топали, кричали, махали своими шапками, потрясали оружием. Началась по обеим сторонам кортежа пляска, бешеная пляска проклятия...

— Что это такое? — невольно вскрикнул Чесменский, смотря в окно.

За идущей каретой ехали еще две кареты, также окруженные войском, за ними опять национальная гвардия и эскадрон кавалерии. За всеми ними валил опять ревущий и пляшущий народ.

— Что это такое? — повторил Чесменский в полном недоумении от того, что он видел.

— Везут Капета! — отвечал хозяин таверны "Философии", усевшись с бывшим возницею Чесменского за завтрак и уплетая вместе с ним яичницу с зеленью, искусством приготовления которой он особо хвастал, и запивая свою яичницу пьяным сидром и дешевым красным вином.

— Какого Капета?

— Луи Капета, тирана, имевшего дерзость называть себя королем Франции!

— Куда, зачем везут? — нервно спросил Чесменский, сам не понимая, что могло в этих словах его так взволновать, даже как бы оскорбить.

— Куда, зачем? — повторил вопрос толстый трактирщик с невозмутимым до цинизма спокойствием. — Думаю, на площадь Революции, а зачем? За тем, полагаю, чтобы отрубить голову! Давно бы следовало всех этих тиранов, кровопийц, всех живущих на счет народного труда и сосущих народную кровь дворян и дворянчиков, всех бы следовало отдать палачам, у всех бы отрубить головы.

— Как отрубить голову, стало быть убить? Убить своего доброго короля? — с нервной судорогой вскрикнул Чесменский. — Разве это возможно? Разве это можно допустить? Боже мой, Боже мой! Что же это такое? — Казалось с этими словами Чесменский готов был броситься на толпу, которая обозначилась в его глазах во всей дикости и кровожадности.

Тут он понял, что словами хозяина таверны он действительно был оскорблен, оскорблен в своем монархическом принципе. Сознавая, что в разумном обществе не может не

быть чего-либо уравнивающего, чего-либо сглаживающего противоречия людских страстей, что должно быть признаваемо неприкосновенным, он понял, что при условии такой неприкосновенности может быть порядок, устройство, разумность деятельности, стало быть, свободы, о которой французы так разглагольствовали. К тому же его будто ударило в голову мыслями Бекарии о несообразности смертной казни в устройстве человеческих обществ. Кто дал тебе право отнимать у брата то, что не возвратимо и не вознаграждено ничем? Ведь человек брат: плоть плоти твоей; мысль мысли твоей! Какое же нраво имеешь ты отнять у брата твоего жизнь, когда такой жизни ты не можешь дать даже последней козявке? Чем вознаградишь ты человечество за мысль, которая могла явиться у убиенного, на пользу общую? А тут смертная казнь и кому же, королю, самой судьбой поставленному быть примирителем всех противоречий?

Эти мысли заставили его прийти к сознанию несообразности, несоответственности, бессмысленности опираться в практической

жизни на то диалектическое фразерство, которым можно прикрывать, можно доказывать все на свете. Разве можно в жизни и смерти опираться на фразу, на оборот речи? А тут все только фразы и фразы, и ради этих фраз рубят голову и кому же?..

Если бы он был еще Людовик XI, Генрих VIII, то, разумеется, не было бы права, но был бы смысл, а то доброму, уступчивому Людовику XVI — тут нет ни смысла, ни совести! "Это бесовственно, бесчестно! — сказал он вслух, полный негодования за оскорбление величия монархической власти грязной, бушующей, заслуживающей презрения толпой, тем более что сочувствие монархическому принципу не могло заглушить в нем ни масонство, ни иллюминатство. — Мало сказать бесчестно, это подло! Убить своего короля..."

— У французов нет короля! — отвечал трактирщик. — У них свобода, равенство и братство! Смерть тиранам, вот что!

— Но это убийство, национальное убийство! Это даже не злодейство, а именно подлость! — повторил твердо Чесменский, не обращая на слова трактирщика внимания. —

Виноват он ни в чем быть не может, он король. Он не сам сделал себя королем, он им родился. Его признали, сделали вы сами. И убивать, убивать, за что же? Вы просили себе прав, он дал вам их! Просили конституции, он собрал штаты. Притом и по конституции, вами составленной и им принятой, особа короля неприкосновенна! Наконец, чему же радоваться тут? Отчего кричать, вопить, петь, плясать?.. Плясать от того, что убивают? Что целая нация убивает одного? Как это честно, как великодушно! Это ужасно, ужасно! Это хуже, чем людоеды...

— Его судили и присудили, стал быть, виноват, — отвечал трактирщик. — Однако, гражданин, ты так не разглагольствуй, не горячись и не кричи! Иначе сам познакомишься с гражданином Гебером! Ты слышал о Гебере? Тот, во внимание к твоей преданности тиранам, сейчас же, с чувством удовольствия, отправит тебя к ним, только известно, так же как и их — без головы!

— Да, брат, это будет скверная штука, — прибавил возница, несколько уже опьяневший от выпитых им двух кружек сидра. —

Лучше, не хочешь ли, я свезу тебя обратно за ту же цену?..

Чесменский замолчал. Толпа же бесновалась, подплясывая под звуки марсельезы и потрясая своими швабрами, метлами, помелами и ружьями, стуча в сковороды, кастрюли, ухваты и тесаки. Но вот опять музыкальный переход и опять торжественные звуки не то похоронного, не то церемониального марша, в которых слышится и сомнение, и победа, и торжество; будто в самом деле сделалось великое дело, что решились убить в виду всего французского народа *одного*...

Кортеж медленно подвигался вперед и исчез из виду. Толпа, остановленная движением кортежа, зашевелилась.

— Будьте вы прокляты, убийцы! — проговорил Чесменский, будучи не в силах одолеть своего негодования тем более, что между трактирщиком и возницей начался весьма цинический разговор о везомом на казнь короле и королеве Марии Антуанетте. — Не хочу никакого дела иметь с вами! Вас накажет Бог!

И он бросил на стол полулуидор и исчез из

глаз.

— Аристократ, надо полагать! — сказал трактирщик.

— Надо думать, — ответил возница. — За все платит золотом, и как я вез-то его, сказал, что мы должны благодарить тиранов за шоссе!

— Вот бы хорошее дельце, указать аристократа и получить награду. Только бы знать, где он остановился!

— Я знаю! — отвечал возница.

— Где?

— В улице Мира, 6, у бездетной вдовы — тетка, говорит!

— А! — многозначительно проговорил трактирщик и замолчал, он стал обдумывать, как и с чем явиться к гражданину Геберу, чтобы получить за указание скрывающегося аристократа, и как обделать, чтобы такой наградой ему не пришлось делиться с возницей.

— Всего лучше его напоить! — подумал про себя трактирщик и велел подать вознице еще кружку сидра, да покрепче, заявляя, что это дружеское угощение с его стороны, так как возница завез к нему гостя, который так

щедро расплатился. А когда кружка была опорожнена, то он не поскупился на дешевое бордосское вино.

Возница, довольный полученным им хорошим заработком от Чесменского за провоз и обрадованный совершенно неожиданным даровым угощением полужнакомого кулака-трактирщика, тянул себе стакан за стаканом, пока не уснул тут же на месте, опершись руками на стол.

Трактирщик в ту же секунду встал, попробовал своего собутыльника и, видя, что тот спит непробудным сном пьяного, отправился к помощнику прокурора Парижской коммуны объявить об открытом им аристократе, пожалуй, еще подосланном в Париж эмигрантами для шпионства, и получить назначенную за то награду.

Известно, с каким спокойствием и благородством Людовик XVI встретил смерть. В каждом слове его, обращенном к тем, которые принесли ему роковой приговор, чувствовалось истинно королевское величие, соединенное с христианским смирением чело-

века, готового предстать перед высшим судьей. Он просил только на три дня отсрочки, чтобы окончить свои земные дела, свидания с семейством, с которым враги его имели жестокость разлучить на все время так называемого процесса, то есть дебатов и соглашений о его убийстве; наконец, духовника для напутствования в лучший мир загробной жизни. В отсрочке ему было отказано, его врагам так нетерпеливо хотелось его скорей убить. Отказать же в свидании с семейством и духовнике, предоставляемых старинным французским законом всякому извергу перед совершением казни, недостало духу даже у тех, которые убийством короля думали оправдать свои зверства, выразившиеся перед тем в тюремных убийствах, обещавших в будущем немало терзаний злополучной Франции.

Прощание с семейством Людовика XVI накануне его казни было поистине трогательно. Оно состоялось в большой стеновой тампльской башне, где он содержался в заточении. Комнату эту его тюремщики Парижской коммуны имели жестокость выбрать ему для прощания с женою и детьми, потому что в нее

вели стеклянные двери, сквозь которые они могли наблюдать за всем, что там происходит. И они могли видеть, как король дал свой прощальный поцелуй жене и сестре, предреченных ими также к гибели, и свое последнее благословение сыну и дочери; могли наслаждаться, прислушиваясь к воплям отчаяния бедных женщин и детей, долженствующих прощаться последним христианским лобзанием с живым мужем, братом, отцом и королем.

Мария Антуанетта старалась выдержать себя. Прощаясь с мужем, отцом детей своих, она хотела еще быть королевой. Сын-мальчик и сестра рыдали истерически, а принцесса-дочь вынесли без чувств замертво.

Всем этим сквозь стеклянные двери могли насладиться вволю Пашо, Шомет, Гебер, Сантер и другие члены парижского муниципалитета и заведовавшие надзором за тампльской башней и заточением короля. Несомненно, что очень желали бы насладиться этим Робеспьер, Марат, Дантон и Сен—Жюст, более всех содействовавшие постановлению смертного приговора их королю, но они боялись явно

показать свою радость, и перед дверьми столовой их не было. Они предпочли насладиться только последней минутой казни, ими устроенной. Да будет проклята память их!

Пожалуй, мог насладиться этой последней минутой и красноречивый оратор Жирондье с чернью, который после энергической прекрасной речи своей, в коей доказывал всю несправедливость, всю гнусность приговора к убийству ни в чем не виновного короля, за то только что он король, сам, под влиянием трусости перед кулаком, которым грозили ему с трибуны Горы, подавая свой голос, написал: "смерть" и тем дал роковую единицу в счет голосов, которая составила безусловное большинство. Ему пришлось потом искупить такую свою трусость кровавыми слезами... Но опускаешь завесу на эти, почти нечеловеческие чувства, плод борьбы людских страстей...

Сцена прощания с семейством навсегда, навечно, разумеется, не могла не потрясти глубоко Людовика XVI, но и тут, сохраняя свое достоинство, он сказал, обращаясь к избранному им духовнику голосом растроганным,

но твердым: "Расставшись с земным, я спокойно могу обратиться к Тому, Кто в настоящую, тяжкую для меня минуту, может быть единственным моим утешением и подкреплением".

По этим словам короля, выбранный им духовник, де Фирмон стал читать отходную...

Король повторял за ним страшные слова этой последней молитвы.

Помолясь, король сел обедать и смеялся, что ему не подали ножа.

— Неужели они думают, что я такой трус, что от страха перед смертью стану резаться сам? Нет! Я уж лучше подожду до завтра, когда труд меня зарезать возьмут на себя другие...

Проговорив эту грустную шутку, он обратился к духовнику с вопросами, касающимися благосостояния церкви, заботливо осведомился о положении парижского архиепископа и других лицах, которым неистовство революционных страстей тоже угрожало опасностью.

Около полуночи он лег спать, приказал разбудить себя в пять часов, чтобы иметь вре-

мя приготовить к смерти, и заснул спокойно с чистою совестью и с надеждой на будущую жизнь.

Его камердинер Клери, единственный слуга, ходатайствовавший о своем заключении с королем, чтобы служить ему в несчастье, как служил он ему в дни счастья и могущества, остался подле его кровати оберегать его сон и был поражен спокойствием и ровностью дыхания в этом его предсмертном сне, и тем кротким выражением, которым осенилось лицо его. Он не выдержал, указал на спящего короля де Фирмону.

— Таков всегда предсмертный сон праведника! — сказал де Фирмон и начал за него молиться.

На другой день в назначенный час король встал весело и благодарил Бога за укрепление его сил, посланное ему спокойным сном. Помня тяжесть вчерашней трогательной сцены прощания, он не решился ее повторить и просил Клери передать его последнее "прости" жене и детям, вместе с его благословением, прядью его волос и некоторыми из вещей, которые при нем находились. Потом стоя на ко-

лениях, выслушал обедню и с умилением принял причащение Святой Тайны. Затем он встал и сказал, что он готов!

И точно, он был готов простить все оскорбления, которые ему наносили даже в последние минуты его жизни, пришедшие вести его на казнь.

— Пора, пора, король, — говорили они ему, — церемоний-то у тебя слишком много, а там ждут!

Они отказали ему в ножницах, чтобы остричь волосы. "Там остригут", — отвечали они и не хотели даже принять его духовного завещания для передачи хоть в коммуну.

— Я пришел вести тебя на казнь, Луи Капет, а не исполнять твои поручения! — грубо отвечал муниципал Жан Ру, бывший когда-то в стесненном положении и королем благодетельствованный. Это завещание наконец взял у него без колебаний другой член коммуны и сказал, что он отдаст его семейству, если последует на то дозволение...

С молитвою сел он с духовником в карету, куда втиснули еще двух жандармов с поручением убить его в случае, если бы на пути

встретилось противодействию следованию.

Но такого противодействия не встретилось. Король всю дорогу повторял за духовником слова молитвы умирающего. С этими словами на устах он взглянул на приготовленный для него эшафот.

Внимая словам де Фирмона о Спасителе, молящемся перед казнью за врагов своих, Людовик стал молиться за Францию, за французский народ, которому желал благоденствия, наконец, за злодеев своих, искавших его смерти.

Но вот искушение: ему, потомку целого поколения королей, рыцарю без страха и упрека, предлагают подать руки свои палачам, чтобы связать их и окончить туалет приготовления к смерти:

Король вздрогнул от негодования.

— До дна испью чашу сию, как ни горька она есть! — проговорил де Фирмон и прибавил: — Перенесите это поругание, как последнюю черту сходства с Тем, Кто умер за всех нас!..

Король победил себя, улыбнулся и протянул руки... Затем связанный, вместе с палача-

ми, твердо вошел на эшафот, весело оглядывая волнующуюся толпу.

Все молчало. Сотысячная толпа едва переводила дух. Можно было слышать жужжание мухи. Вдруг, отделясь несколько от палачей, король сказал твердо и звонко:

— Французы! Я не виноват в взводимых на меня преступлениях! Прощаю всех виновников моей смерти и молю об одном, чтобы кровь моя не пала на Францию...

Эти слова, как электрическая искра, коснулись сердца каждого. Все замерли, притаили дыхание в ожидании, что он скажет далее.

Но первые звуки голоса короля заставили вздрогнуть и побледнеть черненького, гаденького, приземистого, хотя и довольно высокого роста человечка — человечка, преимущественно худощавого, морщинистого, скверного, ядовитого, с адвокатскими манерами, кошачьим взглядом и аскетической, высохшей фигурой голодного паука. Он прятался до того за толпой на каком-то тесно набитом балконе, выглядывая из-за голов и высматривая приготовления к казни с кровожадностью лисицы.

Но вот королевское слово — и он засуетился, завертелся, запрыгал на месте и замахал в испуге руками.

— Барабаны, барабаны, что же барабаны! — закричал он, то поднимаясь, то опять скрываясь за головами толпы.

Это был Робеспьер.

Впрочем, не одного его взволновал твердый звук королевского слова. От него нахмурился крепко нежный, как девушка, но мрачный, как бежавший с галлер каторжник или оставивший кладбище мертвец, двадцатидвухлетний мальчик Сен—Жюст. У этой мрачной фигуры злобного мальчишки задрожала даже нижняя губа от бешенства, но он промолчал и только укусил губу свою до крови. Завертелась над толпой страшная, львинообразная голова Дантона, который поверх голов крикнул своим громовым как труба голосом: "Сантер, генерал Сантер, — это твое дело!"

Все слушали. Король хотел еще что-то говорить, но сотни барабанов гудели уже в воздухе, соединяясь с воплями, поднятыми вожаками Горы, в среде заранее подготовленных

якобитов. Палачи, по данному Робеспьером знаку, схватили короля и повлекли его к плахе.

Король посмотрел на них с улыбкою и молча положил на плаху свою голову.

Удар палача решил все. Кровь брызнула, и бешеная толпа бросилась мочить платки в крови убитого ею короля-мученика и рассыпалась потом по Парижу в бешеной пляске под звуки марсельезы.

Не услышал Бог последней молитвы убитого. Кровь его дымилась и дымится до сих пор над несчастной Францией. Много ее крови пролилось, и много прольется еще, за эту неповинную кровь короля, убитого своим народом.

Глава 4. В тюрьме

За неделю до казни короля, в парижской тюрьме "Свободной пристани" в улице "Ада", вновь устроенной для арестуемых, во имя свободы и братства, французских дворян, в довольно роскошном и с полным комфортом отделанном кабинете сидели графы Растиньяк и Легувэ и маркиз Буа д'Эни.

Дом для этой тюрьмы был куплен и отделан на счет арестованных, под условием, что каждый, соответственно сделанному им взносу, имеет право занимать в нем какое угодно помещение и пользоваться за свои, разумеется, деньги различными удобствами.

Они сидели за круглым столом и занимались важным делом: обдумывали *тепи* сегодняшнего обеда.

— Я хочу сегодня хорошо пообедать, — сказал граф Растиньяк, старший из собеседников, мужчина лет тридцати, не дурной собою, с острым взглядом своих карих глаз, тонкими губами и темно-каштановыми волосами. — Хочу, во-первых, потому, что хорошо пообедать всегда хорошо; а во-вторых, потому, что

я пригласил с того отделения тюрьмы обедать сегодня у нас нашего врага, этого разбойника министра, этого Бальи, подписавшего наш арест и требовавшего для нас скорейшей смертной казни. Положим, это разбойническое требование не было уважено, мы живем до сих пор. Разбойника победили другие разбойники, также арестовали, и теперь одинаково требуют смертной казни как для нас, так и для него. Но это нисколько не лишает нас права признавать его действительным врагом нашим; а врагов, как и друзей, если зовешь, то следует угощать хорошо, угощать всем, что ни есть лучшего.

— Что касается меня, — отвечал граф Легувэ, человек годом или двумя моложе графа Растиньяка, но с видом более серьезным и даже несколько задумчивым. — Я всегда рад хорошему обеду, но с тем, чтобы он сопровождался хорошим вином. А едва ли мы достанем сегодня хорошего перпиньянского, которого выпили еще вчера последнюю бутылку!

Маркиз Буа д'Эни, по летам младший из них, так как ему едва ли минуло двадцать три года, красавчик писанный, высокого роста

с русыми волосами и нежными голубыми глазами, не сказал ни слова. Он молча на лежащем перед ним листке бристольской бумаги рисовал итальянским карандашом женскую головку.

— Достанем, как не достать! — ответил Растиньяк. — Пошлем к управляющему Пралена, ему погреб его господина ведь не для санкюлотов же беречь? А у Пралена, я знаю, был большой запас отличного перпиньянского вина. Потом у меня в погребе есть превосходная мадера 65♦го. Прикажу весь ящик принести! Авось выпьем прежде, чем отрубят голову! А ты, маркиз, все об одном думаешь, все свою герцогиню очертить желаешь, — продолжал он, обращаясь к Буа д'Эни. — Хороша, очень хороша, сказать нечего! Вот иди и зови ее от имени всех у нас обедать. Скажи, что зверя Бальи ей покажем, того самого зверя, из-за которого теперь мы сидим здесь, вместо того, чтобы прогуливаться в Париже или играть в рулетку где-нибудь в Трире или Бадене.

— Ну так какой же обед, суп из черепахи? — проектировал Легувэ.

— Пожалуй, тем более, что говорить, Фроберу превосходных черепах привезли и, разумеется, не санкюлотам же их есть! — ответил Растиньяк. — Потом дикая коза в трюфелях а la Басомпьер!

— Прекрасно! Говорят. Басомпьер выдумал это блюдо, сидя в Бастилии, и мы, в воспоминание его мысли, будем есть его в тюрьме.

— После легюмье: артишоки в масле и спаржа по-голландски, — продолжал проектировать Растиньяк.

— Остендские устрицы! — бросил вскользь свое слово маркиз Буа д'Эни, продолжая рисовать.

— Отлично! А там: "аспазия финансие"! Оно для Бальи будет как раз кстати. Он все проповедовал финансовую аристократию.

— После пунш ройяль!

— Нынче нужно говорить пунш санкюлот, ройялизм в тюрьме сидит, — заметил Легувэ.

— Ну уж санкюлотам-то такой пунш не полагается, не по носу, — ответил Растиньяк. — Какое же жаркое?

— Да если достанем, всего лучше фазан по-королевски.

— А на сладкое персики и ананасы в рисе! Потом к десерту: дюшесы из Тулузы и виноград из Фонтенбло! Так, что ли?

— Ну да, чего же еще?

— Нет рыбы! — бросил неожиданно Буа д'Эни. — А герцогиня, как я заметил, всегда кушает рыбные блюда!

— Браво, д'Эни! Теперь я вижу, что ты действительно любишь, как говорят, всюю душою, всем сердцем. Подмечать желания — это верный признак истинной страсти. Но что ты прикажешь делать, когда проклятые санкюлоты, кажется, всех лососей из Сены выгнали. Не ловятся, да и только! Третьего дня с трудом достали рейнского сазана, ведь теперь никто ничего не везет во Францию. Впрочем, можно подать фаршированного карпа под майонезом, только для того нужно приказать украсть его из тюльеских королевских бассейнов. Думаю, теперь это не слишком затруднительно. Королю, полагаю, не до карпов!

— А вина? — спросил вновь Легувэ.

— После супа подадим перпиньянское от Пралена и мою мадеру; козу запьем бордос-

ским; с устрицами — английский эль, благо теперь он непомерно дорог; с аспазиею и после рыбы подадим рейнское, с жарким — шампанское; а после сладкого вспомним отцов бенедиктинцев... Кажется, будет хорошо? — отвечал Растиньяк.

— Да! Только принесли бы перпиньянского! Кстати, говорят, отцы бенедиктинцы хотят прекратить свое производство, и будущая Франция будет иметь одним удовольствием меньше!

— Я думаю и не одним, — сказал Буа д'Эни, любуясь своим рисунком. — И она заслужила это, хотя бы тем, что уничтожила мои виноградники и лишила себя возможности пить крем д'Эни! Ведь уничтожать плоды труда есть тоже труд, но думаю, что, во всяком случае, не труд разума!

— Кто же у нас обедает еще? — спросил Легувэ.

— Обедает виконтесса де Креси, чтобы было не скучно его герцогине. — Растиньяк указал с улыбкою на Буа д'Эни. — Потом обедает граф Фонтенэ с женою, граф Лозен, и еще я позвал этого русского дуэлиста, знаешь, что Ро-

беспьера хотел заставить с собою драться и загнал его на чердак, как его фамилия-то: де Шепель... Шевель... Право, никак не могу запомнить эти варварские иностранные имена, русские и английские... Английские, те хоть большею частью коротки: Кокс, Дикс, а русские, польские, иногда и итальянские, это Бог знает что! Натоцк не выговоришь! Знаешь того, что маркизу Вилеруа на нос зарубку положил?

— Шепелев, что тут трудного? — проговорил Легувэ. — Тебе просто не хотелось вспомнить его имя. Рассказывают, что ты и сам от него чуть не получил такой же зарубки, за то, что переврал его фамилию и отделался только тем, что вызвался фехтовать с ним на пари и заплатил деньги.

— Да, господа, черт возьми, признаюсь! Право, кроме Сен—Жоржа, я и не знаю, кто бы мог против него стать. С первого же аванса я почувствовал, что весь в его руках. Нечего сказать, он этим-таки пользовался и порядочно обирал наших. А как он играет, заметили вы, как он играет? Карты будто по заказу вытаскивает!

— Вообще, нужно правду сказать, что он порядочный негодяй, — сказал граф Легувэ. — Нахален и низок, и еще нынче пообтесался, а то был просто неприличен.

Но все же он вполне заслужил наше внимание. Вызвать в настоящее время на дуэль Робеспьера, хотеть заставить его драться — это, право, заслуга, и заслуга серьезная! Если бы он его убил, то разом поставил бы себя на такую высоту, что ему монумент поставили бы, герб позолотили. Разом бы историческое бессмертие заслужил. Но, не говоря уже о величии такого подвига, как полное искоренение такого изверга, как Робеспьер, самый вызов его, выставивший перед Францией всю низость того презренного гада, которым она теперь восторгается, есть уже заслуга перед человечеством. Во внимание к сознанию этой заслуги мы с графом согласились приглашать его изредка в наше общество.

Всего за нашим столом, вместе с нами, будет обедать девять человек! Ну, а там другой стол...

— Гастрономическое число! — заметил Растиньяк.

— А музыка будет? — спросил д'Эни.

— Чтобы тебе было удобнее напевать своей герцогине разные сладости? Как же, я приговорил и уговорил! — отвечал Растиньяк. — Приговорил музыкантов, обещал заплатить сполна серебряными экю, не давая ни одной ассигнации, а уговорил зрителя, подарив ему мою золотую цепочку. Да нельзя же! Два графа и маркиз угощают, так нужно, чтобы все в порядке было как следует, хотя они и сидят в тюрьме. А какой же обед без музыки?

— Сервировкою и цветами я распорядился, — прибавил Легувэ. — Тебе, маркиз, нужно позаботиться только о хрустале, потому, что растиньяковский богемский хрусталь весь перебили эти разбойники, когда желая его засадить, обыскивали его отель, а у меня богемского хрусталя никогда и не было. Ну, а за нашим обедом не подавать же пить вино из бокалов французского стекла?

— Зачем, я прикажу принести свой богемский! — отвечал маркиз.

Чтобы читателям могла быть понятна возможность подобного разговора в революционной тюрьме, нужно сказать, что конвент,

пленив короля с семейством в Варене, когда тот хотел оставить волнующуюся Францию, и, заточив его в Тампль, объявил от имени государства арест всему неуспевшему бежать французскому дворянству, обвиняя его в содействии бегству короля и вообще в выражении ему сочувствия; в то же время конвент приказал арестовать большую часть духовенства, не принявшего гражданской присяги, и множество чиновников и офицеров королевской службы. Но, по объявлении ареста такому множеству лиц, нужно было их разместить. Тюрьмы были переполнены; распорядились купить несколько домов, но как денег не было, то решили покупать дома на счет тех же арестуемых аристократов, которые пожелают иметь некоторые удобства в помещении. Из этих-то вновь купленных домов образовались новые революционные тюрьмы "Свободной пристани" святого Лазаря, и другие, впоследствии был обращен в тюрьму и Люксембургский дворец. Разместив таким образом арестуемых, нужно было озаботиться и их содержанием, а у государства решительно не было на то средств. Тогда было решено:

пусть всякий содержит сам себя и живет в тюрьме на свой счет, как умеет и как хочет, с тем, чтобы богатые, за предоставленные им льготы, оплачивали содержание бедных; наблюдение за ними поручалось смотрителям, под надзором Парижской коммуны. Такое решение, разумеется, заставило не препятствовать сношению арестованных с внешним миром. Они имели право требовать к себе своих управляющих, поверенных, ходатаев, заведующих их домами, которые и доставляли им все, чего они желали.

Для смотрителей тюрем, надзирателей за камерами, караульных и им подобных, равно как и для прокуроров парижской коммуны, такое распоряжение было слишком выгодно, чтобы они могли желать его ограничить. Они, напротив, старались всеми мерами усиливать требования арестантов, извлекая из таких требований себе пользу, потому что обложили всякое исполнение их пошлиною, взимаемую ими под благовидным предлогом: на содержание тех, кто не в силах содержать себя.

А как контроля ни в сборе этой пошлины,

ни в расходовании ее не было, то и можно представить, какую выгоду из прихотей богатой аристократии, про которую говорили, что на счет стоимости одной ее серебряной посуды можно купить все прусское королевство, все надзирающие за тюрьмами умели себе извлекать.

— Граф Растиньяк требует на кухню тюрьмы двух поваров!

— Ну, что он, — говорит смотритель. — Пусть платит пошлину за каждого повара по 10 франков в день и требует их хоть десять!

— Граф Растиньяк хочет хор музыки!

— Прекрасно! Пусть заплатит 10 франков с каждого музыканта.

— Граф Легувэ приказал принести свой серебряный сервиз!

— Отлично! — говорит смотритель. — Пусть за впуск и выпуск заплатит 20 франков.

— Маркиз д'Эни велел принести свой богемский хрусталь!

— Ну, тоже 20 франков в пользу содержания бедных арестантов!

— А вино?

— По два франка с бутылки!

— А провизия?

— По три франка с обедающей головы!

— А мебель?

— Ну, на ту нужно взглянуть.

— С одной штуки и 2 франка довольно взять, а с другой не грех требовать и двадцати!

— Зато, когда им отрубят голову, мебель вся в тюрьме останется. Наследники ведь не придут же за нею, чтобы их тоже засадили!

— И то правда! Так мы с мебели будем брать не за внос, а за вынос.

И так все, решительно все!

— Я не думаю, чтобы такой порядок был дурен, — говорил член комитета общественной безопасности Колло д'Эрбуа. — Во первых, благодаря ему, содержание всей этой массы арестованных государству ничего не стоит; во-вторых, тоже благодаря ему, у нас из тюрем почти не бывает побега арестантов. Беднякам бежать не на что, а богатых смотрители и надзиратели берегут как зеницу ока. Допустить бежать богатого, для смотрителей и надзирателей все равно что зарезать курицу, несущую золотые яйца.

— Так-то оно так, но допускаются иногда такого рода развлечения...

— И что же, пускай развлекаются, если от того весьма хорошо! Ведь баре, тираны, кровопийцы, что о них толковать! Пусть себе тешатся барски, обедают, ужинают, поют и пляшут, пока мы их всех самих чертям на ужин не присудим или на эшафоте не заставим проплясать.

Разумеется, об этом думали арестованные аристократы французской абсолютной монархии. Арестованные огулом, без всякой причины с их стороны, большею частью люди молодые, беззаботные, веселые, как по характеру, так и по воспитанию, они знать не хотели, что там будет дальше. Теперь им позволяют жить как хотят. Ну и прекрасно! Нужно этим пользоваться. А там, авось народ образумится и их выпустит; не всегда же под арестом держать будет! Ну, а если голову с плеч, ну так что же, ну голову с плеч! Оттого голова ведь не будет крепче на плечах держаться, что мы станем постничать да хмуриться.

На основании такого рода рассуждений,

представители родовых начал французской аристократии обратили свои тюрьмы в приюты светских удовольствий, исчезнувших в это время из демократического Парижа. Роскошные обеды, изящные балы, концерты первоклассных артистов, музыкальные, танцевальные и литературные утра и вечера, драматические представления и живые картины, представления пословиц и шарад в самом роскошном и изящном виде, перенеслось сюда из дворцов, замков, отелей и других помещений роскошного аристократизма, теперь разоренных и ограбленных. Такого рода светские развлечения и удовольствия наполняли собою все время тюремной жизни французской аристократии. Ей и подумать о себе было некогда, хотя она и была в тюрьме.

Ну, что ж не все ли это равно, тюрьма ли, дворец ли, было бы весело, особенно тем, кто здоров и молод?

Пожалуй, если бы только суровая Немезида не указывала непрерывно правого призрака и не грозила, в конце концов, смертью.

Но молодежь смеется над всеми угрозами; она не боится смерти!

— Эх, Боже мой, смерть не беда, — говорит граф Растиньяк. — Вот беда, настоящая беда — это скука! Мы, впрочем, от скуки выдумали новое развлечение!

— Какое?

— В собственную смерть играем!

— Как так?

— Очень просто! Представляется, со всевозможною точностью, тот беззаконнейший, бесовестнейший суд, перед которым мы должны предстать; предлагаются вопросы; формулируется обвинение, разумеется, нелепое; в таком роде: не носили ли вы парика?

— Носил!

— А пряжки на башмаках?

— Тоже носил!

— Обвиняется в нарушении нравственности и порядка. Обвиняется в явном неуважении народа, противодействии власти и отрицании законов свободы, равенства и братства, ибо, по собственному признанию вашему, носил костюм аристократов! Затем судьи удаляются для совещания и происходит объявление несправедливейшего приговора: за ношение пряжек на башмаках и парика, до-

казывающего презрение к народу — смертная казнь! При таком объявлении, если есть жена, сестра, мать или дочь — они падают в обморок; слышны всхлипывания, слезы. Потом идет приготовление ко смерти, прощание, слова завещания и мольбы, обращение к народу; наконец, самое исполнение приговора, предсмертный туалет и самая казнь. Каждый старается представить, как он будет умирать на эшафоте, что будет делать и говорить прежде, чем положит свою голову под секиру палача или гильотины!

— А потом?

— Потом представляется другой, третий, всякий по-своему, смотря по тому, как он смотрит на жизнь и на смерть и что ожидает от будущей, и что оставляет в здешней жизни, пока не придет очередь в самом деле повторить то, что так красиво выходило в представлении!

Так рассказывала о себе и так в самом деле забавлялась в тюрьме молодежь представителей родовых начал французской аристократии, не думающих о том, что они стоят на рубеже, заканчивают собой последнюю страни-

цу минувшей истории. Не хотели они того знать, что с падением их беззаботных голов, начинается новая история, в которой род должен будет уступить свое влияние другому элементу обществу, капиталу, трудовой рост которого род так искренно презирал. Нам возразят: неправда, род любил богатство, то есть капитал, очень, даже чересчур любил! Да, в его результате, в его конечном проявлении. Он любил богатство, капитал, когда тот падал в его рот сам, в виде манны с небес: были ли то королевская милость, нежданное наследство, выигрыш в карты или подарок любовницы. Но трудиться, копить, пускать в оборот, брать проценты — фи! Это жидовство! Достойно ли оно какого-нибудь Гизо или Монморанси? Нет! Этого род не любил!

— На подобные вещи способен лишь Филипп Эгалите!

— Да, потому я иногда думаю, не из жидов ли он?

Детское рассуждение, не правда ли? Рассуждение, от которого неминуемо должен был измельчать род, до исчезновения самого принципа родовых начал; до того, что щит с

лилиями и перелетными птицами, прикрывавший когда-то своей эмблемой гордых рыцарей бурбонского дома и родовитых Гизов, боровшихся с королями Франции, прикрывает в настоящем грешки чуть ли не уличной девки в Петербурге. Но история есть история. Факт измельчания рода несомненен. Принцип родовых начал должен всецело был уступить свое место капиталу. Но станет ли от этого лучше? Бог ведает!

Тогда, по крайней мере, во время разгара страстей французской революции, никто не мог положительно ответить на этот вопрос. Практика жизни не указала ему, что преобладание капитала производит такой гнет, перед которым гнет рода кажется игрушкой. Не возбуждалось еще от тяжести гнета, производимого капиталом со всею жестокостью его бессердечия, то роковое, кровное противодействие третьего элемента общественности, труда, которое, если не будет вперед обсуждено и предупреждено, может окончиться, пожалуй, полным разгромом и падением нынешней цивилизации. Ведь трудно только начало. Легко говорить, легко все отрицать, лег-

ко приговаривать все огулом, дескать, аристократы делают злоупотребления — руби головы аристократам; капитал давит и жмет — режь капиталистов. А дальше что? Какие последствия будут от этой общей резни? Тогда поневоле приходилось опять отвечать: Бог ведает! Практическая жизнь, обращаясь в рутине заскорузлых понятий, не давала никаких данных для анализа, выступающих из такого рассуждения вопросов. Поневоле приходилось опираться и увлекаться красивыми фразами, вроде равенства перед законом, державства народа и неограниченной свободы, охраняемой комитетом общественной безопасности; а этот комитет, по своему человеколюбию ради обеспечения и безопасности Франции, ее общего счастья, требовал не более, не менее под нож гильотины как сто тысяч голов!

Всего менее могла думать и говорить об этом заключенная в тюрьмы французская аристократия, вскормленная и воспитанная фразерством и на фразерстве. Она просто хотела жечь жизнь в том виде, в каком она есть в данную минуту, не думая о завтрашнем дне.

Она знала, что этого завтра может у нее и не будет. И она именно жгла жизнь. Все, что можно было иметь в Париже, было только в тюрьмах. Париж нуждался в насущном хлебе, в тюрьмах — наслаждались гастрономическими обедами; Париж стонал под грозой страшного террора, в тюрьмах раздавалась музыка, пели и танцевали, стараясь забыть, что они танцуют на вулкане; Париж богохульствовал, отрицая религию и поклонение высшему разуму, в тюрьмах служились торжественные мессы, исполнялись художественно реквиемы и производились другие духовные церемонии с таким же благоволением и блеском, с каким столь недавно выполнялись они при блестящем версальском дворе. Светские удовольствия, роскошная жизнь, свойственные свету и его суете, интриги затуманили собою легкомысленное и не думающее ни о чем общество заключенных. Не один роман разыгрался в тюрьме. Мало того, тюрьмы вздумали еще благотворить. Начинались концерты, представления, базары с благотворительной целью. Дамы жертвовали своими вещами, трудом, деньгами.

Мужчины следовали за дамами. Собирались довольно значительные суммы, которые шли на дела помощи и благотворения тем, кто с неистовством требовал их скорейшей смерти. Но это именно и есть болезнь, недостаток, если хотите уродство родовых начал, уродство рода, как элемента общественности. Он презирает и пренебрегает всем, что не принадлежит ему, и благотворит тому, кого сам же презирает и чем пренебрегает. Другое дело капитал...

В числе арестованных аристократов, оставшихся неприкосновенными среди сентябрьских убийств, вероятно, случайно, потому что о них забыли, спаслась вместе с Растиньяком, Легувэ и д'Эни сидевшая с ними в том же отделении тюрьмы "Свободной пристани", молоденькая двадцатидвухлетняя вдовушка, герцогиня де Мариньи. Это была прелестнейшая женщина, добрая, милая, любезная. Покойный муж ее, герцог, так как был единственным сыном командовавшего французскою армией в Нидерландах графа де Мариньи, пожалованного герцогом за победу, одержанную им над австрийцами под Брюс-

селем, был вторым интендантом французской королевской армии. Он женился поздно, получив, уже после смерти отца, его титул и имение. Тому, впрочем, было несколько причин. Во-первых, когда граф Мариньи был возведен в герцоги, то финансы Франции были далеко не в блестящем положении. Он должен был довольствоваться весьма незначительным, данным ему на герцогство майоратом и с трудом мог поддерживать с надлежащим блеском свой герцогский герб.

Жить двумя домами, двумя семействами, герцога де Мариньи и графа де Мариньи они решительно не могли, тем более что у отца его, кроме него, было несколько дочерей, которых нужно было или выдать замуж, или разместить по монастырям, а то и другое требовало значительных расходов. Потом граф де Мариньи, командовав в молодых летах полком, скоро получил назначение быть губернатором Лузиньяны, а там жениться лично было не на ком, да и не стоило. Губернатор там и без жены как сыр в масле катался. Наконец, было еще свое, сердечное препятствие графу де Мариньи жениться вовремя,

которое отстранилось только тогда, когда он достиг солидных, весьма солидных лет, лет эдак шестидесяти, а, может быть, и с хвостиком.

Но получив назначение второго интенданта и титул герцога, вместе с именем, когда сестры были уже пристроены, он решил непременно жениться. Во-первых, какой же это будущий герцогский дом, когда нет герцогини. Потом, ему хотелось бы иметь наследника своему герцогскому имени.

По тогдашнему обычаю, он выбрал себе молоденькую и хорошенькую монастырку, принадлежащую одной из самых старинных, но обедневших фамилий Франции, которая приглянулась его сластолюбивому, старческому взгляду.

Разумеется, отказа он не получил: да и некому отказывать было. Девушка была круглая сирота. Отца и матери у нее не было, а старший брат служил где-то в колониях. Что же касается монастыря, то он рад был отделаться от неплатящей пенсионерки и старался всеми мерами заставить девушку думать, что Бог посылает ей особое счастье в сватов-

стве герцога; тем более что было известно, что герцог не оставит монастырских увещаний без вознаграждения. И свадьба состоялась.

Юная, неопытная, не знакомая ни со светом, ни с жизнью, едва ли понимающая, в какие отношения она себя ставит, молодая герцогиня вдруг очутилась среди полного разгула тогдашнего развратного общества, среди толпы ловеласов, составивших себе из ухаживания за чужими женами цель жизни и возведших правила такого ухаживания на высоту науки.

Ясно, что первое время головка ее совершенно отуманилась.

Среди светского блеска и шума, среди ежедневных удовольствий, окруженная толпою поклонников и ухаживателей, со старым мужем, достаточно богатым, чтобы поддерживать ее на известной высоте, притом мужем, не только не ревнивым, но, кажется, гордящимся ее светскими успехами и победами, герцогиня стала просто целью общего светского соревнования. Все стремились заслужить ее одобрение, все ловили ее взгляд.

Легкость правил, внушаемых светом, разумеется, должны были герцогиню, даже против ее воли, увлекать. Она невольно должна была поддаваться своим впечатлениям. По счастью, взаимное соперничество этого бесконечного, общего ухаживания охраняло герцогиню от таких увлечений. Оно, можно сказать, берегло ее от ее самой. Таким образом, молоденькая герцогиня вне всяких правил, вне особых принципов, со старым мужем, ожидающим наследника своего имени от случая, сохранила себя в течение почти трех лет если не в нравственной, то в физической чистоте и совершенной девственности. В это время началась французская революция.

Неповиновение крестьян, о котором писали герцогу, выразившееся явным отказом выполнять его приказания, вызвало его из Парижа в его замок, на юг Франции. Герцог, сын маршала, сам командовавший полком французской армии и управлявший целую провинцию, и вообразить себе не мог, что такое неповиновение могло окончиться явным восстанием. Да если бы ему и пришло это в голову, то, относясь к крестьянам с самолюбивым

презрением, как низшей расе, когда-то подавленной его предками, он бы не повторил, что недостаточно одного его прибытия, чтобы все укротить, все успокоить. Весьма может быть, что он и точно прекратил бы первоначальные, весьма нерешительные попытки крестьян к отрицанию помещичьей власти, если бы отнесся к их заявлениям сколько-нибудь человечнее и вник в их причины, которые возбуждают их неудовольствие. Но он ничего не хотел знать. Опираясь на свои феодальные права и видя слабость и неспособность правительства, он, с чисто французскою хвастливостью, начал с того, что велел на дворе своего замка поставить виселицу. Дело окончилось тем, что замок был взят приступом, разграблен и сожжен, а все его защитники, вместе с самим герцогом, убиты. Герцогиня осталась девственною вдовою, без опоры, без поддержки, среди самого разгара революционных страстей. На основании постановлений конвента, она, вместе с другими членами французского дворянства, не успевшими эмигрировать, была арестована и посажена в тюрьму "Свободной пристани". Эмиграция не

приходила ей даже в голову: во-первых потому, что она никак не думала, чтобы ее можно было в чем-нибудь обвинить; во-вторых потому, что наличные средства, оставленные ей мужем, были не настолько значительны, чтобы можно было рисковать и все бросить на произвол судьбы. В тюрьме, в числе многих знакомых, принадлежащих тому же обществу, что и она, встретила маркиза Буа д'Эни.

Маркиз был, как мы сказали, красавчик писанный. Молодой, живой, веселый, он был, однако же, вовсе не ловелас. Напротив! В нем, несмотря на его всегдашнюю веселость, можно было заметить скорее поэтическое настроение, даже стремление идеализировать жизнь. Материальные требования настолько были далеки от его восторженных взглядов, что, встречая герцогиню в свете, блестящую и окруженную поклонниками, он почти не замечал ее. Но вдруг встретил он ее печальною вдовою, обобранною, покинутую и в тюрьме. Это вызвало его невольное сочувствие. Тут только он заметил, как она хороша, как грациозна и как девственна. А как тюрьма наполнялась тем самым обществом, кото-

рое привыкло видеть у себя, которое до того блистало во дворцах, в салонах, в свете, и как оно, несмотря на все грабежи, учиненные с их именами, не только не нуждалось в средствах жизни, но имело даже с избытком все, что могло сделать жизнь приятною, по крайней мере, на этот день, не думая о завтрашнем — то тюрьма, само собою, будто волшебством, обратилась в изящный общественный клуб, из которого только не было выхода. Среди всевозможного вида светских развлечений молодые люди скоро сошлись. Буа д'Эни видел в герцогине идеал, который заставлял его забывать тяжесть заключения. Герцогине казалось, что она только в тюрьме начала жить.

В Буа д'Эни она видела нечто иное противу тех ловеласов, которые ее окружали при жизни мужа и пугали своим цинизмом и материальными стремлениями. Начался сантиментальный дуэт, во вкусе мармонтелевских повестей, который, при всей своей идеальности, окончился разговором, что вот, по выходу из тюрьмы, герцогиня сложит свой герцогский титул, откажется от табурета и обратится в

простую маркизу Буа д'Эни. Но только нужно выйти прежде из тюрьмы!

— Ведь не вечно же они будут держать нас взаперти, — говорил маркиз. — Черт возьми, наконец, не допустит Европа.

Не думал он, молодой идеалист, что Европа в это время думает, как бы из положения, в которое поставила себя Франция, извлечь себе побольше выгоды, еще не полученной, она уже препирается сама с собой.

— Не то мы бежим, мы должны бежать! — говорил маркиз, думая, что от его слова должны распасться все замки, раскрыться все двери.

Все эти мечты разлетелись вдребезги от сентябрьских убийств. Узнали о задержании и заточении королевского семейства; революция брала верх, мечтать не только об освобождении, но и о бегстве из тюрьмы было нечего. Нужно было готовиться к смерти.

Но ветреное, безумное общество от того не утомилось. Напротив, оно окончательно начало жизнь, наполняя свое время всевозможными удовольствиями, — изящными, даже изысканными, способными напомнить со-

бою римские сатурналии времен первых императоров. Балы, концерты, драматические представления всевозможных форм и видов не давали задумываться. "Пришел день, он наш", — говорили они и стремились кружиться и веселиться, кто как умел, до вечера, когда к перекличке являлось тюремное начальство, с объявлением на чью голову выпал тираж завтра со светом сложить ее на эшафот сперва под ударом палача, а потом под ножом гильотины, так как палачи не успевали уже выполнять задаваемой им работы.

Одним утром, когда наши приятели Растиньяк, Легувэ и Буа д'Эни были заняты тоже проектированием устройства какого-то нового удовольствия, им принесли газету, в которой описывался ход королевского процесса и результаты голосования в конвенте.

— Признаюсь, у меня замирает сердце, — сказал Легувэ. — Неужели они решатся его убить?

— Не бойся, не поцеремонятся, как и нас с тобою, непременно убьют! — отвечал Растиньяк.

— Да! Но мы с тобой не короли!

— Зато мы не делали королевских ошибок! — отвечал Растиньяк. — Нас убить можно, а обвинять решительно не в чем; разве в том, что носили парик или брюссельские манжеты. Правда, зато и убьют нас без обвинений и без церемоний: сегодня меня, завтра его, а потом тебя или с тебя начнут, а может быть, надумаются всех троих разом. А тут, видишь, целый процесс: и обвинение, и защита, и суд. Те же судят, кто и обвиняет, которые хотят безапелляционно судить. Это ничего, благо форма соблюдена и защита предоставлена. Да как им его и не обвинять? Он все делал, чего они хотели. Захотели они, чтобы не было крепостных, он в своих уделах сейчас же крепостных освободил; захотели обсуждать положение дел, он собрал штаты; захотели мещанское правительство, он и это им предоставил, назначив Бальи министром; захотели конституцию — он дал конституцию. Чего же еще? Осталось желать одного — его убить, они и убьют!

— Убьют своего короля, но это подлость, низость! — вдруг горячо, нервно вскричал Буа

д'Эни. — По данной и принятой ими самими конституции, особа короля не ответственна и неприкосновенна. Такое убийство ляжет пятым на всю Францию. Его нельзя допустить!.. Мы все...

— А что мы сделаем, сидя в тюрьме? Если бы и могли что сделать, то об этом нужно было думать раньше. А теперь мы не можем отстоять самих себя даже на один день, что же можем мы сделать против всех?

— Особа короля священна! — сказал Легувэ.

— Да они отвергают всякое священство, и вот для того, чтобы доказать, что отвергают, они захотят его убить, они захотят, чтобы все видели, что они порвали связь со всем прошлым. Для того они одинаково убьют как нас, так и его.

— Если это будет, Бог накажет Францию! — заметил Буа д'Эни.

— И накажет разъединением, раздавлением, вечными спорами и вечною враждою, от которых долго и долго периодически будет литься кровь! — отвечал Растиньяк. — Король — это единство, это средоточие, это сила.

Не будет короля, не будет и единства, не будет и силы, и Франция стубит сама себя...

— Отчего же такая судьба должна пасть на Францию? — с неудовольствием высказал Легувэ. — Разве вся Франция будет виновата в убийстве? Неужели от того, что в конvente есть десяток готовых злодействовать всякую минуту, должна страдать вся Франция? Нет, Бог справедлив! — резонировал Легувэ далее. — Генрих IV был убит, но оттого Франция не пострадала!

— Другое дело, — возразил Растиньяк. — Он был убит злодеем, и пострадал злодей! А тут этих извергов, этих дневных разбойников слушает народ; мало того что слушает, мало того что допускает, но даже ими восторгается. Потому ясно, если убийство будет совершено, то будет совершено народом; народ должен будет за него и отвечать. Нельзя же сказать, что народ тут ни при чем, когда, отвергая Евангелие, он пустое и глупое фразерство этого мерзавца и труса Робеспьера принимает за апостольскую истину! Кто виноват в таком настроении народа: кто разрушил его нравственную связь с разумом? Это другой вопрос.

На него могут ответить, может быть, только те, которые такую ошибку свою теперь испускают сами собою. Во главе ответчиков, может быть, должны быть и мы, потому что своевременно ни чему не противодействовали, ничем не восставали, а по своему легкомыслию и беззаботности все идти как идет! Но довольно философствовать! Скажи, д'Эни: твоя герцогиня возьмет на себя труд прочитать несколько тирад из Федры!

— Я думаю! Она никогда не отказывается сделать что-нибудь для общего удовольствия. Только отчего же она моя? Ах, если бы она была моя! — отвечал задумчиво Буа д'Эни и вышел из комнаты.

Глава 5. Необъяснимое объясняется

Между тем необъяснимое бегство Чесменского произвело в Петербурге страшный переполох. Каким образом, что, как? Кто помогал, кто содействовал? Если бы на престоле была не Екатерина, то, пожалуй, все свалилось бы на нечистую силу, но Екатерине, воспретившей всякую переписку и сменявшей губернаторов, верящих в колдунов и подземную силу, было неудобно подносить доклады подобного рода. Велено было расследовать это дело до точности одному из самых ловких следователей того времени, Шешковскому.

Шешковский начал свое следствие с опроса часовых и караульных, но, по своей опытности, он сейчас же заметил их полнейшую невинность. Правда, часовые не видели арестанта сквозь затемненное стекло, но они относили эту темноту к вечернему времени и, не слыша никакого шума, полагали, что арестованный спит. Если скрывавшийся не проходил через двери, не выходил в коридор, не шел мимо пикета, то, значит, прошел сквозь окно. Но это предположение оказалось еще

более неприятным. Окно было так мало, что пролезть сквозь него было невозможно; кроме того, оно было прикрыто железною решеткою, которая оказалась в целости, и по двору постоянно обходил кругом дозор, который не мог бы не заметить всякого явившегося на двор откуда бы он не появился; да со двора выхода не было. Единственные железные ворота, ведущие с другого двора, запирались в восемь часов, и ключ относился к коменданту генерал-губернаторского дома. Но ведь не мог же он пройти сквозь стены!

Это замечание заставило Шешковского подвергнуть арестантскую, в которой был заключен Чесменский, тщательному осмотру, и люк был открыт.

Кем был устроен этот люк, почему Чесменский попал именно в эту арестантскую с устроенным люком?

Чтобы бежать через люк, нужна тоже сильная помощь и содействие. Кто же оказывал содействие Чесменскому? Эти вопросы сильно озабочивали Шешковского, но добраться до их ясного разрешения ему не удалось.

Впрочем, путь, которым шел Чесменский, ему был известен.

Остались следы переодевания среди забытых орудий пытки; нашелся на лестнице потайной фонарь; стало быть, явно Чесменский прошел через генерал-губернаторскую квартиру, но каким образом? Напрасно допрашивали Гагарина, секундантов, напрасно угрожали — видимо было, что из них никто ничего не знал.

Гагарин разъяснил, что ввиду напрасного и дерзкого требования дуэли Чесменским он не признал возможным отказаться, но что, желая исполнить волю государыни, которая дала ему почувствовать, что она не желала подвергать Чесменского опасности, и надеясь на свое искусство в фехтовании, он решил только защищаться, о чем и заявил вперед.

Государыню дело это очень озабочивало. Она смотрела на него, как на интригу против ее власти. С тем вместе, она не хотела придать ему значение строгостью преследования. Потому как Гагарин, так и секунданты были скоро освобождены. Этим освобождением государыня как бы говорила бежавшему:

"Из-за чего же ты хлопотал, любезный, — из-за двух-трех дней ареста, стоило ли? А выпустили их, стало быть, выпустили бы и тебя!"

Несмотря, однако же, на освобождение арестованных, дело в руках Шешковского не прекращалось. Он добивался раскрыть интригу, которая беспокоила государыню. Каким-то образом до него дошел слух, что на генерал-губернаторском балу с Чесменским танцевала Наденька Ильина.

Он счел нужным испросить у государыни разрешение потребовать к допросу дочь генерал-лейтенанта Ильина, нашу девушку-шалунью, которая в это время, заметим кстати, по представлению князя Таврического о службе ее отца, была сделана фрейлиною. Государыня, не желая компрометировать девушку вызовом ее к начальнику розыскных дел, взяла этот труд на себя.

Первый раз как после доклада Шешковского Ильиной досталось дежурить при государыне, Марья Савишна Перекусихина пришла к ней сказать, что государыня ее приглашает с ней вместе завтракать.

Разумеется, такое внимание очень обрадо-

вало девушку-шалунью, с тем вместе и очень ее озаботило. Как ей держать себя против государыни, что говорить? Как бы не сказать какой глупости?

Марья Савишна начала ей рассказывать о разных порядках, принятых при дворе, и привычках государыни, напирая на то, что государыня всего более любит чистосердечие и терпеть не может лжи; что потому, если государыня что спросит, то должно ей говорить с полною откровенностью, ничего не утаивать и, Боже упаси, сказать неправду. Такие сентенции свои Марья Савишна подкрепляла рассказами нескольких случаев из жизни Екатерины, из которых оказывалось, что чистосердечие и откровенность всегда выходили торжествующими, напротив, притворство, скрытность, ложь всегда посрамлялись.

Наденька, у которой и без того ничего не держалось на душе, что бы сейчас же не было и на языке, разумеется, дала себе слово полной откровенности и тут же подурачилась над Перекусихою, начавши передразнивать, как она мнет свой платок и как сморкает нос, понюхав табуку из подаренной ей государы-

нею табакерки.

Но время завтрака наступило. Наденьке пришлось идти.

Государыня сидела у накрытого стола одна. Перед нею, на сервированном приборе, стояла маленькая чашечка бульона. Напротив стояла на приборе другая такая же чашечка, посредине стояло блюдо с маленькими пирожками, сухариками, черными и белыми гренками и разного рода сухой кнелью. Подле государыни стоял маленький графинчик с зеленою водкою, против которого стояло золотое плато с четырьмя бутылками разнообразного вина.

Государыня приняла Наденьку, как бы приняла мать, если бы та у ней была жива.

— Здравствуй, Наденька, — сказала она. — Очень рада ближе познакомиться с тобою. Служба отца вызывает невольное внимание к его дочери. А служба Ильиных всегда благоугодна: отец снабжает всем нужным мою победоносную армию, и вот светлейший пишет, что никогда армия не была столь хорошо довольственна; сестра заботится о великой княгине, а ты при мне. Я не говорю уже о бра-

тнях, которые оба показали себя настоящими молодцами. Садись, голубушка, за мой скромный завтрак. Ведь ты живешь теперь у сестры, княгини Гагариной?

И государыня указала Наденьке место против себя.

Наденька, красная как маков цвет, выполнила со всей точностью установленный этикетом книксен и села против государыни.

Государыня сама подвинула к ней блюдо с пирожками и кнелью.

— Кушай бульон, — сказала она. — А вот пирожки и кнель. Я очень люблю из манной крупы! Может, хочешь водки? — шутливо спросила государыня, наливая себе полрюмки.

— Благодарю, ваше величество, я не пью! — отвечала Наденька, не зная куда спрятать свои глаза, в которые государыня смотрела так пристально.

— И прекрасно, молода еще! Нет, я, по моим летам, люблю перед обедом и завтраком выпить полрюмки полыни. Она укрепляет и содействует пищеварению! Ну, что же, вы дружны с сестрою? Ты у ней теперь?

— Точно так, ваше величество, с того времени, как папа потребовали на службу, я у сестры!

— И сестра балует, много вывозит?

— Да, ваше величество, много! Мы объехали с визитом почти всех!

— И зовут?

— Благодаря милости вашего величества, не обходят! Редкий день, чтобы не приходилось где-нибудь танцевать.

— А на балу у графа Якова Александровича была?

— Была, ваше величество, это был мой первый бал в Петербурге.

— И много танцевала?

— Танцевала, ваше величество. И представьте себе, тут со мною случилось необыкновенное приключение. Танцевала я с одним кавалером, своим хорошо знакомым кавалером, и разговаривала. Только вдруг смотрю: мой кавалер совсем не мой, похожий на него, правда, и одет как он же, но совсем другой человек, гораздо его старше и не тот, вовсе не тот! А перед тем я с ним говорила: он был он!

— Ну, что же?

— Я от изумления потерялась, не понимая, как я могла ошибиться, а он прямо: так как, дескать, зять ваш, князь Гагарин и Чесменский арестованы по высочайшему повелению, то я решился воспользоваться кадрилию, которую вы, вероятно, полагали танцевать не со мной.

— А ты думала, что танцуешь с Чесменским?

— Я и танцевала и говорила с ним, государыня! Уже кого другого, а его-то я бы не могла смешать. Тут вдруг... Нет, этого не может быть, он непременно был он!

— Отчего же это, кого другого смешать было можно, а Чесменского нельзя.

Наденька вспыхнула, будто ее обварили кипятком. Ручки ее задрожали. Но помня наставление об откровенности, она проговорила едва слышно:

— Он часто бывал у сестры, хороший знакомый... Я так часто с ним болтала, шалила... Он такой смешной, никогда не обижается... Я много шалила с ним...

Наконец машинально произнесенные слова замерли на ее губках.

— Шалила просто или любила шалить? — спросила государыня с улыбкою. — Говори, милая, откровенно, как бы ты говорила своей матери. Я люблю откровенность!

Государыня хотела добратся даже до мелочных подробностей.

— Любила шалить! — отвечала Наденька с полною откровенностью, зардевшись вновь, как весенняя утренняя заря.

— Ну, расскажи, как же вы шалили? — спросила государыня, обдавая Наденьку своею благосклонною улыбкою и угощая черепаховым соусом, который поставил на стол Зотов. Когда тот поднял с блюда золотую крышку, то обдал завтракавших тем возбуждательным, здоровым ароматом, который всегда вызывает аппетит.

Наденьке было, впрочем, не до аппетита и не до соуса. Она просто была сама не своя от вопросов государыни.

Однако же после выпитой по настоянию государыни рюмки кипрского, разболталась и начала рассказывать разного рода шалости, которые они с Чесменским вместе выкидывали. Рассказала, как заставила его запутаться в

лентах, которых кончик она дала ему выбирать и этот кончик к его пальцу приклеился, как заставила его нанизывать бисер, а когда он наклонился к столу, то опустила ему за воротничок кусок мороженого, как танцевала с ним, кружила его, пела, кокетничала, как вместе передразнивали Безбородку и прочее и прочее. Между прочим, рассказала она, как Чесменский представлял ей свое поступление в масоны, весьма характерно обрисовывая минуту, когда, после таскания его с завязанными глазами, с него вдруг сдернули повязку с глаз и полагали, что испугают направленными против него кинжалами и шпагами, в то время как он знал, что все это только комедия, что ему не сделают ничего, и когда прямо против него с широчайшим кинжалом стоял смешной старичок Потапов, разумеется, Чесменский не испугался, а расхохотался.

— А он поступил в масоны зачем?

— Да говорил, что все поступают, так почему же было не поступить и ему?

— А! Стало быть, ему помогли масоны! — подумала государыня, предлагая после рябчика кушать фрукты. Ей больше нечего было

спрашивать, и она встала из-за стола. Разумеется, встала и покрасневшаяся, разгоревшаяся и разболтавшаяся Наденька.

Государыня послала за Шешковским и передала ему свои соображения. Через некоторое время эти соображения подкрепились письмом Репнина из Берлина, в котором тот описывал заседание берлинской ложи масонов и поименовал в числе присутствующих Чесменского. Пришло сведение из Мюнхена, что Чесменский от какого-то общества выбран депутатом и посылается в Париж для переговоров.

— А, так это все общества, все это сектаторы. Я их оставляла в покое, пока они не мешались в мои дела. Им этого мало было, они не довольны. Пусть же теперь не жалуются.

И началось преследование масонов и мартинистов. Проводник идей их помощью прессы, Новиков был арестован.

Но государыня была слишком умна, чтобы думать, что можно арестами и ссылками бороться против распространяющейся идеи. Она понимала хорошо, что идея побеждается только идеею; слово словом, и решила ска-

зять свое слово против настроения, проводимого тайными обществами, за эту работою мы и видели ее в начале романа.

Может быть, если бы все описываемое нами происходило в начале царствования государыни, то ее преследование тайных обществ и ограничилось бы только этим ее трудом, поддерживаемым мерами административными, более действительными, чем всякое преследование и кара; но это было уже к концу ее славного царствования, когда она уже чувствовала невольное утомление от бремени власти, и когда даже такой характер, каков был у Екатерины, подчинился влиянию исключительности самовластия, и еще в то время, когда разгоралась французская революция и народные страсти бушевали под впечатлением разрушительных учений. Ясно, что тогда преследование невольно становилось круче, наказания жестче, требования строже и отчетливее. Мартинисты подверглись абсолютному преследованию. В это время государыня была еще поражена смертью Потемкина.

— Он был моим злым духом, — говорила

себе Екатерина, — но преданность его мне была безгранична!

И она искренно его оплакивала.

Между тем следствие, начавшись с бегства Чесменского и развившееся в преследование мартинистов, приняло новое разветвление. Из показаний некоторых кавказцев, допрашиваемых по их сношениям с масонами, оказывалось, что среди офицеров тамошней армии и между тамошнею местною аристократиею появилось стремление пропагандировать новое устройство Кавказа, образуя из него автономное государство, независимое от России. Существование такого предположения до некоторой степени подтвердилось донесением главнокомандующего войсками нашими на Кавказе, графа Валериана Александровича Зубова, брата фаворита-князя. Тот хотя и в частном письме, но прямо уверял, что такое стремление явилось по инициативе заведовавшего до него делами на Кавказе генерала Потемкина Павла Сергеевича, который будто бы руководствовался в этом мыслию своего двоюродного брата, светлейшего князя Таврического.

Разумеется, на мертвого можно было лгать что угодно. Хотя весьма вероятно теперь думать, зная дальнейшие похождения и интриги Зубовых, что вся эта история была не более, как плод их измышлений, которым Шешковский служил покорным орудием; цель такого измышления была понятна. Затемнить в воспоминаниях государыни личность покойного, который столько лет пользовался преобладающим влиянием и о котором даже теперь государыня не переставала сокрушаться. Им нужно было представить его в ее воспоминаниях человеком, готовым в видах своего честолюбия даже на измену. Тем не менее сближение явлений, которые старались выставить как бы продолжением интриг графа Панина в пользу вступления на престол цесаревича, движение тайных обществ, проводящих свои идеи с предвзятою целью и посылающих своих депутатов для переговоров с конноводами революции, наконец, бросающаяся в глаза инициатива образования особого государства из части ее славных завоеваний не могли не смущать, не волновать славолюбивой души государыни. Против воли она горя-

чилась, относилась ко всему нервно, подозрительно. Ей хотелось открыть причину, начало. Подозрительность ее заставляла ее беспрерывно обращаться к себе и спрашивать: неужели это он, он? А под словом "он" она подразумевала родного сына.

А тут будто нарочно, вспоминает она, что он всегда стоял и стоит против тех принципов, которые совпадали с ее взглядами; что он постоянно недоволен ее распоряжками, управлением; все находит несоответственным, говорит почтительно, сдержанно, но не полною откровенностью; высказывает прямо, что все не так, все следует переделать, опрокинуть. Но это не удивительно от него слышать. Он просто не понимает!

Все бы это ничего, если бы революция во Франции не делала столь страшных успехов, будто бы нарочно для того, чтобы поддержать его мнение, что принципы энциклопедистов непрактичны, не соответственны, противоречат сущности государственного устройства.

А революция все шла и шла, распространяясь быстро, пока не дошла наконец до своего апогея в начавшемся процессе против коро-

ля — процессе, в котором справедливость, законность, самый даже порядок судебных пре- ний могли назваться бессовестнейшею на- смешкою над самою идеею суда.

Глава 6. Траур

— У нас сегодня концерт? — сказал Буа д'Эни Растиньяку, входя в его роскош- ный кабинет в тюрьме. — Герцогиня дала мне слово петь сегодня из "Армиды".

— Да! А мне дал слово Мирвуца сыграть на виолончели свои неподражаемые этюды из подражания природе.

— Обещал быть и Годен, правда?

— Обещал! Я уплатил уже десять франков за его вход и приготовил ему табакерку в по- дарок. Я купил эту табакерку после Ланкло: изумруды с рубинами и эмалированная осно- ва! Прелесть просто! Если он придет, концерт будет действительно на славу!

К ним вышел Легувэ, бледный с посинелы- ми губами и как бы в лихорадке.

— Они его убили!

— Как убили? — вскрикнули оба.

— Так, на эшафоте отрубили голову. Утром

ты слышал вдруг какой-то гам раздался. Это били барабаны. Это была казнь.

— Да правда ли?

— Правда, мне сейчас сказал смотритель со зверской радостью. Дескать, не стало вашего предводителя Капета! Говорят, он умер героем!

— Слава Богу, мир праху его!

— Да здравствует король!

— Да здравствует Людовик XVII! Да будет славно его царствование! Где-то он теперь?

— Говорят, отдали учиться сапожному или столярному мастерству!

— Сами сапожники, так хотят, чтобы весь мир обратился в сапожников.

— Теперь придется отложить все увеселения в сторону, надо дать знать; так как по королю полагается носить годовой траур, а в тюрьме неделя идет за год, нужно сообщить, что в течение всей этой недели будет пост и молитва: вот и выполним торжественный реквием, это можно!

— И не худо выпить шампанского за здоровье молодого короля! Вели, граф, дать шампанского! — сказал Легувэ.

Растиньяк позвонил. Явился его старый камердинер, севший также охотно в тюрьму, чтобы служить своему барину, как Клери сел, чтобы служить королю. Впрочем, камердинеру дозволялось выходить, с уплатою, разумеется, пошлины.

— Ты слышал?

— Слышал, — отвечал старик, отирая катившиеся из глаз слезы. — Что-то будет, что-то будет?

— Божеское наказание будет, вот что! Принеси, однако, нам шампанского! Нужно выпить за геройскую кончину прежнего и за здоровье и победу нового короля.

— И за принца-регента: граф Прованский, ведь он должен быть регентом!

— Да, но он в Италии!

— Не здесь же ему быть! Если он был здесь, и его бы убили!

— Я думаю не пощадят и Элагитэ!

— Само собою не пощадят! Да этого и не жаль! Представьте себе, господа, при подаче голосов в конвенте, он тоже подал свой голос за смерть короля! Подлец!

Шампанское явилось, и беззаботные ари-

стократы весело его раскупорили и, распивая, не думали, что через день или два, пожалуй, и им тоже придется сложить свои головы.

— По крайней мере, не палач рубить будет, — сказал Растиньяк. — Вы слышали, выдумали такую машину, что и не услышишь, как останешься без головы, говорят, на днях поставят!

— Хорошо, если бы эта машина перерубила все головы королевских убийц, — прибавил Легувэ.

— Надо полагать, что дело к тому придет: рано ли, поздно ли между собою перегрызутся!

Камердинер, разнося шампанское, сказал, что в тюрьму новенького привели, молодого, должно быть, тоже из дворянчиков.

— Не изволите ли приказать позвать к вам? — спросил камердинер.

— Зови, зови! Кто такой?

Вошел Чесменский.

Трактирщик сделал свое дело, получил награду от Шомета за указание аристократа, да еще такого, который выражал королю явное сочувствие, назвав всех приговоривших его к

смерти подлыми убийцами и людоедами.

— Позвольте познакомиться, я граф Расти-
ньяк, а это мои товарищи по заключению.
Граф Легувэ и маркиз Буа д'Эни!

— Я корнет русских лейб-гусар Чесмен-
ский.

— А, русский, вот хорошо! У нас уже есть
один русский, который, впрочем, вам в де-
душки годится. Молодец тем, что Робеспьера
хотел заставить с собою на шпагах драться!
Он иногда приходит к нам! — сказал Легувэ.

— Просим пожаловать, занять место. Мы
все живем здесь дружной семьей, пока нас не
увезут с тем, чтобы отправить в гости к на-
шим дедушкам, и сказать нечего. Вот по слу-
чаю сегодняшнего траура отложены все уве-
селения, а то живем весело, вы бы не соскучи-
лись, хотя мы и в тюрьме! — сказал Расти-
ньяк. — Не прикажете ли, за здоровье коро-
ля! — прибавил он, предлагая бокал.

— Король умер, господа, — сказал Чесмен-
ский нерешительно. — Мимо меня следовал
кортеж, ведущий его на казнь.

— Король не умирает! — твердо восклик-
нул Растиньяк. — Да здравствует король

Франции и Наварры Людовик XVII, — и он залпом выпил бокал.

Чесменский последовал его примеру вместе с Легувэ и Буа д'Эни.

— Да здравствует Людовик XVII, — проговорили они.

Неделя траура прошла. Опять начались тюремные сатурналии. Опять гастрономические обеды тешили на вкус, прекрасная музыка — слух; живые картины и сценические представления — зрение; аромат живых цветов — обоняние, а чувственные удовольствия — самое осязание роскошных заточенников. Только Буа д'Эни со своею герцогиней не вдавался в последние, не желая своих идеалов забрызгивать грязью и оставаясь в вертеровской чистоте. И это было время, как Париж чуть не умирал с голоду и от скуки имел одно развлечение — ораторствовать в клубах кордильеров и якобинцев и смотреть, как рубят головы аристократам. Между тем революция росла и ширилась, вводя убийство в систему. Новая машина, названная по имени своего изобретателя гильотиною, была поставлена и делала свое дело. Она не уставала

и не ошибалась как палач, а ровно, будто одушевленное существо, срезывала беззаботные аристократические головы. Каждый вечер помощник Шомета, звероподобный Гебер, объезжал тюрьмы и объявлял, кто должен на другой день нести под ее удар свою голову, и каждое утро телеги будили Париж своим стуком, отвозя несчастных на площадь Революции. Скоро коноводам революции показалось недостаточным убить только короля, они убили и королеву...

В один из вечеров, после веселого гастрономического обеда, живых картин и французской кадрили с бешеным галопом, тираж нести свои головы под удар гильотины выпал на трех приятелей: графов Растиньяка и Легувэ и маркиза Буа д'Эни.

Они, как истинные французы, встретили заявление это шуткою.

— Будем же сегодня ужинать, так как завтра не будем в состоянии обедать, — сказали они и пригласили было разделить с ними их ужин даже привезшего им роковое известие о смертной казни звероподобного Гебера, но тот хмуро от него отказался, досадуя, что сво-

им сообщением не может смутить ненавистных ему аристократов. Кто-то, для шутки, предложил было послать приглашение к Дантону, как любителю хорошо покушать, но это не состоялось, потому что нашли его слишком нравственно грязным, чтобы сидеть с ним за одним столом. Но шутка тем не менее оставалась шуткою и не сходила с уст, должествующих завтра сомкнуться навеки.

Не шуткою сделалось заявление только на сердце герцогини де Мариньи.

Молодой женщине, жившей столько лет со старым и холодным мужем, женившемся на ней ради приличной обстановки дома и в надежде, что так или иначе она ему даст наследника его герцогского имени, и только разжигаемой в своем воображении страстными напевами поклонников, и вдруг полюбившей со всем пылом первой любви скромного, идеального юношу, такое заявление казалось невероятным, и хотя она видела ежедневно, что такого рода решения каждый день звероподобным господином объявляются и на другой день приводятся в исполнение, но она никак не думала, что такая же участь может по-

стигнуть и того, кто в эту минуту был для нее целый мир, кто заставил ее забыть и свет, и двор, и свободу, и свое общественное положение. Едва начавши жить сердцем в тюрьме, потому самую тюрьму считая как бы преддверием счастья, она вся уносилась мечтою в будущее. Она думала, вот двери тюрьмы раскроются и я его и для него, как и он для меня! Она чувствовала, что ее любят, любят искренно, страстно, и в себе ощущала силу любви, готовой на все жертвования. Деликатность и скромность избранного ее сердцем никаких жертвований от нее не требовала. Тем лучше, чем с большею охотою она отдаст ему всю себя. Она любила и надеялась. Но вот его отнимают у нее, увозят, хотят убить.

Она вскрикнула отчаянно, бросившись на грудь Буа д'Эни и вызвав своим криком улыбку удовольствия на зверском лице Гебера, которая сменилась сейчас же зубовным скрежетом злости, как только он услышал следующие слова герцогини:

— Жак, и я с тобою, и я... умрем вместе! — сказала она.

— Как этих проклятых аристократов лю-

бят! — подумал про себя Гебер. — Меня никто никогда не любил!

И он именно заскрежетал от зависти.

— Нет, Эмили, нет! Ты еще остаешься! Тебя может выручить случай! Возвращаю тебе твое слово, и вот, возьми твое кольцо! Ты свободна!..

— Не хочу я свободы! — отвечала плачущая женщина. — Я твоя и хочу быть твоею, ты мой милый, мой драгоценный! Если они хотят убить тебя, пусть и меня убьют! Смерть с тобою мне дороже всех даров жизни! Я не желаю, не хочу жить без тебя!

И она страстно, горячо обняла его и прижала к своей груди, не обращая внимания на толпу присутствующих. Д'Эни невольно прильнул со своим поцелуем к ее щечке.

— Послушай, Жак, — вдруг начала она с каким-то страстным увлечением, извиваясь около него и с вибрацією голоса, доказывающей ее внутренний трепет. — Я сказала тебе, что я твоя, живая и мертвая... Говорят, ты завтра умереть должен, и без меня. Я умру после... Мы молоды, мы жить хотим! Я не жила еще, мой бесценный, мы можем прожить эту

ночь вместе; а там, пожалуй, и умрем, все же мы скажем, по крайней мере, что мы жили! Не так ли, мой дорогой?

Д'Эни, был ли он тоже так страстно увлечен ее ласкою, что забыл о страшном завтрашнем утре, которое его ожидало, или из французской бравады, которая тогда кружила головы всей тамошней аристократии, отвечал на этот вызов только страстною ласкою.

У д'Эни помутились глаза, он мог только целовать свою милую подругу, но Растиньяк крикнул:

— Bravo, bravo! Шампанского! Мы празднуем сегодня свадьбу нашего друга и завтрашний выход из тюрьмы! Ура!

За этими словами Растиньяка Легувэ воротил музыкантов, подарив свой бриллиантовый перстень зрителю тюрьмы за дозволение нарушить установленную уже тогда тюремную дисциплину продолжением праздника до часа ночи, вместо обязательного окончания его к десяти часам.

— Мы сегодня празднуем свадьбу нашего друга! — повторил Легувэ.

И снова начался разгул; появился роскошный ужин, заиграла музыка, и веселье закипело. Достали, впрочем, и аббата, который в коротких словах прочитал благословение. Все радовалось, все пировало, а в двенадцать часов д'Эни и герцогиня удалились в отделение герцогини, чтобы до семи часов исключительно принадлежать друг другу.

На другой день, в семь часов утра, Растиньяк, Легувэ и Буа д'Эни были увезены и сложили под ударом гильотины свои головы.

Прощание герцогини и маркиза было трогательно. Чесменский не забудет его никогда. Он помнит, как маркиз благодарил ее. Он говорил, что она украсила всю его жизнь, что ему теперь не страшна смерть, так как он испытал высшее счастье, какое только могло быть ему на свете доступно...

— Там, там, — говорил он. — Я буду ждать тебя, милая Эмили, чтобы благодарить тебя и наслаждаться тобою, потому что ты моя и я твой, в этом свете и в будущем...

Он говорил весело, будто собираясь на прогулку, обратился к Чесменскому, которого церемониально герцогине представил, просил

поберечь его подругу, помочь в чем можно, услужить... Потом он целовал ее, то нежно, то страстно, и будто шутя говорил о поцелуях будущей, загробной жизни, когда души их сольются, и он, любя ее, будет любить себя... Затем еще раз обнял, еще поцеловал и кончил, напевая какой-то водевильный куплет.

Она, бледная, немая, будто окаменелая, полустояла, полувисела на его груди, принимая его ласки. Она молчала, даже слезы не струились из ее глаз. Она только проговорила: "Твоя, твоя... навеки!" — и замерла, как будто с этими словами улетела душа ее, будто с ними исчез ее дар слова. Но вот ее отвели от него, она молчала. Он поцеловал ее последний раз и скрылся, увлекаемый служителями коммуны. Она все еще стояла и смотрела вслед, как бы прислушиваясь. Но вот застучали телеги, выезжая из тюремного двора. Раздался крик, не человеческий крик.

— Не дай Бог слышать такой крик другой раз, — говорил себе Чесменский, вспоминая этот вопль дикого, страстного отчаяния.

— И меня с ним, и меня... — вскрикнула она и начала биться головою об угол косяка.

Чесменский ту же минуту подхватил ее, но она уже была вся в крови.

Удержали герцогиню, уложили ее в постель. Она себя не помнила. С ней был нервный припадок: руки ее дрожали, глаза сияли блеском безумия...

Чесменский, по чувству человечности и воспоминания просьбы умершего, невольно заботился о ней, старался успокоить, угодить.

Потом наступил период полной апатии. Она будто ничего не видела, ничего не замечала. Однако же, будучи в более спокойном расположении, она сказала Чесменскому:

— Благодарю, что вы не оставляли меня в эти страшные минуты. Мне нечем отблагодарить вас. Все равно, так или иначе, я уйду к нему, вместе с ним, мы за всех будем молиться. Но у меня есть подруга, она может и найдет средство чем-нибудь заслужить вашу доброту ко мне. Вы русский, и она русская... Я напишу к ней, и она будет вашим другом, сестрою, сделает все, что может... А мне пора к нему.

Но она прожила в таком виде полной апатии более недели. Только на девятый день

казни Буа д'Эни вышло решение, по которому и она должна была подвергнуться тому же удару и тем же орудием, под которым умер ее возлюбленный.

— Ну, вот и слава Богу, вот я и пришла! — сказала она, когда ей объявили решение, и даже как бы с радостью проговорила: — Вот мы и увидимся!

Умерла она совершенно апатично, видимо не осознавая — ни что с нею делают, ни куда ее везут.

Несмотря, однако же, на слабость, апатию и, казалось, полную бессознательность, она успела приготовить и дать Чесменскому письмо.

— Отдайте, и да хранит вас Бог! — сказала она ему, готовясь идти к роковым телегам; потом прибавила, оправляя на груди какой-то голубенький бантик: — Я надеюсь, ему понравится!

И лицо ее сияло светлою, веселою улыбкою... Больше Чесменский о ней не слышал.

— Кому она написала? — подумал Чесменский и взглянул на адрес. На конверте было написано: "Супруге неаполитанского послан-

ника в Санкт—Петербурге, ее светлости герцогине Анне де Сарра Коприолла".

— Кто такая де Сарра Коприолла? — подумал Чесменский и спрятал письмо...

Но вот настали страшные дни. Аристократия начала редеть в тюрьмах, увозимая ежедневно под топор гильотины десятками. Тюрьмы наполнялись другими лицами; началась другая жизнь. Власть сосредоточилась в руках самых кровожадных якобинцев Юры, которые под именем комитета общественной безопасности и комиссаров конвента, буквально злодействовали. Робеспьер, Дантон, Колло д'Ербуа, Сен—Жюст с Маратом, Пашем, Шера, Шаметом и гнусным Гебером, всех не перечесть, были именно Божье наказание для Франции. Они нашли, что не довольно резать головы только аристократам, но следует всем, кто мог иметь к аристократам сочувствие, кто им служил, помогал; потом и этого показалось мало — кто не достаточно их преследовал. Затем кровожадность не удовлетворялась и такою широкою программю злодейства: она решила, что следует рубить головы всем, кто только чем-нибудь выше гряз-

ной черни, сколько-нибудь благороднее разбойника. И вот тюрьмы начали набиваться, в буквальном смысле слова, до тесноты, до отсутствия помещения, сперва метрдотелями больших домов, парикмахерами, часовщиками, горничными, камеристками. Потом пошли все федералисты, все жирондисты; наконец, выдуманы были подозрительные. А к подозрительным относились все, которые таинственно говорят о несчастиях Франции, которые жалеют купцов и откупщиков; которые водятся с дворянами, священниками и умеренными, которые не принимают деятельного участия в республиканском движении, и те, которые ничего не сделали против свободы и для нее. Бог знает чего не написал еще Шамет, чтобы иметь право признать подозрительным всякого, кто только не участвует в республиканских разбоях. На этом основании попали в тюрьмы купцы, отказывающиеся продавать товар дешевле, чем сами его купили; продающие что-либо дороже установленной таксы, отказывающиеся принимать ассигнации; не выполнившие платежа требуемой контрибуции, наложенной выше

средств. Гильотина неустанно работала, не успевала снимать головы с приговоренных. В тюрьмах становилось теснее и теснее, приезжал объявлять им решения уже не звероподобный, гнусный Гебер, но не менее свирепый и еще более гнусный Функье—Тонвиль. Иностранцы давно находились вне закона, и Чесменский каждый день должен был ожидать, что тираж жертвовать своею головою выпадет на него.

Глава 7. Свой человек

Раздумывая о своем фальшивом положении, Чесменский не очень тяготился непрерывным ожиданием смерти.

— Не все ли равно, — думал он, — ну, убил бы на дуэли Гагарин, или попался бы в иллюминатстве Карлу—Теодору, те ведь тоже отрубили бы голову! Не то, пожалуй, с голоду бы умер. Пожалуй, только мучений было бы больше: здесь, по крайней мере, одна секунда.

Но молодая жизнь брала свое. Ему не хотелось умирать. На нем лежат обязанности: первая — видеться с великим Анахарсисом, которого учитель Книге считает чуть ли не

апостолом; а вторая, именно его кровное дело — месть. "Выполнит ли свое слово наше общество, — думал он. — Заставит ли оно его почувствовать силу умершей от мук, которым он ее подвергнул?" Спрашивал себя Чесменский и начинал рассуждать о своем положении с другой точки зрения. "Мало ли что может случиться, — думал он, — может быть, мое фальшивое положение бежавшего с родины незаконнорожденного от ненавистного отца изменится, и я займу надлежащее место в обществе не по отцу, а сам по себе. Притом, точно ли мгновенное лишение головы не включает в себе особых, специальных мучений, может быть более ужасных, чем все мучения пытки?"

И ему приходили на мысль рассказы о двигающихся глазах у отрубленной головы за предметами любимыми в жизни; о движении языка...

Эти мысли приводили его в ужас, — волосы становились дыбом. Смерть от гильотины ему начинала казаться более страшною, чем какая-либо другая смерть. Без ужаса он не мог подумать о жизни головы без туловища и ту-

ловища без головы...

— Положим, несколько минут, но несколько минут! Ужасно, ужасно!

Одним вечером сидел он у себя и обсуждал все, что с ним случилось и чего он теперь ожидает. Вдруг постучали в дверь его комнаты.

— Верно, проклятый Фрукье, стало быть — конец, — сказал себе Чесменский, и сердце его невольно екнуло. Однако же он встал и пошел отодвинуть задвижку в полной уверенности, что сейчас услышит свой смертный приговор назавтра.

Это убеждение было тем вероятнее, что со времени казни Растиньяка, Легувэ и Буа д'Эни, а потом герцогини де Мариньи — он почти не выходил из комнаты, ни с кем не знакомился, потому к нему никто и не приходил.

Защелка отодвинулась, двери отворились, но перед ним стоял не Фрукье и не один из чиновников муниципалитета или надзирателей за тюрьмою, а человек, совершенно ему не знакомый.

— Позвольте войти? — спросил стучавший

В дверь, слегка склонив голову перед Чесменским, когда тот ее отворил.

Спрашивавший был человек уже в летах и необыкновенно высокого роста — великан можно сказать — и сложенный стройно, но державший себя уже несколько сутуловато, может быть, вследствие своих лет.

Он казался еще молодым, истощенным и явно страдал болезнью печени. Цвет его изможденного, покрытого морщинами лица был изжелта-темно-бурый; волосы с густою проседью; взгляд тусклый, как и помертвелая улыбка на бледных губах.

Одет он был по-старинному, во французский кафтан и камзол, но без шитья; чулки и башмаки были без пряжек. Белье его, обшитое кружевами, было чисто, но не довольно тонко для парижского петиметра, особенно такого, у которого, как у него, на пальце сверкал значительно крупный бриллиант.

Вопрос свой пришедший сделал по-французски, но выговором неприрожденного парижанина, и Чесменскому, говорившему по-французски как француз, легко было угадать в нем иностранца.

— Сделайте одолжение! — отвечал Чесменский, вглядываясь с любопытством в пришедшего и, не будучи в состоянии определить своих ощущений, которых в нем обзор его производил. — Прошу покорно!

— Простите вопрос: вы русский, вы Чесменский, не так ли? — спросил тот, входя в комнату. — Гусарский корнет, бежавший из секретной арестантской петербургского генерал-губернатора и прибывший сюда видеться с нашим Анахарсисом. Не правда ли?

— Да, я русский, Чесменский, — отвечал он нерешительно, не понимая, каким образом могло быть известно, не только кто он, но и зачем сюда приехал.

— Позвольте мне рекомендовать себя: я тоже русский, бывший лейб-кампании вахмистр и армии секунд-майор, смоленский дворянин Семен Никодимов сын Шепелев: стало быть, свой человек, — отчеканил самым русским языком вошедший. — Может, слышали фамилию?

— Как же, даже имел удовольствие знать одного генерала Шепелева: видал во дворце и не редко встречались у Гагариных!

— Это мой троюродный, кажется, или в четвертом колене брат! Но это все равно! Я с ним не знаком, да и вообще, из своих я ничего почти не знаю. Я в России с семьдесят пятого года не был, хотя, видите, России не забыть, и, узнав о вас, пришел познакомиться...

— Очень благодарен, очень благодарен! — проговорил

Чесменский, придвигая Шепелеву стул. — Просим гостей быть! — сказал он и сел подле.

Шепелев тоже сел.

Но это был не тот Шепелев, который, если читатели помнят, остановил на себе взгляд императрицы Елизаветы, отхватив ей по-молодецки на караул, чем возбудил к себе ревность Ивана Ивановича Шувалова, не тот, что нагло явился к обер-камергеру Александру Михайловичу Голицыну с просьбою дать ему денег и представить императрицу Екатерину, не тот, что продавал Квириленку, то в виде садовника, то повара или слесаря, даже не тот, что торговался с Потемкиным на человеческую жизнь. "Укатали сивку крутые горки" — говорит русская пословица. Время и жизнь взяли свое.

Нельзя было, впрочем сказать, что он особенно постарел, хотя, разумеется, семнадцать лет жизни для человека, которому и тогда было под сорок, не могли пройти бесследно, но все же, при своем высоком росте, он был еще видный и ловкий мужчина. Но он как-то совсем осунулся, потерял свой апломб, свою самоуверенность, с которыми готов был идти на всевозможные приключения.

К тому же нельзя было не заметить, что за это время он жил в другом обществе, вращался среди других людей, которые не могли не иметь на него большего или меньшего влияния и не отразиться на привычных приемах разговоров и выражений, тем более что он старался к ним применить, старался приладиться. Движения его стали мягче, округленнее, не кололи глаз своей резкостью и угловатостью; голос сдержаннее. В нем не заметно было той явной наглости и того нахальства, которые могли усвоиться им только среди косности шляхетной дворни польских магнатов. Заносчивость бретера и низкое заискивание старого шулера могли быть замечены, но только кто знал близко его прошлое; для всех

других они прикрывались некоторою светскостью, вежливостью, пониманием необходимости быть учтивым и сдержанным.

С тем вместе не могли же вовсе исчезнуть и те характерные отличия, которые определялись всем его прошлым и которые, от продолжительной привычки, стали присущими ему как бы естественно. Оттого в его приемах, разговорах, обращении обозначилось какое-то смущение. Он стал какой-то межеумок, то в высшей степени деликатный и сдержанный, то по-прежнему резкий; во всяком случае несравненно приличнейший, чем он был, но едва ли от того не более искусственный, стало быть, еще менее симпатичный.

Впрочем, это дело внешности, а для человека за пятьдесят лет внешность последнее дело. Но он был, действительно, другой человек по существу, по натуре, и эта перемена его могла бы даже вызвать ему симпатию, если бы он был не он. Дело в том, что, стараясь принять внешний вид и привычки интеллигентного общества и вращаясь в кругу лиц, анализирующих внутренние и внешние явления человеческой жизни, хотя только отвле-

ченно, ради гимнастического упражнения ума и навыка в светской диалектике, он невольно начал сам вдумываться в свои собственные действия. Результатом такого вдумывания явилось сознание всей нравственной низости его поступков и его привычной жизни. "Но и другие ведь не ангелами же живут!" — говорил он, стараясь оправдать себя и поднять в глазах своих нравственный уровень своего падения. "Но и не разбойниками же! — сейчас же невольно отвечал он, сознательно определяя себе истинное значение всей своей прошлой деятельности. — А я разбойничаю, хуже чем разбойничаю"...

Но, сознавая это, он чувствовал, что измениться он не в силах. Он слишком опутал себя привычками и отношениями, чтобы стать другим человеком. Он был не в состоянии победить себя, не в силах отказаться от требований, ставших его как бы второю натурою. Сколько раз, например, играя в карты, он давал себе слово не обманывать, не мошенничать. И действительно, случалось, честно начинал игру. Но вот как нарочно, игра шла против него. Он проигрывал, а проигрывая,

неволью разгорячился, хотя наружно был покоем и весел. Проигрыш, наконец, начинал его задевать; страсть охватывала его внутреннее сознание и послушные его рукам карты начали исправлять то, что судьба хотела было испортить. Так и бретерство. Он не хотел бы, но вот блестящее предложение, и как раз в то время, когда особенно нужно, после значительной издержки или нежданной потери. Неволью начинается раздумыванье, разбирательства... "Ну, — думает он, — последний раз!" А потом опять...

— Не могу, что делать-то, когда не могу? — говорил он себе с болью в сердце. — Знаю, что подло, низко, но никак не могу!

Само собой разумеется, что и прежде, обманывая всеми способами и злодействуя даже до дуэльного убийства, он понимал, что живет нечестно. Он знал, что если попадетсЯ, то его обманы и злодейства не пройдут даром; потому старался не попадаться. Но он не оценивал всей гнусности своих поступков, всей низости и всего вреда, который деятельность его производит. Он никогда не думал о последствиях своих действий. Теперь же со-

знание, явившееся ему вдруг, вместе с развитием его мысли, при слабости воли отказаться, при подчинении себя вопросу. "Что же делать?", — вызвало в его душе невольное самоотрицание к самому себе, к гнусности своих поступков, их слабости, своей воли. Такого рода чувство, понятно, он должен был скрывать от постороннего взгляда, но оно его щемило, жгло, делало невольно желчным и хмурым...

А подобного рода внутренняя борьба человека в самом себе не может не разрушать его физически и нравственно; не может не ложиться на сердце невольною грустью, не может не старить.

И вот он теперь, сидя против Чесменского, облокотился на стол и глубоким, будто семидесятилетним хмурым стариком, вглядывался в его лицо своим тусклым взглядом и пасмурно улыбался, думая: "Вот уж никак-то не ожидает услышать того, что я ему скажу!"

— Да, вы русский, точно русский! — сказал он. — И лицо русское, и приемы, и взгляд, все это свое, родное, все это так отрадно встретить на чужой стороне, особенно изгнаннику, наконец, все это так напоминает мне мою мо-

лодость, что, простите, неволью засматриваюсь на вас, неволью люблюсь вами!.. Ведь здесь, на чужой стороне, мы, русские, все между собою родные, все свои...

Эти слова тепло отозвались в душе Чесменского. Он тоже давно не видал никого из русских, давно не слышал русского голоса, потому с невольною благодарностью ответил сочувственно на привет соотечественника.

— Недаром говорят, что вдали от родины, от домашнего очага, и дым отечества нам сладок, — продолжал Семен Никодимыч, находясь все еще под впечатлением своих мыслей и воспоминаний, — встреча со своим делает именно праздник душе. Почему, я не знаю, но сегодня мой праздник! Встретив вас, мне кажется, что я встретил родного!

— О, вы слишком добры, Семен Никодимыч. Поверьте, что с не меньшим чувством удовольствия и я вижу соотечественника, и если могу быть чем-нибудь полезным...

— Не знаю, будете ли чем полезны мне, — отвечал Шепелев с некоторым оттенком прежней резкости: — Но что я вам буду полезен — это верно! Вы давно в тюрьме?

— С самого дня убийства короля, около двух месяцев! И до сих пор не могу добиться ни допроса, ни обвинения!

— И не добивайтесь, пусть забудут! Этим только и можно спастись! А посажены вы были за выражения сочувствия казненному? Нельзя сказать, что вы были тонкий политик!

— Никакой политик, полагаю, не удержал бы своего негодования и не высказал бы невольно своего сочувствия тому, кого хотят убить скопом, толпою, массою и убивают только за то, что он родился их королем. Ведь ни на суд, ни на казнь его они не имели права, хотя бы на основании принятого ими самими добровольно соглашения о его неприкосновенности. Их право была только сила. Кого же не возмутит, когда при таком подлом убийстве, основанном на силе, еще поют и пляшут. Но, если их свобода заключается в том, что они будут заключать в тюрьму и рубить головы за выражение сочувствия страданию, то...

— Э, милейший соотечественник, здесь речь не о свободе, а о революционных страстях! — отвечал Шепелев. — Что же касается

революционных страстей, то обыкновенно им не бывает удержу и они не только что убили короля, но убьют и королеву, и всех, кто только подвернется под руку, пока не начнут поедать самих себя. Ведь если они не убили до сих пор нас с вами-то, поверьте, только потому, что им некогда, что есть кого убивать поважнее! К тому же и забыли, пожалуй, по крайней мере, вас... Но дело не в этом! Я полагаю, что вам тюрьма таки порядочно надоела?

— Более чем надоела, лучше смерть!

— Оно не лучше, а все же, понимаю, что скучно, очень скучно! Ну а как я теперь уверился, что есть вы, то есть именно тот русский, которого я отыскиваю, то вот ваш билет на свободный выход, то есть на полное ваше освобождение. Я уверен, что, выйдя отсюда, другой раз сюда вы не попадете!

С этими словами Шепелев подал Чесменскому приказ прокурора Парижской коммуны Шомета, написанный на бланке, за его собственноручною подписью и за приложением его печати. Там значилось:

"Предъявителю сего, иностранцу из рус-

ских Шепелеву, за услуги, оказанные им для свободы, предоставляется оставить занимаемую им тюрьму "Свободной пристани", для чего обязывается он предъявить этот приказ своему тюремному начальству, которое обязывается его немедленно освободить".

Чесменский прочитал, осматривая внимательно бумагу.

— Итак, вы свободны. Поздравляю, искренно поздравляю! — сказал он. — От души желаю, чтобы вам удалось избежать всякого преследования таких либералов, которые сочувствие страданию признают преступлением!

Чесменский подал приказ обратно Шепелеву.

— Меня поздравлять не с чем! — отвечал Шепелев. — Приказ, правда, написан на мое имя, но написан для вас, и я предоставляю вам им воспользоваться! Он даже взят именно для вас! — И Шепелев не принял от Чесменского возвращенной бумаги: — Нас, русских, в этом помещении, купленном на счет Кресси, Растиньяка, Буа д'Эни, Легувэ и других аристократов, всего двое, — объяснял Ше-

пелев, — один я, которого называют старым русским, а вас молодым. Фамилий же ни старого, ни молодого русского они не умеют хорошенько и выговорить. Кто из нас Шепелев и кто Чесменский, не знает ровно ни один человек. В приказе никаких примет не означено. Он у вас в руках, вы и пройдете! А там, какое вам дело, что они в своих книгах отметят Шепелева выпущенным, а Чесменского оставленным. Вы будете свободны, стало быть, и дело ваше будет в шляпе!

— Допустим, что я по этому приказу действительно пройду, а вы-то как же?

— Я останусь по книгам под именем Чесменского, пока не докажу, что я не Чесменский, а Шепелев, которого определено выпустить, пока не добуду нового приказа...

— А если прежде, чем вы это докажете или новый приказ добудете, Чесменскому будет приказано отрубить голову?

— Ну, что ж, и отрубят! Не я первый, не я и последний, которому рубят голову по ошибке. Оно, может быть, будет и кстати. Ваша жизнь еще впереди, а я свою, хорошо ли, худо ли, уже прожил, надо же когда-нибудь! Смер-

ти я не боялся никогда... Впрочем, это уже не ваша забота.

— Нет, Семен Никодимович, — отвечал Чесменский твердо. — Благодарю вас за это предложение, но согласиться на него, ввиду того, что вам вместо меня могут отрубить голову, я не могу!

— Да я и не спрашиваю вашего согласия. Вы должны!

— Должен?

— Да! Вы иллюминат?

Чесменский затруднился ответом. Иллюминаты принимали присягу не говорить о себе и своем иллюминатстве. Он молчал.

— Вы, пожалуйста, не церемоньтесь, а говорите просто. Вы иллюминат и посланы сюда братством, чтобы видеться с Клоотцем, этим великим Анахарсисом Французской республики, и переговорить с ним о слиянии иллюминатов с массонами и тугенбундом! — сказал Шепелев, делая соответственный знак, напомнивший Чесменскому то, что он видел прежде...

— Если вы знаете... — сконфуженно пробормотал Чесменский, но Шепелев перебил

его:

— В том-то и дело, что все знаю. Видите, я тоже иллюминат, только вы минервал, сиречь ученик, а я уже даже и не брат, а мастер; вот вам мой кадуцей, как знак мастера, и вы обязаны мне полным послушанием. Теперь как мастер, учитель нашего братства, именем принесенной нашему обществу присяги, я вам приказываю: взять мой приказ, сейчас же выйти с ним из тюрьмы и исполнить данное вам трибуналом нашего общества поручение видеться с Анахарсисом! Признаюсь, от этого свидания я ничего не ожидаю, никакого толку, но общество, отправляя вас, принесло значительные пожертвования, теперь предоставляет вам к тому способы, и, данное вам поручение вы исполнить обязаны!

Чесменский не знал, что отвечать.

— Но помилуйте, какое же я имею право оставлять за себя другого, может быть, на смерть? — проговорил он в колебании, не зная, что сказать.

— Я уж говорил вам, что это не ваша забота! Но успокойтесь! Во-первых, без особой случайности, что приговор вести вас на гильоти-

ну выйдет именно сегодня вечером, тогда как он не выходил два месяца, мне головы не отрубят; завтра же, много послезавтра у меня будет другой приказ несомненно. Во-первых, если бы уже так случилось, что мне действительно отрубили голову, то вам ни думать, ни беспокоиться о том нечего. Мне заплачено!

— Как заплачено?

— Как обыкновенно платят! Чистыми, новенькими экю и луидорами, а частью фридрихсдорами! Впадая с соотечественником и собратом в невольную откровенность, может быть, под влиянием выпитой за завтраком бутылки доброго вина, я вам скажу, что весь век я жил тем, что продавал свою жизнь на риск! Зачем и как? Это не ваше дело! Ваше дело воспользоваться тем, что вам предлагают, и исполнить то, что вы обязаны.

Чесменский молчал.

— Послушайте, — продолжал Шепелев, как-то особенно махнув рукой. — Мне о вас говорил Буа д'Эни и говорил как о молодом человеке, вполне достойном. Познакомившись теперь с вами, я готов еще более ценить вас, хотя бы за ваше колебание, и признаюсь,

очень рад, что мой теперешний, весьма впрочем отдаленный риск спасает такого, как вы прекрасного юношу и еще моего соотечественника. Мой риск столько раз приносил зло, что я счастлив, что хотя этот раз он сделает добро. Что же касается меня, то для меня решительно все равно: на дуэли ли меня убьют, якобиты ли на гильотину отправят или там в игре какой-нибудь горяченький... Я игрок, играю на свою собственную жизнь; играю не со вчерашнего дня, потому привык в лицо смотреть смерти. А здесь и риск-то не велик — всего один вечер. Ну, да что об этом говорить. У меня нет цели в жизни, а у вас есть. Помните, о чем говорили вы с бароном Книге?

— Вы и это знаете?

— Мало ли, что я знаю, не знаю только того, зачем вы пошли в иллюминаты? Положим, что в настоящую минуту они вас выручают, но выручают из того, куда вы попали по их же милости. Не будь вы иллюминатом, вы не были в Париже, не сидели бы и в тюрьме. Да и теперь, выручают они вас для себя, а не для вас. Начнутся переговоры с Анахарси-

сом, вы, пожалуй, будете в большей опасности, чем теперь: вас легко могут признать за шпиона. Признаться, мне жаль вас. Скажите, зачем вам понадобилось иллюминатство.

— Как зачем? Затем же, полагаю, зачем пошли в это общество и вы: содействовать просвещению, уничтожению, уничтожению предрассудков и гнета и увеличению общего благосостояния!

— Все это вздор, милейший соотечественник, простите великодушно! Общего благосостояния вы не увеличите ни на полсантима; не уничтожите даже такого предрассудка, что с постели нужно вставать правою ногою; что же касается просвещения, то всякий школьный учитель в этом отношении принесет практической пользы более, чем все наше общество. Между тем вы служите чужим целям, может быть, существенно вредным, и уже никак не полезным для нашего общего отечества, которое, кто бы что ни говорил, но мы, русские, не можем не любить и которое вот я люблю, несмотря на то что уже семнадцать лет считаюсь его изгнанником и еще до того, более двенадцати лет шлялся по разным стра-

нам, промышляя именно тем, что продавал себя и жизнь свою всякому проходимцу, от-крещиваясь иногда даже от русского имени. Но все это не то! Если я и прятался за Жмудь или за Польшу, то не принимал обязательств, вредных России, до тех по крайней мере, пор, пока мог считать себя не совсем еще отрезанным ломтем. Но не обо мне речь. Вы-то из-за чего такое обязательство приняли, из-за чего себя связали? Ведь вы, надеюсь, не сделали никакого злодейства, которое бы делало возврат вам в Россию невозможным?

— Надеюсь! Я бежал из-под ареста, я был арестован за дуэль, которая ничем не кончилась, так как во время самой дуэли нас арестовали!

— Зачем же тут было бежать? Ну посидели бы под арестом, дело не важное! Ведь вот отсидели же здесь почти два месяца!

— Но тут сплелись такого рода обстоятельства, которые заставили меня полагать, что ко мне отнесутся иначе, чем к кому-либо; а иллиуминаты меня спасли!

— Спасли! От чего?

— Не знаю, может быть, от пыток, вечного

заклучения и еще Бог знает чего...

— Гм! Ну, положим, хотя, по-моему, тут ни о пытках, ни о казни и речи не могло быть. Но, положим, спасли, и спасибо им! Нельзя же за то, что они потрудились вас из труппы вытащить да тройку лошадей нанять, им всего себя закабалить. Ведь и благодарность имеет свои пределы. А то придется рассуждать так, как рассудил один итальянский лаццарони. Не ел он, бедный, дня три, есть было нечего, вот он и надумался зайти в какую-нибудь тамошнюю харчевню и велел подать блюдо поленты. Ему подали, он и давай убирать за обе щеки. Думает: ведь не повесят же, на авось как-нибудь удеру! Но хозяин харчевни был человек ловкий и опытный. Он его не выпустил и на выходе успел задержать. "Постой брат, деньги! А? Денег нет!" Послали за сбирами. И моему лаццарони худо приходилось. Может, три дня улицы бы мести пришлось, а может, и целую неделю на хлебе и воде высидел бы. Только, как нарочно, в харчевне, ради своих особых походов с какой-то мещаночкою, находился инкогнито какой-то граф. Он должен был чего-то ждать в

харчевне, чем на солнечном припеке на площади. Граф был человек добрый. Видя тесное положение бедняка, он спросил, что стоило блюдо поленты. Ему сказали цену, что-то вроде русского двугривенного. Он, ни слова не говоря, заплатил двугривенный и тем заставил бедняка освободить. Прошло так год или меньше времени, бедняк где-то встретил графа, подошел к нему с выражением своей благодарности да и говорит, что кажется нет того на свете, чего бы для него он не сделал. А граф и отвечает: "Уж если хочешь для меня что-нибудь сделать, так вот видишь, мой злодей соперник идет в процессии, избавь меня от него и я ни за чем не постою". Лаццарони заметил того, на кого ему показал граф. В ту же ночь он его подкараулил и убил. Но убить то убил, а убежать не удалось, попался; и его как следует повесили. Графского спасибо ему и увидеть не удалось; так что и вышло, что он попал на виселицу в благодарность за двугривенный! Ну, подумайте, стоило ли? Ведь во всем должен быть разум! Положим, например, что вам здесь теперь отрубят голову, не разыграете ли вы против иллюминатов роль

этого же лаццарони? И тоже даже спасибо не увидите!

Чесменский вспыхнул.

— Ни в коем случае, — отвечал он горячо. — Я поехал сюда не из благодарности и не из-за денег! Я поехал потому, что думаю, что согласие известных вам обществ будет содействовать развитию человечества и возвышению общего благополучия.

— Полноте, какое тут общее благополучие. Тут дело свое, дело домашнее. Барон или отец Иосиф, иезуиты или иллюминаты? Кому из них власть и деньги, а кому изгнание и кара? У них свои цели, свои планы, свои способы достижения. И вот они морочат людей, каждый на свой лад: кто иезуитством, масонством, кто карбонарством и иллюминатством. Одним словом, кто во что горазд! Да нам-то, русским, что? Ведь известно: немец обезьяну выдумал, да нам-то, русским, зачем из себя обезьян ломать и пустых брехунов вырбатывать?

— Зачем же вы сами иллюминатство приняли?

— Я другое дело! Вы ничего не слышали обо

мне?

— Напротив, имел удовольствие слышать и желал даже познакомиться. Вы вызывали на дуэль Робеспьера?

— Э, это не в зачет, это глупость! Но я, собственно я, как говорят, бретер! Вы знаете, что такое бретер?

— Сорвиголова, дуэлист!

— Да, сорвиголова, дуэлист, такой дуэлист, который из дуэли сделал себе ремесло!

— Разве можно из дуэли сделать ремесло, труд?

— И дуэль труд и еще тяжкий и опасный! Вы скажете: неразумный. Я не отвергаю, не спорю о разуме труда в смысле общей пользы, стремления к общему благосостоянию. Но для меня-то он был очень разумен, потому что давал мне средства не только жить, хорошо жить, но даже мотать. И не будь этих проклятых якобитов да санкюлотов, я бы, верно, и теперь бы жил, мотал и, вероятно, не думал бы ни о чем! Но вопрос не в том! В России я сделал злодейство. Мне в Россию возврата нет! Зато из России выехал с деньгами. Привез с полмиллиона франков. Для меня пол-

миллиона франков была сумма и огромная и ничтожная. Огромная потому, что могла служить приманкою каждому; ничтожная, потому, что я хотел проживать тысяч по триста в год, а с полумиллиона, что ни делай, не троякая капитала, с трудом получишь тридцать. Откуда же мне взять остальные? Ясно, с общества. А для того нужно было быть в обществе, в которое нужно было втереться; втереться же в свет Сен—Жерменского предместья, в цвет французской аристократии, с каким-то ничтожным полумиллионом, да еще тому, кто перед тем от крайности держал стремя Радзивилла, было бы без посторонней помощи невозможно. Вот для такой-то посторонней помощи мне иллюминаты и были нужны. Ну, и стал я платить иллюминатский взнос, с тем, разумеется, чтобы и они платили мне за каждое исполняемое мною по их приказу поручение. Дело было выгодное. Ну, а им тоже было приятно в числе своих полуслепых исполнителей, за деньги разумеется, иметь ловкого бретера, сорвиголову, которому жизнь копейка и который за деньги на все пойдет. Стало быть, они были нужны мне, а я

нужен им, — вот мы и сошлись. А вы-то что, вы-то бьетесь из-за чего?

— Тоже обстоятельства, фальшивое положение...

— Все обстоятельства, все фальшивые положения нужно дома устраивать, у себя облаживать. Чужие тут не помощь и не лад. Особенно все эти ордена да общества, которые, разумеется, рады будут воспользоваться вами в чем можно, да потом над вами же и посмеяться. Вот, будут говорить, дурак-то, за ломаный грош пошел на виселицу! Разве вы хотите в мою кожу попасть? Не завидное дело, скажу по совести, очень незавидное, хотя я и проживал по двести и по триста тысяч франков в год. Даже, я вам вот что скажу, случилось, что среди самой-то этой роскоши, я сожалел о том времени, когда служил стремянным у Радзивилла и мог спокойно спать. Говорю по совести, — вы, пожалуй, скажете, какая совесть у бретера, у игрока? Вы имеете право это спросить... а вот какая: вы, я думаю, полагаете, что с вами говорит семидесятипятилетний старик, а мне нет и шестидесяти. По неволе состаришься, как ночи не спишь,

да все думаешь, да вспоминаешь... Но все это, по крайней мере, окупалось деньгами; а вы-то за что?

— Будто вы все всегда делали только за деньги?

— Только за деньги! Или солгал, вы напомнили мне случай, случай единственный, когда я действительно без всяких денежных видов вызвал на дуэль Робеспьера и хотел эту гадину насквозь проколоть. Ну, да это уж такой случай! Изобидел он меня очень, так изобидел, что мне теперь жизнь не мила. Впрочем, случись, что я бы его убил, сказали бы, аристократы подкупили.

— Чем вас мог обидеть Робеспьер?

— Как вам это сказать. Видите, был у меня друг — не друг, а товарищ и помощник хороший. Он был из хохлов, попович, но такая продувная bestия, что другой такой и не придумаешь! Бывало, только намекни, а уж он оборудует. Куда самому не ловко, сейчас его; он бобами разведет, все приготовит и все устроит. Сколько раз из беды выручал! И так мы, худо ли, хорошо ли, около тридцати лет вместе жили и тужили; вместе с голоду поми-

рали, вместе и богачей обирали. Вот как через иллюминатов мы втерлись в здешний свет, нам тут делишки обдeldывать была рука. Здешние графчики дуэли любили, ну и картишки и все... Я вам все рассказываю, да, знаете, с земляком рад душу отвести, нам тут барашков стричь просто лафа была. Разумеется, денег мы не нажили. У нашего брата деньги как-то не держатся; зато жили на славу! Никакой Роган, никакой интендант французской армии не утер бы намноса. Ну, да ведь, на что же и деньги, если их не проживать? А тут, как назло — революция, барашки ускакали, наш капитал был в ассигнациях, упал, и мы вдруг очутились, как рак на мели. Делать было нечего, пришлось за экономию приниматься. Из отеля мы выехали, лошадей продали, прислугу распустили. Все это страшный убыток, потому что в то время все продавали и никто не покупал. Наняли себе скромную квартиру, но все же квартирку людей, живущих в довольстве; потому что и из остатков от прошлой роскоши скопилось кое-что. Наняли квартирку в бельэтаже, ну, и обстановка была приличная. А в третьем или четвертом

этаже над нами, у столяра жил Робеспьер.

Нам и в голову не приходило, что это такая знаменитость будет. Ну так, адвокатишко поганый, и только: прилизанный, примазанный, височки вперед, в коленкорových воротниках, туго накрахмаленных; застегнут на все пуговицы, дрянь дрянью! Он жил у столяра и сжился с его дочкою — такая жирная француженка, что на редкость, молодая еще, да такая резвая, и не дурна! А мой Квириленко, как настоящий попович, очень любил толстущек. Ну, встречались на лестнице, начал с ней балагурить и хотя он был не более как лет эдак на девять меня моложе да и собою-то с рыла не то чтобы того, так что, пожалуй, и не лучше Робеспьера бы, но подарочками да тем и сем смутил толстущку, та и начала с ним амуриться.

Только одним вечером, меня дома не было, она и пришла к нему. Комнату заперли, сидят и амурятся. Вдруг, откуда ни возьмись, в самую критическую минуту из-за ширмы выходит Робеспьер. Он, должно быть, заранее как-нибудь забрался и спрятался. Та вскрикнула. Квириленко к нему.

— Что вам, милостивый государь, угодно?

— Я не милостивый государь, я просто гражданин, — отвечал он, — и не к вам, а к ней...

И кажется, что он хотел было ее граждански отдубасить. Но у Квириленки кулак был здоровый. В комнате никого, кроме их, не было, и он дал ему такого туза, что тот не захотел другого, стал сам же извинений просить.

Ну известно, наш брат русский отходчив, извинился и даже обещал всякие амуры прекратить, с тем чтобы только он ее не трогал за прошлое. Так и разошлись, казалось, по-приятельски. Только что же? Через неделю или две он нашел какого-то мерзавца и договорил его подать донос якобинцам, что Квириленко переодетый священник-францисканец и прислан будто бы Римом — это хохол-то, православный попович, — смущать ихних аббатов не принимать присяги.

И что же вы думаете, из-за такого подлого доноса моего друга в сентябре зарезали в тюрьме, даже не спросивши ни разу, точно ли он из Рима, а он и по латыни-то знал чуть не одно слово: *Dominus bobiscum!*

Когда я узнал, что все это штуки Робеспьера, по неволе взбесился как черт и хотел проколоть его именно как какую гадину. Он от меня, я за ним. Он успел спрятаться на чердак и там заперся. Я целые сутки караулил, но как он успел убежать и спрятаться, показываясь только по вечерам в клубе якобинцев, откуда его провожали целою толпою. В это время его сделали членом комитета общественной безопасности и он успел запрятать меня в тюрьму. Но я не боюсь его. Он слишком трусоват, чтобы предпринять что-нибудь решительное; разве подговорить кого сонным зарезать. Благодаря братьям иллюминатам у меня все же есть некоторая сила, и я надеюсь, что как теперь освобождаю вас, так после и освобожу и себя. Я бы, может, и давно себя и освободил, да расчету не было. Разорившись от революции, я рассчитывал революциею же и поправиться, а поправиться можно было только здесь, около аристократов. От них все же можно было кое-чем поживиться, а в Париже эти санкюлоты — голь хитрая. От них не вытянешь и сантимы, да и без друга как-то ни на что рука не поднимается; так-то редко

думаю, ну, убьют так убьют, туда мне и дорога...

Шепелев, сказав это, опять непривычно задумался, опустив вниз голову. Чесменскому даже жаль его стало. Он подумал: вот человек сам говорит, что весь век бился из-за денег, всю жизнь свою себя продавал, а теперь... — Видите, я разговорился с вами и все рассказывал, оттого что обрадовался встретить русско-го. Что бы кто ни говорил, а у нас у всех есть что-то родное, что родному сердцу весть пода-ет... Вы же так еще молоды! Дело вот в чем: я всю жизнь погибшим человеком жил, а отче-го? Оттого, что с детства был оторван от род-ной почвы. Отсюда пошли все мои невзгоды... Вы молоды, и как я сказал, человек свой, по-тому вот вам добрый совет. Уходите из тюрь-мы, повидайтесь, если хотите с Анахарсисом, увидите, что я не пророк, а отгадчик. Дела не будет никакого. А потом бросьте все эти ма-сонства и иллюминатства и возвращайтесь домой. Ваша царица-барыня с эрфиксом, но барыня умная. Она, может быть, намылит вам шею, но простит. Она поймет, что вы ни-чего против нее не сделали, а явились блуд-

ным сыном. Я — другое дело. Я злодей, и такой злодей, который, пожалуй, разбил ее собственное счастье, меня простить нельзя; тем более что мое объяснение, быть может, нанесло бы сердцу ее новый удар, перед которым все другое покажется ничем. Да! Мне явиться невозможно, просто невозможно! А вы, вы? Там у вас будет почва, будет дело! В вашем деле может быть разум труда, вас обеспечивающий и приносящий пользу всем! Здесь же, что вам предстоит? Карьера, подобная моей, — горькая, говорю, доля, даже если вы успеете усыпить свою совесть. Вы скажете: в работники пойду, камня буду ворочать. Пожалуй. Но разума-то в вашем труде не будет, потому что ни обеспечения ваших потребностей, ни пользы обществу ваш труд не даст. Неужели вы думаете, что я от радости стал бретером, неужели вы думаете, что тысячу раз я не проклинал себя, когда передергивал карты или выкидывал другие мошенничества. Верьте, иногда сердце кровью обливалось... Послушайте моего доброго совета, пока время не ушло... Однако я заболтался, вам пора уходить... Прощайте, вспоминайте,

хотя изредка добром вашего соотечественника Семена Никодимовича Шепелева! Если же услышите, что я погиб, то помолитесь за меня по-нашему, по-православному, по-христиански, да отпустит Господь мои прегрешения.

И он почти насильно вытащил растроганного Чесменского к зрителю и выпроводил его за двери тюрьмы.

Глава 8. Великий Анахарсис

Выйдя из тюрьмы, Чесменский в течение недели или двух имел все случаи по горло насладиться явлениями, происходящими из державства народа, прославляемого в столь звучных фразах жирондистами, которых Гора только поддерживала. Он убедился воочию, как Кондорсе бессовестно лгал, описывая события, бывшие перед его глазами: как Бриссо, туманностью фраз и громких слов прикрывал свое полное невежество, легкомыслие и тупость; как Верно и Адде, ораторы действительно не бездарные, трепетали перед кулаком какого-нибудь мясника или плотника, а то еще хуже, просто беглого каторжника и разбойника, который до того грабил на боль-

шой дороге дилижансы, а теперь предпочитает, под видом доброго патриота, грабить дворцы, отели, замки и имения, оставленные дворянами, бежавшими из Франции.

— Ведь грабить аристократов дело патристическое! — говорит он, не отказываясь, кстати, задеть при этом бакалейные и москательные склады, содержимые уже никак не аристократами. — Но ведь они устраивались для тех же аристократов, от них питались и разрастались, — говорил он, — для аристократов заготавливались, чего же их жалеть!

— Но ведь это не моя сфера, — говорил самому себе Чесменский, — я не могу мириться с аномалиею ломки без цели, под прикрытием только громких фраз. Шепелев прав, нужно домой, домой! Там и для меня может быть дело, там мне есть почва. А здесь, что такое я здесь? Однако я должен повидать этого пресловутого Анахарсиса, которого Книге мне выставил чуть ли не апостолом и над которым Шепелев и д'Эни смеются, как над дураком! Что бы кто ни говорил, но общество приняло на себя издержки моей отправки, освободило из тюрьмы и я должен сделать то, за

чем сюда приехал. Это обязанность моей чести, мой долг, которого я не могу не сознавать!

Оказалось, однако, что великого человека видеть было не легко. Клоотц не скрывался, но был решительно невидим. Где он был, что делал — никто не знал, так что думалось, не прчется ли он от самого себя.

Несмотря, однако же, на всевозможные отговорки, прятанья, скрыванья, отказы, ему удалось, наконец, добиться, что великий Анахарсис, этот великий современный скид Французской республики, этот постоянный наблюдатель, принимавший в перипетиях едва ли не наибольшее участие, назначил ему час, когда он должен был ему представиться.

Он жил в то время в отеле Шатонефа, одного графа, успевшего убежать в Кобленец и потому занесенного в список эмигрантов, подлежащих гильотированию. Имущество его, в том числе и отель, были конфискованы, но прежде правильной конфискации, совершенно разграблены. Потому Клоотц имел полную возможность выбрать любой из павильонов

этого отеля и устроить его по своему вкусу.

Маленький арапчонок, составлявший в то время единственную прислугу Анахарсиса, провел его с лестницы через маленькую переднюю прямо в кабинет и ударил в стоящий перед дверьми китайский гонг.

Кабинет состоял из большой угловой залы в семь окон, из коих пять, по продольной стене, выходили на набережную Сены, а два, по поперечной — в сад, покрытый уже в то время зеленью. Против простенка, между этими двумя окнами, шага на три вперед от стены, стоял огромный письменный стол, заваленный бумагами, набросанными в беспорядке, между коими высилась большая бронзовая лампа, изображающая Муция Сцеволу в момент самосожжения им своей собственной руки и с латинскою надписью на пьедестале: "Таковы граждане республики". Подле стола стояло большое, высокое, обитое богатою пунцовою с золотом парчою кресло, а подле него стул, единственный во всей комнате.

Стены залы были увешаны географическими картами и графическими изображениями разных статистических данных, также рисун-

ками необыкновенно оригинальных, надо полагать, импровизированных костюмов, и обставлены множеством столиков, кронштейнов, пьедесталов и тумб, на коих красовались различные предметы весьма странного свойства. Тут была модель парохода, представленного Людовику XV еще маркизом де Ко и не принятая, потому что окружающие маркизу Помпадур иезуиты уверили ее, что такая машина могла быть выдумана только дьявольским наваждением; был земной и небесный глобус; было мистическое сочетание различных положений звездного неба с историческими положениями земли; были кабалистические знаки и формулы, доставшиеся масонству, по некоторым объяснениям, чуть ли не прямым путем от самого Озириса.

"Не через его ли представителя на земле, древнего Аписа?" — спросил бы, пожалуй, иной, если бы все знали, что ничем так огорчить, обидеть и рассердить Анахарсиса нельзя было, как напоминанием ему, под каким бы то предлогом ни было, Аписа. Стояли вдоль стены, на кронштейнах и столиках, электрическая машина, громоотвод, машина,

поднимающая воду; образцы неизвестных орудий, будущего процветания человечества; были масонские атрибуты: человеческий череп с берцовыми костями, курильница с треножником, кадуцей Меркурия с молотом и наугольником вольных каменщиков; стояли чучела вороны и кошки, мумия крокодила, висели одежды разных народов и характерные отличия разных стран. Целый скелет человеческий стоял в углу, под красною фригийскою шапкою и под красным покрывалом, составляя, может быть, прототип будущего дивного создания, очертившего нам фигуру Мефистофеля. Подле стола стояла модель корабля и, в заключение, станок гильотины.

Несколько позади стола и правее его, прямо против окна, выходящего в сад, стояла высокая бухгалтерская конторка, за которою, спиною к входу, стоял и что-то писал или чертил человек, в costume не то древнего грека, не то средневекового пилигрима. Он так был углублен в свое занятие, что не оглянулся даже тогда, когда раздался громкий звук гонга, произведенный ударом приведшего Чесменского арапчонка.

— Вот он, — сказал арапчонок, указывая на спину занимающегося человека, — но масса занят, он думает, и ему нельзя теперь мешать!

С этими словами арапчонок исчез. Чесменский с Анахарсисом остались вдвоем. Чесменскому поневоле пришлось ждать, смотря в спину занимающегося человека.

Он увидел плечистого, довольно здорового малого, хорошего роста, со светлыми, несколько изрыжа волосами, широкою ступнею и толстыми руками. Голова его, срезанная к затылку, бросалась в глаза своей угловатостью.

Подождав немного, Чесменский закашлял и зашаркал ногами, но Клоотц не оборачивался. Он повторил свой маневр несколько раз; прежде чем тот наконец его услышал.

Когда он повернулся к Чесменскому лицом, то последнего поразили необыкновенно узкий лоб, вьющиеся кудрявые виски волос и большие темно-карие, необыкновенно выпуклые навывкате и будто несколько растерянные бычьи глаза.

— Ты хотел видеть меня, брат гражда-

нин? — спросил Клоотц, упирая в Чесменского как бы застывший взгляд своих выпуклых глаз.

Чесменский сложил пальцы треугольником и коснулся своего брелока, изображающего молот. Клоотц отвечал ему соответственными знаками высшего масонства.

После взаимных приветствий по масонскому обряду, Чесменский обратился к нему с речью в таком виде:

— Младший ученик великого мастера просвятителей человечества от имени своего учителя и собратий пришел поклониться источнику света и хранителю мудрости в лице славного Анахарсиса великого и выслушать его поучения и повеления.

Говоря это, хотя и с изученною аффектацией, но все же с некоторою невольною робостью, так как Анахарсису ничего не стоило упрятать ту же секунду его опять в тюрьму, а от тюрьмы гильотина была весьма близко, он невольно внутренне смеялся.

Однако же он поклонился с полным самообладанием и подал ему условным образом сложенные письма бароном Николаи и Книге

и свое полномочие, которым предоставлялось Чесменскому от имени общества иллюминатов условиться о взаимности действий с великим мастером масонства и тугенбудства. Полномочие было подписано отцами иллюминатизма, Филоном, Спартакoм и Псаметихом.

— Мир и привет брату! — сказал Анахарсис и стал читать привезенные письма.

Чесменскому было время взглядеться в него весьма подробно.

Клоотц был человек еще молодой, лет двадцати восьми, не более. Густые, светлые брови, широкий рот, нежная, прозрачная кожа и видимая неразвитость верхней части его головы при его выпуклых, будто блуждающих глазах, невольно заставляли всякого спрашивать себя, что это такое?

— Неужели это выражение характера, непреклонной воли, глубины анализа, силы мысли? — невольно спросил себя Чесменский, вспоминая рассказы о его философском величии. Но в эту же минуту он говорил себе утвердительно: это не может быть, ни в каком случае не может быть! Ни низкий лоб, ни

голова клином не дают возможности предполагать, что под ними может скрываться что-нибудь, кроме предвзятых идей и упорства, правда, может быть, бычьего упорства! Кроме такого упорства, ни Лафантер, ни Галль не нашли бы в его физическом строении ничего, что бы могло заставить чего-нибудь от него ожидать!

И Чесменскому пришел в голову отзыв об Анахарсисе, сделанный Шепелевым: "Немецкая тупость, едущая на французском фразерстве". В этом Чесменский уверился еще более, услышав обращенный к нему ответ.

— Руководитель баварских просветителей пишет мне, — проговорил Анахарсис, — о слиянии отдельных действий тайных обществ в Германии для признания разума за начало всего существующего. Но это уже сделано и утверждено. По декларации прав человека, разум принят за основание, а равенство — за начальную функцию всех отношений взаимности...

— Но действия, — позволил себе было свернуть Чесменский.

Анахарсис рассердился и перебил его.

— Должны быть разумны, вот и все! — сказал он как-то резко, будто его не понимают.

Потом вдруг он самым наивным тоном спросил:

— К какому департаменту брат Книге предположил отнести баварских иллюминатов?

Чесменский не понял вопроса.

— То есть, как это к какому департаменту? — нерешительно переспросил он. — Большею частью они в Баварии...

— Это ничего не значит! Они могут быть в Баварии, в Лапландии, в Сибири! — отвечал великий Анахарсис. — Но они одинаково должны принадлежать великому народу, первому, открывшему свободу мысли. Я, например, родился близ Берлина, но я француз, по естественному праву человека быть человеком!

— Но ведь Бавария независимое государство...

— Ни независимых, ни зависимых государств более нет и не может быть! Все независимы и в то же время зависимы по взаимности отношений. С падением тиранов, против которых объявлена уже теперь всеобщая

война, люди должны составить одну великую семью, несмотря на различие рас и местностей происхождения. Это должна быть одна Франция.

— Вы и Россию, таким образом, причисляете к Франции? — спросил изумленный Чемсменский, и в нем, против его воли, дрогнула гражданская жилка чувства своей самостоятельности, ему как-то грустно, обидно стало, что вот его великое отечество предполагается обезличить, предполагается слить с чем-то, что должно закрыть собою его самобытность до того, что оно должно будет забыть даже свое наименование.

— И Японию, и Китай, и Корею! — горячился Анахарсис. — Есть земля, есть люди — эти люди, волею-неволею должны составить народ, управляемый разумом, выражающимся в народном державстве. Само собою разумеется, что для определения этого всеобщего народного державства, распределения общих тяжестей и водворения повсеместного порядка, необходимо разделение на общины, когорты, которые, сливаясь одна с другою, составят департаменты. Первый департамент Фран-

ции начинается с северо-востока Европы и называется Обо—Печорским. Он располагается между течением эти двух великих северных рек...

— Учитель, да там и не живет никто! — с невольною улыбкою проговорил Чесменский. — Кроме разве нескольких зверопромышленников и лопарей!

Но Анахарсиса всякое замечание и возражение только горячило.

— Тем скорее они должны принять царство разума, — горячо отвечал он, — принять царство, разливающее повсеместное довольство и ведущее к общему благоденствию и счастью!

— Само собой разумеется, — продолжал он несколько хладнокровнее, — что для поддержки общих стремлений к пользе, добру и равенству, нужно чтобы все отделяли часть своих избытков на общее управление, которое по справедливости принадлежит великому народу, первым указавшему на зарю общего счастья в свободе, равенстве и братстве и стоящему во главе цивилизации. Но этот налог должен быть легок и падать только на бо-

гатах! Этот налог должен быть только братский взнос для общего блага...

Чесменский молчал, видя, что каждое слово его только сердит Анахарсиса, и помня обязанность масонства и иллюминатства в послушании старшим степеням. Но в то же время он кипел от негодования.

Аудиенция окончилась на этой пустой болтовне. Анахарсис остановился на мысли, под какими номерами следует заносить департаменты Америки и какими средствами заставить присоединиться ко Франции Англию? Он обещал обо всем этом подумать и подробно описать руководителям просветителей. Чесменскому ничего более не оставалось, как откланяться.

Но откланиваясь, на замечание Клоотца о выполнении платежей Бавариею Чесменский не мог не заметить:

— Учитель, Бавария теперь в войне с Франциею. Французские войска разоряют баварские области, убивают ее жителей. Будет ли справедливо заставлять их еще платить на поддержание того, что их губит?

— Война ведется против тиранов, а не про-

тив народа, — заносчиво отвечал Анахарсис. — Народ, достойный свободы, должен понять это и жертвовать своим настоящим ради благополучия будущего. Будет убито несколько тысяч жителей, сожжено несколько городов, казнено несколько отдельных упрямцев-аристократов, но что все это значит против вечности и стоит ли обо всем этом говорить в виду будущего общего благоденствия человечества!

На этих словах они расстались.

Так вот он, великий Анахарсис, вот тот, который думает разлить благоденствие при помощи штыков и пушек. Вот тот, который хочет ввести счастье убийством! Нет, тут не то! Не убийством и насилием достигается благосостояние. В убийстве нет и не может быть разума!

Такое замечание, после ужасов французской революции и войн, веденных Наполеонидами и против них в течении почти всего XIX века, разумеется, далеко не так смутило бы нынешнего мыслителя, как смутило оно юного питомца последних десятилетий XVIII века, в котором, до самых минут террора, гу-

манность, доходящая даже до сентиментальности, составляла первое и существеннейшее свойство образованности и цивилизации. Чесменского смутило оно до крайности, и великий Анахарсис представился в его мысли далеко не великим.

Но сознание, что тут не то, не так, заставило обратиться Чесменского к самому себе, заставило вдуматься, то ли и так ли то, чем он увлекся, за что готов был безропотно пожертвовать жизнью. Затем он ездил к Анахарсису — чтобы сблизить с ним общество иллюминатов. А что ему иллюминаты? Но как же, их цель благая в высшей степени. Они хотят просвещать, вести народ по пути разума, прогресса, преуспеяния. Они хотят уничтожить мрак суеверия, уничтожить иезуитизм, гнет, насилие! Ничего не может быть гуманнее, разумнее. Цель истинно прекрасная. Но средства? Те же, которыми пользовались иезуиты, распространяя суеверие, схоластику, мрак... Они также не хотят разбирать средств для достижения цели? также вводят у себя условия мертвого послушания, обращая людей в своих руках в исполняющие чужую волю трупы;

также принимают на свое попечение бретера и, может быть, содержат несколько наемных убийц.

Таковыми ли путями распространяются истины, действительно могущие служить к возвышению и улучшению человечества? Нет, Шепелев прав, иллюминатство, масонство и все другие тайные общества, равно как и иезуатизм, и все общества и братства, настоящие и будущие, которые будут иметь секретные цели, руководства и указания, ничего более, как заговор против человечества!

— Но, — объяснял Шепелев, — немцам и французам, с их сословностью, привилегиями городов и взаимным противодействием учреждений, поступать в такие общества есть какой-нибудь смысл. Вступать же в них русскому, у которого есть почва, есть дело дома, просто бессмысленно. "Разве только я, — говорил Шепелев, — за деньги и разные выгоды. Но я, положим, весь век был продажным человеком, а вы-то, вы?" Прав Шепелев, тысячу раз прав! Еду в Россию, что бы там ни было, чем там ни было, чем бы не решились, если и повесят, то, право, русская веревка лучше фран-

цузского гильотинного ножа...

Несмотря на это решение, он дождался письма Анахарсиса к барону Книге, считая обязанностью в точности выполнить данное ему поручение, дать отчет о поездке и сделать заявление о своем выходе из общества, прежде чем он его окончательно оставит, чтобы никого не вводить в заблуждение относительно своих убеждений.

Между тем предсказание Шепелева начинало сбываться. Стоглавая гидра начинала пожирать сама себя. Гильотина рубила не только аристократические головы, но и плебейские. Прежде всего, попали под ее нож жирондисты, федералисты и фельянды, одним словом, все, кто неодинаково думал, как думает Гора. Скоро она начала резать всех подозрительных и подозревать стала даже самое себя. Прежде всех должна была свалиться голова Дантона и того же Анахарсиса. Шепелеву удалось уйти из тюрьмы, но Робеспьер его все-таки доконал, выдав его за прусского соглядатая. Шепелев, кстати, говорил по-немецки как немец, и был пойман во время разговора с каким-то немцем. По крику какого-то

агента Робеспьера, что это шпион, соглядатай, на него набросилась толпа. Хотя в руках у него была палка и тот, который обозвал его шпионом, лежал у его ног с расколотым черепом, а он защищался молодецки, убив не менее десяти нападающих, но все же был убит бабами Сен—Антуанского предместья, которые изорвали его в куски, разнесли его тело по косточке. Наконец, дошла очередь до Сен—Жюста и самого Робеспьера. Ничего этого, впрочем, Чесменский не дождался, — в это время он был уже по пути в Россию.

Но еще прежде своего выезда из Парижа, когда еще ни Дантон, ни Анахарсис не ожидали столь близкой к ним катастрофы, имея уже, впрочем, письма Анахарсиса в своих руках, шел он по площади Революции и вдруг видит выходящую из Пантеона процессию — торжественную, парадную, великолепную, с атрибутами власти и блеском представительности.

— Что это такое? — спрашивает Чесменский.

— Празднование торжества разума, — отвечал ему кто-то из толпы. — Сегодня 20 брю-

мера (10 ноября), потому назначено шествие богини Разума из Пантеона в храм Свободы и Равенства!

Чесменский остановился. Перед ним проносились значки и знамена разных парижских секций и клубов, и между ними, среди самой бесшабашной толпы, на длинной древке болтались самые грязные, самые оборванные штаны — знамя санкюлотов. За эту толпою шел Парижский муниципалитет, замыкаемый Шометом и Гебером, то есть прокурором Парижской коммуны и его главным помощником, гнуснейшим из представителей убийства! За ним ехал мэр города Парижа и великий Анахарсис с некоторыми членами Горы, а за этими представителями власти шли в два ряда молодые девушки в белых платьях; украшенных розами, и с букетами в руках. Позади них, на плечах четырех великанов, одетых в какие-то фантастические костюмы, несло седалище — нечто подобное колеснице Феба, обернутое белым серебристым глазетом с прикрепленными к нему гирляндами роз. На этом-то фантастическом троне восседала богиня Разума, обернутая в

небесно-голубой газ и прикрытая плащом того же небесно-голубого цвета. Она была в римских сандалиях на босых ножках и с атрибутами свободы, равенства и братства в руках, обозначаемых кадуцеем Меркурия, лавровым венком и ветвью оливы. Голова ее украшалась миртами и фригийским колпаком.

В своем уборе, с золотистыми волосами и необыкновенно свежее белизною лица, богиня Разума была не дурна и волновала красотою своею беснующеся и отуманенное население Парижа.

За нею опять шли девицы с цветами, потом хоры музыки, за ними старшие представители общин, выборные и, наконец, войско и национальная гвардия.

Вся эта толпа проходит мимо глаз изумленного Чесменского и входит в храм Notre-Dame, называемый тогда храмом Свободы и Разума.

— Да это комедия, — готов был воскликнуть Чесменский, но вспомнил тюрьму, удержался и спросил только скромно: — Дозвольте узнать, гражданин, кто же представляет

тут богиню Разума и почему выбор пал именно на эту женщину, по баллотировке, что ли?

— О нет! — отвечал какой-то словоохотливый француз. — Это жена типографщика Маморо и говорят, порядочно украшающая голову своего супруга оленьими украшениями, преимущественно с его приятелями, муниципальными чиновниками коммуны, так как он печатает все бланки, все приказы и циркуляры, которые от коммуны по городу Парижу рассылаются. Эти-то и его приятели, из которых не исключают даже ни Шомета, ни Гебера, хотя первый только и толкует о святости брака и целомудренной жизни, а уже о Венетоне и Рансоне говорить нечего — эти граждане у Маморо живмя живут, день и ночь не выходят. Ну, вот они и устроили, чтобы богинею Разума была она, с платою ей от города за каждую процессию на костюме и прочее, и хорошею платою. Дело, говорят, недурное вышло, очень недурное, то есть с коммерческой точки зрения.

Между тем в храме, поставленная на пьедестал богиня, сходит торжественно на землю, несет венок и кладет его вместе с оливко-

вого веткою и кадуцеем свободы на алтарь отечества, потом, возвращаясь, направляется к председателю комитета общественной безопасности, который принимает ее в свои объятия, сопровождая их поцелуем при общих аплодисментах народа. Видите, слияние разума и власти! Затем вся процессия, тем же порядком отправилась в заседание конвента.

Чесменский выдержал себя, просмотрел всю эту процедуру не улыбнувшись и не сказал ни слова. Но он услышал, что его же мысль высказал какой-то молодой француз.

— Да это просто комедия! — сказал он.

— Отчего же комедия, гражданин? — спросил этого француза кто-то из толпы, вероятно, из ярых вольнодумцев, может быть, прежних дворян, теперь уже поголовно приговоренных к гильотине. — Ведь ты слышал, что вчера в клубе говорил Робеспьер? Если бы не было Бога, то нужно было бы его выдумать! Ну вот и выдумали богиню! Правда, что богиня-то, говорят, с изъянцем, ну да что ж делать-то, когда лучшей не нашлось? Все же лучше египетского Аписа или крокодила. Эту хоть целовать можно!

Чесменский закрыл себе уши и убежал.

— Домой, домой, — говорил он, — прав был тот, ведомый на казнь жирондист, который обращаясь к муниципалитету и предводителям Горы, сказал: "Я умираю в тот день, когда народ потерял рассудок. Когда же он найдет его, в тот день умрете вы!" Правда, правда, но я не хочу этого дня ожидать. Все, что здесь творится, сумасшествие, видимое сумасшествие народное! Домой, домой!

И Чесменский в ту же ночь выехал из Парижа.

Глава 9. Опять дома

— У них просто-напросто, по русской поговорке, ум за разум зашел! Они все с ума сошли! Повально все до одного помешались! Боже мой, какое несчастье! Помешанный народ, явление небывалое в истории!

Это сказала Екатерина в своем рабочем кабинете, ранним утром перед затопленным собственноручно камином, прочитывая привезенные поздним вечером депеши о событиях в Париже, обозначившихся сентябрьскими убийствами, бегством, потом арестом короля

и начавшимся против него в конвенте процессом.

— Не могу по справедливости не обвинить и Людовика, хотя и сожалею его душевно! — продолжала думать она про себя. — Нужны были меры решительные, твердые! Церемониться тут было нечего! Прямое дело государя такого повального помешательства не допускать! Если же где-либо оно обозначилось, то, что бы ни стало, распространение его остановить и самый корень уничтожить. Государь не имеет права оставлять без внимания и давать распространяться чуме, моровой язве и всему, что, переходя от одного к другому, может отравить собою всех. А такое сумасшествие, которым охвачены теперь французы, хуже чумы и опаснее всякой моральной язвы. Болтать, фразировать, под видом великих истин говорить общие места и гремучие банальности и потом желать эти банальности поставить законом — да это такое сумасшествие, перед которым артистическое сумасшествие Нерона, кровожадность Калигулы просто безделица. Перед ним бледность даже злодейства индейских тугов, помешанных на

том, что убийство — дело богоугодное, что есть там какая-то богиня Бохвани, которая любит смерть. Там, по крайней мере, убийство касается одного, а здесь болтовня, оправдывая всех, незаметно приводит к всеобщей резне. В этом отношении люди до странности походят на стадо баранов. У тех один соскочит со скалы и за ним летит все стадо. Пастухам приходится становиться в голову стада и убивать передовых, чтобы спасти остающихся. Очень грустно, но что же делать, когда нет других средств спасения?

Екатерина думала это, делая отметки на полях донесения против тех мест, которые, по ее мнению, высказывали недостаточную твердость правительства и слабохарактерность короля.

— Хотеть предрешать судьбы человечества, более: хотеть назначить путь развития его мысли и требовать, чтобы человечество стремилось именно по этому пути, указывая на него в законодательном порядке. Ну как же общее народное помешательство, в котором ум зашел за разум. Да если бы могло явиться такое указание истинного пути к все-

общему благу, то оно могло явиться только в тиши кабинета, в голову ученого и философа, под наитием минут светлого и святого вдохновения; принималось бы, усваивалось последовательно массами, пока не перешло наконец в общее сознание, которое несомненно вызвало бы и общий закон. Но чтобы из палатных прений, из горячки волнующих страстей, могла исходить истина, точная математическая истина благоденствия человечества, это такой абсурд, который не заслуживает даже опровержений. И можно ли говорить о судьбах человечества, когда никто из нас не может хотя бы только близко предрешить своей собственной судьбы, вот хотя бы моей...

И Екатерина задумалась. Невольно мысли ее остановились на ее прошлом, на ее единой, невероятной судьбе. Великие умы любят поверять себя, любят рассматривать сделанные ими поступки в связи с последующими событиями. Екатерина любила такого рода соображения, любила находить связь между последующими и предыдущими и в этом последнем находить семена того, что впоследствии развилось, окрепло и принесло свой плод. Но

как ни вдумывалась она в то, что окружало ее детство, как ни искала того зерна, из которого могло бы развиться и произрасти то, что с нею было, она не могла отыскать ни малейшего намека на возможность того, что случилось с ней в действительности. Маленькая принцесса какого-то маленького немецкого княжества, дочь прусского генерала, который только в королевской милости прусского двора надеялся иметь обеспечение за свою продолжительную службу, так как его дядя владетельный герцог Ангальт—Цербстский, после которого княжество должно было перейти к ней по отцу с его братом, весьма не благоволил к своим племянникам и непрерывно угрожал женитьбой с целью лишения их наследства. А тогда что бы было? Бедность крайняя и тяжкая, тем более тяжкая, это соединялось бы с феодальным имением, налагающим известные обязанности и отношения.

— Такая маленькая принцесса, и государыня, носящая одну из первых корон в мире, повелительница тридцатипятимиллионного народа — народа доброго, умного, молодого,

недавно разбуженного Петром Великим от византийской спячки, но уже успевшего доказать свою мощь, — государыня царствующая самобытно и самодержавно, представляет такую разницу, что искать одну в другой и ожидать, что одна перейдет в другую, было бы безумие, о котором смешно было говорить. Между тем все это стало, все это есть. Оно так сложилось, так устроилось, и я царствую, — думает она, — вот уже тридцать лет, и говорят: хорошо царствую!..

Рассказывают, впрочем, будто какая-то ворожея предсказала моей матери мою судьбу! — сказала себе Екатерина, улыбнувшись. — Но о таких предсказаниях обыкновенно напоминают, когда они сбудутся. А сколько таких, которых нечем вспомнить, потому что вместо счастья, богатства, славы, на которых ворожеи в своих обещаниях бывают не скупы, жизнь приносит только горе, бедность и страдания... Легко могло случиться, что и мне, несмотря на блестящее предсказание, выпала бы доля королевской птицы, как насмешники называют старых, обедневших принцесс, пропитывающихся единственно

милостями своих сюзеренов.

Для меня такая карьера грозила быть особенно близкою. Двоюродный дед мой, владетельный князь Ангальт—Цербстский был хотя и не молод, но здоров и свеж и его угроза жениться на зле племянникам: моему отцу и его старшему брату, могла легко исполниться. А тогда, по смерти отца, я вполне бы зависела от милости прусского короля, так как и в том ничтожном доходе, который бы княжество нам отпускало, как родственникам их сюзеренов в третьем колене, львиную долю имел бы мой брат и моя мать; я же должна была бы довольствоваться чуть ли не нищенским остатком. Ну, а прусский король немного бы, я думаю, на меня расщедрился...

Но в то же время я, тринадцатилетняя девушка, ни о чем таком не думала. Мои стремления, желания и мечты были просты и естественны, как мечты ребенка. Сперва, помню, меня очень занимало то, что я лучше всех знаю по-французски, что ко мне нередко обращаются с вопросами как то или другое перевести, как то или другое выразить. Потом мне нравилось, что я рисую цветы на фарфо-

ре или бархате, как живые, что все любят мои работы и что вообще женские работы у меня будто кипят в руках, наконец, мне нравилось, что многие говорили, что я недурна, особенно говорили, что в выражении моего лица много энергии...

Но вот я становилась старше, и мне страшно хотелось быть представленной прусскому двору. Я мечтала о том, как повезут меня в Берлин, там сошьют платье из венецианской материи, затканной серебром. Я мечтала, как в этом именно платье, разумеется после представления королю, меня, украсив цветами и по возможности бриллиантами, повезут на бал "рыцарского дома". Там я буду танцевать только с лицами высокопоставленными. Об этом фатер и мутер непременно позаботятся заблаговременно. Правда, может случиться, что мне придется танцевать с людьми, у которых голова будет глаже ладони или у которых седина будет светиться даже из-под пудры. "Но разве не все это равно, с кем танцевать, — думала тринадцатилетняя девушка, — говорит о себе Екатерина, — только бы танцевать!"

— Во время танцев, помню, — вспомнила она про себя, — я воображала, что все мной любуются, все приходят в восторг от молодой принцессы, которая так мило потупляет глазки от любезностей своего седовласого кавалера...

"Все находят, что я очень хороша, — мечтала я, — думала Екатерина — и хорошо держу себя. Даже сам король, сам великий жрец не выдержит, — думала я про себя и подойдет просить меня танцевать с ним".

Разумеется, мечты вырастающей девочки не могли на этом остановиться. Несмотря на примеры моей матери, которая, говорят, была хорошенькая, несравненно лучше меня, тем не менее она, едва ли восемнадцати лет, должна была выйти замуж за пятидесятилетнего генерала только потому, что генерал этот был принц и ему могла после смерти дяди достаться половина маленького княжества, а относительно себя не могла представить иного положения, что для меня непременно должен найтись какой-нибудь немецкий принц, молодой, прекрасный, великодушный, который влюбится в меня до безу-

мия и с разрешения моих отца и матери соединит свою судьбу с моей... И вот тогда, думала я, с этим-то очаровательным принцем входимым в чертоги, назначенные для нас, и в садах, наполненных розами и соловьями, насладимся взаимным счастьем, хотя, из чего могло состоять это счастье, я никак не могла представить.

Напрасно тут перед моими глазами вертелся непрерывно Иван Иванович Бецкий; напрасно кругом меня рассыпались намеки, двусмысленности и разные намеки, высказывающие и объясняющие так или иначе несоответственность выхода замуж шестнадцатилетней девочки за пятидесятилетнего старика; причем обыкновенно объяснялись и вообще затруднения в выходе замуж за кого бы то ни было бедной немецкой принцессе. Я не слушала никого и ничего. Лучше сказать, я ничего не понимала и не верила. Я верила в свою судьбу и думала, что появление великодушного принца столь же несомненно, как несомненно мое существование, хотя стоило только взглянуть в готский календарь, чтобы убедиться, что такого принца нет и явиться

ему неоткуда.

Но какой бы мечтой я себя ни тешила, что бы такое я себе ни представляла, дело оттого нисколько не подвигалось вперед. Разрешения на представление меня прусскому двору не было, венецианского с серебром платья мне не шили и в Берлин не везли. Я могла только тешить свое самолюбие, поправляя французские письма самого генерал-губернатора и действительно не встречая по искусству в женских работах себе соперницы.

Вдруг прусскому Фрицу вздумалось, нельзя ли как со стороны России предотвратить угрозу, разразившуюся потом в Семилетней войне, и я попала в политику... Вслед за тем, будто из-под земли, явилось передо мной и венецианское с серебром платье, и поездка в Берлин, и другие приманки моего молодого, почти детского тщеславия. Я была как в чадугу, упоена и отуманена; и действительно, в конце концов попала в чертог, только жених-то мой был, увы, уж вовсе не такой, каким я себе его представила!

Меня многие упрекают в легкомыслии, сравнивают с Анной Австрийской, Елизавете-

той Английской, готовы видеть во мне знаменитую Клеопатру, готовы уверять, что я современная Мессалина. Удивляюсь, как еще не приравнивают ко мне Лукрецию Борджиа. Но думают ли эти господа, мои хулители, о том, что они говорят, и о том, с кем сравнивают. Семь лет жила я с мужем чистой голубицей, даже без мысли о том, что могло бы коснуться моего имени. Между тем в искателях и ухаживателях, кажется, не было недостатка... Впрочем, клевета и тогда не дремала. Бывало, если случится мне перекинуть с кем-нибудь несколько лишних слов, государыня императрица уж и спрашивает: что это такое? Но всякая клевета должна была смолкнуть перед твердостью моей несомненной чистоты.

Тогда, видя меня с этой стороны неуязвимою, придворная интрига выдумала новый способ меня преследовать. Мою неприступность стали объяснять моей холодностью, начали говорить, что как женщина я никуда не гожусь и оттолкнула от себя мужа своей ледяной холодностью. Стали уверять государыню, что я не женщина, а рыба... И это они говорили обо мне... Не знали они, враги мои, того,

что, бывало, ночи напролет проплакивала я от той, прикрытой этикетом, холодности, которою окружила меня нелюбовь моего супруга...

Императрица потребовала нашего сближения, опираясь в своем требовании на государственную необходимость. Я не отрицалась, и это сближение произошло под ее непосредственным наблюдением, при общем, можно сказать, шпионстве за каждым шагом, за каждым шагом моим. Результатом этого сближения и был наследник русского престола.

Злоязычие и тут готово было бросить на меня тень, но должно было смолкнуть перед очевидностью.

В это время мой благоверный супруг, сблизившись с одною из фрейлин государыни и как нарочно с тою, которая была хуже всех, непрерывно колол мне глаза своим сближением. Его Романовна не сходила у него с языка, кстати и не кстати давал он мне чувствовать, что он мной не дорожит, что у него есть Романовна. Что оставалось делать молодой страстной женщине двадцати трех лет? Поневоле пришлось вспомнить свою мать и Ивана

Ивановича Бецкого...

Но я не была так счастлива, как моя мать, я не нашла подле себя человека, на взаимность чувства которого я бы могла полагаться. Когда же такой человек встретился в Григории Григорьевиче Орлове, то я была ему неизменно предана, неизменно верна и даже отчасти неизменно послушна в течение двенадцати лет, несмотря на его бешеный, можно сказать, дикий характер и выходки, весьма близкие к сумасшествию. Хороша Клеопатра, хороша Мессалина, двенадцать лет сряду воркующая со своим голубком, хотя этот голубок в ярости, в минуты ража, бывает бешенее альпийского вола.

Будь я частная женщина, без сомнений мое сближение с Орловым продолжалось бы целую жизнь. Я бы постаралась моею скромностью предупредить его выходки и силою любви своей ослаблять их. Мы были бы, по всей вероятности, счастливы своею взаимностью, хотя недостатки его воспитания иногда и заставляли меня морщиться. Он был рыцарь чести, идеал добра и нисколько не виноват в тех разных штучках, которые, прикры-

ваясь его именем, творил его брат Алексей. Да, в частной жизни я могла бы быть счастливою даже с таким неукротимым человеком, каков был князь Григорий Григорьевич. Но я была государыня. Я была обязана в иных случаях держать себя в известных пределах, становиться в определенные отношения. А он в минуты своего болезненного ража, с каждым годом усиливающегося, ничего знать не хотел. Поневоле нужно было разойтись, и это было мне так тяжело, так тяжело, что я с трудом победила себя.

Но все же, вспоминая это время, я не могу не сознать, что бывали минуты, когда я была с ним счастлива. В его преданности мне, в его рыцарском мужестве и благородстве, наконец, в изобретательности его ума я находила себе мужскую опору, которой не может не ценить и не дорожить всякая любящая женщина.

Молодая женщина за тридцать лет, испытывав несколько мгновений истинного счастья и наслаждения с любимым человеком, не может довольствоваться только воспоминаниями этих минут. Тому воспротивится и нрав-

ственная, и физическая ее природа; особенно, если она будет окружена всем блеском роскоши и полнотою довольства, как была окружена я, и при совершенной независимости. От такой женщины нельзя требовать аскетизма рыбы! Волей-неволей мысль ее ищет, воображение представляет, а чувства желают найти тот нравственный и физический идеал, в котором замечались бы все достоинства бывшего друга и не было бы ни одного из его недостатков.

Но судьба была ко мне милостива. Она не захотела бесплодно томить мою мысль и показала возможность существования на земле такого идеала. Судьба, можно сказать, захотела показать мне небо в совершенстве человечества. Таким явился передо мной и до сих пор представляется в моем воображении князь Петр Михайлович Голицын.

И красота необыкновенная, и ум светлый, образованность блестящая, а характер, сдержанность, мужественность, таланты настолько ставили его выше обыкновенного человечества, что вызывалось ему невольное, общее поклонение. И я невольно готова была перед

ним преклониться, готова была сознать, что мое счастье в нем, в этом идеале добра и света.

Но, видно, грешна я перед Богом, и Господь, дав мне власть, окружив меня всем, о чем могла только мечтать женщина в моем положении, не захотел благословить меня счастьем высокой взаимной любви. Судьба, показав мне мой идеал, сейчас же скрыла, сейчас же отняла его. Он пал на какой-то непонятной дуэли, сраженный какой-то темной рукой...

Но могли ли раскаленные мечты мои прекратиться за смертью Голицына? Ни в коем случае! Молодые вдовы, потерявшие любимых мужей, поймут меня. Они знают, как мучительны иногда представления воображения, как томят они, мучат, туманят до опьянения, до галлюцинации. Желание вновь встретить тот идеал, который рисуется воображению, надежда сойтись с ним становится болезнью, заставляет ни о чем не думать, как только о нем, заставляет беспрерывно мечтать о нем, его искать. А такого рода думы, раскаляемые силой своего представления,

невольно увлекают, невольно заставляют видеть человека не таким, каков он есть в действительности, а таким, каким рисует его нам наше воображение.

Удивительно ли, что и я отдавалась силе своего воображения, что и я хотела найти человека, каким осязательно представился он мне в образе Петра Михайловича, наконец, что и я ошиблась, как ошибаются многие. В моем положении ошибиться было легче, чем кому бы то ни было, потому что всякий старается представиться передо мной со своей лучшей стороны. Потому естественно, что вместо человека, способного осчастливить меня величием своих чувств и глубиной мысли, я нападала на искателей приключений, ищущих подачки и рассчитывающих на слабость женской натуры, хотя бы эта женщина и была государыня. Само собой разумеется, что самую алчностью своею они отталкивали от себя любящую женщину, и я вначале, сознавая свою ошибку, бросала им желаемую ими подачку и желала только одного, чтобы они пропадали с глаз моих. Но что же такое все они были? Ошибки увлечения в искании иде-

ала!

Из них выделялся один, имевший на меня во все мое царствование громадное, неотразимое влияние. Я говорю о Григории Александровиче Потемкине. Этот человек всю жизнь свою был для меня загадкой. Даже теперь, разбирая его, думаю, и не в силах определить, что такое он был. То гениальный, то мелочный и пустой, то возвышенный до идеала, то ничтожный, тщеславный и ленивый даже до грязи, он все время играл роль сфинкса, предлагающего неразрешимые вопросы, и умер так же загадочно, как и жил. Бывало, иногда является он передо мной олицетворением безграничной преданности; другой раз представлял тип прямого, отъявленного эгоиста, который ради блага целого мира не откажется от кончика своих длинных и частью обгрызанных ногтей. Иногда глубокая, преданная почтительность была как бы его прирожденным свойством, иногда же он позволял себе дать чувствовать как бы свое пренебрежение. Смешно сказать, но иногда, право, я будто его боялась. В нем была какая-то особая сила власти, непонятная повелительность,

прирожденное барство. Но такая повелительность, барство исходили у него не из источника света. Нет, его мысль, его голова были темное царство; я чувствовала невольно, что Потемкин в моей жизни был как бы князь тьмы. Может быть, этой темнотой своей он меня и притягивал, так что много лет ни влияние других, ни собственная самостоятельность не могли разрушить то обаяние, которым он меня окружил. Много лет вне его влияния я не имела ни мысли, ни желания. В моих глазах он изменялся как хамелеон, являясь чуть ли не каждый день в новом виде, с новыми предложениями, указаниями и удовольствиями. Эти предложения не всегда опирались на требования справедливости, и нравственности, но всегда были занимательны, всегда возбуждали мое любопытство. Случалось, однако ж, что я не соглашалась с ним, он и не думал спорить, отшучивался, но и в шутке старался меня соблазнить своей увлекательностью или новостью. Да, сказать нечего, он умел быть занимательным...

Но ведь все это было только мираж, только обман чувств. В Потемкине не было того, что

единственно может составить собой счастье женщины: не было того теплого, задушевного чувства, которое дороже всего на свете. Что же делать, может быть, я не встретила такого чувства, потому что и у самой меня его не было, нельзя желать всего. Я хотела царствовать и царствую!

Видит Бог, что я не жалела ни себя, ни трудов своих, не пренебрегала ничем, чтобы сделать царствование мое не бесплодным; чтобы разлить в моем народе довольство, спокойствие, возвысить его общее благосостояние. Я старалась вести его по пути просвещения, уничтожать предрассудки, суеверие, воровство. Не жалела я для того, опять повторю, ни труда, ни мысли. И если не достигла того, что хотела, то оттого, что встречала иногда противодействие от тех самых, которым хотела благодетельствовать. Но, посвящая себя людям, я не могла стать выше слабостей человеческих, не могла отказаться от своей женской природы. Прах остается прахом, земля землей — на какую бы высоту вы их не подняли!

Потому и именно потому мне казалось всегда, что я всем готова была пожертвовать за

Один миг того истинного счастья, той чистой любви, в которой душа стремится отделиться от тела и слиться с другой родственной душой, дающей блаженство, дающей рай той небесной любви, которой любят друг друга ангелы. Когда я встретила князя Петра Михайловича, моему сыну было уже семнадцать лет. Я невольно начинала думать, что под моим руководством я могу возложить на него управление. Я хотела сохранить за собой только право всепрощения и благотворительности... Но против судьбы не смела восставать даже древняя мифология. Судьба отняла его у меня. Его не стало, моего светлого идеала, моего ангела, и я попала под влияние Потемкина, поддалась власти соблазнительного Аримана, который, именно как сам соблазн, умел впиться во все мои способности, угадать все желания, направляя их на все земное, на все человеческое, что питало мою суетность, льстило страстям... Он требовал от меня только одного, чтобы я царствовала, и я подчинилась его влиянию!

Таким образом, моя жизнь как женщины была разбита, мне оставалось только царство.

Изменить что-либо теперь уже поздно. Жизнь прожита. Теперь, спрашиваю, чего же хотят от меня эти Новиковы, Салтыковы, Лопухины, Гавриловы, составляя разные тайные общества, внося французскую заразу в русскую жизнь и под видом просвещения разливая отраву. Неужели они не понимают, что под видом религиозности они распространяют мистицизм и суеверие, под видом гуманности уничтожают самобытность народности? Неужели они не видят, что их затеи ведут к разделению, розни, взаимному озлоблению?.. Но они встретят меня на страже, встретят во всеоружии государыни. Они не найдут во мне колебаний французского Людовика. Я дам отпор, грозный отпор самодержицы, твердо стоящей за себя и народ свой!

На часах пробило девять, и государыня позвонила.

Глава 10. Она не та, что была

По звонку государыни вслед за камердинером, несущим на золотом подносе кофе и бисквитки, явился и Рылеев, уже в генеральском эполете.

— Что нового? — спросила Екатерина у обер-полицеймейстера, становя на стол допитую чашку кофе, когда тот, после своего глубокого поклона, успел подняться.

— Из Шлиссельбурга пришло главнокомандующему донесение о благополучном принятии привезенного из Москвы Новикова и помещения его в одном из тайных казематов!

— А других еще не привезли?

— Не имеется еще сведений, Ваше величество!

— Хорошо, скажи Шешковскому, чтобы ехал в Шлиссельбург для допроса! Я не допускаю пытки, пытка редко ведет к открытию истины. Но допрос должен быть строгий, так и скажи Шешковскому. О том, что окажется по допросу, сию минуту доложить мне!

— Слушаю, Ваше величество, — отвечал

Рылеев с невозмутимой флегмой. — А насчет картинок и надписей к ним, стихов и разных других шуточных производств, что вы приказывали непременно узнать их сочинителя и распространителя, то первая, у кого те картины показались в Петербурге, была фрейлина Вашего величества Семикова, но была ли она одна сочинительницей и рисовальщицей тех картин, подписей и стихов к ним или кто другой с нею вместе сочинял, или она только распространяла, это пока еще не известно!

— Семикова, вы говорите — Семикова? Ах, негодница! И это после того, как я приняла в ней такое участие? Вот благодарность! Да как она смела?..

— По глупости, надо полагать! — бухнул Рылеев.

Государыня рассердилась.

— По глупости? Вы все готовы оправдывать собственной своей глупостью. При тетушке за такие глупости на площади кнутом пороли, ноздри рвали. Тогда не было и в помине глупости. Теперь, когда я смотрю, можно сказать, матерински, и глупость в моду вошла. Но я покажу им глупость, я заставлю...

И Екатерина, засучив рукава своего шлафрока, начала скорыми шагами ходить по своей спальне.

Рылеев молчал. Он знал, что такая походка означает сильное раздражение государыни и что в минуты такого раздражения она была очень крута.

— Я распорядилась бы так и с Семиковой — такую дрянь, которая смеет цыганить свою государыню, жалеть нечего. Но жаль отца, старого заслуженного генерала. Одна дочь. Это убьет его! Нельзя, однако ж, оставлять таких вещей без наказания, особенно в настоящее время, когда целый народ с ума сошел и беснуется от отрицания всякой власти, пожалуй, благодаря таким же пасквилям и насмешкам. Немедленно представить ее ко мне! Да велите позвать ко мне Анну Александровну Протасову.

Рылеев исчез, а Екатерина с засученными рукавами ходила еще по своей спальне.

Через минуту вошла в спальню государыни дама лет пятидесяти, с весьма строгим выражением лица и тою непринужденностью, которую дает только ежедневная привычка

обращаться с высочайшими особами и давнее нахождение при дворе.

Это была одна из ближайших статс-дам Екатерины, надзирательница за ее фрейлинами, украшенная звездой дамского ордена святой великомученицы Екатерины, Анна Александровна Протасова.

Она хотела было, по обыкновению, после установленного тогдашним этикетом глубокого поклона подойти к государыне и просто поцеловать ее руку, как невольно остановилась, заметив ее сильное волнение.

Удивление ее возросло до чрезвычайной степени, когда государыня, всегда ровная и спокойная, встречающая ее обыкновенно сердечным приветом, сегодня вдруг афро-пировала сердитым окриком:

— Что это, мать моя, какие это нонче у вас порядки завелись? С какой это стати вы фрейлин распустили до того, что они на меня стихи сочиняют, пасквили пишут и карикатуры рисуют? Ваше дело смотреть за их поведением, отвечать за их поступки! Ваше дело внушать им скромность, почтение, послушание, а не поощрять такого рода рисунки, в кото-

рых я и Ивана Грозного роль играю, и выжившего из ума дедушки Иренея, от старости впавшего в детство. Может, и впрямь вы думаете, что я с вами стану в куклы играть?

И выражение глаз Екатерины покрылось словно льдом тем стальным взглядом, о котором Петр III говорил, что он его боится, а Потемкин сказывал, что в минуты такого выражения взгляда Екатерины у него дрожит зрачок его фарфорового глаза, здоровый же глаз он просто закрывает, чтобы не явиться совершенным трусом, хотя вся армия может засвидетельствовать, что он никогда не трусил турецкой канонады.

Протасова на минуту совершенно потерялась перед такой строгостью выражения государыни. Ее спокойствие и ровность, которые она всегда с государыней принимала, также всегда спокойной и ровной, тут испортились будто влиянием какой-то таинственной силы. Тем не менее привычка взяла свое, ту же секунду она оправилась и отвечала почтительно, но твердо.

— Государыня, — сказала она, — вся власть Вашего величества смотреть на меня и де-

лать со мной что угодно! Но я не слыхала ни о чем подобном и, разумеется, не допустила бы, если бы слышала. Невероятно, чтобы которая-нибудь из фрейлин, после вашей материнской о них заботливости...

— Между тем это факт! Фрейлина Семикова сама ли сочиняла все эти пасквили или только распространяла их, но несомненно, что здесь в Петербурге, она источник, из которого они появились.

— Не говорю о всем неприличии, всей несоответственности благородной молодой девице заниматься пасквилями, но указываю на полную безнравственность и полную развращенность фрейлины, которая пасквилом платит за мои благодеяния. Независимо, впрочем, ни от чего, такой факт, по самой сущности своей, есть преступление в оскорблении величества. За такого рода преступление при Петре Великом слышали "слово и дело", а затем ломка костей и рубление голов; при императрице Анне даже за поступки меньшей степени, даже не против государыни, а против ее любимца Бирона назначалась пытка первой степени и смертная казнь, ко-

торой подвергались не только виновные, но и их сообщники, пособники и попустители. При сравнительно милостивом царствовании моей тетки Бестужевой вырезали язык, Лопухину били кнутом, Лилиенфельдт — плетьюми на площади. Что же мне следует делать с вами за попущение и с тою, которая, забыв почитание и благодарность, позволила себе подобное неприличие?

— Государыня, мы все в вашей всемилостивейшей воле, но естественно, что о преступлении Семиковой я не могла знать. Что же касается самой преступницы, то молодость, легкомыслие... Ведь Семиковой едва ли минуло шестнадцать лет!

— Тем большего она заслуживает наказания. Если в эти годы допустить неуважение старших вообще, не только своей государыни и благодетельницы, то что же будет после? Я понимаю твое желание избежать публичного скандала в столь щекотливом деле, но оставить такое преступление не наказанным я не могу. Это прямое распространение заразы французского духа, коснувшееся даже моего двора. Потому, из сожаления к ее старому от-

цу, которого я не хочу обидеть публичным процессом, потом тяжелой казнью его единственной дочери, я приказываю тебе — ее сию минуту сюда привезут — строго ее допросить, кто ее учил, кто помогал, кто сочинял, одним словом, все подробности. Потом, после надлежащих внушений, наказать ее семейство розгами. Ты позовешь шесть-семь женщин, преимущественно со стороны, стало быть таких, которые при дворе никого не могут знать; запретишь им болтать и накажешь, строго накажешь, но не так, чтобы только мух погонять, а чтобы целую жизнь помнила. Понимаешь, Анюта, это моя непременная воля!..

Сказав эти слова, Екатерина опустилась в кресло и взяла в руки перо, обозначив тем, что аудиенция кончилась.

— Ваше величество, — отвечала Протасова грустно. — Хотя такое приказание ваше служит одинаково наказанием как виновной, так и мне, но не могу не склониться перед вашим правосудием. Девочке в шестнадцать лет, облагодетельствованной своей государыней, разумеется, такого рода дурачества

непростительны и ваше материнское ей наказание без всякого сомнения менее всего может отозваться на ее будущности. Потому нельзя не признать, что оно исходит из вашего великодушия и всего более может привести к раскаянию грешницу!

Эти слова смягчили несколько Екатерину. Стальное выражение глаз ее исчезло, взгляд принял свой обыкновенный мягкий и приветливый вид.

— Как быть, Анята, знаю, что тебе неприятно, но что же делать? Прощать такого рода проступки более чем грешно! Мы не только перед отцом, но и перед Богом отвечаем за поведение тех, кого берем к себе, и опускать такого рода пассажи, который позволила выкинуть себе девица Семикова, просто непростительно!

Протасовой оставалось только откланяться. Она видела, что все ее ходатайства в пользу Семиковой скорей пойдут к увеличению наказания, чем к его сокращению. Потому с гнетущим чувством неволи она должна была уйти. Ей так не нравилось, что экзекуция была возложена на нее, но делать было нечего.

В это время из старого дворца у Полицейского моста Рылеев подвез к Зимнему молодую девушку, совершенно омертвелую от испуга. Что такое? Обер-полицеймейстер, двое урядников конвоя, казаки? Ей не дали даже оправиться, схватили и повезли как есть.

— Государыня милостива, — думала она. — Но что же это такое?

Введя ее в комнату перед уборной государыни, Рылеев пошел о привозе ее доложить.

Екатерина была уже в уборной, она сказала, что она не хочет видеть такую негодницу, которая занимается пасквилями, и приказала отвезти ее и сдать с рук на руки Анне Александровне Протасовой.

Рылеев поклонился и вышел исполнять приказание.

Девушка Семикова обмерла, услышав слова государыни. Со слезами на глазах, дрожащим голосом она стала умолять Рылеева передоложить государыне и испросить у ней для нее аудиенцию, хоть на одну секунду.

Рылеев, разумеется, отвечал, что это невозможно, что он должен в точности исполнить приказание и не смеет вновь государыню бес-

ПОКОИТЬ.

И он стоял на своем слове твердо, несмотря ни на какие слезы, ни на какие моления молоденькой и хорошенькой девушки. Он действительно не смел.

Но в эту минуту в комнату перед уборной вошел Александр Сергеевич Строганов, имеющий право в течение дня входить к государыне без доклада.

— М-ше Семикова! — сказал он удивленно. — Что вы тут делаете? И что с вами? Вы не похожи на самих себя!

— Ах, граф, не оставьте вашей милостию, — сказала Семикова умоляющим голосом, складывая против груди свои руки с выражением полного отчаяния. — Испросите у государыни милостивое дозволение ей представиться хоть на одну секунду! Я не знаю, что со мной сделают, но должно быть что-нибудь очень страшное, так как привезли меня сюда под конвоем и к государыне не допускают. Умоляю вас, сжальтесь, помогите!

Граф был человек добрый, и ему жаль стало молодой девушки.

— Хорошо, — сказал он, — попробую, хоть

и не знаю в чем дело! Но полагаю, что было не столь важное, чтобы решение по тому было бесповоротно. Подождите моего ответа.

Строганов ушел.

Когда он вошел к государыне, государыня сидела уже совершенно успокоившись. Она приняла его со своим обыкновенным приветом и лаской.

— Рады дорогому гостю! — сказала она — Садись, Строганов! Знаешь, кто сочинитель картинок и надписей, или по, крайней мере, распространитель их здесь, в Санкт—Петербурге, помнишь, что мы вместе рассматривали и сердились, нашелся. Это моя фрейлина Семикова!

— Как, маленькая Семикова, может ли это быть! Потому-то она так умоляла меня хоть на секунду выпросить ей у вашего величества аудиенцию!

— Не хочу я видеть этой мерзавки! — отвечала Екатерина с сердцем. — И не говори, Строганов, — продолжала она, заметив, что тот хотел возражать. — Таких вещей опускать нельзя, иначе мы придем к тем же последствиям, к каким пришли французы. Людовик

В своих несчастиях никого не может столько обвинять, как самого себя, свою снисходительность и слабость. Я не сержусь за себя, но сан величества должен быть священен в душе каждого. Я это говорю не потому, что ношу его, но по разуму, по чувству. Государь — представитель народа и великое оскорбление ему есть оскорбление всего народа. Его положение обуславливается общим к нему расположением, уважением и преданностью. Тогда только и только тогда он будет соответствовать своему великому назначению быть решающим голосом всех недоумений, всех противоречий, всех несогласий. И такое общее уважение к сану величества, к государю народа должно охраняться во всех видах государственного устройства, то есть в монархиях самодержавных и ограниченных; скажу более, таким же уважением должны пользоваться в правлениях республиканских их консулы и президенты. Самодержавие, аристократизм одинаково должны признавать главу государства своею честью, своею гордостью, палладиумом своей народности и славы. Смеяться над ним, кощунствовать, цыга-

нить может только глубоко безнравственная душа. Это значит — смеяться над своим народом, смеяться над самим собой... Это такая вина, на которую не может распространяться ни снисходительность, ни милосердие!

— Да, государыня, от обыкновенных людей, но не от Семирамиды Севера, которая оценит, что это было не умышленное желание подорвать к ней уважение, а легкомыслие ребячества. Ведь m-lle Семикова еще совершенный ребенок!

— Тем менее можно простить ее, потому что уважение к старшим нужно внушить с детства!

— Но милосердие, государыня. Вашему милосердию нет пределов, а она слишком наказана одним привозом сюда, выполненным Рылеевым со всем известными точностью и рвением.

— С этим я и не могу согласиться. В мире всему есть пределы, а такая вина зашла уже за пределы милосердия. Я и так распорядилась мягче, чем могла. За такие преступления в России недавно языки резали, кости ломали, ноздри рвали и кнутом на площади били

самых знатных дам. Я, напротив, взглянула на это дело именно как на ребячество и распорядилась наказать ее отечески, без огласки! Не проси, не говори ни слова, Строганов, иначе я рассержусь на тебя!

Сказав это, государыня позвонила и явившемуся официанту приказала передать Рылеву, чтобы он не дожидался, а исполнял в точности то, что ему было приказано.

Строганов поневоле должен был молчать. В уборную вошла Мавра Саввишна Перекусихина — любимая камер-фрау государыни.

— Матушка государыня, — сказала Перекусихина. — Явился с повинною отставной лейб-гусарский корнет Александр Алексеевич Чесменский! Просит дозволения взглянуть на ваши очи ясные, сложить к вашим ножкам свою повинную голову.

— Чесменский! — удивленно спросила Екатерина. — Откуда, как?

— Прямо из-за границы, из Парижа, — отвечала Мавра Саввишна, — говорит, коли ты, матушка, казнить велишь, то пусть лучше он сложит голову на русской плахе, под русскими топорами и от русской руки; пусть лучше

умрет среди народа православного в виду соборов святых, чем ему сгинуть среди гнусных извергов, пьющих свою собственную кровь.

— Вот еще преступник, с которым нужно обойтись и строго, и милостиво, — сказала Екатерина Строганову. — Поверь, Александр, что если я не признаю возможным абсолютно миловать всех, то не потому, чтобы не хотела. Лучше высечь девчонку в шестнадцать лет, чем ее вешать, когда будет ей тридцать! Зови, Мавруша, Чесменского, я посмотрю, чем станет он оправдывать свое явное непослушание и бегство.

Перекусихина ушла, но через секунду вошла снова, ведя за собой нашего парижского приятеля Чесменского.

Войдя, Чесменский упал перед государыней на колени.

Часть третья

Глава 1. Граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский

Граф Алексей Григорьевич с самого 1776 года, то есть со времени торжественного празднования Кучук-Кайнарджицкого мира и знаменитого похищения Али-Эметэ, жил в Москве почти безвыездно, теща свою самодурную фантазию и свою залихватскую русскую удаль всем, что могло только прийти ему в голову. Сегодня он сам, своей особой объезжает десятитысячного арабского жеребца. При этом он в нагольном тулупе, казанских рукавицах, кумачовой рубахе и смазных высоких сапогах. Только по бобровой шапке можно было узнать, что это не один из его заводских смерцов, тогда как сопровождающий его арап-сороход залит в шелк и золото, а пунцовый его бархатный берет украшен редкой красоты белыми страусовыми перьями, прижатыми к берету бриллиантовым аграфом. Завтра граф празднует свадьбу этого са-

мого арабского жеребца, которого объезжает, с превосходной дорогой фрисландской породы кобылой. Пусть, дескать, в смешении своем представят на диво миру новую породу орловских коней.

Послезавтра в саду Нескучном назначена травля. В зверинце сада приготовлено десять рысей. На них выпустят больше сотни собак с двадцатью егерями, доезжачими и псарями, долженствующими управлять нападением собак, но не помогать им. Любоваться травлей звана вся Москва. В великолепной трапезной графа в его Алексеевском дворце, как любил называть свой дом граф Алексей Григорьевич, в отличие от Григорьевского, Федоровского и Ивановского, у Крымского брода, где братья Орловы из своих домов образовали целую улицу — в великолепной графской трапезной, украшенной множеством драгоценного оружия, большею частью восточного, и разными атрибутами охоты вроде оленьих и турьих рогов, чучел лосей и медведей, громадных зубра и кабана, было накрыто более четырехсот кувертов для обеда. Столы ломились под тяжестью золотой и серебряной по-

суды. На кухне сорок поваров под руководством трех французов суетились и хлопотали, чтобы всю эту посуду наполнить съедобным, накормить и напоить из нее приглашенных — да графски накормить и напоить, чтобы и до будущего года никто не забыл нынешнего угощения. Это для избранного общества Москвы. А там, в затрапезной другой стол — стол уже на тысячу приборов. Тут место второму разряду общества. Сюда просят чиновничество, купечество, церковный причт и знатное лакейство. Пусть, дескать, пьют, едят и господ бранят, а графа Алексея Григорьевича хлебом-солью вспоминают. А для народа опять угощенье: на широком лугу за Нескучным стоят покоем один вплотную к другому сто столов; по ним протянуты полотенца вместо скатерти и положены деревянные кружки вместо тарелок. Между каждыми тремя кружками стоит большая серебряная братина с опущенными в нее ковшами и чарками. Братины налиты медом, пивом, брагой, различными квасами, только русского зелена вина нет. Ну, да ведь все знают, что не любит граф Алексей Григорьевич русским зеленым ви-

ном угощать. На столе между братьями на лотках поставлены пироги, в деревянных чашках похлебка разная; солоницы резные, деревянные с солью. Целый жареный бык с золочеными рогами на коленях стоит, начинен жареной живностью и кашей, несколько баранов в таком же роде стол украшают. Кругом них большие ножи разложены, вместо вилок — руки Бог дал, а ложки с собой принесли, народ православный, и кушай на здоровье, если уж пришел графскую потеху посмотреть. А вот для забавы вам шесты лентами и подарками разными разукрашены — коли ловок, попробуй счастье, что достанешь, то твое! А за шестами качели длинные и круглые; раешники стоят; а шуты колесом вертятся. Фонтаны пивом, медом и вином рейнским бьют. Пей, душа меру знает! В саду играет музыка, а по пруду песенники русские песни распевают. Гуляй, русский народ, и не поминай лихом графа Алексея Григорьевича!

Вот после травли вам отдых. У графа на другой день тоже праздник, да не ваш праздник. Французские пословицы в лицах представляют, а после итальянский певец Сариио-

ти поет. Состарился уже Сарииоти. Не разлива-
ется его голос серебряным колокольцем, не
звенит золотой струной, как когда-то звенел
он, хватая за душу в арии Страделлы, которую
пел перед умирающим последним русским
паншенетом XVIII века, поклонником красо-
ты и наслаждения, знаменитым князем Ан-
дреем Дмитриевичем Зацепиным. Но и те-
перь он все еще хорош, чудно хорош, все еще
заслушаешься его нежащих слух переливов,
задрожешь невольно перед вибрацией его го-
лоса и замиранием его звуков, от которого
жметя сердце. И невольно отдашь ему спра-
ведливость, невольно поклонись перед его
искусством.

И Москва суетится, торопится послушать
Сарииоти, трудно только, билетов не доста-
нешь ни за какую цену. А вот стоит получить
приглашение от графа Алексея Григорьевича,
даром наслушаешься и будешь иметь право
говорить потом, что слышал, дескать, знаме-
нитого певца, хоть на закате его дней... Но все
это не для вас, народ Божий. Вам хвастать не
перед кем, да и незачем! Не для вас, детей
природы, любящих то, что она дает в перво-

бытной своей простоте и прелести, и что естественно соединяется с молодостью и красотой, разбитый уже голос хоть и знаменитого, но состарившегося певца. Вы не поймете и не оцените ни переходов его, ни вибраций, ни чудного искусства. Кроме того, вы любите то, что говорит вам о вас, об отцах и дедах ваших, напоминает вашу собственную жизнь; любите то, что трогает ваше народное чувство, что вызывает вашу залихватскую удаль. А здесь для вас "какая-то Гекуба"!

Вот после пословиц и итальянского певца у графа Алексея Григорьевича будет опять вам праздник, будет кулачный бой, на котором гончаровцы попробуют свою силу над суконщиками. Говорят, что и сам граф хочет силой померяться с Сенькой Медвежатым, на таком договоре: коли Сенька осилит, то граф ему целую сотню рублевиков дарит и из своих вотчин на выбор невесту предоставляет, а коли граф одолеет, то тяжелая работа на долю Сеньки придется. Он должен будет целый месяц изо дня в день у графа на дворе в собачьей конуре прожить и ночью там вместо цепной собаки караулить и лаять по-собачье-

му, потому что граф ему говорит: ты не человек, братец, а собака! Какой же ты человек, когда у тебя на лбу и на носу волоса и под глазами волоса растут? Шерстью совсем оброс. А коли собака, так и карауль дверь!..

Ну что ж, никто не тянулся, сам вызвался; что шерстью-то оброс кругом весь, так это действительно, только Сенька-то недаром Медвежатым зовется, тоже подковы ломает, кочерги в узлы вяжет, да и помоложе графа будет, так что графу не легко будет с ним справиться, куда не легко!.. Вот это твой праздник будет, православный народ! Ты тут и угостишься, и нагуляешься, и чудных песен твоих наслушаешься, и над теми же песнями себе вдоволь горло надерешь. Тут тебе и кости поразмять есть где, и руки порасправить, и кулаки попробовать. Смотришь, и поколотишь кого, да и тебя поколотят здорово; будет не одну неделю чем праздник вспомнить. А там у графа опять бал с иллюминацией и фейерверком. Зато после медвежья охота — сам граф, говорят, обещал Михаилу Ивановича Топтыгина на рогатину поднять.

Так жил и роскошествовал в Москве граф

Алексей Григорьевич Орлов—Чесменский. Доступность его была всеобщая. Кто хотел видеть графа, говорить с ним, чужой ли, все равно — вали на двор, граф сейчас же на балкон выйдет и непременно всех выслушает, со всеми поговорит. И нечего сказать, в чем можно, не очень щедро, но сообразно нужде поможет-таки всякому. Вон лезет мальчишка, редкого чижика показывать хочет; граф смотрит чижика, узнает, что учил его сам мальчишка, полтинником поощряет. Вот старый дворник ногу крепко порубил, работать не может; велел граф своему доктору рану осмотреть, примочку отпустить и, пока нога не пройдет, со своей графской кухни корм отпускать, не только на самого, но и на семейство, по чашке приварку и пирогу на каждого; за стариком приходит малец — жалится, что жена третью неделю без просыпа пьянствует; граф велит отрезвить, потом при муже хорошенько поучить! Народ и он знает тут, что это значит. Так о всех ходатайствует, всем помогает граф Алексей Григорьевич. Тому прикажет отпустить для посева ржи; этому крупки на прокормление семьи до нового хлеба; а этому для

свадьбы его дочери браги и пива велит из его графских погребов нацедить. И так все и для всех. Все это просто, по-русски, без всякого обезьяньего ломанья. Выйдет ли он в залитом золотом и бриллиантами мундире или в дубленом полушубке, одинаково он встретит всех дружелюбно и приветливо. Иногда со старым знакомым, хотя бы то простой мужик был, но мужик почтенный, уважаемый, он поцелуется; другому свою руку даст поцеловать; а третьего приласкает просто, положив свою руку на его плечо. А мещанам, торговцам и особенно ремесленникам еще больше у графа льготы было. Последним граф иногда весь материал на три месяца заготовлять на свой счет приказывал: бери, работай и рассчитывайся! Рассчитаешься, придет нужда — ведь и снова купить можно! Зато можно себе вообразить, какой популярностью граф Алексей Григорьевич в Москве пользовался. Кажется, только свистнет, пол-Москвы за него в огонь пойдет, а слово скажет, так, пожалуй, и вся пойдет!

— Да, добрый человек граф Алексей Григорьевич, живет не только для своего мамона,

но всякому служить и помочь готов. По-христиански граф смотрит, сказать нечего, по-русски истинно, дай Бог ему здоровье! — говорит Москва. — А молодец-то какой, молодец-то!..

Так-то оно так! Граф Алексей Григорьевич, пожалуй, и сам поверил, что он и добрый человек, и истинный христианин. Ему же так часто говорят это в Москве, хоть матушка Екатерина и окрестила его именем *великого плута*. Но мешают тому, к сожалению, страшные воспоминания одного утра и одного вечера. Такие воспоминания, что от них кровь стынет, волосы седеют и мозг сохнет. Утром припомнится, страшный призрак будто стеной в глазах станет — ни дышать, ни думать не дает, свет Божий будто туманом застиляет. Вечер вспомнится: другое дело, тут и ноги корчиться начинают, кровь будто огненная лава по жилам переливается, а сердце так тоскует, так бьется, что будто выскочить хочет!

Но ведь он хотел лучшего! За что ж так мучат его они — эти воспоминания? В первом случае он, кажется, достиг того, что стало луч-

ше. Царствование Екатерины было славное: и победа над врагами, и законодательство, и развитие производительности!.. Да! Но кто тебя избрал быть решителем судьбы русского народа? Кто дал тебе право судить, что лучше и что хуже для его будущего? Кто дал право своевольно распоряжаться и давать то, отнимая это, и не на данную только минуту, а надолго, надолго, пока сделанная тобою перемена не сольется с общим ходом жизни?

Какой же ответ дашь ты в этом самовольстве, в этом самодурстве твоём? Ты коснулся того, что неприкосновенно; кощунствовал над тем, что свято. Русский ли человек оправдает тебя? Ты хотел лучшего — говоришь ты, — да! Для себя, не думая о том, что то, чего ты святотатственно касаешься, относится ко всем. За это нет тебе прощенья. Имя твоё перейдет потомству, как имя злодея, который ради земных благ, ради своего чревоугодничества не признавал границ своему самохотению. Что же тут твоя доброта, твоё ломанье перед народом?

А другой случай — воспоминание вечера. Здесь нет неприкосновенности, нет святости,

тут просто уничтожение интриги — польской или иезуитской, французской или шведской — это все равно, интриги, во всяком случае направленной против России, против ее спокойствия. Такая интрига могла тяжело отозваться на всем царстве русском, могла много зла принести нашему любимому Отечеству. Полно, Алексей Григорьевич! Неужто ты в самом деле мог думать, что молодая, неопытная женщина, без гроша денег, с двумя-тремя ухаживателями, хотя бы эти ухаживатели были мелкие князьки Священной Римской империи, может быть опасною русскому православному царству, и в такое-то время, когда грома победы его только что заставили дрожать Балканы и Карпаты? Нет, ты не так наивен, ты не думал этого! А тебе просто хотелось подняться, сделать что-нибудь выходящее из ряду. Брат же твой, князь Григорий Григорьевич, потерял свой кредит и случай в это время, и тебя очень хотели затемнить, и было на чем затемнить, хотя бы на том только, что потребовалась бы более строгая отчетность, чем та, от какой тебе хотелось отделаться! Хорошо, но все же, положим, не очень

опасную интриганку не дурно было уловить для прекращения всех смут и толков. Ведь тут нельзя не признать — нет неприкосновенности, нет ничего особенно дорогого, нет святого, заветного? За что же может тут мучить совесть, отчего при воспоминаниях замирает сердце? Очень просто! Нет тут неприкосновенности, ни святости, а есть, в глазах народа, любящая женщина!

Подумай, граф Алексей Григорьевич, благородно ли, честно ли, наконец, разумно ли заставить себя любить, для того, чтобы продать; вызвать сочувствие и откровенность для обмана и предательства? Честно ли, благородно ли, человечно ли принять личину преданности, более — страсти, для уничтожения и гибели? А ты уничтожил и погубил не только беспредельно любящую тебя, но и твоего собственного, родного сына. И ты хочешь быть спокоен в своей совести? Хочешь смотреть на себя, как на человека доброго, благодетельного? Подумай лучше, можешь ли ты смотреть на себя хоть просто как на человека? Положим, нужно было разбить интригу. Но ты разве не знаешь силы любви, разве те-

бе неизвестно могущество ее влияния? Любящая женщина, преданная тебе бесконечно, легко могла бы убедиться в невозможности того, что рисовало ее воображение, но никак не диктовал разум. А тогда не было ли бы достигнуто то же, только средствами разума и чести, а не проходимством воровства, предательства и самого зверского кощунства над чувством, над отношениями и над разумом истины? Подумай, вот ты женился, женился по своему выбору на восемнадцатилетней девице, хорошенькой, очень хорошенькой, знатного рода, со связями и богатством. Авдотья Николаевна Лопухина пошла за тебя не насильно же? Стало быть, ты имел все шансы в женитьбе своей надеяться на счастье самое полное, самое совершенное. Но был ли ты счастлив с ней хоть одну минуту, так счастлив, как с тою, которую ты предал, обманул?.. Нет, ты знаешь это, сознаешь это, и даже сам не понимаешь отчего. Жена прожила недолго, оставила дочь. Графиня Анна Алексеевна не красавица, но хорошая девушка, сказать нечего! И государыня ее любит, и все справедливость отдают. Но видишь ли ты в ней то,

что хотел бы видеть в своей дочери? Нет, тысячу раз нет! Она не то, что ты бы хотел, чего ожидал, чего надеялся! Она хорошая девушка, но не такая, какой ты желал!

Уж одно: ты никогда скуп не был, когда деньги есть, готов был всегда делиться и своею милостью всех награждать. Тут немало попадало от тебя и странникам, и каликам переходим, и духовенству, и монастырям. Но ты никогда не любил с ними возиться и время проводить. Ты говорил духовным духовное, а нам, мирским людям, мирское! А дочь твоя — Анна? Видишь, она и слушает только калик переходим да аскетов многоглаголивых. Она тает от их речей, смотрит в глаза им, а о других даже и не думает, других даже за людей не признает.

К тебе приехал сын твоего старого товарища. Что за молодец, что за разумница. Молод, а уж заслуги какие оказал, видимо, через отца перешагнет. Отец старый самодур, однако ж генерал-аншеф и человек весьма уважаемый и богатый. Сынок этого самодура Михайло Федотыча Каменского, Николай Михайлович Каменский, приехал к графу Алексею Григорье-

вичу и дал почувствовать, что графиня Анна Алексеевна ему очень и очень нравится. Вот бы женишок: всем взял! Граф богат, хорош, молод, не сегодня-завтра фельдмаршал! Потому что талант, настоящий талант... Очень бы хотелось графу Алексею Григорьевичу сладить это дело. Не тут-то было! Графиня Анна Алексеевна предпочитает слушать какого-нибудь странника, какого-нибудь калику переходящего, любит скорее каким-нибудь монахом Афонской горы, ей нравятся больше рассказы о невероятных чудесах греческих монастырей, чем полный ума и блеска, образованный разговор графа Николая Михайловича, которого заслушивается и на которого засматривается сам Алексей Григорьевич, хотя ему досталось, кажется, в жизни много кое-чего видеть и много кое-чего испытать. Отчего же это так? Отчего между отцом и дочерью такое противоречие взглядов? Очень просто: идеалы их разошлись! А разошлись они оттого, что ни жена его покойная, ни его дочь никогда душой не сходились с ним, никогда не сливались с ним своих желаний и своей мечты...

"Вот сын от той, которая меня любила и которую я обманул, вот, пожалуй, у нас с ним могли бы, может, быть и общие идеалы и общие желания! — думает про себя граф Алексей Григорьевич. — Но я не думал о нем, я не хотел видеть его, и он исчез, скрылся, будто под землю провалился, и ни слуху ни духу! Впрочем, слух есть, вот Гардер мне пишет из Мюнхена, что какой-то русский мальчишка Чесменский, — надо полагать, он и есть, поднял там против меня целую бурю. Он хочет мне мстить за свою мать, заявляя, что я оскорбил чуть ли не все человечество. Он хочет, чтобы месть была страшная, ужасная — соответственная злодейству, по его мнению, моего поступка. Для того он волнует и хочет опереться на все подземные силы иллюминатов. Мальчишка, мальчишка и дурак, более ничего! Во-первых, должен же он был подумать, что я всю эту подземную вражду, всю эту таинственную силу иллюминатов могу парализовать какими-нибудь тысячью рублями. Я так и сделал: как приезжал сюда граф Сергей Петрович Румянцев, я заехал к нему, познакомился там с этим Николаи, который,

говорят, между иллюминатами имеет особое влияние, разговорился и заявил, что, сочувствуя общим, благотворным видам иллюминатства, я желал бы поступить в члены их общества. Он с удовольствием выразил готовность меня представить. А когда я буду их брат, понятно, всякая месть должна будет смолкнуть. Не могут же они желать отравить, убить или сделать какое-нибудь зло своему члену-собрату, особенно собрату полезному и денежному? И вся суета, все красноречие моего мальчишки пропадет даром. Иллюминаты и не подумают мне мстить ни за мать, ни за него самого. А как при том, по крайней мере в материальном отношении, я буду для иллюминатов несравненно полезнее, чем он, то они сами станут оберегать меня от его притязаний, сохранять от его мести. Так что я вполне спокоен, ничего тайного, ничего выисканного против меня со стороны иллюминатов не может быть предпринято. Одно разумеется, что он может сделать, и непременно сам — это убить из-за угла. Но разве это месть? Во всю мою жизнь смерти я никогда не боялся — да ведь умереть все равно ко-

гда-нибудь придется, так что уж тут толковать — раньше ли, позже ли, не все ли равно? Пришлось умирать, думать нечего, умирай себе спокойно. Вот пока жить приходится — так о жизни подумать — нужно, чтобы жизнь была хороша, нужно, чтобы жизнь тешила, а то, пожалуй, лучше и умереть. Таким образом, мой шут-мальчишка, мой дорогой сынок отомстить мне никак не может. Попотчевать чем-нибудь таким, чтобы я страдал годы, десятки лет, а на это могли быть способны иллюминаты, ему не удастся — те же иллюминаты помешают; а убить — это я не считаю мезью, да и то хитро будет. Редко я бываю один. А меня окружает обыкновенно народ преданный. Да когда я и один, то разве моментальный, верный выстрел, а нет, так, наверно, будет сам смят, сломан и на себе же попробует, что значит нападать, да еще нападать на такого человека, каков граф Орлов—Чесменский, который один с медведем справится. Я, разумеется, не убью его, но уж, извини, голыми руками искалечу так, что он тогда же почувствует, что такое мезья — настоящая, действительная, то есть — страда-

ние в жизни, а никак не убийство! Одно вот, что когда я думаю обо всем этом, когда вспоминаю, мне само собой является страдание. Сейчас будто оживает передо мной, является будто тень этой княжны Алины или Елизаветы, Бог знает, как ее звали, и я вижу, как в боскете из мирт и померанцев, устроенном на балконе в Ливорно, с чудным видом на залив, она падает ко мне на грудь и говорит: возьми все у меня — имя мое, и мое положение, и долженствующее достаться наследство, самую жизнь мою — возьми душу и тело мое! Ведь я твоя, вся твоя... А я спокойный и холодный в это время, не думая ни о какой страсти — напротив, думая о другой женщине, которая своим подчас стальным, а подчас жгучим взглядом скорей бы мне ужас внушила, чем страсть, хотя она и страсть могла внушить, доказательство брат Григорий, ну да это в сторону, дело в том, что под влиянием обязанностей к этой женщине я забываю свою голубку; я, уже целуя ее и сжимая ее в своих страстных объятиях, обдумываю, как я обману ее, как выдам и какой новый фортель приму, чтобы это не представлялось ей яс-

ным. Когда я вспомню об этом да подумаю, то так тяжело на сердце станет, так сожмется душа, что я себе места не нахожу; в воду бы бросился... Нужно развлечься, во что бы то ни стало нужно развлечься! Вот что, на этой неделе я полагал устроить медвежью охоту, думал побороться с Мишенькой сам. Несколько медведей готово. Теперь от скуки, для развлечения не попробовать ли побороться сегодня. Только вот что, нужно что-нибудь новое. Столько раз я брал уже медведя на рогатину, что надоело. Не попробовать ли сегодня новый способ — вместо того, чтобы драться пешим с рогатиной, взять его конным с копьем в руках..."

И такова была сила русской природы графа Алексея Григорьевича, что для того, чтобы рассеять себя от мучивших его мыслей, чтобы занять свой тоскующий праздный ум, он приказал приготовить голодного разъяренного медведя и своего любимого арабского жеребца, чтобы побороться с медведем один на один; позабавиться, может быть, смертной забавой, сражаясь на коне, стало быть защищая не только себя, но и коня. Вместо рогатины и

широкого обоюдоострого ножа приготовили графу стальное, дедовское копье и, на случай, того времени, довольно неуклюжий, старинный, кремневый, хотя с чудным лазариниевским стволом, пистолет.

Обед был в тот день тонкий, гастрономический. Граф захотел вспомнить парижские обеды Граммона и Неккера, хотя не мог не соблазниться, чтобы к светлому супу (claire) не приказать вместе с пирожками а la Briasse подать кулебяку и растегаи. Обедало у него человек семь московских тузов, которые как-то выразили желание видеть его единоборство с медведем.

К концу обеда граф заявляет, что он хочет сегодня драться по-новому, на лошади, с копьем в руках!

— Дело опасное, — заметил тут князь Семен Емельянович Козловский, страстный любитель медвежьей охоты, человек еще молодой, лет тридцати, не более, но уже обер-камергер, так как был женат на племяннице Николая Ивановича Салтыкова, а Салтыков был началом и основанием случая Зубова. Он, что называется, его отыскал и поставил.

— По копьё медведь, проколотый насквозь, доберется до ушей лошади, а там — пощекочет в затылке и вашего сиятельства, если позволите заметить, — сказал Козловский, — потому что лошадь непременно на колени упадет.

— На этот случай мне приготовили пистолет, хотя признаюсь, лучше бы русскую палицу. Не верю, признаюсь, огнестрельному оружию, пожалуй, в самую критическую минуту осечка или что-нибудь, а как палица-то Полкана в руках, так уж тут можно быть покойным. Силенка кое-какая у меня есть, коли ударю по лбу сверху, то другой раз не попросит даже медвежий лоб!

— Да, граф, правда, если медведь попадет на копьё! Но, по всей вероятности, ведь медведь хотя и неуклюж, но ловок, потому надо полагать, успеет отскочить и нападет на лошадь сзади. Это их любимый маневр, в борьбе с лошадьми вообще, потому что жир достаточно защищает их от первых ударов лошадиных копыт, когда же медведь вцепится лошади в круп, то он так ее осадит, что той будет не до ляганья. А сзади медведь всякую ло-

шадь догонит.

— Ну, моего-то Летуна не догонит. Ведь это не то что какой-нибудь русский водовоз или крестьянская лошадка, да хоть и помещичья, вскормленная овсом и хлебом, но не выдавшая ни табуна, ни степи. Нет, мой Летун настоящий араб, в беге поспорит с ветром, а скромн и послушен как красная девушка!

— Какая девушка, — заметил другой обедающий, Лукьян Иванович Талызин, — если тамошняя арабка, то я ничего не скажу, может, они и очень послушны, я их никогда не видал и не знаю; если же русская, то могу удостоверить, что иногда они бывают с таким душком, что человек готов бывает убежать за сто верст от их послушания. Недаром говорят, Боже мой, все девицы на Руси святые ангелы, да откуда же берутся у нас злые жены?

Лукьян Иванович Талызин был женат на сестре князя Якова Ивановича Лобанова—Ростовского, на княжне Парасковье Ивановне, и говорил, что пока она была жива, так он и дышать не смел без ее дозволения; каждый день, говорят, устраивала ему сцену, да такую, что хоть святых из дому носи. По сча-

стью для него, она скоро умерла; зато теперь ничем его так рассердить нельзя было, как предложением жениться. "Из-за чего, — говорил он, — на себя муку принимать, себе ярмо надевать?"

— Пожалуй, пожалуй, — будем верить в арабских женщин, как и в арабских лошадей, те и другие не могут быть не породисты, — отвечал граф Орлов, допивая свой ликер и вставая из-за стола с извинением у гостей, если они встают голодными, хотя совершенно был уверен, что, несмотря на тонкость обеда, те наелись так, что насилу встать могут — наелись по-московски. Затем он позвал всех в сад, пить кофе и опять есть: лакомиться фруктами, пока все будет готово для охоты.

Через час на обширный луг за Нескучным садом была вывезена большая железная клетка, в которой метался и ревел бешеный голодный медведь. Клетку поставили к самой опушке под большим деревом и протянули к дереву веревку, с тем чтобы сидящий там человек мог поднять задвижку, заслоняющую выход. По обеим сторонам луга разместилось народу видимо-невидимо из окрестных сел,

деревень, дач, а частью и самой Москвы. Все хотели видеть, как старый граф — в это время ему было далеко за пятьдесят, — хотя обладающий необыкновенной силой, справится с рассвирепевшим медведем, да еще сидя на лошади, которую, естественно, должен оборонять, даже более чем самого себя; потому что с падением лошади он, естественно, и сам попадает в лапы медведя.

На противоположной лесу стороне луга, подле самого выхода из сада был устроен павильон для посетителей; а подле нижней ступени этого павильона рыл копытом землю знаменитый конь графа Орлова—Чесменского, жеребец чистой арабской крови, известный всей Москве, Летун. Тут же подле жеребца стояло несколько егерей и доезжачих. Они держали жеребца и готовились на случай. Собак не было, так как граф желал единоборства с медведем без всякой посторонней помощи. Думали, лошадь заартачится и не пойдет на медведя; предлагали принять разные меры; но граф был уверен в своем Летуне и велел сказать, что ничего не нужно.

Не прошло часу, как граф с гостями вышел

из сада. Гости разместились в павильоне на площадке. Перед ними на столиках для прохладения были расставлены: холодный рейнвейн, шведский пунш, лимонад, фрукты и венгерское. Граф внизу легко и свободно, несмотря на свои лета и некоторую грузность, вскочил на Летуна и рысью направился на клетку, с каждым шагом усиливая аллюр.

По данному сигналу передняя стенка клетки поднялась, и расвирепевший медведь выскочил из клетки. Он видит: на него несется всадник с копьем в руке.

Медведь заревел, царапая передними когтями землю; не прошло, однако ж, секунды, он бросился на всадника, побежав всем своим неловким, но весьма скорым бегом, так как задние ноги его закидывались при каждом шаге более чем на полсажени вперед передних ног. Всадник уже близко, копье против него. Но медведь о том не думает, он становится на задние лапы. В этом виде он выше лошади и одной лапой хватит лошадь за загривок, а другой достанет ездока.

Но случилось нечто неожиданное, и конь

и всадник пролетели выше головы медведя; только серебряная подкова задней ноги лошади задела немного медведя по левому уху.

Медведь освирепел еще более и обрадовался. Сзади он лошадь догонит наверное; от него доселе никакая лошадь убежать не успевала; а сзади ему не страшны ни копье, ни всадник. Он сзади так осадит лошадь, что всадник сам ему в лапы попадет. Он повернулся и бросился в ту же минуту за конем, рыча и, видимо, надеясь вцепиться лошади в круп. Неизвестно, досталось бы медведю вцепиться в круп Летуна, то есть удалось бы ему догнать его, если бы конь продолжал убежать, но догонять ему не пришлось. Конь и всадник, не доехав до клетки, опять повернули назад и опять летели на медведя.

Народ с обеих сторон луга ревел от восторга, любуясь русской потехой, о которой слышали они с детства в преданиях о Полкане-богатыре, но которой не видали никогда и никогда не увидали бы, если бы им не показал ее граф Алексей Григорьевич Орлов.

Все готов был простить народ графу Алексею Григорьевичу за его русскую удаль, ис-

тинно молодецкую. Но не такова судьба, не такова справедливость. Они не прощают. В ту минуту, как граф готов был всадить копьё в пасть зверя, у него вдруг страшно защемило, затосковало сердце. "За что его убивать, — подумал он, — что он мне сделал? А что она сделала? Дала несколько минут счастья, какого другой раз я не испытывал!"

Раздумье это могло бы окончиться катастрофой, если бы сам медведь не наскочил на копьё и не полез по нему к лошади. Он уже близко, еще секунда, и он схватит загривок его Летуна, а там и всадник будет в его лапах.

Тут Орлов опомнился и выстрелил в пасть из пистолета. Медведь упал, и Летуна пришлось перескочить уже его труп, среди криков, хлопанья и восторженного ликования смотрящего народа. Орлов и забыл совсем о палице, которую велел было повесить около седла, чтобы окончить единоборство холодным оружием, не прибегая к пистолету; чем бы, разумеется, потешил народ еще более, чем теперь. Но ему было не до палицы.

Сердце щемило, щемило, жгло, будто он ждал чего-то для себя страшного, чего-то

невероятного, и он сошел с коня к своим ликующим и поздравляющим гостям будто опьяненный...

Не успели гости окончить своего послеобеденного пира в честь торжествующего хозяина, как докладывают: курьер из Петербурга.

— Что такое?

— С письмом государыни императрицы, врученным курьеру лично самой государыней.

Распечатали, прочитали письмо.

"Граф Алексей Григорьевич! — писала государыня собственной рукой. — Ты мне крайне нужен по важному делу. Надеюсь, не откажешься исполнить просьбу своей государыни и приедешь в Петербург сейчас же. Мне нужно сколь можно скорее.

Доброжелательная тебе Екатерина".

— Велите послать на почту, чтобы дали вперед знать о заготовке лошадей и велели закладывать карету. Сегодня вечером я еду! — сказал граф Алексей Григорьевич камердинеру, прощаясь и провожая гостей.

Глава 2. Она та же, хотя и стала другая

— Русский дезертир и изменник, как вы смели ко мне явиться?

Государыня сказала это с сердцем, круто и холодно; но ее взгляд не принимал стального выражения. Ее улыбка не изменяла своей обыкновенной, добродушной формы и брови не хмурились судорожно, как бывало тогда, когда она была особенно сердита. Она не засушила себе рукавов и не начала бегать по кабинету, хотя и видно было, что она желает распушить виновного и поступить с ним строго с предупреждением будущих проступков послушания и неповиновения.

— Для смертной казни ваше величество, — отвечал Чесменский почтительно, но твердо; он стоял перед ней на коленях, но смотрел тем ясным и откровенным взглядом, которым смотрит только молодость.

— Русский, бежавший своего знамени, — продолжал он, — русский дезертир несомненно заслуживает виселицы; слушник воли своего государя заслуживает, чтобы ему отрубили голову, а изменник, действующий во

вред своего Отечества, по справедливости, должен быть расстрелянным...

— Я заслужил все эти три казни, — резонировал Чесменский, — бежав из полка и от следующей мне кары, нарушив долг послушания моей государыне и служа интересам чуждым, во вред своему Отечеству. Моя надежда на всепресветлую милость вашего величества, что вы изволите соединить все эти мои преступления и освободить меня, как вашего офицера, от позора виселицы, изволите всемилостивейше приказать или расстрелять, или отрубить голову. Тогда я надеюсь умереть так же спокойно, как, видел я, умирают французские дворяне, с молитвой за своего короля. Надеюсь, что последние мои слова будут молитва за долголетие и счастье моей государыни.

Эти слова несколько озадачили и смягчили Екатерину. Они заставили ее распустить свой приготовительный к распеканию, нахмуренный лоб и удержать резкие слова гнева. Она спросила уже спокойно, не сердясь и не настраивая себя на грозную представительницу кары:

— Скажи, Чесменский, чего ты добивался, чего хотел? Не может же быть, чтобы ты бежал, испугавшись наказания за дуэль, в которой ты виноват, пожалуй, менее, чем другие, хотя именно ты и оказал мне непослушание. Но ведь ты знал же, что я не изверг какой, не тиранка, которая пишет свои законы кровью? Стало быть, чего тебе особенно было бояться, особенно когда дуэль ничем не кончилась? Говори же, говори откровенно! Только откровенным признанием ты можешь заслужить себе — не говорю прощение, простить тебя я не могу, но снисхождение и смягчение своей участи!

— Нет, государыня, не страх наказания, не боязнь, что во взгляде вашего величества я встречу большую строгость, чем поступок мой того заслуживает, заставили меня бежать. Мне слишком известны материнские чувства ваши к своим подданным, чтобы я мог в них хоть минуту сомневаться. Но меня только гнало отсюда — это, во-первых, невыносимая тяжесть моего фальшивого положения; во-вторых, действительный страх перед могущим быть самым тираническим отноше-

нием ко мне родного батюшки. Такое отношение явилось для меня тем осязательнее, что мне стало известно, что он узнал мои чувства к нему и что, пользуясь случаем моего проступка и вашею к нему милостью, он мог легко заполучить меня в свое распоряжение!

— Родного батюшки, — проговорила Екатерина хмуро. — А ты знаешь, кто был твой родной отец?

— Знаю, ваше величество, граф Алексей Григорьевич Орлов—Чесменский! Потому меня и называют Чесменским.

Екатерина взглянула на него сурово и весьма подозрительно. "Эти мальчишки всегда все знают", — подумала она.

— И вы знаете, при каких условиях и обстоятельствах произошло ваше рождение? — спросила она.

— Знаю, ваше величество, во всех подробностях, — отвечал Чесменский, смотря государыне в глаза своим ясным взглядом. — Знаю и думаю, что если дожил до сих пор, то только благодаря милостивому вашему покровительству. Что же касается родительских чувств графа Алексея Григорьевича, то я уве-

рен, что с первой минуты моего рождения его мысли всегда были направлены только к тому, каким бы образом смести меня с лица земли, как живой укор его совести. Теперь же, когда он узнал, что во мне он должен видеть не только безмолвный упрек его прошлому, но и грозного мстителя за это прошлое, он, я уверен, ни за чем не постоит, чтобы меня уничтожить, испепелить и искалечить буде возможно, а главное сжить со свету Божьего!

— За что же ты хочешь ему мстить?

— За свою мать, ваше величество, за самого себя. Разве может быть что-нибудь ниже, бессовестнее, бесчеловечнее, как то, что он сделал, положим для того, чтобы заслужить от вашего величества несколько монарших наград? Он обманул, оболъстил, обесчестил, украл и продал мою мать, бросив в жертву ложного положения своего сына. Ведь это хуже разбойника, хуже убийцы...

В перерыв этих грозных слов Чесменского государыня бросила на него твердый, упорный, но и бесконечно грустный взгляд — взгляд такой, который заставил Чесменского

замолчать. Она не рассердилась, нет, но ей, должно быть, припомнилось что-то неизобразимо тяжкое, неизобразимо горькое, что-то такое, от чего горечь отзывается и до сих пор; от чего до сих пор жметя и трепещет сердце, хотя много уже лет прошло с тех пор, когда это что-то было настоящим, и сила горечи должна бы была уже затянуться воспоминаниями.

— Резко, очень резко выражаетесь, молодой человек, — сказала она строго. — Резкость никогда не бывает достоинством, особенно в отзывах о родном отце!

Чесменский все еще стоял перед ней на коленях, смотря ей прямо в глаза своими светлыми глазами. Видно было, что он решился высказать государыне все, что наболело на сердце, а там пусть казнит! Ведь хуже же в самом деле, если займется им после родимый батюшка и велит где-нибудь голову раскрыть или изувечить как-нибудь; а не то, пожалуй, еще хуже, как самому без того с голоду умереть придется! Бегать же, прятаться, шляться по чужим углам и служить интересам, чуждым и вредным России, я не стану,

потому что не хочу!

Государыня сидела в креслах перед рабочим столиком, несколько отодвинувшись и откинувшись на заднюю спинку кресла. Ручка ее покоилась на столике и машинально играла карандашом. Она глядела мягко и ласково. Добрая, доверчивая и особенно светлая улыбка Екатерины придавала выражению лица ее необыкновенную нежность и истинно материнскую доброту.

Поддержанный, может быть, благосклонностью этой улыбки, Чесменский позволил себе продолжать свою мысль.

— Но как назвать, всемилостивейшая государыня, обольщение, обман и воровство, в виду целого города наглый захват и потом бессовестнейшую мистификацию всего, что есть в человеке дорогого, священного? Разбой, злодейство — слова не только нерезкие для таких поступков, но едва ли обозначают еще всю их гнусность и низость...

Он хотел еще что-то говорить, но сам задохнулся от волнения.

Екатерина промолчала еще минуту, смотря на него с той грустью и задумчивостью, с

какою слушала его до того. Потом вдруг сказала:

— Ребенок, — сказала она. — Разве политики говорят об обмане, воровстве, разбое и еще Бог знает о чем? Все это в политике обозначается одним: снятием с шахматной доски излишней, мешающей и тревожащей шашки! Ваша мать была этой шашкой, что ж оставалось делать?.. Однако ж что вы не встанете и не садитесь. Поклоны хороши только тогда, когда они к чему-нибудь ведут, а не тогда, когда просто рассуждают. Встаньте и садитесь! — сказала Екатерина, указывая на табурет подле, на который она усаживала своих статс-секретарей.

Чесменскому пришлось усесться.

— Слушайте, что я вам скажу, — продолжала Екатерина с тем же спокойствием и с тою же грустью в голосе. — Ваша мать, по причинам, еще доселе не исследованным, явилась представительницею политической интриги. Она стала именно тою мешающею, тревожащею шашкою, которую снять было необходимо, ибо при тех условиях — при тех конъюнктурах, в коих находились тогда я и русское го-

сударство — ее или других затея могла стать крайне опасною, могла стать роковою. С турками была тогда война, правда весьма прославляющая наше оружие, но весьма тяжкая и разорительная. Пугачев — маркиз короля шведского был жив и мучил чуть не полцарства; Швеция ждала только случая приступить к коалиции и вооружалась; Польша составляла конфедерации против короля, посаженного и защищаемого мною, а король изменял мне, думая сойтись через то с народом. Прусский Фридрих готов был пристать к нашим и вашим, где было выгоднее. Мария—Терезия боялась за Молдавию и тоже готова была поддержать все, что может только умалить значение России. Франция давно против нас поднимала Швецию. В такую минуту снятие шапки, предоставляющей политической интриге силу, есть необходимость крайняя, государственная... Она не могла не представляться как мне, так и всем неодолимой волей рока, неотразимыми велениями судьбы. Древние, при такого рода требованиях, отказывались от родителей, жены, детей. Они думали, что, жертвуя ими, они спасают то, что

дороже всего, они спасают Отечество. И они отдавали все, что любили в жертву разгневанному божеству! Я писала графу Алексею Григорьевичу. Я не ссылалась ни на рок, ни на судьбу, я ссылалась только на государственную необходимость. И он понял меня! Я указывала ему всю опасность политической шашки, вредной и опасной, и предоставляла ему полную мочь требовать ее во что бы то ни стало, хотя бы для того пришлось бомбардировать Рагузу, Ливорно или Венецию. Что бы вышло из такого политического шага? Не знаю! Но знаю, что много крови пролилось бы, много бы жизней сократилось! Много минувшего труда, много накоплений богатства стало бы прахом. Да этим ли еще окончилось? Италия в соединении своих родственных герцогов и графов объявила бы нам войну. Леопольд Тосканский, родной сын Марии—Терезии и брат германского императора, разумеется, был бы поддержан матерью и братом. О прусском и польском королях я говорила. Швед только и ждал, как бы отнять от нас если не Петербург, то нашу часть Финляндии и хоть Ревель и Ригу. С Турцией в войне мы уже

были. И вот вся восточная и северная Европа была бы охвачена военной горячкой и все бы направилось против России; все бы стремилось терзать и рвать наше бедное Отечество. Как вы ни молоды, но вы можете понять, какие трудные страницы истории России приходилось бы переживать, какие жертвоприношения она должна бы была нести. Сколько сиротелых семейств, овдовленных жен, обездоленных отцов и матерей явилось бы, если бы даже судьба благословила наше оружие и мы одолели бы всех своих противников? Да если бы и одолели, то надолго ли?

Поражение силы слабостью всегда вызывает со стороны силы возмездие, а удалось ли нам еще повторить поражение при этом всеобщем стремлении к возмездию? А если бы не удалось, то разгром, бедствие, потеря значения и, может быть, политической самостоятельности, вот были бы следствия неверного политического шага, было бы влияние тревожащей шашки. Все это граф Алексей Григорьевич понял и нашел способ предупредить. Он снял мешающую шашку с шахматной доски и тем без всякого шума окончил дело, мо-

гущее иметь столь важные и опасные последствия. Ясно, этим оказал великую услугу мне и Отечеству. Может быть, некоторые романтические головы и сентиментальные сердца, которые хотят требовать от людей больше, чем люди могут дать им, были возмущены поступком графа. Для них пожертвование любящей женщиной казалось чем-то ужасным, чем-то в самом деле нечеловеческим. Они не хотели знать, не хотели думать, что ради политических целей чуть не всякий день матери жертвуют своими детьми, жены — мужьями и что есть политическая необходимость государственного устройства. Для них выдача любящей женщины казалась таким бессердечием, перед которым, говорили они, содрогается ад. Но политика не занимается романтическими бреднями, она судит по последствиям. Если граф Алексей Григорьевич нашел способ простым снятием с шахматной доски мешающей шашки предотвратить грозу, разогнать тучи, скоплавшиеся над нашим Отечеством, то он заслужил только благодарность. Пусть находят способ, употребленный им, варварским, пусть говорят, что он посту-

пил вразрез благородства, чести, я скажу: не мне за то упрекать его, не мне судить и преследовать, да и не вам, как его сыну. Потому что вся забота о вас, о вашем воспитании, устройстве, которые о вас прилагали все кругом, со дня самого вашего рождения, исходили непосредственно из поступка, сделанного Орловым против вашей матери, как бедной, но необходимой жертвы политической интриги. Перестанем, однако, болтать об этом! Скажите лучше: в чем вы находите ужасно тяжкую фальшь своего положения в жизни?

Чесменский должен был рассказывать и объяснять. Государыня слушала его весьма внимательно.

— Прежде всего, всемилостивейшая государыня, я должен был служить в самом дорогом полку, жить соответственно офицеру вашей гвардии, приглашаемому даже в собственные покои вашего императорского величества, тогда как я не имел ни одной копейки обеспеченного получения, кроме, разумеется, жалованья, но которого не хватало на расходы по полку. Правда, я иногда получал дорогие прекрасные подарки от неизвестных

мне лиц. Но что мне было в них, когда случилось, что в это время я не имел средств даже на простое существование. Я должен был положительно срамить себя, продавая присланные мне вещи чуть не с молотка для того, чтобы купить овса лошади или приварок денщику. О себе я уже не говорю, хотя и мне в мои годы голодать, нельзя сказать, чтобы могло доставить особое удовольствие, особенно в гусарском ментике.

— Да, положение точно неприятное и фальшивое. Но разве отец ваш ничего вам не помогал?

— Он, ваше величество, кажется, всегда боялся что-нибудь даже услышать обо мне! Кажется, ничего бы он не пожалел, чтобы я сгинул, исчез куда бы то ни было! Когда я еще мальчиком приходил к нему со священником Павлом, не зная, что граф мне отец, то он, бывало, только и думал, как бы отделаться от свиданья подарком отцу Павлу и какой-нибудь отговоркой или чем бы то ни было. Когда же я, уже самостоятельным конно-гвардейским вахмистром, позволил было себе к нему явиться, и он, не приняв меня, ограни-

чился высылкою мне денежного подарка, хотя довольно значительного, то после двукратного такого посещения я счел свои приходы к нему за получением подарков неприличными и несоответственными. Я подумал: ведь я не нищий, чтобы мне за графскими подачками ходить! Знай я, что он мне отец, разумеется, я и при первых его высылках отказался бы и, может быть, даже возвратил их с резким ответом. Но тогда я ничего не знал, а субординация заставляла меня только благодарить генерал-аншефа за милость к солдату. Все же, несмотря на мою крайнюю нужду в деньгах, я решил никогда более к нему не являться, в такой степени мне казались обидными его высылки мне сотни рублей через его камердинера или скорохода. Тут меня произвели. Разумеется, после того я его не беспокоил. Ходить за подачками офицеру вашей гвардии мне казалось поношением мундира...

Все это, докладываю вашему величеству, происходило в то время, когда я еще не знал, что граф мне отец, тем более не знал о его бывших отношениях к моей матери. Подачки же от отца, и в таком виде, в каком он делал,

несомненно, мне показались бы еще более обидными. После того же, как я узнал все, что было между ним и моей матерью, разумеется, взять что-либо у графа я уже не мог. Каждый рубль, им данный, мне бы казался ценою мук моей матери, ценою ее крови. Даже воспоминание о прежде полученных от него рублях заставляет меня невольно краснеть, невольно дрожать от волнения. Сто раз, кажется, лучше умер бы с голоду, чем позволил бы себе за чем бы то ни было к нему обратиться и даже чем бы то ни было от него, хотя косвенно, воспользоваться...

Я узнал об отношениях ко мне графа Орлова и его действиях в рассуждении моей матери только перед самой дуэлью и последовавшим затем моим бегством. Тут я узнал и о его беспредельной ко мне ненависти и его желании стереть меня с лица земли, чтобы уничтожить живой укор его совести. Тут же я дал себе слово стать действительно перед ним в образ мстителя, призывающего на него все муки земли и ада, чтобы напомнить ему ту, у которой отнял он и счастье и жизнь... Государыня, всемилоостивейшая государыня, выска-

зывая все это чувством сыновнего почтения, как на исповеди, я позволю себе доложить, что не ропщу на последовавшее ваше повеление снять с шахматной доски мешающую шашку, как вы изволили выразиться. Я понимаю, что встреча двух противников на одном пути вызывает необходимость устранения одного из них. Но я восстаю против способа, употребленного моим отцом, несмотря на тяжесть своего положения.

Екатерина прервала его горячее слово вопросом:

— Разве ты не говорил, Чесменский, о своем тесном положении с князем Александром Алексеевичем Вяземским или с графиней Татьяной Григорьевной Чернышевой, твоими крестными.

— С князем Александром Алексеевичем Вяземским я говорил, ваше величество. Он сказал, что мое положение зависит непосредственно от ваших милостей и что если вы изволите находить, что оно должно быть в таком виде, в каком есть, то это есть непосредственно высочайшая ваша воля и что тут он ничего сделать не может!

— Правда, не любит он говорить о том, что не касается его лично, а графиня Татьяна Григорьевна?

— С ней я не говорил, ваше величество. Но вы не изволите поверить, как после различных ласк, внимания и любезности трудно говорить о насущном хлебе!

— Да, я понимаю это, — раздумывая, сказала Екатерина. — И вот вы ввиду этой тяжести жизни...

— Усиленной еще и другой стороной моего фальшивого положения!

— Это еще что?

— Мое дворянство неизвестного происхождения!.. Всемиловитейшая государыня, — промолчав несколько секунд, продолжал Чесменский. — Пока человек живет в обществе между людьми, понятно, он невольно подчиняется взглядам и обычаям, в этом обществе принятым. А в кружке, в котором поневоле я должен был обращаться, первый вопрос о человеке был — его происхождение. Я вовсе не желал бы, чтобы мое положение определялось заслугами отца или деда, напротив, я хотел бы быть всем обязанным самому себе, но

для того нужна была мне иная деятельность, иное общество. Здесь же я был в ряду каких-то амфибиев, которые вертятся в кругу родовых людей, не принадлежа ни к какому роду. Потому, встречая отовсюду внимание, как офицер гвардии вашего величества, я видел неодолимый отпор ту же минуту, как только начинал искать с кем-либо сближений. Для меня это положение было столь тяжело, столь невыносимо ввиду того, что ведь я человек же и могу желать сблизиться...

— Говорите откровенно! Вам хотелось сблизиться с моей фрейлиной, Наденькой Ильиной!

— Не смею ни в чем таиться перед вашим величеством! Эта девица своей игривостью и милovidностью произвела на меня неотразимое впечатление, но независимо от нее, гнет, производимый взглядом родовых начал, был для меня столь тяжел, что я решился во что бы то ни стало от него уклониться. В этих мыслях я позволил себе оказать непослушание вашей высочайшей воле и выбрать для дуэли своим оружием шпагу. Я знал, что Гагарин владеет шпагой в совершенстве и не мо-

жет меня не проколоть чуть ли не первым выпадом. Но и тут неудача, он вдруг объявил, что так как дуэль идет вразрез высочайшей вашего императорского величества воле, то он, не найдя средств отклонить мой вызов, будет только защищаться. Такое презрение, высказанное мне явно, не могло не вызвать моего желания употребить все мои силы на то, чтобы проколоть его насквозь! И не из ненависти к Гагарину, но из ненависти к своей собственной жизни. Не удалось, что же делать?

— Вас взяли, и вы бежали?

— Да, ваше величество, — бежал! Я думал: не удалось умереть, не удастся ли жить, но жизнью новою, независимою, в которой не напоминалось бы ничего прошлого, кроме только одной мести за мою мать...

— Вы не могли бежать без помощи, кто же помогал вам? — И Екатерина опять смотрела на Чесменского подозрительно.

Но Чесменский отвечал ей тем же ясным и чистым взглядом. Видимо, что ему делать было нечего, и он не желал ничего от нее скрывать.

— К бегству мне помогли иллюминаты! Камеристка моей матери, сидевшая в тюрьме и принявшая ее последний вздох, Мешедде, странная, полубольная, была иллюминатка. Она нашла какого-то их всесильного человека, графа Амаранта. При помощи его и его товарища мне удалось бежать через генерал-губернаторские комнаты во время бала.

— Графа Амаранта? — проговорила Екатерина. — Я такого графа не знаю!

— Иллюминаты большею частью носят в обществе вымышленные имена, и никто из членов не знает, кто они в действительности.

— И вы решились довериться совершенно неизвестным людям?

— Ввиду той ненависти и злобы, с которой, меня заверили, мой отец желает моей гибели, мне ничего более не оставалось...

— И затем, освобожденные помощью иллюминатов, вы сами решились поступить в их общество?

— Для меня был единственный исход жизни. Притом мне казались цели их столь благородны, столь возвышенны, что думалось: всякий, в ком бьется человеческое сердце,

должен в число их поступить. Я был масон, всемилостивейшая государыня, а правила иллюминатов настолько совпадают с целью масонства, что мне даже на минуту не могло прийти в голову какое-либо сомнение.

— Из чего состоит иллюминатство, какая цель его и средства и чего оно помогает достигнуть? — спросила государыня, смотря на Чесменского внимательно. Но Чесменский отвечал опять с той же ясностью и откровенностью, с какою мог говорить только человек, готовый ознакомить государыню со всем, что, по крайней мере, ему самому было известно.

— Цель его — просвещение, снятие с разума всех пут суеверия, предрассудков, невежества и лжи. Иллюминат обязан всеми мерами стремиться достигнуть того, чтобы царствовали справедливость, разум и просвещение!

— Э, Боже мой, кто этого не хочет! А средства?

— Средства, прежде всего, пожертвования со стороны членов общества, по мере состояния и возможности каждого; потом, полное самоотрицание в исполнении предписаний никем не видимого и не известного трибунала,

наконец, распоряжения этого трибунала, соответственные времени и случаю!

— Гм! Полное самоотрицание в исполнении предписаний! — медленно, сквозь зубы повторила Екатерина. — Это прямое противоречие разумности, смыслу — противоречие и масонству, предлагающему послушание, если оно не противоречит общим чувствам человеколюбия и разумности и прямому смыслу отечественных законов! — Сказав это, Екатерина как-то сверкнула взглядом своих оживленных глаз. После глаза ее становились туманнее, становились как бы стеклянными, но вдруг просветлели, останавливаясь на Чесменском с полною благосклонностью. — Молодой друг, молодой друг, — сказала она, покачивая своей головой. — Вот что значит самодейная неопытность! Нельзя не указать тебе на это! Подумай! Ты вступаешь в общество и принимаешь на себя обязанность безусловного повиновения, тогда как не знаешь даже того, не отдадут ли тебе такого приказа, от которого волосы станут дыбом, от которого возбудится вся внутренность твоя, всякое чувство твоего человеческого достоин-

ства. Это уже не масонство, которое подчиняет тебя законам твоего Отечества; это власть вне власти. Подумай! Тебя могут заставить быть убийцею, вором — человеком, изменяющим самым священным требованиям души твоей. Наконец, твой трибунал может тебе приказать что-нибудь сделать как раз прямо вразрез твоим отечественным законам и в явный вред твоему Отечеству. Тогда подумай, в какое положение ты себя ставишь? Если ты находишься вне Отечества, то, принимая приказания твоего трибунала, ты нарушитель законов своего Отечества, изменник, возмутитель; если же ты в самом Отечестве, то твоя присяга избранному тобою обществу есть учреждение в государстве государства. Ты в свое отечественное управление вводишь чужую власть, которую ставишь выше узаконенной, признанной, посвященной. Ты хуже бунтовщика и возмутителя, потому что ты опаснее их. С погашением бунта бунтовщики и возмутители исчезают, а подземная власть, которая непременно идет вразрез властям существующим, остается. Для такого преступления — мало смертной казни, сказала бы я, ес-

ли бы можно было что-нибудь подобное говорить... Но я не велю казнить тебя, Чесменский, хотя действительно ты заслужил казнь! Я принимаю в соображение твою молодость и неопытность и тесное положение, которое мне не было известно и о котором я не могла даже предполагать. Принимаю, наконец, во внимание твою явку и искреннее раскаяние. Но не могу я вовсе простить тебя. Это противоречило бы моему принципу справедливости. Я подумаю, что с тобой сделать, а пока — ты убежал из генерал-губернаторского дома, я арестую тебя в своем дворце. У тебя не будет караульных. Караулить себя ты должен сам, на своем честном офицерском слове. Общий же надзор я поручаю церемониймейстеру Гагарину, которого ты так настойчиво желал убить. Можешь идти. Я пришлю еще за тобой, как надумаюсь, а теперь ступай. Твое помещение покажет тебе старик Зотов.

Чесменскому ничего не оставалось делать, как идти вслед за Зотовым, явившимся на звонок государыни.

"Что бы такое, зачем бы? — спрашивал себя граф Алексей Григорьевич, разваливаясь в

дормезе один и несясь во весь дух на двадцати лошадях по дороге в Петербург. — Должно быть, нужное, спешное, — продолжал он про себя. — Хорошо, если ничего худого, а то ведь этот новый случай, новый светлейший, говорят, мастер устраивать сюрпризы".

И Алексей Григорьевич, видимо, забеспокоился. Дело в том, что в Екатерине он был уверен. Знал, что за него стоит перед ней не одна заслуга. Но он также знал, что во многом и многом у него рыльце в пушку. Государыня во внимание его заслуг и в память его брата ничего этого не захочет знать — так! Да новый-то случай любит сюрпризы, и, пожалуй, такой поднесет, что и не опомнишься; за двадцать лет назад какую-нибудь историю выкопает.

"Хотя, кажется, мы свое дело знаем, — продолжал Орлов про себя, как только ему пришла эта мысль о новом случае. — В чем можно, кажется, сами улещем и не задумываемся! Нарочно вон с соседом тяжбу затеял, сто десятин оттягиваю. Тот вопит: ваше сиятельство, за что обижать изволите? А я в ответ: молчи, сыч! Я тебя не обижу, землю-то, прав-

да, отниму, да тебе же ее и подарю. На черта она мне?

— Так зачем же?

— Не твое дело зачем, стало, так нужно! Будет с тебя и того, что не поплатишься! А тяг-бу я затеял ради того, чтобы был случай ба-тюшку-то этих случайных людей чем покор-мить да дать кое-чем попользоваться. Само собой дело несправедливое, да ведь от того никому убытку не будет. Сыч будет в барыше даже, так о чем же говорить? Сыч и молчит, выиграю я дело, ему же лучше! Будет и с зем-лей и с деньгами.

Впрочем, и *сам*, нами кажется, должен бы быть доволен. Всякое то есть уважение дела-ем! Ломайся, дескать, вволю и пользуйся чем Бог послал, похвалил собаку — послал собаку, а чтобы не очень суха показалась, ошейник велел бриллиантами украсить. Похвалил ло-шадь — и ту послал, а на чепраке-то вышита ветка сливы из изумрудов и яхонтов. Дескать, ездь на лошади, любуйся на собаку, а поль-зуйся чепраком и ошейником.

Кажется, на что претендовать! Мало, так еще скажи что. А впрочем, черт его знает, мо-

жет, все не в угод!"

Еще более сконфузило графа Алексея Григорьевича приказание государыни, переданное ему на заставе, чтобы прямо ехал в Зимний дворец, не заезжая в собственный дом.

— Делать нечего, поедем! — сказал граф Алексей Григорьевич. — Только что бы такое?

Глава 3. И он разнежился

Все это время государыня вела очень тонкий разговор с юношей Чесменским о его похождениях за границей. Ей хотелось ознакомиться с настроением умов в Париже, вообще стремлениями французского общества, и тем направлением, какое неминуемо должна была принять революция после казни короля.

— Такой заразе французского духа нельзя давать распространяться! — говорила Екатерина. — Это яд, это отравка, от которой страдает весь французский народ! Я должна спасти Россию от подобного сумасшествия, в котором фраза заменяет разум, а мираж — истину!

И она расспрашивала Чесменского о всех подробностях революции, о всех толках, про-

тиворечиях и увлечениях, какими те или другие явления революции сопровождались. Наконец, Екатерине любопытно было узнать, какое влияние на развитие революции и ее ход могли играть различные тайные общества, воззрения разных сенаторских кружков и мнения отдельных членов, рассматривающих вопрос не только с отвлеченной, но и с практической точки зрения. Ей хотелось определить, до какой степени все эти противоречащие одно другому мнения и воззрения могут, через Среднюю Европу, иметь влияние на Россию.

Екатерина была очень довольна, что нашла в Чесменском мальчика толкового, сметливого и рассуждающего, она говорила с ним с удовольствием.

— Так они думали соединить все управления тайных обществ и дать этим единство их направлению? Не явное ли стремление создать власть от государственной власти независимую, то есть образовать рознь, вражду, противодействие там, где должно быть полное единство и согласие? И они послали вас говорить об этом и условливаться с Клоот-

цем?

— Точно так, ваше величество, они представляли себе Клоотца человеком всеобъемлющим, с шириною взгляда, быстротой соображения, необъятностью мысли!..

— А по-вашему Клоотц?

— По-моему, государыня, просто полупомешанный идиот. Он разделил земной глобус на сколько-то тысяч квадратиков и считает все эти квадратик департаментами Франции. Первый департамент у него, таким образом, начинается с северных отрогов Уральского каменного хребта и называется Обо—Печорский. Есть департаменты: Невский, Стокгольмский, Московский, Берлинский, Гамбургский. Все это, по его мнению, должна быть Франция, должна говорить одним языком, исповедовать один разум, управляться одними законами. И это должно последовать само, сейчас, по разуму самих народов...

— Если бы разум народов нашел бы, что для них всего лучше быть французами, то... О! Тогда бы, пожалуй, он был прав! Назвался груздем, полезай в кузов! — улыбнувшись, сказала Екатерина.

— Но это невозможно, всемилостивейшая государыня. Каким образом лапландца или вагулича обратить во француза?

— Да, — задумавшись, проговорила государыня, вглядываясь в ясный взгляд Чесменского, в котором, видимо, не было задней мысли. — Потому-то все эти утопии, весь этот мираж благоденствия человечества, прославляемый фразерами вроде Клоотца, Хондорсэ, Бриссо и других, ничего более как ложь, обман или просто детская химера. В них нет главного: нет жизненности, нет правды! Нет той истинной разумности, которая могла бы дать начало практической мысли. Все это болтовня, и ничего более! На чем же ваши переговоры с их великим Анархарсисом остановились?

— Смешная вещь, государыня: на том, что он затруднился решением, за какими номерами следует заносить департаменты Америки и Индии, чтобы из них образовать тоже Францию. Он обещал строго обдумать этот предмет и тогда написать.

— Это хорошо! Очень похоже на одного из воинов, который никак не хотел включить в

диспозицию сражения против герцога Зюндерманландского пехотный Тарутинский полк, потому что у него не были еще на мундире нашиты белые обшлага, как это требовалось последним утверждением формы.

— Вроде этого, ваше величество, последовало и решение Клоотца, с тою только разницею, что там оберегался полк, хоть и с красными обшлагами, а здесь должны были исписаться стопы бумаги соображениями, по которым лились бы, может быть, потом потоки крови. Но по счастью, как вы изволите знать, писать Клоотцу много не удалось. За убийствами, производимыми его товарищами, ему и самому досталось сложить свою голову. Робеспьер и его, и Дантона признал опасными для Франции.

— В том-то и дело, что каждое политическое убийство ведет неминуемо за собой десять новых, а эти каждое, в свою очередь, вызывают десять других. И так без конца, до самых крайних пределов террора. Но ты видел Париж, Чесменский, — что в нем делают, что в нем думают?

— О Париже, ваше величество, я не умею

ничего сказать! Это, можно сказать, опьяняющая, ошалелая, обезумевшая толпа, бегущая, суесящаяся, ищущая чего-то, а чего, она сама не знает.

В опьянении от революционных страстей, потом под впечатлением ужаса, распространяемого террором, Париж, кажется, отказался от самого себя. Сперва, увлекаясь фразерством своих клубных ораторов, которые, впрочем, ничего не говорили, чего бы не было у Руссо, д'Аламбера, Сен—Пьера, Вольтера, Кребийльона и Гельвеция, Париж, в самом деле, думал, что народное благо, общее благосостояние достигается просто уничтожением родовых привилегий и отличий.

Последовала декларация человеческих прав, и в мираже самообольщения Париж думал, что он достиг всего, что немедленно начнется золотой век земного рая. "Всему виной тираны, — кричала толпа, — всех отравило разлитое ими в народе рабство!"

Уничтожим тиранов, уничтожим всех графов, герцогов и кавалеров и станем братьями.

— Да, да! — отвечают другие. — К черту аристократию! Нам не нужна она! Она нару-

шает равенство, она стесняет свободу! Да здравствует же свобода, равенство и братство! Будем жить дружно, братски, как один человек...

И вот все родовые отличия уничтожены; равенство полное, абсолютное вступило во все права. Но что же? Видят, что не только общего блага, не только братского согласия не разлилось и не установилось, но, напротив, всем стало жить как-то труднее, покоя и равенства стало далеко меньше, а злоба и зависть будто росли у всех на глазах. Всем пришлось тесниться, сжиматься, терпеть недостаток в самых первых потребностях жизни и, главное, каждый день бояться за самих себя.

Вожаки революции сначала не знали, что и сказать, что и думать. А как сказать что-нибудь все же было нужно, то сперва они начали обвинять во всем ту же аристократию, которой уже не было, а потом заявили, что всему виной скупщики, барышники, торговцы... Начался период такс, максимов, насильственного обращения ассигнаций и разных бумаг. Одним словом, началось преследование капи-

тала. Капитал, естественно, исчез вслед за аристократией. Скупщики и барышники пропали. Кругом остались только одни бедняки. Общая бедность вызвала самые низкие инстинкты. Зависть и злоба начали уже грызть всех. И затем является вопящая, голодная, злодействующая толпа санкюлотов, которая в опьянении от своих злодейств требует для себя только *казней* и *хлеба*. Она более ничего не желает и не понимает и по своим зверским инстинктам не может понимать.

Казней ей дают сколько угодно, а хлеба нет. Новый повод волнениям. Не приведи Бог видеть где-нибудь и что-нибудь подобное нынешнему Парижу, во всей распущенности его разнузданных страстей. Промышленность стала, производительность замерла, торговля не существует. Вы поверите, государыня! Умирают, можно сказать, с голоду, а толпятся между трибунами, болтают в клубах, смотрят казни, и никто не делает ничего!

— Естественно, — задумавшись, проговорила Екатерина как бы про себя. — Капитал, угрожаемый насилием, скрылся, и не стало разума труда!

Потом она встала, прошла по кабинету и села опять, заставив опять сесть и Чесменского, который тоже встал было.

— Вот видишь, Чесменский, — сказала она, начав рассуждать скорей про себя, чем для объяснения слушающему. — Капитал — это гнет труда, самый жесткий, бессердечный гнет, но капитал же с тем вместе и разум труда и его сила. Он и только он может оживлять и направлять труд. Дать капиталу преобладание — значит задушить труд, обратить лиц, посвящающих себя ему, в вечных тружеников-мучеников; создать тех, более чем рабов — илотов Спарты, париев Индии, которых вечное бедствие вызывает ужас, становится волосы на голове дыбом. Преобладание капитала неминуемо вызывает тот, не знаю, можно ли так выразиться, безысходный пролетариат бедности, который проявился в плебействе Рима и, пожалуй, наших самосжигателях. Но опять уничтожить капитал — значит отнять у труда разум и силу. Может уравновешивать это положение до некоторой степени влияние родовых начал, родовые отличия, но они ведут к иному рода злоупотреблениям. Сгла-

дить, соединить, сблизить эти противоречия разнородных явлений общественности — прямое дело правительств, то есть государей и лучших людей страны, которым должно содействовать и споспешествовать, лучше сказать предшествовать — научная разработка вопроса, только действительно научная, а не набор фраз.

Думать же, что такой вопрос может быть разработан и разрешен толпой, массой, — это такой же абсурд, как и державство народа, исповедование разума и другие выражения, являющиеся не чем более, как симптомом народной горячки!

Екатерина говорила это, расхаживая по кабинету, именно как бы для самой себя. Чесменский стоял у табурета, на котором до того сидел, слушая ее слова и невольно думал: "Она права! Никакое деспотическое правительство не допустило бы сентябрьских тюремных убийств..." Но его мысль прервалась сама собой от воспоминаний варфоломеевской ночи и артистического увлечения Нерона пожаром Рима...

В это время вошла Перекусихина и доло-

жила, что тот, кого государыня ожидала, явился.

Екатерина остановилась.

— Побудь тут, Чесменский, подожди меня! Я сейчас приду и еще поговорю с тобой.

Она ушла, Чесменский остался.

В бриллиантовой комнате, куда государыня вошла, ее ожидал граф Алексей Григорьевич Орлов—Чесменский, прибывший, согласно приказу, из Москвы.

— Верный раб перед тобой, всемилостивейшая государыня, по первому твоему слову, как лист перед травой! — сказал Алексей Орлов, отдавая почтительно полуземной поклон государыне.

— Орлов, ты будто знал, что мне нужен, и по воздуху прилетел, — сказала Екатерина, обрадовавшись и подавая ему руку, которую тот почтительно поцеловал. — А я за тобой послала нарочно! Садись, гость будешь!

— Я получил высочайшее ваше повеление, — сказал Орлов, садясь...

— Когда?

— Третьего дня, в поздний обед. Мы в это время, признаться, медвежонком занима-

лись. Ну а как курьер приехал, я, долго не думая, отправился...

— Что ж, на крыльях по воздуху, что ли? — спросила Екатерина улыбаясь, потому что по расчету времени, когда было объявлено Орлову высочайшее повеление, выходило, что он был в Петербурге в конце вторых суток: прибыть же из Москвы в двое суток признавалось чем-то невероятным.

— Нет, всемилостивейшая покровительница, обожаемая нами монархиня, не по воздуху и не на крыльях, а просто по земле в дормезе на почтовых лошадях! — отвечал Орлов, подавая государыне почтовый лист о своей поездке с отметкою приезда и выезда с каждой станции. — А что скоро приехал, так это доказывает только, что Орловы спать не любят, когда надеются чем-нибудь быть полезными или хоть просто угодить обожаемой ими государыне.

Орлов, говоря эти слова, знал, что ими много и много подкупает Екатерину в свою пользу, а все невольно сомневался и спрашивал себя: "Что бы такое? Зачем бы?"

— Ну, спасибо, большое спасибо, граф

Алексей Григорьевич, что ты не проманкировал моим зовом и поспешил. Рада тебя видеть! Садись поближе, мне нужно поговорить с тобой кой о чем важном!

Орлов придвинулся, стараясь выражению своего лица сообщить довольное и вполне счастливое выражение — счастливое уже и тем, что он удостоен лицезрением своей государыни, а сам все раздумывал: уже одно то, что она принимает с глазу на глаз, что тут этого случая при ней нет, — заставляет многое и особое ожидать, только Бог ведает, хорошее ли?

Екатерина сидела против Орлова и все еще собиралась с силами начать говорить. Орлов ждал.

— Вот видишь ли что, граф Алексей Григорьевич, — начала Екатерина, — нам, в наши годы, поневоле необходимо иногда обращаться к прошлому!

Орлов молчал. "Ну, плохой знак! — подумал он. — Дело совсем скверное, когда женщина начинает говорить о прошлом!"

— Так дело вот в чем. Ты, разумеется, не забыл самозванку, всклепавшую на себя имя?

Орлова эти слова будто кольнули в бок. Он даже сделал движение, как бы готовясь вскочить с кресел, отчего, однако ж, удержался. Но от этого усилия и внутреннего волнения он даже побагровел.

— Государыня, — отвечал Орлов горячо и с вибрацией в голосе. — Могу ли я забыть самые тяжкие минуты моей жизни? Но — как сын Отечества и верный вам подданный, я полагал, что прежде всего я должен думать о своей государыне и о России. Всклепавшая на себя имя...

— Объявила себя в самое опасное для России время, когда на юго-востоке хозяйничал еще маркиз короля шведского Пугачев, на юго-западе была в полном разгаре война турецкая, шведы вооружились, а прусский король собирался в мутной воде рыбу ловить. Вы в это тяжкое время распорядились как истинный патриот с полным самоотвержением. Вы доказали и вашу любовь к России и преданность свою мне. И несмотря на все толки, весь поднятый против вас шум, самозванка была перехвачена и привезена...

— Государыня, я думал, что, отрицаясь от

самого себя, я приношу посильную жертву России и вашему величеству.

— Вы сделали более: вы, может быть, спасли Россию от новой и самой страшной войны, а может быть, и от внутренних смут; потому что меня никто не разубедит в том, что это не была выдумка внутренняя, домашняя. Недаром я тогда же подозревала своих вояжеров, да без вояжеров было тут гнездо, была голова, которая умела управлять. Не о том, впрочем, речь. Видит Бог, не хотела я ей зла! Я хотела только раскрыть начало тех нитей, которые ее создали и опутали. Но я не могла также выпустить ее из рук, чтобы дать новый повод хитросплетениям. Я готова была предоставить ей выйти замуж, посвятить себя частной жизни, обеспечить которую я принимала на себя. Но она с презрением отвергла все, не желая отказаться от своих несообразностей, несоответственных притязаний...

— Милосердие вашего величества известно целому свету, и если она не пожелала — то... — проговорил Орлов как-то механически, будто по-заученному.

— Да! Но после нее остался ребенок — сын!

Орлов вздрогнул при этих словах, и багровая краска снова разлилась по его лицу.

— Государыня, — после минутного молчания сказал он. — Вы касаетесь самых тяжелых, самых больных ран моего сердца. Ведь я признавал и признаю, что если для пользы Отечества и спокойствия вашего величества я должен был поступить так, как я поступил, то в то же время я не мог не понимать, что я поступаю не по-человечески, поступаю, как, может быть, не поступил бы самый кровожадный волк; и, наверное, не поступил бы, потому что даже у волка недостало бы сердца, чтобы ради каких бы то ни было соображений пожертвовать своей любимой волчицей и своим единственным волчонком. Но что сделано, то сделано, всемилостивейшая государыня, назад не воротишь. Теперь этот сын для меня тот коршун, который терзал сердце Прометея. Не могу сказать, что я о нем не думаю. У меня ни на минуту не выходит он из головы. Но мысль о нем меня терзает, мучит, жжет!.. Я становлюсь сам не свой при каждом напоминании о моем сыне и, можно сказать, не помню себя! Вяземский и Чернышев знали

это и, желая меня мучить, присылали его ко мне при всяком приезде моем в Петербург. Со жгучей болью в душе я выходил к нему иногда; но чего мне это стоило, чего стоило? Теперь мне говорили, что он в чем-то провинился перед вашим величеством и, несмотря на всю вашу материнскую милость к нему, оказал в чем-то непослушание и бежал. Разумеется, меня это огорчает страшно; но все же я позволю себе умолять о вашем к нему милосердии. Мне также пишут из Мюнхена, что теперь он там поднимает целую бурю против меня, вызывает на меня все подземные силы иллюминатства и тугенбундства. Он хочет мне мстить за мать и грозит страшной мстью. Ребячество, скажете вы, всемилостивейшая государыня. Да, отвечу я на эти всемилостивейшие слова ваши. Трусом я никогда не был и не боюсь убийцы из-за угла, а что-либо другое сделать он положительно не в состоянии. Я принял свои меры: со стороны иллюминатства, тугенбундства и других обществ совершенно себя обеспечил небольшим пожертвованием. Я сам записался в члены их обществ, так что перед вашим величеством

находится один из самых отчаянных представителей иллюминатства, тугенбундства и карбонарства. Думаю, может, и, кроме разрушений затей моего сынка, на что-нибудь еще пригодиться. Все это, собственно, вздор. Ни одной минуты на злобу сына моего не отвечал я злобой со своей стороны, хоть и не ручаюсь за свой характер, что если бы он дозволил бы сделать на меня неожиданное личное нападение, то, может быть, и почувствовал тяжесть моей руки. Но теперь, вне случайностей всякого столкновения, я вперед перед вашим величеством всеподданнейше прошу, чтобы все выходки против меня его мести, хотя бы они имели печальный для меня исход, были прикрыты вашим милостивым милосердием и не вели бы к вредным для него последствиям. Я прошу, чтобы вы отнесли их к тому, что он есть: ребяческому увлечению...

— Милосердие, полагаю, тут не потребуются и не должно потребоваться! Мечь — дело не христианское вообще, а разве можно допустить мечь сына родному отцу? — сказала Екатерина с невозмутимым спокойствием. — Нет, такое чувство тоже не человеческое, та-

кое чувство именно волчьё! Ты прав, Орлов, называя его ребяческим увлечением, тем не менее оно должно быть уничтожено, искоренено; должно, чтобы и самое воспоминание о минутах такого чувства вызывало стыд и боль. Но независимо от того, что мы детям своим не желаем и не можем желать зла, что даже за делаемое нам зло мы должны и готовы платить им добром, снисхождением и любовью, мы должны еще принять на себя труд забот о них! На нас лежит тяжелая обязанность устройства их участи. Мы должны сделать их людьми, полезными членами общества! Вот на этот-то труд я и вызываю тебя, граф Алексей Григорьевич! В опущении этой обязанности против твоего сына, хотя бы и не носящего твоих титулов и имен, я и обвиняю тебя перед Россией, обществом, тобой самим. Всклепавшая на себя имя, умирая в казематах, в нервном упорстве предвзятых идей, имела полное право рассчитывать, что о ее ребенке позаботится его родной отец. Может быть, она рассчитывала и на мое чувство человечности, зная, что ребенок ни в чем против меня виноват быть не может. Но я и дела-

ла, что могла. Насколько доходили до меня слухи о его нуждах, требованиях, желаниях, я старалась предупреждать их. Разумеется, выходило иногда смешно: я хлопочу послать ему брегет и золотую цепочку, а он нуждается в приварке денщику и покупке овса для лошади; я хлопочу о высылке прибора из французской бронзы для украшения камина, а он нуждается в сапогах или затрудняется платежом по счету прачке. Мне не было возможности входить в подробности. Я понадеялась на крестных отца с матерью, и наконец, на тебя, Алексей. Но Чернышева жила недолго, а князь, ты сам знаешь, что во всем, что касается его лично или его семейства, он эгоист отчаянный. Теперь же, когда же болезнь сковала язык и приковала его к креслу своей комнаты, он уже не думает ровно ни о чем. Но ты отец, граф Алексей Григорьевич, ты мог бы ближе войти в жизнь твоего сына; мог бы всецело изучить его направление, желания, нужды, и в том, что полезно, разумно — на что указывается самую потребностью — помочь, облегчить, снабдить, тем более что у тебя нет другого сына, нет мужского представителя

твоего имени!

— Государыня! — энергически отвечал Орлов. — Неужели вы изволите полагать, что я для него пожалел бы чего бы то ни было? К тому же, благодаря милости вашего величества, я так богат, что никакое пожертвование на удовлетворение всевозможных его нужд и прихотей было бы для меня неощутительно. Но, государыня, наша всемилостивейшая покровительница, скажу откровенно: я его боялся! Не ребяческой мести его — о предположениях такой мести до его приезда в Мюнхен я и не слыхал, а когда услышал, то она мне показалась только смешна. Меня, разумеется, могли окормить или как-нибудь убить, или испортить иезуиты или блуждающие конфедераты, или что-нибудь в этом роде, пока я был там — в Италии, Германии, Австрии. Здесь же, в Москве, где я окружен преданными мне, своими людьми, будет хитрая, очень хитрая штука. Я же, всемилостивейшая государыня, как вы знаете, за себя постою! Так не ребяческой мести моего сына я боялся, боялся того впечатления, которое он на меня производит; тех воспоминаний, которые он у меня

вызывает. Бывало, скажут он, у меня в глазах потемнеет, сердце сожмется судорожно, кровь горячей лавой побежит по жилам. Никакие мои усилия не могли победить того, чтобы с произнесением его имени в моих ушах не раздался тот страшный нечеловеческий крик, который слышал я во время ее ареста, когда ей не удалось броситься в море и она, подхваченная солдатами и матросами, была унесена в каюту. Вслед за тем непременно является она передо мной: она сама в своем ужасном образе, с ее пылающим взглядом и истерически произносимыми проклятиями — когда я к ней явился в крепость. Она является передо мной, как изможенная пифия с воспаленным страшною ненавистью лицом и как бы пророчеством тех адских мучений, которые воспоминания о ней во мне производят. Эти воспоминания так живы, так мучат меня, так жгут, что кажется, себя готов изорвать, чтобы только мне не поддаваться, от них избавиться.

Эти слова Орлова сопровождались таким страшным выражением страдания, что императрице стало невольно жаль его, хоть и при-

знавала она его великим плутом. Но тут, видимо, было не до плутовства.

— Верю, друг мой, но что должно, то должно! Ведь ребенок не виноват! Если он и без того страдает от фальши своего положения, то можно ли еще эти страдания усиливать отрицанием и пренебрежением? Нет, Алексей, ты знаешь, что я не сентиментальна: не отказываюсь принимать жизнь и события так, как они есть, применяясь к обстоятельствам, времени и случаю? Но опять скажу, что должно быть, то должно быть! Подумай, а что если самое его бегство, его порывы к мести и вся эта ненормальность его жизни происходит оттого, что он думает, что ты, его родной отец, пользуясь своим влиянием, хочешь смести его с лица земли, чтобы уничтожить живой укор своей совести. Нет, Орлов, всякий должен мириться с тем, что есть, и не отступать от того, что составляет его обязанность. Ты думаешь, мне легко смотреть на моего сына?

Орлов онемел от этого вопроса.

Наконец после полуминутного молчания он позволил себе спросить:

— Как принять слова вашего величества:

как напоминание славного дня или как укор?..

— Ни то, ни другое, граф Алексей Григорьевич! Примите их, как желание искренно благодарасположенной к вам направить ваши поступки к исполнению вашей обязанности, как отца и человека.

— Всемиловитейшая государыня, да разве я не готов бы был, разве я пожалел бы чего-нибудь? Мысль о нем слишком наболела мое сердце, чтобы я даже подумал. Я все отдаю, только снял бы он с меня воспоминания о себе и своей матери! Пусть возьмет все, оставит меня, уже старика, без пристанища, только пусть избавит от миража, который томит мою душу, сушит мой мозг.

— Невозможного нельзя и требовать, граф Алексей Григорьевич! Мы все живем своими воспоминаниями! Но само собой разумеется, что, по мере того как мы обращаемся к своей обязанности, воспоминания невольно ослабевают, невольно теряют свою силу, главное — жгучесть. Поверь, Алексей, я тебе искренне желаю добра и скажу, что много из представления нашего улетучивается, теряет свою си-

ду, по мере того как мы на явления их начинаем смотреть прямее, здравее... Я призвала тебя затем, что мне нужно спасти одну заблудшую русскую душу: душу молодую еще, восторженную, увлекающуюся, но умную, наблюдательную, от которой наше Отечество, наша любимая нами Россия, много пользы может ожидать. Эта душа, граф Алексей Григорьевич, твой родной, единственный, хоть и незаконный сын — бывший корнет, теперь поручик моего лейб-гусарского войска, Александр Алексеевич Чесменский, сын той самой, всклепавшей на себя имя, которая много крови мне испортила, но которую от всей души простила!

Слова государыни "родной и единственный сын Александр Алексеевич Чесменский" подняли Орлова будто электрической силой. Глаза его страшно заходили, губы перекошились. Он, казалось, задыхался. Однако он осилил себя. Почтение к государыне и та привычка к исполнению ее желаний, которой Орлов был, можно сказать, пропитан весь, заставили его сказать:

— Воля вашего императорского величе-

ства должна быть исполняема всяким. Потому извольте приказать, и я выполню все, что изволите признать для него полезным!

— Ты не понимаешь меня, Алексей! В том-то и дело, что тут не нужно ничего! Первое слово его было, чтоб избавила я его от всяких твоих подачек и подарков, которыми ты столько раз его обижал, высылая их как нищему, и отказываться от которых ему мешала субординация, так как подарок пришел от генерал-аншефа солдату.

Твоих титулов, твоего имени он тоже не желает. Он говорит, что свое имя он должен заслужить себе сам. Для того просит освободить от придворной службы и дать практическую деятельность. Но чего душа всегда просит, перед чем невольно замирают все ее требования, все ее желания — то от сердечного отклика родной души. Твоему сыну нужна отцовская любовь, отцовская нежность, — ему, никогда не испытывавшему любви и нежности матери. Перед силой этой нежности, перед вызывающей невольное сочувствие симпатией не может не растаять самая загубелая ненависть, не может не исчезнуть, не испа-

риться всякая черствость. Вот этой-то душевной теплоты, этой-то горячей симпатии я и прошу у тебя, Алексей, для твоего единственного сына, тем более скажу, что он ее стоит, он ее заслуживает...

По мере того как Екатерина говорила, нужно было видеть, что делалось с Орловым. Брови его как-то распрямылись, лоб разглаживался и покрывался выступающими исподволь каплями пота. Губы принимали умиляющее выражение, дыхание, спершееся до того в груди, становилось плавнее, легче.

— Матушка государыня, — сказал вдруг он, — ты наша чудодейственная повелительница! Недаром говорили, что от твоей доброй улыбки и мягкого слова с места сдвигаются камни. От Алексея Орлова, от отпетого с детства Алешки Орлова ты требуешь нежности. Но такова чудодейственная сила велений твоих, что точно сам Алексей Орлов готов разнежиться, думая о своем мальчике; чего вон разбавился даже, слезы из глаз бегут.

Орлов замолчал, а слезы в самом деле бежали по его щекам. Екатерина, уверенная в силе влияния своих слов, смотрела на него

молча, но с сочувствием. Вдруг Орлов как бы воспрянул и проговорил оживленно, хоть и с сердечным чувством:

— Вот что, матушка государыня, сейчас бы я его прижал к груди моей, сейчас бы обнял и расцеловал, сейчас бы взглянул в глаза его, в которых бы увидел отблеск глаз его матери. Пусть бы потом мстил он мне, как хотел, пусть бы хоть пулю всадил, или еще лучше, палицу я ему железную дам, так пусть бы этой палицей башку раскроит или хоть по виску поласкает. Я его вперед прощаю и тебя, государыня, умоляю простить, что бы он против меня ни сделал. Радость прижать его к сердцу, выслушать его голос меня вперед за все вознаградит! Пожалей мою отцовскую гордость, а она неминуемо возмутится, если на сердечный привет мой он ответит презрением; если протянутую мою к нему с благословением руку он оттолкнет, как недостойную... Пусть грешен я, но в грехах своих отдам ответ Богу; не сыну их судить!

— Понимаю тебя, Алексей, и сочувствую тебе! Но думаю, что природа и кровь в этом случае выше нашего разума!

Глава 4. Слово делает дело

Немного дней прошло, а у императрицы в кабинете опять Чесменский. Нередко приглашает его к себе государыня поговорить о Париже, о тамошних действиях и о тайных обществах, распространению которых в России она признала необходимым положить конец.

Чесменский в это время успел успокоиться. Он видел уже, что о смертной казни его не может быть и речи. Сама государыня сказала, что повинную голову не секут, не рубят. Но ни одним звуком она не намекнула, чего он может для себя ожидать. Сказала однажды, что простить его совсем не может, что это противоречило бы ее принципу справедливости. Стало быть, он будет непременно наказан, но как? В этом и вопрос: что ждет его впереди — ссылка, заточение или какое-нибудь другое, унижающее его достоинство наказание? Ждать разрешения этого вопроса само по себе мучительно.

Между тем полнейшее спокойствие, в котором провел Чесменский эти дни своего но-

минального ареста в Зимнем дворце, уединяя его от целого мира под зорким взглядом Зотова, который иногда сам заходил к нему покалякать и сказки порассказывать, и непосредственным наблюдением Гагарина, которого Чесменский избегал даже видеть, не только говорить, и для того не раз притворялся спящим, при полнейшем материальном обеспечении, начинало оказывать свое действие. В нем начала вызываться жажда деятельности, стремление быть чем-нибудь, а не только откармливаемым всем, чем можно, тельцом.

"Хоть камни бы ворочать, да дело делать, — думал он, — а не только есть, пить и спать. Ну в каторжную работу, так в каторжную работу, — рассуждал Чесменский, — и там люди не без пользы живут, а здесь я именно ем, пью и небо копчу!"

Потому он и решил воспользоваться первым случаем умолять государыню о решении его участи. Этот случай настал, и Чесменский высказал перед государыней мольбу свою.

— Чем же я решу твою участь, Чесменский? — сказала государыня. — Ты сам зятнул и запутал вопрос так, что для решения

его нужна мудрость Соломона; ну ведь я не Соломон!..

Чесменский хотел возразить что-то, но Екатерина не дала ему:

— Постой, помолчи, твоя речь впереди будет, а я выскажу все, что я думаю. Александру Великому легко было разрубать гордиевы узлы, за разрешение их отвечал его меч. И мой узел мечом вмиг разрешится: все недоумения разом исчезнут. Но что же делать, когда меча в руки взять не хочется, когда жаль тех нитей, из которых узел завязан? Вот и подумай, как тут быть?

Ну, о решении своей участи рассуди! Ты сам признал себя заслуживающим тройной смертной казни: как дезертир, как ослушник и как действовавший во вред интересам своего Отечества. Легко устранить всякие недоумения, предоставив тебе выбрать ту казнь, которую ты сам найдешь более для себя подходящею. Ты сложишь свою голову, и все вопросы сами собой прекратятся, все сомнения улетучатся. Но если мне жаль твоей русской молодой жизни? Если я думаю, что Россия может надеяться получить от тебя что-нибудь

больше, чем отрубленную ветреную голову мальчика, который досель не думал еще о себе, а только мучил свое воображение несообразными предположениями. Наконец, если я нахожу, что вследствие самой явки твоей с повинною справедливость требует оказать тебе снисхождение, хотя и нельзя оставить ненаказанным. Ну, что же, казалось бы, вместо легкой придворной службы поставить тебя на действительное, настоящее дело, при котором тебе потребуется меньше денег, а от тебя больше службы. Для того стоит только назначить в какой-нибудь полевой полк, в котором вины свои ты бы должен был выкупить своей службой!

— Государыня, — с радостью проговорил Чесменский.

Но Екатерина опять перебила его.

— Подожди! Экий торопыга. Я тебе сказала — твоя речь впереди. Но к осуществлению такого предположения ты представил мне новое затруднение, какую-то смешную, детскую клятву мести своему родному отцу! И за что же ты собираешься ему мстить?! За то, что ты родился на свет, и за оказанную мне и Отече-

ству им услугу! Положим, что нам милосердный Господь Бог таких клятв не принимает. Мечь сама по себе дело нехристианское, а мечь родному отцу такой вздор, о котором и говорить нельзя. Да и если бы вздумали мстить своим отцам и матерям за их взаимные проступки одного или одной против другого, ни отцов, ни матерей не стало бы и род человеческий перевелся. Точно так же, если бы все неудачники, все, кому жизнь не везет, как им хочется, вспылали мечью к своим родителям, зачем они родили их на свет, то что бы было? Стало быть, такая клятва чистый вздор, абсурд, нелепость, не имеющая значения. Но зная о такой клятве, зная, что она дана вследствие великой услуги, оказанной твоим отцом мне и России, допустить даже попытку к ее осуществлению я не могу, не должна и как человек, и как государыня. Я не могу допустить даже попытки осуществления мести с твоей стороны твоему отцу не только потому, что она будет направлена вследствие действия, сделанного в мою и России пользу, но и по совершенной ее дикости и бесчеловечию. Разве сын может мстить отцу, и за что

же, за то, что он родился на свет? Этими словами государыня как бы облила Чесменского водой. В самом деле: чего он хочет? Не может же она допустить заведомого мстителя ее старому слуге за дело, совершенное если не по ее повелению, то, во всяком случае, не иначе как с ее соизволения.

— Да, — продолжала Екатерина, как бы раздумывая и соображая про себя. — Такого рода мести я не могу допустить ни в каком случае. Я объясняла, что поступок графа избавил Россию, может быть, от самой страшной войны, какую когда-либо России приходилось вести. Его поступок спас, может быть, миллионы русских жизней и, верно, на сотни миллионов русского труда. И за такое дело допустить частную, личную месть немыслимо для государыни. Но опять, что же мне с тобой делать? Мне тебя жаль. Я, признаюсь, думала, что ты можешь стать человеком, независимо от отца, сам по себе, но делать нечего, как мне ни жаль тебя, но должна тобой пожертвовать и, в отстранение возможности попыток на предположенную тобою месть, подвергнуть тебя заключению и продолжитель-

ному, хотя, положим, и довольно снисходительному — подвергнуть заключению, по крайней мере на все время жизни твоего отца. Это государственная необходимость, мера предупреждения! А в предупреждение побега должна поместить тебя в одном из тех рavelинов Петропавловской крепости, где, тоже по государственной необходимости, содержалась твоя мать.

— Матушка государыня, — вскрикнул испуганный Чесменский, бросаясь перед государыней на колени, — прикажи лучше голову отрубить! Ну что я буду делать в заключении?

Одна мысль о тюрьме "Свободной пристани" его сводила с ума.

— Вот вздор какой! — отвечала государыня. — Я уже говорила, что заключение будет не слишком строгим и не слишком исключительным. Комнаты твои если не будут роскошными, то будут весьма приличными. Разумеется, свидания будут разрешаться под наблюдением и по выбору с людьми, не могущими увлечься ребяческой идеей мести; но для занятий все что хочешь: и музыкальные

инструменты, и рисовальные станки; книги всевозможные; и решительно все по тому предмету, который бы ты избрал и которому особо посвятил бы себя. Наконец, не вечно же тебя заключают. Я или отец твой помрет, и ты свободен. Стало быть, страшного, ужасного в таком заключении ровно ничего нет. Но подумаем. Если бы в то время, когда мать твою привезли сюда, ты был не в зародыше, а хоть в твои нынешние годы и был бы истинный русский по душе, с безграничной преданностью государю и Отечеству и готовностью себя не жалеть для общего благоденствия и спокойствия России. Что бы ты должен был делать ввиду положения, принятого твоей матерью? Ясно, ты, со всею глубиною своей сыновней любви, должен был так или иначе сам ее доставить; сам ею пожертвовать! Вопрос самопожертвования в пользу Отечества не только в самоотрицании, но и в готовности отказаться от всего дорогого, всего близкого, всего того, что может быть для сердца дороже самого себя. В древности, когда для умилостивления разгневанных божеств, грозящих опасностью всей стране, требовались

человеческие жертвы, сущность дела заключалась в жертве наиболее ценной, наиболее дорогой, а из кого такая жертва должна была состоять, указывали сами боги, и выбор их падал не всегда на единственную и прелестную дочь царя вроде идеально прекрасной Ифигении, но и на не менее прекрасных и добродетельных любимых супругов, мужей, братьев, отцов и матерей. Вот Эней говорит у Расина. Они говорят это потому, что готовы пожертвовать собой и всем, что для них дорого. Теперь, когда нет разгневанных божеств, таких по крайней мере, которые требуют себе человеческих жертв, вопрос о самопожертвовании стал другим, но он стоит на той же почве. Теперь есть государственная необходимость. Это тот же неумолимый рок, та же непредотвратимая судьба древних. Ради этой необходимости истинный патриот, истинный сын своего Отечества должен с полным самоотрицанием быть готов возложить на алтарь Отечества все, что ему дорого, как бы предрекая это; дорогое ему на всеожжение, на жертву. И для этого он должен не жалеть ни себя, ни жены, ни детей, ни сестер и братьев, ни отца

и мать, ни своего состояния. Все стоит и должно стоять ниже интересов государства, всему должно жертвовать для спасения Отечества. Мало того, уколы личного самолюбия, различия мнений и взглядов, все должно быть забыто, все оставлено ради отстранения от Отечества опасности. Ты русский, Чесменский, русский в душе, я уверена в этом. Если бы в то время, когда твоя мать с ведома ли, по неведению ли, вздумала всклепать на себя имя, ты был бы не в зародыше только, а человек самостоятельный, взрослый, то я уверена, со всем своим сыновним почтением сказал бы матери: матушка, верю вам, что вы не верите сами всему, что вы говорите, более, верю, что все это непреложная истина, хотя, согласитесь, истина странная, невероятная. Зачем императрице Елизавете потребовалось скрывать вас в такой степени, что она решилась отправить вас даже в Персию, и еще в какое время, когда там царствовала война и безумствовал самовластный победитель шах Надир и война касалась русских границ? Был ли Разумовский действительно ее законный супруг или фаворит, каким тогда его признавали, безразлич-

но, она могла ребенка от него отдать на воспитание кому-либо из своих приближенных, ей бесконечно преданных. Не говорю о Воронцове, о лейб-кампании, о Генриковых, Скавронских, хотя они были ей близкие, родные, ею выдвинутые, благодетельствованные, но не говорю о них, потому что люди высших сфер могли иметь задние мысли, но почему, например, не могла она отдать его на воспитание своей любимице-подруге Мавре Егоровне Шуваловой или еще лучше Чулкову Василию Ивановичу, начавшему службу, правда, со звания ее камердинера, но который был уже тайный советник, и личная преданность которого ей была так велика, что уже в старости он высшей милостью считал себе дозволение ночевать в ножках своей государыни, и когда такое дозволение было ему даваемо, то он, тайный советник, с молитвой сам раскладывал у ног кровати государыни свой тюфячок, клал подушку и ложился спать не раздеваясь, думая о том, как бы завтра не опоздать, чтобы как государыня утром проснется и захочет опустить свои голые ножки с постели, то не допустить ее ножкам коснуться ковра, а

надеть на них бархатные, шитые жемчугом туфли. С таким человеком, с такою беззаветною преданностью нужно ли было ей в чем церемониться? Какое же затруднение со стороны государыни Елизаветы могло быть в том, чтобы отдать свою дочь — законная или незаконная — на воспитание Чулкову? Обеспечить ее будущее государыне также было чем. С этой стороны ей, кажется, не могло встретиться препятствие. Притом государыня Елизавета была и не такого рода женщина, которая бы для этикета, для приличия готова была всем жертвовать. В молодости она любила распевать песни с сельскими девками и парнями, в средние лета ее даже осуждали за фамильярность с гвардией, с женами солдат, детьми и участием в их быте, — фамильярность, вызвавшую ей со стороны гвардейцев беспредельную преданность, содействовавшую вступлению ее на престол. Когда она была уже на престоле, то опять — был Разумовский, ей мужем или просто фаворитом, но она заботилась о всем его семействе: его самого сделала графом и фельдмаршалом и наградила богатством, можно сказать, несметным.

Мать его, несмотря на то что была простая, безграмотная казачка, известно каким почетом пользовалась. После старших братьев Разумовского остались племянники, дети простых казаков. Елизавета нисколько не церемонилась, воспитывала их во дворце, заботилась о них, определила на службу. Они умерли уже в генеральских чинах.

После одного из братьев осталась племянница. Она воспитывалась в покоях самой государыни, была сделана ее фрейлиной и выдана замуж за сына государственного канцлера графа Бестужева. Младший брат Разумовского известно какою заботою был окружен государынею с детства. Он был отправлен в чужие края, окруженный целым штатом. На воспитание его не жалелось ничего. По возвращении же своем он был женат на Нарышкиной, родственнице императрицы и богатейшей тогда невесте в России, сделан президентом Академии наук, наконец, малороссийским гетманом. Наконец, сестры графа Разумовского были также взяты во дворец. Одна из них, Вера Григорьевна, вдова простого казака Дорогана, была сделана статс-дамой, а

дочь ее фрейлиной и потом вышла замуж за одного из богатейших землевладельцев Малороссии Голачана. За дерзость Грюнштейна, адъютанта лейб-кампании и одного из главнейших сподвижников при восшествии ее на престол, Бодлянскому, женатому на сестре Разумовского, Грюнштейн был сослан в Углич, и государыня его не простила. Так горячо принимала она все то, что относилось до Разумовских. Все они были призрены, все награждены, несмотря на их низкое происхождение. Почему же тебя-то, свою дочь, — спросил бы ты, Чесменский, у своей матери, — императрица Елизавета, заботящаяся о всех братьях и племянниках своего друга, почему именно тебя-то, дочь — и дочь единственную — она могла забыть, и забыть до того, что заставила сперва странствовать по Персии и в России, с опасностью жизни, а после еще и искать приключений в Европе, по отсутствию всяких средств существования. Ну, положим, отнесем это к непостоянству ее характера, к забывчивости, хотя характер императрицы Елизаветы вовсе не был ни непостоянным, ни забывчивым. Каким же, дескать, образом, —

спросил бы ты у своей матери, — отец-то твой, граф Алексей Григорьевич Разумовский, обладая несметным богатством и умирая бездетным уже после смерти императрицы, все оставил своему брату, столь же богатому, как и он сам, не подумав о том, что нужно же оставить что-нибудь и дочери, особенно после того, что императрицей ей ничего не оставлено. Наконец, каким образом граф Кирилл Григорьевич, здравствующий до сих пор и благотворящий везде, где может благотворить, получив после брата несчетное богатство и зная, что все его благополучие устроилось благодаря брату, не подумал, что нельзя же не помочь родной племяннице, законной или незаконной, все равно. Родственное чувство, полное благодарности, не может не оставаться тем же, к кому бы оно ни относилось.

Приведя все это, ты бы сказал своей матери: согласись, матушка, что всё это весьма невероятно! Ты ответишь, что все они боялись войти в политическую интригу. Нисколько! Они бы явились к государыне, заявили бы о твоём существовании и просили бы

ее указания, что им сделать и что предпринять? К этому, может быть, ты прибавил: государыня в России не настолько глупа, чтобы отказаться, прийти к соглашению взаимным устранением недоумений, тем более что ты, матушка, объяснил бы ты ей, хотя бы рожденная даже в морганатическом браке, но при жизни царствующего государя даже не объявленная, ни в каком случае не могла иметь какие-либо права на престолонаследие. Но допустим, что, несмотря на все невероятие, все, что ты говоришь, правда. То и тут действия твои вызывают вражду, рознь, могут вести к великим бедствиям наше Отечество. Потому мы должны ехать, обговорить, устроить наше дело у себя дома, а не вызывать, не искать врагов своей родины. Если мы ошибемся и вместо человечности и внимания встретим вражду и насилие, если вместо того, чтобы уладиться и устроиться в согласии, мы сложим свои головы, то наши головы будут жертвой согласию, единству и благоденствию России, принесенной ее истинными сынами, а не честолюбивыми проходимцами, желавшими во что бы то ни стало внести в нее

рознь и вражду, хотя бы такая вражда стоила миллиона русских жизней и, как я сказала, на сотню миллионов уничтоженного русского труда...

Так, Чесменский, ты должен говорить своей матери, если бы в то время был самостоятельным и взрослым человеком и был русским в душе, в сердце, со всей преданностью благополучию России до самоотвержения. И если бы мать твоя не согласилась с тобой, то ты бы употребил все меры, чтобы иначе ее замыслы на гибель России уничтожить и действия ее во вред России прекратить; хотя бы для того пришлось прибегнуть тебе к насилию или обману. Ты бы сказал себе: я жертвую своей матерью, но спасаю Отечество!

Ты не был человеком самостоятельным, был только в зародыше, стало быть, о том нечего и говорить. Но что же ты делаешь теперь, став взрослым уже и хотя еще юным, но уже самостоятельным человеком? Ты принимаешь на себя миссию мести тому, кто, сделав все это вместо тебя, принес этим громадную услугу мне и Отечеству; который избавил Россию от страшной, ожесточенной вой-

ны, против коалиции, справиться с которой, по всей вероятности, у России не было бы средств. Ты хочешь мстить ему за то, что действия его, не без причины со стороны твоей матери, были против нее направлены, и хочешь мстить — кому же? Родному отцу! Да разве можно допустить это? И затем, разве можно предпринять против тебя, ввиду твоих вин, что-либо кроме как заключение под строгим и неусыпным надзором?

Государыня замолчала. Чесменский, собравшись с силами, вынужден был сказать:

— Всемиловитейшая государыня, — робко проговорил Чесменский, — говоря перед вами о своих чувствах с откровенностью сына перед матерью, я невольно высказал мое душевное требование мести тому, кого считаю виновником всей лжи, всей фальши моего положения. Но, разумеется, я ни одной минуты не полагал освободить себя от обязанностей полного, всеподданнейшего повиновения вашей высочайшей воле. Виновный однажды в послушании, я ни в каком случае не мог себя допустить до повторения своего преступления. Стало быть, указания вашей выс-

шей воли, после оказанной мне милости и снисхождения, считались бы мной священными. Мои чувства, мои взгляды, мои требования остались бы только для одного меня ввиду заявленного вашим величеством желанья, чтобы они ни в каком случае не касались того, что вы, как мать Отечества, изволите признавать заслугу перед вами и Россией.

Екатерина улыбнулась, взглядываясь в красивую, молодую и откровенную фигуру Чесменского. Она тут только заметила, что он недурен, очень недурен, главное симпатичен. В выражении его лица сохранилось много той симпатии его матери, которая привлекала к ней постоянно окружающих. Но что? Еще мальчик, совсем мальчик!

— То есть как же это, милый мой Чесменский, — сказала государыня добродушно. — Ты бы хотел быть моим верным подданным и в то же время моим противником; хотел быть послушным сыном Отечества, в то время как мысли, желанья, мечты стремились бы всеми способами принести ему вред? Ведь это невозможно, мой милый; нужно что-нибудь

одно из двух: нельзя желать в одно и то же время и угодить своей государыне и делать ей напротив: ненавидеть, что она любит, и любить, что она ненавидит? Нельзя в одно и то же время служить Богу и мамоне!..

— Нет, Чесменский, — продолжала она после секундного молчания, — знаешь что? Взгляни-ка лучше на свою явку ко мне, как на явку блудного сына, который все бывшее решил оставить за собой, чтобы явиться перед отцом в полном раскаянии. Подумай! Ты просил у меня смертной казни. Ну представь себе, что я велела тебя казнить. Ведь тогда все эти затеи иллюминатства, вся эта месть, вся напускная восторженность заразы французского духа, который, нужно сказать правду, коснулся тебя весьма легко; наконец вся эта канитель злобы и ненависти, должны бы были поневоле вместе с тобой умереть, испариться, явиться на высший суд, где во всяком случае получать себе своевременно применение. Ты же, обновленный, очищенный, со свежими силами и чистым сердцем, должен снова вступить в жизнь, как бы только явился на свет Божий.

— Видит Бог, ваше величество, всемило- стивейшая государыня, я явился к вам с пол- ной готовностью отказаться от всего прошло- го. От всего сердца, искренно, я себя готов принести в жертву, чтобы искупить свои про- шлые ошибки и увлечения.

— Между тем в то же время готовишься к мести, мало того, пропагандируешь месть родному отцу? А думал ли ты когда, что, мо- жет быть, в то время, как ты думал, что отец хочет тебя со света Божьего сжить, он страш- но тосковал и мучился, что не может при- жать тебя к своему сердцу, не может переска- зать своих мук, своих страданий, тем более что видел холодность твою к нему, твое пре- небрежение даже к его подаркам...

— Кто же ему препятствовал, ваше величе- ство...

— Сознание, что ведь все же он лишил те- бя матери! Да! Это сознание и собственная гордость, не допускающая отца склоняться перед сыном, особенно нося в сердце убежде- ние, что как гражданин, как сын Отечества он должен был поступить именно так, как он поступил. И знаешь ли ты, чего, может быть,

ему стоило поступить именно таким образом? Может быть, дух захватывало, сердце замирало, но он заставил себя, вынудил себя силой воли. А что у Орлова—Чесменского есть сила воли, в этом никто не сомневается! Но вынудив, заставив себя, кто знает, как он страдал! Может быть, не раз кровавыми слезами обливался он прежде, чем решался выйти к тебе и сказать свое холодное слово, встречая во взгляде твоём, в твоём выражении лица не сочувствие, не сожаление в его мучениях, а жажду мести и ненависть! О, я по себе знаю, как тяжело встречать ненависть и укор там, где хотела бы видеть любовь... Мы все читаем чуть не безучастно жертвоприношение Авраама. И мы не видим тут страшной драмы, душевной борьбы, которая должна была происходить в сердце старого отца, когда он должен был поднять нож на своего единственного взрослого сына. Эти душевные страдания были так велики, что воля Божия остановила нож... Но государственная необходимость не обладает всеведением и всемогуществом Божиим. Она, как молот машины, бьет бесповоротно и вот сына, родного и

единственного, заставляет видеть в отце врага. Нет, Чесменский, ты не сознаешь чувства отцовской любви, некому было развить в тебе силы сыновнего почтения. Поговори с преосвященным Платоном. Он разовьет перед тобой новый мир, в котором ты увидишь, как дорого может стоить отцу сознание, что он встречает от сына только одну ненависть!

— О государыня, да разве я могу что-нибудь говорить против слов ваших, разве я могу возражать? Я своей жизни не пожалел бы на то, чтобы снять чьи бы то ни были страдания, если в них я сколько-нибудь виноват, не только если эти страдания могут касаться моего отца. Но с моей стороны могло к нему обратиться слово сочувствия. Оно явилось бы и могло бы ему представиться моим заискиванием перед его богатством и знатностью. Между тем, верьте Богу, государыня, как ни тяжка мне мысль об этом заключении, но даже такое заключение я бы предпочел положению, в котором я должен был бы жить подарками и помощью своего отца!

— Ты не будешь поставлен в это положение, Чесменский. Даю тебе это слово! Только

с истинным сердцем и полною откровенностью своей молодой души взгляни на дело, как оно есть, не задаваясь ни задней мыслью, ни предвзятыми сомнениями. Пойдем со мной!

Между тем граф Алексей Григорьевич сидел и ждал государыню опять в бриллиантовой комнате.

"Она приказала мне прийти сегодня пораньше, — думал граф Алексей Григорьевич, — я и явился ни свет ни заря, а ее нет и долго не выходит. Верно, занята своим случаем! Ох, уж эти мне случаи!"

Граф Алексей Григорьевич забыл, как он случаем своего брата Григория Григорьевича пользовался.

"Я, кажется, не опоздал, — сказал себе граф Алексей Григорьевич, поглядывая на свой брегет, — Захар Константинович, кажется, не носил еще кофе. Вот как опоздаем, так она любит за то выдержать. Пожалуй, целый день продержит. Но я не опоздал, а ее все нет! Она сказала, приходи до народу, а то после вздохнуть не дадут, ну я, кажется, до народу. Впрочем, говорят, Рылеев уже здесь! А она все еще

не выходит!

Может быть, Зубов нарочно ее задерживает, чтобы заставить меня почувствовать... Хоть кажется, уж ради собачьего ошейника и лошадиного чепрака он должен быть бы ко мне внимательным. Может, говорит, к терпению приучать нужно! Ладно! Я терпелив, где нужно, как быть? Подождем!"

И Орлов расхаживал по комнате широкими нетерпеливыми шагами.

В это время государыня вошла.

— Я привела к вам блудного сына, граф Алексей, который захотел с любовью и раскаяньем взглянуть на отца, вспомнив завет заповеди Божьей: "Чти отца своего!"

Граф Алексей Григорьевич, несмотря на всю черствость своей натуры, задрожал, руки у него как-то сами вытянулись вперед, слезы невольно покатались по щекам.

— Саша, Саша, неужели ты и в самом деле думал, что я тебя хочу со свету сжить? — спросил он, сам не зная, что говорит и что спрашивает.

Перед ним стоял молодой человек с прямым, откровенным взглядом, ясным выраже-

нием лица и сердечной добротой во всем существе, во всей своей фигуре.

— Батюшка, мне больно было думать это!

— И не думай, мой милый, не думай, мсти мне, если хочешь, убей меня, я тебе сделал много зла, но не думай, что хоть одну минуту я тебе зла желал! Ты мой родной, единственный... — И он охватил сына своими могучими объятиями, склонил свою голову на его плечо и зарыдал, глухо зарыдал, как ребенок.

У Чесменского тоже слезы невольно катились из глаз. Государыня исчезла. Она своим словом сделала дело: помирила сына с отцом.

Потом она говорила: вот и говорите после того что хотите об отсутствии влияния родственных чувств. Чем объяснить мое удачное примирение ненавидящих друг друга сына и отца? Ясно — единственно симпатией крови! В их и ненависти-то была взаимная любовь и уважение детей к родителям и страстная, слепая любовь родителей к детям. Против такого отрицания дает опровержение сама природа. Да и я сама. Сколько огорчений принес мне Алеша своей безалаберностью, мотовством, подчас несоответственной скупостью и жад-

ностью. Сколько долгов я переплатила за него. А все он мне мил и дорог, во всяком случае дороже всех. Почему, я не знаю. Может быть, по воспоминанию о самом счастливом периоде моей жизни, когда его отец Григорий Григорьевич именно осчастливил меня своей преданностью. Да, нечего сказать, и брат его Алексей Григорьевич, хоть и великий плут, но мне всегда был истинно предан, ну и отец крестный моего Алеши. За то вот я его и отблагодарила, возвратив ему сына. Я очень рада, что удалось!..

Глава 5. Подозрительность всего боится

Между тем почти недельное, уединенное пребывание Чесменского во дворце, многократное приглашение его в собственные покои государыни, беседование с ним глаз на глаз и вообще таинственность, какую самое пребывание его и эти беседы окружались, страшно волновали так величаемый тогда новый случай: светлейшего князя Платона Александровича Зубова.

Зубов был человек весьма еще молодой, лет на пять, на шесть постарше Чесменского,

стало быть, лет двадцати четырех — двадцати пяти, не более, но он был уже светлейший князь, вице-президент военной коллегии, вице-председатель конференции по иностранным делам, президентом и председателем была сама государыня; наконец, имеющий право требовать себе отчета по всем коллегиям, по всем управлениям, даже от сената. Приказы его велено было исполнять как бы высочайшие повеления и доносить обо всем, о чем бы он ни пожелал знать. Никогда ни князь Орлов, ни светлейший Потемкин, в самые деспотические минуты своего прошлого могущества, не пользовались такой властью, какою пользовался он, почти неведомый до того бедненький офицерик, а ныне светлейший князь.

Это был господин с мясистым загривком, мускулистыми руками и плечами, напоминающими фигуру Алексея Орлова в молодости, только в уменьшенной, более изящной пропорции. Он отличался красивым, белым, с небольшой ямочкой на щеке лицом, невысоким, узеньким лбом и глубокими, темно-кариыми глазами, опущенными длинными, чер-

ными ресницами и красивою бровью. Человек он был, видимо, малоспособный, зато бесконечно честолюбивый, завистливый и жадный, хотя нельзя также было не сказать: человек холеный, красивый и элегантный.

Его волновало, мучило, смущало то обстоятельство, что вот государыня велела поместить во дворце какого-то явившегося из-за границы мальчика, часто призывает его к себе, а ему, светлейшему князю Зубову, не говорит ни слова.

И вот он, в своем атласном, небесного цвета, шитом серебром и подбитым белым левантином халате, оживленными и быстрыми шагами расхаживает по своим великолепно отделанным апартаментам Зимнего дворца в нижнем этаже, хлопает иногда дверьми, дает подчас тычка прислуге, коли подвернется, и носится из комнаты в комнату, как бурный ветер, хотя парикмахер ждет его светлость убирать голову, официант замер в форме статуи с серебряным подносом, на котором стоит кофейник с горящим под ним спиртом, великолепная сахарница, подарок государыни, из золота с эмалью, такой же сливочник и ма-

ленькая чашечка саксонского фарфора из сервиза, купленного после графини Кенигсмарк, знаменитой фаворитки саксонского Августа, подаренного Екатерине прусским Фридрихом, а Екатериною уступленного своему новому, молодому случаю.

"Черт возьми! Неужели я ей наскучил. Тогда скверно, да и то: Потемкин не претендовал, и я претендовать не стану, только надо быть откровенной, а не прятаться по углам! Нужно поговорить с Зотовым, и делать нечего, нужно не пожалеть заставить его развязать язык".

— Попросить ко мне зайти Захара Константиновича! — крикнул он после того, как звук золотого колокольчика оглушил всю комнату, хотя в комнате толпилось вдоволь народу.

Скороход бросился исполнять приказание князя.

— Да убирайтесь вы все к черту! — закричал Зубов, оглядывая парикмахера с прибором, официанта с кофеем и другую прислугу, глазеющую в потолок. — Я нездоров и никого видеть не хочу.

По этому слову все исчезли. Князь выдвинул из бюро ящик с драгоценностями и достал оттуда какой-то футляр.

Вошел старый хмурый камердинер государыни Захар Константинович Зотов.

— Захар Константинович, как я рад вас видеть, почтеннейший, — торопливо и льстиво начал князь Зубов, протягивая ему обе руки, которых, однако ж, тот по непониманию ли, по непривычке ли здороваться, пожимая руки, или по особому упорству не принял, стоя посреди комнаты с поникшей от поклона головой и посматривая на князя как бы исподлобья.

— Вас, почтеннейший, и не заполучить нонче, — продолжал князь, пожимая ему обеими руками плечи, так как тот не протягивал руки, а князю было неловко стоять с руками, протянутыми в воздухе. — Бывало, нет-нет да и зайдете поболтать и распить бутылочку вина со старым приятелем-ординарцем. А нонче Бог знает что с вами сделалось, заспесивились!

Говоря это, Зубов старался притянуть Зотова к креслу и, подавливая на плечи, его уса-

дить.

— Садитесь, садитесь, почтеннейший, гость будете! Чем угощать-то только вас? Вот разве от Леопольде Тосканского привезли мне Локримо Кристи. Чудное вино! Попробуйте-ка!

И Зубов налил из полной, стоявшей на столе раскупоренной бутылки вина в золотой, художественной работы кубок и подал его Зотову.

— Много милости, ваша светлость! Напрасно изволите беспокоиться! — отвечал Зотов. — Наше дело лакейское, можем и постоять!

Однако ж, как бы уступая нажиму его плеч князем Зубовым, он опустился в кресло и принял поднесенный ему кубок вина. Вино было действительно превосходное.

Неизвестно, с какими мыслями сказал это Захар Константинович. Просто думая, дескать, как нас ни зови, только хлебом корми, себе цену мы знаем! Или с умыслом дать почувствовать светлейшему князю. Дескать, как нужен, так и почтеннейший, и любезнейший, и в кресло садись, и вино какое есть лучшее

пей! А то, так и знать не хотим! Лакей, де-скать, и только! Сам-то ты далеко ли от лаке-ев ушел, посмотреть бы, вот что!

И князь Платон Александрович не обратил никакого внимания на его ответ, как бы не слышал его. Он продолжал с тою же заиски-вающей любезностью.

— Ведь вас, почтенный Захар Константи-нович, нонче никак заполучить нельзя! Вот, например, хоть бы и я, с самого приезда свое-го из Вильно норовлю поймать случай подне-сти на память свой портрет. Никак не мог уловить. Право, Захар Константинович, греш-но так забывать старых приятелей! Ты от ме-ня нонче прячешься! — прибавил князь, до-ставая заранее приготовленный футляр.

— Помилуйте, ваша светлость, всегда к услугам по первому требованию! — отвечал Зотов, смакуя с удовольствием налитое ви-но. — Само собой разумеется: нонче по долж-ности-то очень занят. Матушка-то наша не то что прежнее время — бывало, соколом, а те-перь часто жалуется на здоровье и скучает. Видно, годы пришли, не все на ум одно весе-лье идет! Уж на что англичанин Рожерсон.

Его, бывало, обухом не заставишь поворотиться, такая туша неповоротливая, хоть что хочешь говори! А теперь — нет! Чуть скажешь, сам засуетится, сам заторопится!

— Вот возьми, Захар Константинович, что я привез для тебя! Нарочно для себя заказывал. Работа хорошая, и кажется, похож! Посмотри и носи любя, да не забывай в памяти!

И князь Зубов раскрыл футляр и вынул оттуда великолепную, украшенную эмалью и несколькими рядами крупных бриллиантов табакерку с миниатюрным на крышке, прекрасно написанным на слоновой кости и тоже окруженным бриллиантами, портретом самого князя Зубова. На оборотной стороне крышки табакерки внутри был вырезан герб светлейшего князя, и чего только в этом гербе не было. Ученый-геральдик того времени прочитал бы в нем и распространение христианской веры, и спасение Отечества, и предводительствование армиями, и падение неприятельских крепостей, и даже чуть ли не песнопение царя Давида. Что и говорить, Зубовы — точно старинные дворяне, но христианской веры они не распространяли, Отече-

ство не спасали, армии не предводительствовали, неприятельских крепостей не брали. Что же касается до царя Давида, то они, пожалуй, бы рассердились, если бы кто им сказал, что они иерусалимского происхождения.

— Ваша светлость, не по заслугам милость, не по носу табак! — сказал Зотов, улыбаясь. — Да я такую табакерку и в руки взять бояться буду, разве перекрестясь!

И он лакейски засуетился, чтобы высказать свою благодарность — торопливо закланялся и сделал, кажется, вид, что готов поцеловать руку князя, что, однако ж, как-то не состоялось, потому ли, что князь уклонился, или потому, что Зотов сделал только вид. С тем вместе, именно потому, что Захар Константинович знал себе цену и понимал, чего от него нужно, он сейчас же прибавил:

— Вашу светлость беспокоит тот молоденький паренек, которого мы с князем Гагариным караулим и будто на убой откармливаем?

И Зотов, полюбовавшись еще табакеркой, причем приблизительно определил ей цену — в этом он знал толк — положил ее в фу-

гляр и спрятал в карман.

— Да, скажи на милость, Захар Константинович, что сейчас он значит? Отставка мне, что ли, готовится или просто так, временное развлечение? Я думаю, ты сам скажешь, что преданнее меня государыне уже трудно быть! Опять ее воля, насильно, говорят, мил не будешь!.. Отставка так отставка! Меня и через час здесь не будет!

— Э, ваша светлость, не извольте тревожиться! Чтобы мы такого молодца-красавца от себя отпустили, да еще веселого, доброго и разговорчивого. И чтобы мы такого истинного и испытанного друга променяли на какого-то мальчика, что и взглянуть не на что? Полноте, не беспокойтесь!

Этого ни в жизнь не будет! На что Александр Матвеевич уж хмурый был, и я, бывало, и говорил государыне, дескать, паренек-то скучает! Так и тут, готовы были всякое удовольствие предоставить, а от себя отпустить не хотели. А чтобы вашу светлость, говорю, не извольте беспокоиться! Что же касается мальчика, то это старая погудка на новый лад, на отбросок былого, прошлого и далеко не ра-

достного. Заняться им мы считаем своим долгом, потому ни слова не говорят! А вот подождите, картинка раскроется, мы на нее насмотримся, наслушаемся и тогда сами вашу светлость просить будем, чтобы придумали устроить, да так, чтобы старое-то глаз не мозолило, не очень бы на них кидалось! А вы, коли хотите послушать совета старого дурака, устройте, да так, чтобы и угодить, чтобы и угодить, и подальше куда... Вот подождите денек, много два и увидите, что я прав!

Но не прошло и двух часов, как доложили князю, что от императрицы к нему другой ее камердинер, из потемкинских, Кошечкин. Князь приказал звать.

Кошечкин заявил его светлости князю Платону Александровичу, что государыня желает видеть вице-президента военной коллегии.

— У государыни кто-нибудь есть? — спросил у Кошечкина князь Зубов, в то время как Зотов нарочно раскинулся в креслах, допивая свое вино, чтобы показать перед товарищем: дескать, знай наших. Вот, дескать, мы у светлейшего в гостях сидим и винцо попиваем, а

ты хоть тоже камердинер, а что?

Кошечкин, далеко не выутюженный так, как был выутюжен Зотов, с завистью посматривая на своего старшего собрата, должен был отвечать:

— Как же, ваша светлость! У государыни генерал-аншеф сиятельный граф и кавалер Алексей Григорьевич Орлов—Чесменский!

— Разве он в Петербурге?

— В Петербурге, ваша светлость, и вчера, и третьего дня изволили быть!

"Эге, да не его ли это штуки? Хорошо, увидим", — подумал Зубов, потом прибавил: — Больше никого?

Кошечкин затруднился ответом, посматривая на Зотова, но тот показывал вид, что во все его не замечает.

— Пока никого, ваша светлость, — надумался наконец ответить Кошечкин, — но приказали еще кого-то позвать!

— Ладно, — отвечал Зубов, — скажи, сейчас буду.

Кошечкин исчез. Зубов опять сильно позвонил, но не отпустил Зотова, выливая ему из бутылки остальное вино.

— Да уж и кубчик-то возьмите с собой, Захар Константинович, на память!

Когда по звонку князя явился перед ним опять весь штат его прислуги, Зубов стал одеваться, разговаривая с Зотовым о предметах, впрочем, общих. Но он очень хлопотал о том, чтобы одеваться к лицу, как можно богаче и изящнее. По этому предмету он не раз обращался за советами к Зотову, зная, что старик во время долголетнего служения своего при государыне изучил ее вкус и хорошо знает, что ей нравится.

И красив же он был в полной форме вице-президента военной коллегии и генерал-адъютанта, украшенный лентами, орденами, разными знаками и собственным ее величества, осыпанным весьма крупными бриллиантами, портретом.

— Чтобы такого красавца да мы оставили, — проговорил Зотов, допивая вино. — Ни в жизнь, ни в жизнь!

— Кубчик-то не забудьте взять на память, Захар Константинович! — вместо ответа проговорил Зубов, настаивая, чтобы Зотов кубок, из которого пил, положил себе в карман, —

— Чем заслужил вашу милость?

— Добрым словом, ничем более, как добрым словом, почтеннейший Захар Константинович, — отвечал Зубов и, взяв Зотова под руку, вышел с ним из комнаты.

Глава 6. Заключение

Кошечкин, не зная, как отделаться от вопросов князя Зубова, что сказать, чего не говорить, тем более что тот спрашивал его при Зотове, солгал князю. Граф Орлов только приехал во дворец, прямо пришел в комнату сына, и когда императрице доложили и она велела звать его в бриллиантовую комнату, то пошел туда вместе с сыном под руку, так что, когда государыня приказала позвать Зубова, то она была уже втроем, а не вдвоем с Орловым. Кошечкин не решился сказать, что у государыни Чесменский, по такого рода своим, камердинерским соображениям: "А шут их ведает, что еще выйдет? Пожалуй, рассердится да пойдет объясняться, та спросит, кто сказал? Нашему брату помолчать всегда лучше!"

И точно, пребывание Чесменского во двор-

це начало вызывать толки, и Кошечкин не знал, как намек об этих толках будет принят фаворитом, а главное, не последует ли действительно какой перемены в случаях фавора. "Тут, дескать, нужно ухо остро держать!" Но для Зубова ответ Кошечкина уже не имел значений. Он был вполне успокоен Зотовым и за себя не боялся.

Между тем трудно представить себе то взаимное, обоюдное счастье, которое сияло на лицах примирившихся между собою отца и сына, сознавших всю фальшь, всю неправильность взаимной ненависти, когда сама природа вызывает любовь.

Когда они вошли, государыни не было, и они уселись на козетке и разговаривали с той взаимной доверенностью, которая обуславливается только искренностью взаимных отношений.

— Признаюсь откровенно, Александр, — говорил граф Алексей Григорьевич, — когда я послал Рибаса ее разыскивать, потом через римского банкира послал деньги, наконец Христенка — для предварительной рекогносцировки, то думал сделать именно то, что я и

сделал. Но как для того мне было нужно делать вид, что я верю всем сказкам, стало быть, принимать до некоторой степени вид изменника, то я и писал о всех своих предположениях государыне. Ты понимаешь, что иначе я поступить не мог. Заявить, что я признаю какую-то новую великую княжну и, как начальник русского флота и русских сухопутных войск, расположенных на водах Средиземного моря, я принимаю на себя поддерживать ее претензии, значило прямо стать против прав и власти государыни, стало быть, прямо поставить на карту свою голову, если это будет сделано без ее ведома. По всей вероятности, меня на эскадре разорвали бы, потому что, нужно сказать правду, эскадра была собрана из людей, ей преданных и более или менее храбрых. Это тогда было тем несомненнее, что брат Григорий по своей глупости и потерял свой кредит, и что шмели, которые всегда около государей кружатся, уж так или иначе старались внушить ей против всех нас подозрение, и даже подставляли мне разные ловушки, не попадусь ли я в какую из них, чтобы изловчиться и прихлопнуть. Но пред-

варительное сообщение и изъявленное, согласно моим предположениям, высочайшее соизволение, совершенно ограждало от всяких их подходов. Я стоял за ними твердо, как за каменной стеной.

— Скажите, однако ж, батюшка, неужели все рассказы были только сказки? Ум не верит, а сердце не допускает даже мысли, чтобы можно было все это выдумать, сочинить...

— Между тем это действительно было так! Все это не только измышление, но и измышление глупое, невероятное. При первых слухах о появлении будто бы какой-то новой великой княжны я писал к графу Кириллу Григорьевичу Разумовскому. Он прямо отвечал, что ни о чем подобном от брата не слышал и ничего не знает. Писал, что весьма странно бы было, если бы брат, умирая бездетным и распределяя свои обширные имения, ни одним словом, хотя бы косвенно не намекнул ему об обязанности поддерживать его родную дочь. Я не говорю, — продолжал граф Орлов объяснять сыну, — чтобы все это было выдуманно прямо твоей матерью, весьма вероятно, что ее уверили, что вот это было так, а это

так, несмотря на всю невероятность таких заверений. Я не говорю даже того, чтобы она действительно по происхождению своему не имела никакого отношения к царствующему дому. У нас с самого царя Михаила Федоровича было множество царевен и великих княжон, которых почти никогда не выдавали замуж. Удивительно ли, что не все они жили монахинями? Удивительно ли, что у которой из них была дочь, воспитываемая ею или отцом, Бог знает, где и как. Весьма может быть, что у этой незаконной дочери опять была дочь. В памяти этих девиц, по преемственности, весьма могли сохраняться предания царского семейства, разумеется в извращенном и искаженном виде. У одной императрицы Анны Ивановны было пять сестер, из коих только две были обвенчаны, да и то старшая, Екатерина Ивановна, с мужем не жила. Ее фаворит, князь Белосельский, был человек легкий и, пожалуй, мог отправить свою незаконную дочь на воспитание хоть в Персию и потом совсем забыть о ней, разумеется не думая о ее будущем. Другая сестра императрицы Анны, Прасковья Ивановна, была обвенчана тайно

со своим подданным. И хотя она жила с мужем недолго, года полтора, что ли, но после нее тоже осталась дочь, которая неизвестно куда потом девалась. На скрывание этой девочки был повод в избавление от соперничества принца Ивана, избранного императрицею Анною себе в наследники, и охране, стало быть, силы назначенного ею регента Бирона. Могли, разумеется, быть дети и у царевен Софьи Алексеевны, Агафьи Алексеевны и у других. Князь Василий Васильевич Голицын, фаворит первой, разумеется, мог отправить незаконную дочь свою на первое время в Персию, надеясь впоследствии, разумеется, поставить ее в иное положение. Но как положение дел изменилось, его сослали в Пустозерск, то, может быть, поневоле должен был ее там оставить. Дочь этой дочери была вывезена лордом Кистом в Европу, опять, может быть, по просьбе того же князя, хоть через его двоюродного брата, Бориса Алексеевича. Но ни к тому, ни к другому князю устроить ее не удалось, так как они умерли прежде, чем она явилась. Все это могло быть. Но что твоя мать не могла ни в каком случае быть дочерью им-

ператрицы Елизаветы Петровны и именно от брака ее с Разумовским — это несомненно. Слишком много лиц, долженствовавших знать тайну и бывших живыми в то время, как твоя мать себя объявила русской великой княжной. Семейство Разумовских было большое. Все они были облагодетельствованы государыней и не могли отрицаться от родной племянницы, хотя бы и незаконной, ввиду всех знающих близко все обстоятельства. Драгоны, Закревские, Боднянские — все это были родня, выведенная в люди императрицей Елизаветою, о которых не могла бы не знать также ее дочь, хотя бы и рожденная до брака. А мать твоя никого их не знала, ни о ком даже не слыхала, ни на кого не ссылалась в своих показаниях, даже будучи в плену. Толковала о своем будто бы двоюродном брате Пугачеве, явившемся будто ее каким-то предтечею, ясно не слыхавши никогда, ни что такое Пугачев, ни что такое Яик. И смотри: кто принимал в ней участие — сперва лорд Кейт, когда в Англии полагали, что она станет во враждебные отношения к России. Тот самый лорд Кейт, на которого Франция рассчитыва-

да, что он сделает высадку в Шотландии для поднятия в Англии смут в пользу претендента из Стюартов, жившего во Франции. А Франция с своим иезуитизмом, клерикализмом была исконный враг России. Она высылала к нам послов вроде Шетарди, нанимала агентов волновать Лифляндию и Малороссию, поддерживала против нас Польшу и Швецию, была вечным союзником Турции. Тогда принимают в твоей матери участие Радзивилл и польские конфедераты, поддерживаемые Францией. Наконец, Франция же со своим Шуазелем и Амелотом была единственной державой, которая дала своим представителям в Италии приказ принимать твою мать, как русскую великую княжну, даже уступать ей свои дела. Этим Франция дала притязаниям твоей матери практическое значение, чего до тех пор рассказы твоей матери, разумеется, не могли иметь.

Нет, что тут был с чьей-нибудь стороны прямой, несомненный обман, все ясно. Императрица была права, говоря, что это дело домашнее. Она подозревала в этом Ивана Ивановича Шувалова, бывшего в это время за

границей. Я этого не думаю. Иван Иванович был слишком тяжел и ленив для такой интриги, хотя, разумеется, ни за кого ручаться нельзя. Во всяком случае не могло быть, чтобы это была его мысль, его начало. Это начато могло быть только человеком сильным, честолюбивым и деятельным; человеком, способным влиять и на иезуитизм, и на радзивиловские затеи, и на пугачевщину, и привыкшим руководить интригой. Кто был этот человек, не знаю, но знаю, что между русскими вельможами такой легко мог найтись. Восшествие на престол государыни, столь неожиданное, произвело столько шума, вызвало столько слухов и рассказов, опрокинуло столько честолюбивых замыслов и стремлений, что за границей, можно сказать, просто поразило, а дома вызвало глухое, скрытое, но сильное желание противодействия, особенно между вельможами, потерявшими значение. А потеряли значение многие. Правда, императрица многих успела притянуть к себе. Румянцев и Воронцов по вступлении императрицы на престол подали в отставку, потом служили же; тоже можно сказать и о Па-

ниных. Но были, однако ж, и такие, которые не пошли ни на какие компромиссы: Гудович, Голицын, особенно Трубецкой, именно после того, как был председателем коронационной комиссии... Вот эти-то желания противодействия и обозначились различными ухищрениями, к числу которых нельзя не отнести и появление твоей матери. Но дело не в том: со стороны политической, стало быть вне сердца, вне чувства, я решил именно поступить так, как я поступил. Но когда я ее увидел, когда почувствовал, что остановил на себе ее внимание; когда, наконец, испытал счастье, дотоле мною не испытанное, и этому счастью конца не видел в ее страстной любви ко мне и наслаждении невообразимом, невероятном, не испытанном мною ни прежде, ни после; когда я испытал эту силу слабости, эту жгучую страсть, которая возбуждает отказом и туманит удовлетворением, то совершенно смутился, почувствовал, что уже не принадлежу себе, нахожусь под влиянием чар, туманящих, кружащих, но бесконечно отрадных, бесконечно счастливящих. Тут уже я был сам не свой, делал то, чего не сознавал; готов был

бросить все, бежать с ней на край света, забыть и государыню, и Россию, и свои предположения, и все, что могло меня от нее отвлекать. Но этому встретились неотразимые противодействия, во-первых, в упорстве желаний твоей матери, которая никак не хотела отказаться от своих неосуществимых грез, а во-вторых, в той обстановке, которая была мною сделана по моей предварительной переписке с императрицею. Начиная с того, что Англия, к инициативе которой относят вывоз ее из Персии и данное ей воспитание, но которая в то время, по причине разрыва с Францией, стала держаться политики союза с Россией, от нее не только отказалась, но готова была мне во всем под рукой помогать. Английский консул в Ливорно был первое лицо, которое было моей правой рукой в этом деле. Он был предупрежден, что я играю комедию, и смотрел на все мои действия, как на комедию. Потом контр-адмирал Грейг, вице-адмирал Спиридов, Христенко, брат Федор и все, все — можно сказать, следили за каждым моим шагом и ждали действий в том самом смысле, в каком были предупреждены, то

есть в виде комедии. Я, говорю тебе, был в каком-то чаду, в каком-то отупении, находясь как бы под влиянием двух враждебных стихийных сил, которые влекли меня то в одну, то в другую сторону. Под влиянием мысли и требований, с одной стороны, что я должен выдержать свой характер и довести до конца дело, требуемое русской политикой, с другой, что я должен поддерживать притязания, неправильность и невыполнимость которых я хорошо осознавал, я, можно сказать, допустил вести себя на помочах, и сделалось то, что она сдалась. Да, Саша, я лишил тебя матери! Ты имеешь право на месть, какую только может придумать твоя сыновняя любовь к этой несчастной, воспоминание о которой до сих пор томит мою душу, жжет мое воображение.

Сказав это, граф Алексей Григорьевич припал к плечу сына, обвив его рукою, и заплакал. Видно было, что ему было страшно тяжело, невыносимо грустно, но что в самом рассказе сыну он получал как бы облегчение, уже и тем, что мог плакать.

— Полно, родной, голубчик мой, полно! Не

убивайся, родимый, не грусти! — отвечал Чесменский, в свою очередь обнимая и целуя отца, тогда как у самого ручьем катились слезы по щекам. — Прошлое придет на суд Богу. Государыня права, говоря, что только он — общий сердцевед — может быть безгрешным судьей наших дел и помыслов. Мы же все — ничего более, как прах и ошибка. Мать мою Бог взял. А таким ли образом это случилось или другим, каким бы указал Господь, не все ли одно? Не мы судьи судьбы своей, не мы предрешатели Его святой воли! В наше сердце вложил Господь семена любви, а не мести и ненависти, а моя сыновняя любовь должна утешить и успокоить страдающего отца или, по крайней мере, разделить его страдания. Успокойся же, родной мой, мы вместе будем молиться о ее успокоении там...

В это время вошла государыня.

Орлов и Чесменский встали. Но сейчас упал на колени перед государыней не Чесменский, а упала на колени перед ней богатырская, тяжеловатая фигура Орлова.

— Государыня, многомилостивая наша, общая наша покровительница и утешительница

ца. Благодарю, от всего сердца благодарю, что не дала мне умереть без сердечного утешения! Много грехов, много злодейств на душе моей. Жил я, не думая о душе, смеялся над Страшным судом. Этот Страшный суд наступил мне еще в этой жизни. Теперь в моих глазах искупление и утешение. Благодарю тебя, всемилостивейшая повелительница, отрада и радость наша всеобщая!

Государыня вошла с той добродушной и радостной улыбкой, которая неминуемо сопровождает сознание оконченного доброго дела. Душа всегда невольно радуется радости других.

— Ну слава Богу, — сказала она, — вы объяснились и сошлись! Отношения ваши теперь, надеюсь, как сына к отцу и отца к сыну. Я ничего другого и не желала. Полно, Алексей, кланяться нечего. Вставай!

— Нет, милостивица, нет, покровительница! Позволь поклониться мне еще раз не за то только, что даешь сына мне, но что даешь сына истинно русского, честного дворянина и офицера, тебе беспредельно преданного. Он мне радость будет, утешением под старость!

Дозволь же признать его своим сыном! Ты знаешь, у меня одна дочь, и на обоих довольно будет.

И Орлов упал в ноги государыне.

— Батюшка, отец родной, дорогой! Нет! Не обижай, батюшка! — начал говорить Чесменский. — Дай прежде твою милость хоть чем-нибудь заслужить! Дай хоть на эту минуту думать, что без задней мысли, без корыстных и честолюбивых видов прижался к твоей отцовской груди, не обижай, родной!

Чесменский говорил, видимо, от души, со слезами, боясь огорчить отца и вместе возмущаясь от мысли, что могут самое примирение его с отцом отнести ко всему, кроме его искреннего сыновнего чувства.

— Ты прав, Чесменский, — отвечала Екатерина, — об этом будет время после говорить. Вставай же, Алексей, не кланяйся, я рассержусь! Я рада, что ты сына находишь хорошим и достойным. Я скажу, что я тоже нахожу его настоящим верноподданным, разумным и честным. Но он сделал проступок, проступок, который я не могу простить! Этот проступок — слушание высочайшего повеления.

Вставай же, Алексей! Это скучно! Который раз я говорю! Не присоединяй к ослушанию сына еще твое собственное!

Граф Алексей Григорьевич встал, видимо растроганный до глубины души. В это время Чесменский смотрел на государыню с увлечением, доходящим до благоговения.

— Молодой друг, — говорила Екатерина, обращаясь к Чесменскому, — может быть, я себя должна винить во многом, что тебя касалось. Я слишком понадеялась на тех, кому тебя поручила. Но меня можно извинить, на мне лежит целое царство, на моей заботе лежала Россия.

Отец, думала я, — отец о нем заботился, до материальной-то нужды, по крайней мере, ни в каком случае не допустит... И точно, никаких богатств он не пожалел бы для тебя, но его мучил демон; он боролся с каким-то кошмаром, который не допускал его даже прямо взглянуть туда, где его сын!

Между тем ты, бедный мальчик, поставленный в фальшивое положение, опутанный тяжкими условиями и условиями ложными, не знал, что думать, куда броситься? Под то-

бой не было почвы! Нужда вызывает труд, стремление к деятельности; но ты не мог даже думать найти себе исход, открыть возможность сколько-нибудь соответственной деятельности, сколько-нибудь разумного труда. Совершенно естественно, что ты бросился на ложный путь, что тебе единственным исходом показалась сперва — смерть, а потом изменение твоего положения...

Но ты все же виноват, Чесменский. Не передо мной, а перед Россией. Россия перед тобой ни в чем не виновата. Она вскормила, вспоила тебя, дала тебе общее воспитание. Ты был в силах отличать заразу французского фразерства от дела разума и правильных выводов науки. Ты был в силах сознать свои к ней привязанности. А ты бежал ее знамени! Ты оказал непослушание ее власти! Наконец, ты, пользуясь случаем, захотел войти в соглашение с элементами, враждебными твоему Отечеству, чуждыми русскому духу. Ты должен быть наказан и будешь наказан, но так, чтобы у тебя была возможность загладить все, в чем ты виновен перед Отечеством; чтобы ты службой своей мог восстановить себя в

глазах всех русских. Ты, до особой заслуги, лишаешься права служить в войсках моей гвардии! Вот твое наказание. Но не деятельности. Тебя переведут соответственным чином и дадут назначение. Ты будешь поставлен независимо и, при умеренности желаний, ни в чем нуждаться не будешь! Ты хотел обращаться в иной сфере, вне исключительности придворного кружка; тебе все это будет дано и от тебя будет зависеть себя оправдать! От тебя самого будет зависеть и отцовскую, и царскую милость заслужить!

В это время вошел князь Зубов.

— А! Вот и вице-президент военной коллегии! — сказала Екатерина, оборачиваясь и ласково смотря на Зубова. — Перед вами юный преступник, которого я хочу наказать милуя, как оттого, что в вине его я считаю себя с графом Алексей Григорьевичем до некоторой степени виноватою, так и потому, что надеюсь, что он оправдает себя и заслужит мою к нему милость. Это Чесменский, ты слышал о нем, Платон, — мой бывший корнет, теперь поручик, так, кажется?

Граф Зубов окинул молодого человека

быстрым взглядом и увидел — мальчика, точно мальчика, но хорошо уже сформировавшегося и начинающего мужать. Он заметил и его стройность, и чистый приятный взгляд, и симпатичность выражения лица.

"Правда-то правда, что еще мальчик, — подумал он, — только, черт возьми, эти мальчишки скоро формируются. Захар Константинович прав, советуя его спровадить как можно подальше..."

Думая это, он отвечал государыне:

— Точно так, ваше величество, я слышал о господине Чесменском и его исчезновении и даже готовил о нем на днях доклад вашему величеству. Дело в том, что когда вы, всемиловейшая государыня, по своему всегдашнему милосердию даже к виновным, не изволили приказать бывшему вице-президенту военной коллегии исключать его из списков полка, то ему досталось по старшинству быть произведенным в поручики; а ныне, по случаю усиленного производства в их полку, достается быть произведенным в штаб-ротмистры; теперь я хотел испросить вашего всемиловейшего повеления...

— Что ж? Я не хочу мешать его производству!

— Ваше величество, великий князь и так говорит, что мы назначаем эскадронными командирами офицеров, которые не умеют ездить верхом.

Государыня сделала нетерпеливое движение, потом проговорила:

— Это к Чесменскому относиться не может, потому что он на моих глазах чуть не с десяти лет проходил полный курс солдатской кавалерийской службы в моей конной гвардии, являлся не раз ко мне ординарцем и ездит верхом не хуже самого великого князя. Да и не думаю оставить его в полку. Я наказываю его тем, что исключаю из списков моей гвардии и до особой заслуги лишаю права служить в ней, и думала назначить командиром формируемого в Риге батальона крепостной защиты, вот что вчера долго с тобой говорили, кого бы назначить. Он человек молодой еще очень, но способный. Производство облегчит только возможность такого назначения; он постарается его заслужить, а тогда и полевой полк не за горами!

Сперва Зубов подумал было: "Ну, это еще старуха надвое сказала, мимо меня не пройдет". Но сейчас он вспомнил Зотова. Оно хорошо, как бы отвечал себе Зубов, только дело в том, что Рига близко, в неделю вытребовать можно! Нужно было бы куда подальше! Старик прав, береженого и Бог бережет! Вот бы к брату Валериану. Он, пожалуй, загонит его в такую трущобу, что в год письмо не придет!

В этих мыслях князь Зубов начал говорить медленно и как бы раздумывая:

— Слушаю, ваше величество, я заготовлю доклад, согласно всемилостивейшему повелению. Только, казалось бы, уже если ваше величество желаете дать случай молодому юноше отличиться, то зачем же так надолго отлагать случай ему показать себя. В крепостной защите, при настоящем положении дел, ему нечем будет заслужить ваше внимание. А уж если милость вашего величества к нему такая, что желаете, чтобы проступок свой он именно заслужил, то по производстве его можно будет в армию перевести полковником. И вот Белогородский полк свободен. Мне писали, что нужно молодого, образованного и

энергичного офицера... Мне кажется, вот случай...

Граф Алексей Григорьевич изумленно смотрел на князя Зубова. Он никак не надеялся встретить от него доброжелательство, а тут вместо крепостного батальона прямо полевой полк...

Алексею Григорьевичу не пришло в голову, что сын его формируется красавцем редким: в мать и дядю, князя Григория Григорьевича. К тому же обладает если и не отцовской, но все же выходящей из ряда обыкновенных силой и ловкостью, и что Зубов, в видах ревности к будущему, может и не очень желать его от двора удалить. Думая, что Зубов говорит это из желания сделать ему приятное, он невольно взглянул на него с чувством благодарности. А Зубову это и было на руку.

— О, да! Я согласна! С удовольствием согласна! — отвечала государыня. — Обдумай это, Платон, и приготовь все формально...

Теперь обращаюсь к вам, господа, отцу и сыну! — сказала она, обращаясь к графу Орлову и Чесменскому. — От вас я требую одного: взаимного уважения и любви. Не забудь,

Алексей, что молодость всегда молодость, невольно увлекается; случается, что бывает и несправедлива в своем увлечении. Но нужно быть к ней снисходительным, как к молодости! А ты, Чесменский, должен помнить вечно, что цыплята курицу не судят. Дети не имеют права суда над поступками родителей. Много бывает в жизни, что и вызывает на многое. Все мы грешны перед Богом, все и подлежим Его святому суду. Но не сын или дочь могут сорвать покров с грехов отца и матери, не сыну и дочери принадлежит право ставить их на позорище. Ты виноват в этом перед отцом и явись перед ним блудным и раскаивающимся сыном! Проси прощения и отцовского благословения, и поверь, в отцовской любви и нежности ты встретишь то, чего Бог не привел тебе испытать в любви твоей матери. Иди же, проси благословения и поцелуя!

Чесменский по этому слову государыни скромно, видимо полный любви и искренней преданности, подошел к отцу. Он был, мы говорили, стройный, высокого роста молодой человек, но даже не достигал плеча гигант-

ского роста графа Алексея Григорьевича, богатырская природа которого обозначалась чуть не в саженных плечах и страшных нервных узлах чуть не воловьих жил.

Но этот богатырь, этот атлет, гигант с нервами и мышцами, которых, казалось, не перебило бы пушечное ядро, вдруг размяк, ослабел и осунулся. Он как-то вздрогнул и зарыдал, страшно, истерически зарыдал, прижимая сына к груди своей.

И он рыдал глухо, не помня себя, не сознавая себя и не замечая ни злобной, ядовитой усмешки, которою сопровождал его рыдание князь Зубов, ни тоже слез, навернувшихся на глаза государыни.

— Ну вот и отлично! — продолжала Екатерина со слезами на глазах. — Теперь я довольна вами обоими. Граф Алексей, можешь взять сына к себе. С него снимается всякое запрещение. Дома вы разберетесь и сговоритесь, Бог даст, все будет хорошо! Ты можешь, Алексей, взять сына даже в Москву. Там позабавь его своими орловскими забавами. Это развивает молодого человека, возвышает его силу, укрепляет отвагу, но с тем, чтобы, как назна-

чение придет, сейчас же за дело!

"Загуляться долго не дам!" — думал про себя Зубов.

— Еще, Чесменский, к тебе идет речь! — продолжала государыня. — Знаю я твою сердечную зазнобу и скажу, и ты, и она слишком еще молоды. Но имей терпение, получишь полк, служи хорошенько, и не увидишь, как жениться время придет. Отец разрешит, а государыня будет твоим ходатаем. Наденька Ильина точно достойная девушка!

Чесменский был вне себя от восторга. Самодовольно смотрел на всех успокоенный граф Алексей Григорьевич. Но его будто водой облили слова князя Зубова, что он обо всем напишет графу Валериану. Стало быть, Белгородский полк на Кавказе, и, ему отдавая сына, сейчас же его отнимают. Тут ему стал ясен иезуитизм Зубова и его интрига против того, чтобы его сыну не быть близко государыни!

"Ладно, — подумал он. — Еще кто кого перехитрит. Ведь у меня найдутся руки, да и государыня не вековечна же! А после нее что еще будет?"

Чесменский хотел было еще что-то сказать

своей государыне-благодетельнице, но все эти сердечные излияния Зубов прекратил. Под каким-то предлогом он увел государыню. Остались отец с сыном одни и невольно без всякой задней мысли бросились друг другу в объятия.

— Ты, Саша, милый мой, и в голову не бери, чтобы за что бы то ни было я мог на тебя сердиться. Ты моя радость, ты мое желание! Только люби отца и говори ему прямо все, что на душе!..

— Знаешь, что я скажу тебе, Платон, — сказала Екатерина, уходя с Зубовым. — Я хорошо понимаю, что с Чесменским я поступила уж чересчур милостиво. Но этому есть важная причина. Не говорю о заслугах Орлова лично мне и государству, но мне оказал услугу сам Чесменский рассказами своими о ходе французской революции. Он прояснил мою мысль; дал, вероятно, бессознательно для него самого, но действительно дал новый взгляд на сочинения, которые до того считала я не подлежащими обсуждению; и этим как бы оправдал меня в собственных глазах, почему я могла в своих поступках им противоречить.

Зубов на это замечание отвечал только взглядом своих глубоких, симпатичных глаз. Его обыкновенная уловка, когда он замечал, что государыне угодно вдаваться в философские рассуждения или, как он говорил, "ученость". Куда как не любил он эту ученость, хотя, угождая государыне, составлял библиотеку и выписывал за дорогую цену знаменитые издания Эльзевира и Альда. Но такова была сила симпатичности взгляда глубоких и красивых глаз двадцатипятилетнего мужчины на шестидесятилетнюю женщину, что государыня была твердо убеждена, что Зубов не только знаком, но строго изучил все философские системы и хорошо изучил сочинения энциклопедистов и что мнения их по всем отвлеченным предметам сходятся. В этом она убедилась еще более тем, что, зайдя к нему, она увидела, что сочинения Вольтера у него пользуются почетом настольной книги, а Бель и Гельвеций не убираются со стола.

"Какая разница, — думала она, — он и Васильчиков. Он также красив, даже лучше Васильчикова, с тем вместе он интересуется всем, что только доступно человеку в его

мысли, а тот засыпал на первой странице!"

Но тут Зубов не ограничился одним взглядом. Его интересовало, чем Чесменский мог на себя привлечь внимание государыни в такой степени, что она в его словах находила оправдание некоторых своих распоряжений. Он спросил:

— Не нашел ли Чесменский философского камня, определяющего способность влияния на умы человечества.

— Нет! — отвечала Екатерина. — Но он указал, вероятно, я думаю, бессознательно для него самого, недостаток, можно сказать, общий всем философам и социологам. Все они, говоря об устройстве человеческих обществ, рассматривают их с точки зрения одного, излюбленного ими элемента общности: клерикалы, проповедники, политические мыслители дают преобладание роду. В нем они даже видят божественный промысел, высшее указание неба. Экономисты и публицисты, большею частью отвергая род как заблуждение, ставят на пьедестал перед всем капитал; философы же, социологи и вообще писатели, охватывающие в своих про-

изведениях народную жизнь, отдают перед всем предпочтение труду. Все они справедливы со своей точки зрения, но все и односторонни их систем к практике жизни. Все страдают недостатком общего всестороннего обсуждения, основанного на изучении. Общество не может развиваться правильно, если оно не будет соединять в себе непременно все эти три элемента общественности. Вопрос только в том, как их соединить, чтобы они не подавляли один другого, а взаимно друг другу содействовали. Для этого нужно, разумеется, не исключительное, одностороннее, а всестороннее изучение!

— К каким же распоряжениям своим вы изволите применять это, извлеченное вами, как вы изволите говорить, из сказок Чесменского замечание, наша всемилостивейшая государыня, и в такой степени применять, что даже находите в них себе оправдание? — юмористически спросил Зубов.

— А вот к каким, я тебе скажу, Платон, — много раз я об этом думала: все знают, что я противница крепостного права. Я нахожу это учреждение противным всем Божеским и че-

ловеческим законам.

В России это учреждение неправильнее, несправедливее и несоответственнее, чем где-либо, потому что не опирается ни на какие исторические данные, а исходит прямо из произвола. Я находила всегда, что такое бесовское, братоубийственное учреждение нужно во что бы то ни стало уничтожить и крепостных людей освободить. Между тем, вступив на престол не в порядке естественного престолонаследия, а помощью переворота, я должна была наградить лиц, мне в том содействовавших. В государственной казне денег не было ни гроша, а было довольно много свободных казенных имений, умножившихся впоследствии от сделанных моими войсками завоеваний, за которые, в свою очередь, я должна была назначать награды. Ввиду такой практической необходимости я вынуждена назначать в награду имения и тем усиливать и увеличивать ненавистное для меня крепостное право. Я упрекала себя за это в своей совести, оправдывая себя единственно практической необходимостью. Но я не могла не чувствовать, что аргумент этот слиш-

ком слаб, что необходимость награждений достойных не выкупает братоубийственного закрепощения сотен тысяч людей, розданных мною в награду.

Теперь вопрос мне представляется с другой стороны. Не награждать достойных я не могла; но могла, разумеется, давать условно, не закрепощая свободных людей. Но тогда могло бы последовать такого рода действие, вследствие недостаточного изучения вопроса, что мною бы остались недовольны ни награждаемые, ни освобождаемые от закрепощения. И тем, и другим могло стать хуже, чем при назначении имений в награду не на общем, привычном праве. Худое старое, слившееся с народными взглядами и жизнью, следует всегда предпочитать худому новому, к которому не привыкли и которое надобно еще изучать. Примером тому теперешняя бедная Франция. Как ни дурен был административный порядок в Бурбонах, как ни бросался в глаза этот произвол, который везде призывал против себя борьбу и волнение, все же его управление было настолько выше нынешнего террора, что нельзя не пожалеть францу-

зов. Оттого, что, не изучив дела как следует всесторонне и опираясь исключительно на фразерство своих болтунов, они прямо на практике хотят осуществлять то, что в фразерстве им кажется несомненным. Сказал кто-то — равенство и братство, и вот все твердят о равенстве и братстве, не давая себе труда обсудить, в чем может быть равенство и братство, когда в природе нет двух листьев на дереве совершенно равных. Сказал кто-то — державство народа, поклонение разуму — и вот они свое безумие ставят на пьедестал разума и державствуют, рубя один у другого головы. Говорят — свобода...

Какая это свобода, если я не смею отвечать вежливо на грубый вопрос; не смею выменять на свой нувилен молока пшеничную булку?.. Такая свобода, по-моему, хуже всякого крепостного права!..

Зубов, разумеется, не стал возражать на эту тираду государыни. Да и что он мог отвечать? Ему самому было пожаловано ею более десяти тысяч душ!

Граф Орлов с сыном в тот же день уехали вместе в Москву.

Во время дороги граф Алексей Григорьевич успел убедиться, что сын его действительно выходящий из ряда достойный молодой человек и что в нем он действительно может найти себе утешение и отраду.

При самом въезде на отцовский двор Чеменский был поражен тем, что из собачьей конуры выскочил весь обросший волосами человек и начал лаять по-собачьи. Отец объяснил ему, что это его наказание за то, что смел тягаться с ним силой, по предварительному соглашению; одним словом, что это Сенька Медвежатый. Разумеется, это показалось весьма дико изучавшему энциклопедистов европейскому путешественнику, но он невольно примирился, видя, что сам Сенька не только не считает себя обязанным, но смотрит, казалось, на отца его с собачьей преданностью. В один из первых же дней батюшка захотел также потешить сынка медвежьей травлей, и сын мог на деле воочию убедиться в нечеловеческой силе своего отца; зато и отец мог видеть, что его сын хоть и не обладает его силой, но действительный удалец по отваге и доблести. Никак не полагая, что отец

умышленно стал против медведя без оружия с одной палицей в руках, и относя такую встречу отца к печальной случайности охоты, Чесменский бросился было на спасение отца с одной шпагой и, вероятно, был бы медведем истерзан, если бы отцовская железная палица не сделала свое дело, ударив медведя между ушами.

В течение месяца вышло назначение Чесменского командиром Белогородского полка. Орлов хотел было сам ехать с сыном на Кавказ. Зубов, узнав о том, просто испугался. Ведь тогда все злоупотребления, все хвастовства разом наружу выйдут. Орлова молчать не заставишь. Потому он всеми мерами постарался, чтобы Екатерина оказала на графа Алексея Григорьевича некоторое давление. Дескать, нельзя полковому командиру на поможках жить; дескать, неловко взрослого сына под колпаком держать! В то же время Зубов обещал графу для сына ежегодный отпуск и письмо графу Валериану, в котором бы изложена была воля государыни, чтобы он имел о новом полковом командире особое попечение. Одним словом, он употребил все, чтобы

успокоить графа Алексея Григорьевича, и должен был дозволить продержат сына у себя еще месяц. Наконец, нужно было ехать, и Чесменский прибыл в Петербург за получением инструкций, приказов и пакетов к главнокомандующему на Кавказе графу Валериану Александровичу Зубову, брату фаворита, бездарному, хромому воителю, которого хотели по таланту сравнить с Суворовым и даже готовы были поставить выше. Интригами, завистью, различного рода подвохами они до того томили, мучили, сердили гениального старика, что вынудили его согласиться выдать дочь свою за одного из братьев этих отпрысков или отводков фавора. Да что ж делать, по крайней мере вражда-то и зависть будут парализованы, хоть и искусственным родством.

В Петербурге Чесменскому пришлось вынести всю процедуру унижений, которыми случайный человек, гордый своим богатством и величием, хотел давить бедного армейского полковника. Помня завет любви и терпения, указанный ему государыней, Чесменский все перенес с редкою скромностью.

Он молчал перед дерзостью и назойливостью секретарей, перещеголявших былых подъячих; перед пренебрежением лакеев, перед насмешками придворной челяди. Он отвечал на эти выходки полным презрением и только платил деньги тем, кто желал их от него получить. Наконец все было кончено. На другой день он должен был отправиться и, заехав в Москву, проститься с отцом, спешить на Кавказ, потом на границу Персии, где был расположен полк, которого командиром он был назначен.

Перед отъездом ему вздумалось зайти к старику Зотову, поблагодарить его за то, что не раз он предупреждал и оберегал его сперва во время его гвардейской службы, а потом в течение недельного пребывания во дворце. В самом деле Зотов к нему был всегда хорош, постоянно о нем заботился, развлекал, называя его пареньком молодым еще, но хорошим пареньком, который напередки может пригодиться. Он зашел. Зотов обрадовался и стал настаивать, чтобы непременно зашел к государыне откланяться.

— Помилуйте, какой же повод? — говорил

Чесменский. — Да меня светлейший заподозрит Бог знает в чем!

— Полно, ваше высокоблагородие, тот повод, что государыня тебя знает, тебе покровительствовала и, помнишь, секретареву квартиру тебе оплачивала, что на Миллионной, не забыл ведь? Теперь ты едешь не на один день, как же не откланяться и не поблагодарить? А что светлейший-то, так какое до него дело? Да и то: уезжаешь, так и тому подозревать тебя не в чем! А государыня будет рада, примет без церемоний, запросто; может, еще что и скажет! Вот что, приходи-ка во дворец завтра утром часам к девяти, а я еще с вечера поговорю с Маврой Саввишной и выпрошу тебе дозволение к ней представиться.

Чесменскому и самому хотелось поблагодарить государыню за все ее милости к нему, потому на другой день он явился. Государыня его сейчас же приняла, но у нее был князь Зубов и, раскинувшись небрежно на кушетке, докладывал что-то по каким-то бумагам.

Государыня приняла его весьма милостиво; повторила обнадеживание в своем покровительстве в случае его исправной службы и

говорила даже о командовании впоследствии одним из кавалерийских полков ее гвардии. Потом опять полушутливо-полусерьезно повторила свое обещание заняться его сердечными делами в рассуждении Наденьки Ильиной. С тем вместе, подав ему на прощанье руку и провожая его, в то время как Зубов не приподнялся с места, она ему проговорила вполголоса:

— Ты все же зараженный французским духом порицатель, может, будешь осуждать свою государыню, как осуждал отца, и скажешь, видя все, что есть, что, дескать, в ее лета и в ее положении можно бы, кажется, подумать о чем-нибудь другом?

Чесменский совершенно потерялся над этим вопросом и, разумеется, молчал.

— А я тебе скажу вот что: пусть бросит в меня камнем тот, кто не знает за собой греха!

Эти слова государыни долго звучали в ушах Чесменского, даже когда, осыпаясь в полном смысле слова черкесскими и персидскими пулями, он вел в атаку на неприятельские аулы свой Белгородский полк.

Примечания

См. "Род князей Зацепиных", "Русская Речь",
1980 г.

[^^^]

2

Автор слышал о таком бегстве через люк в своде, будто бы случившемся в 1824 году.

[^^^]